



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

5lar 4338.33

Harvard College Library

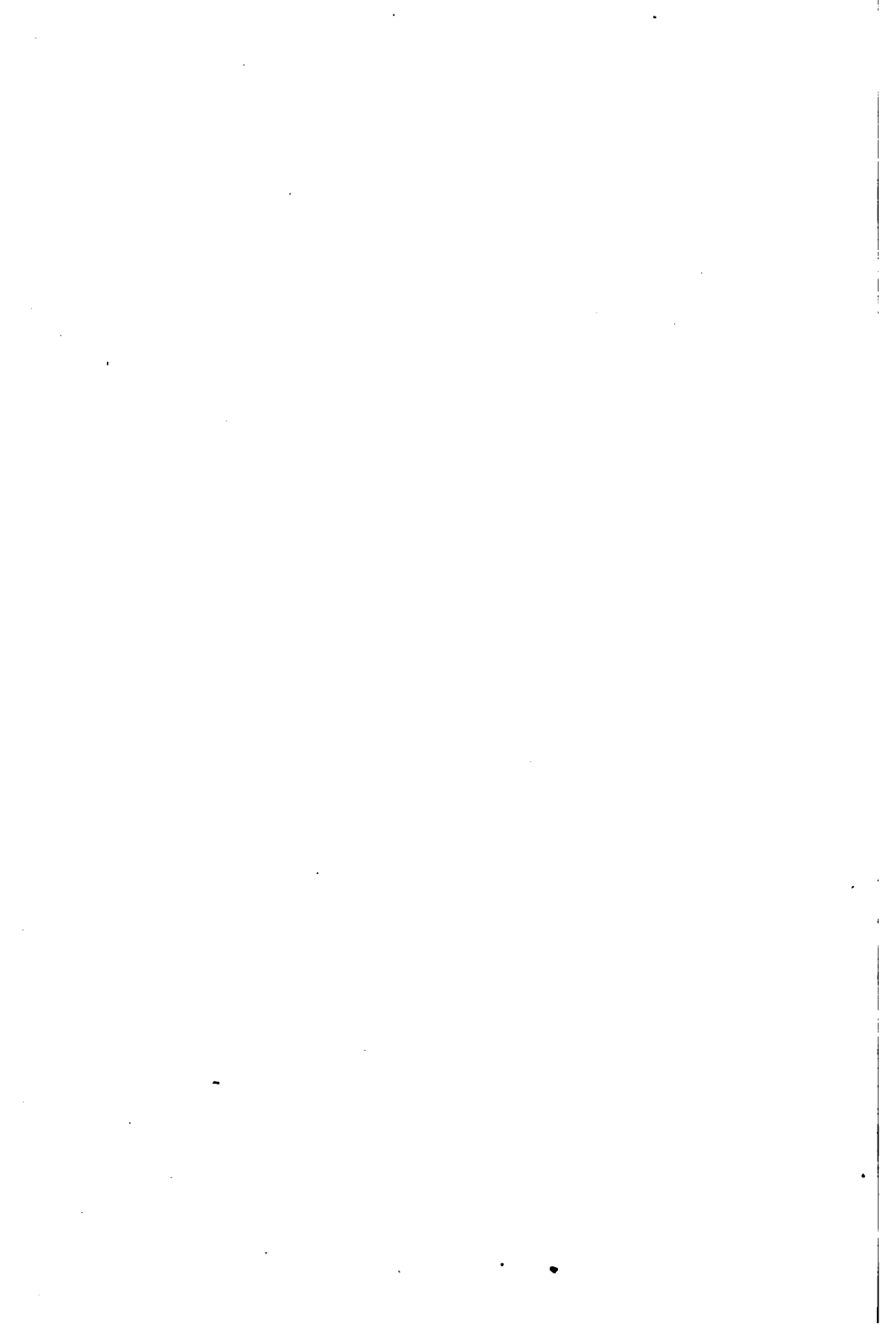


FROM THE BEQUEST OF

THOMAS WREN WARD

TREASURER OF HARVARD COLLEGE
1830-1842









СОЧИНЕНІЯ
Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

ТОМЪ СЕМНАДЦАТЫЙ.

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,
ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1901.

5 lav 4/338.3.3



Hard find



Типографія А. Ф. Шариса, Измайл. пр., № 29.



БѢСЪ НА ВЕЧЕРНИЦАХЪ.

(СВЯТОЧНЫЙ РАЗСКАЗЪ.)

— «Не такъ страшенъ чортъ,
какъ его малюютъ».

Поговорка.

Дѣдъ поставилъ ружье въ уголъ, усѣлся на теплой лежанкѣ и сталъ рассказывать...

Это было въ Изюмѣ,—говорилъ онъ:—на святкахъ. Шель мѣщанинъ Явтухъ Шаповаленко по дальнему переулку, заглядывая во всѣ окна и затрогивая всѣхъ прохожихъ. Шель онъ ужъ поздно на зарѣ, на вечерницы, т.-е. посидѣлки, которыя справлялись на десяти-копеечную складчину молодежи ближней слободки, въ лѣсу, на водяной мельницѣ, и потому-то онъ нарядился въ пухъ и въ прахъ. Синіе нанковые шаровары, только-что купленные на торгу, были туго перетянуты ремнемъ, съ висящими на немъ гребенкой и коротенькой трубочкой. Концы шароваръ были засунуты въ высокіе, съ желѣзными подковами, сапоги. Поверхъ бѣлой рубахи, съ синимъ и краснымъ шитьемъ у воротника, на плечи молодецки была накинута сѣрая свитка, а на волосы была надвинута высокая, съ синимъ суконнымъ верхомъ, черная барашковая шапка. Въ его лѣвомъ ухѣ болталась серьга, а изъ кармана шароваръ выглядывалъ конецъ желтаго съ разводами платка. И шель онъ, предаваясь всякимъ потѣхамъ. То просунетъ голову въ узенькое окошко подслѣповатой бабы-вдовы и надъ самымъ ея ухомъ крикнетъ: «а-гу!» То совершенно неожиданно, передъ домогъ волостного писаря, начнетъ на рукахъ и ногахъ вертѣться колесомъ—и роняетъ по пыльной дорогѣ то трубку, то платокъ, то цѣлую дорожку питаковъ; или погонится за толпою

разряженных дѣвокъ, а тѣ разбѣгаются отъ него съ визгами и криками, какъ стоя воровьевъ отъ налетѣвшаго астреба... То, наконецъ, у воротъ двухъ сосѣдей-стариковъ, съ громкимъ крикомъ «*Ходилъ карбузъ по городу!*» пускается отплясывать въ присядку. Его сапоги звенятъ подковками, выбивая лихой танецъ. Густая пыль летитъ столбомъ, и въ ея облакѣ мелькаетъ по временамъ баранья шапка, складка шароваръ, или его длинные черные усы. Съ громомъ летитъ мимо таратайка проѣзжаго купца, и послѣдній, поднявъ съ подушекъ изумленное лицо, смотритъ и, съ просонковъ не понимая, чтò передъ нимъ дѣлается, исчезаетъ въ концѣ улицы.—«Молодецъ!—говоритъ въ одно слово ватага парней, идя мимо плясуна.—Молодецъ Явтѣхъ! Молодецъ гуляка Шаповаленко!»—И Явтѣхъ понимаетъ, что онъ точно молодецъ, потому что наконецъ и головы столѣтнихъ старцевъ поднимаются передъ нимъ, и устремляются на него глаза тѣхъ людей, которые уже столько лѣтъ съ утра до ночи сидятъ, какъ могильные камни, у своихъ воротъ и смотрятъ въ землю, не поднимая головы ни передъ чѣмъ на свѣтѣ.

«Любо жить на свѣтѣ! Вотъ такъ любо!»—думаетъ между тѣмъ Явтѣхъ, минуя околицу и огородами пробираясь къ лѣсу. Тряхнувъ онъ волосами, надвинувъ шапку, подтянувъ туже поясъ и взглянувъ на ясное звѣздное небо... Звѣзды дрожать и будто колыхнутся, точно огоньки воздушныхъ свѣчекъ. Но вотъ, изъ-за лѣса послышался далекий говоръ и смѣхъ. Хата мельника скоро выглянетъ изъ-за деревьевъ. А тамъ веселье, шумъ, толкотня, и среди всего—красавица Найда, дочка мельника...

«Что за краля эта Найда!—думаетъ Явтѣхъ, пробираясь къ околицѣ и перескакивая то черезъ камышъ, то черезъ ровъ, обросшій осокой.—Была не была!—скажу сегодня всѣмъ, что Найда—моя невѣста и что я женюсь на ней! Посмотрю тогда, какъ заартачится старый мельникъ!» И, разведя кусты, онъ смѣло вошелъ въ лѣсъ. Темнота и мертвая тишина кругомъ. Ни соловей, ни филинъ не оглашаютъ лѣса. Между деревьями, на мѣсяцѣ, сверкнуло болото; черезъ него, по мостику изъ бревенъ и вѣтвей, лежитъ дорога... Подойди къ болоту, Явтѣхъ бодро ступилъ на мостъ, размахивая длинною хворостиною и расточая разные замѣчанія насчетъ людского трудолюбія. «Эка народъ эти изюмцы!

пять лѣтъ копались по поясъ въ водѣ и выстроили такой мостъ, прости Господи, что съ нечистымъ не разминешься; а ужъ куда необъемистъ этотъ вражій сынъ!..» И вдругъ, онъ видитъ, какъ разъ на срединѣ моста, усѣлось что-то маленькое, худенькое, черненькое и мохнатое. Явтѹхъ къ нему, а оно сидитъ, и только его зеленые глаза сверкаютъ, какъ у кота. Явтѹхъ закричалъ:—«брысь!» а оно и ухомъ не ведетъ и только влиять чернымъ и длиннымъ, какъ у собаки, хвостикомъ. «Э-ге-ге, дѣло недоброе! Только упомянулъ нечистаго, а ужъ онъ и подвернулся! Постой же ты, иродова душа:—я тебѣ покажу, какъ вашего брата учатъ!»

Онъ быстро подошелъ и со всего размаха хлестнулъ его длинною хворостиной. Завизжалъ, залаялъ бѣсъ, какъ собака, и кинулся подъ ноги парня. Явтѹхъ пошатнулся, скользнулъ съ мостика и со всего размаха полетѣлъ внизъ усами, въ болото.

— Вотъ вода, такъ вода, да и холодная какая!—пробурчалъ онъ, выкупавшись въ лужѣ и опять взбираясь на тощія бревна. Съ его шароваръ, съ рубахи и съ усовъ текло, какъ съ крыши во время дождя.—Эхъ-ма!—прибавилъ онъ, осмотрѣвшись и выворачивая карманы шароваръ и свитки:—ни кисета, ни платка, ни денегъ нѣтъ! Все тамъ!—И онъ показалъ въ воду...—Погоди жъ ты, бѣсовъ сынъ:—я тебѣ утру носъ! Заставилъ выкупаться, точно пьянаго москаля! И на вечерницы теперь опоздаешь!.. Ахъ ты, свиное твое ухо... Ахъ...—И въ самомъ досадливомъ расположеніи духа, онъ пошелъ обратно въ Изюмъ.

Онъ шелъ, едва передвигая ноги отъ намокшихъ шароваръ, а тутъ еще казалось ему, за плечами, по кустамъ, кто-то шагаль и будто говорилъ ему: «что, братъ? смѣяться вздумалъ? Что? драться вздумалъ? Вотъ, теперь и пляши! и пляши!» Закинула мечь въ его груди. «Не поддамся!—крикнулъ онъ и плюнулъ:—добѣгу до хаты, переодѣнусь и еще поспѣю на вечерницы!» Сказалъ и во всю прыть понесся къ Изюму...

Но не добѣжалъ Явтѹхъ и до половины пути, какъ холодъ сталъ принимать его до костей. Онъ остановился, оглянулся по полю и, не видя вокругъ ни души, присѣлъ на траву, да не долго думая началъ раздѣваться. «Теперь не будетъ холодно!»—сказалъ онъ себѣ, взялъ свиту и рубаху подъ мышки и еще шибче побѣжалъ, несясь по высокоѣ

травѣ и перепрыгивая черезъ рвы и кочки... Мѣсяцъ кстатѣ спрятался въ тучи и не смотрѣлъ на полураздѣтаго парня. Изюмъ скоро выглянулъ изъ-за пригорка. Огороды Явтухъ миновалъ счастливо и, прошмыгнувъ подъ заборами, вбѣжалъ въ околицу. Тутъ онъ остановился и бросилъ пугливый взглядъ по сторонамъ: на улицѣ—ни души. Старики и бабы сидѣли ужъ въ хатахъ, а молодежь повалила на вечерницы въ подгороднюю мельницу... Явтухъ вздохнулъ свободно и впотѣмахъ пустился далѣе... Но не миновалъ онъ и четверти улицы, какъ изъ воротъ мѣщанки Хиври Макитренковой, съ пѣснями и криками, выступила ватага дѣвушекъ и длинный, какъ цапля, ткачъ Юхимъ Бубликъ... Разряженная толпа щебетала вокругъ ткача, а онъ, со всякими припасами для вечерницъ, важно шѣлъ по улицѣ.

Завидѣвъ дѣвочку Явтухъ и обомлѣвъ отъ ужаса. Мокрую свиту и рубаху онъ оставилъ на дорогѣ, подъ огородомъ, думая завтра рано взять ихъ оттуда. «Вѣдь это бѣда!»—подумалъ онъ, да такъ въ однихъ мокрыхъ шароварахъ и остался посреди улицы. Ватага приближалась къ нему... Уже дѣвки близко, ужъ онъ слышитъ ихъ голоса, какъ счастливая мысль мелькнула въ его головѣ: онъ оглянулся, вскочилъ въ первыя ворота и забился подъ опрокинутую бочку. Въ то же время выглянулъ мѣсяцъ. Пѣсни и говоръ раздались подъ самымъ его ухомъ.

— Охъ, постойте, дѣвки,—я кого-то видѣла!

— И я.

— И я...

— И я видѣла! — посыпались звонкіе голоса, и толпа остановилась у воротъ. Явтухъ, ни живъ, ни мертвъ, сидѣлъ подъ бочкой.

— Куда же оно дѣлось? Какъ въ воду упало!—замѣтили нѣкоторые голоса.

— Да, точно странно:—куда бъ ему дѣться? Только-что видѣли...

— Да не подъ бочку ли залѣзъ какой-ш(судь дурень?—замѣтила рябая и косая Вѣкла.

— Можетъ-быть, и подъ бочку! — отозвались другія, и ужъ направлялись къ бочкѣ.

— Да нѣтъ, постойте, то вѣрно слѣпой Кондратъ проснулся и зачѣмъ-нибудь ночью выходилъ изъ хаты,—перебилъ длинный ткачъ.

— Ну, такъ и есть!—захохотали дѣвки и, поглядывая на опрокинутую бочку, пошли далѣе...

На душѣ у Явтуха отлегло. Онъ выглянулъ, переждалъ, пока толпа исчезла за околицею, и что есть духу понесся по улицѣ. Прибѣжалъ къ своей хатѣ, ударился въ дверь:— на двери виситъ замокъ; дверь заперта. Онъ къ окну—оно изнутри заперто; да и безъ того въ окно развѣ одна рука его могла бы свободно пролѣзть... «Ахъ ты, судьба моя горемычная!—сказалъ онъ себѣ, чуть не сквозь слезы:—надо же было матери уйти и запереть двери. Ну, гдѣ я ее теперь найду?» И онъ съ досады хлопнулъ кулакомъ по двери... И вдругъ слышитъ:—за его плечами въ темнотѣ кто-то заливается тихимъ, дребезжащимъ смѣхомъ. Явтухъ обернулся и наставилъ передъ собою увѣсистый кулакъ. «Не поддамся я тебѣ, окаанный! Не поддамся, да еще при слушаѣи и побью! Хотя въ чужую юбку и въ бабы чужіе башмаки одѣнусь, а вотъ пойду на вечерницы и горѣлки напьюсь, и съ моею красавицею насмѣюсь надъ твоєю собачьею харей!» Сказалъ и подошелъ къ окну сосѣдней хаты. Въ хатѣ не было ни души. Мѣсяцъ отражался на гладкомъ полу, на печи и на полкахъ, уставленныхъ посудой. Онъ вошелъ во дворъ, ступилъ на крыльцо и толкнулъ ногою дверь. Дверь отворилась.—«Это не по нашему!—замѣтилъ онъ:—не запираются, какъ отъ татаръ, прости Господи!»

Вошелъ Явтухъ въ хату своей кумы, молодежи Ивги Лободы, у которой мужъ былъ въ отлучкѣ, на заработкахъ; приперъ дверь засовомъ, досталъ изъ печи уголь и засвѣтилъ огонь. «Кума посердится, да и проститъ, а на вечерницы я все-таки понаду!»—подумалъ онъ и сталъ снимать со стѣны оставленные наряды сосѣдки... Надѣлъ длинную женскую рубаху, голову повязалъ платкомъ, надѣлъ красные башмаки съ подковками, ожерелье «добраго мониста», накинулъ зеленую кофту и посмотрѣлъ въ зеркало. «Не будь усомъ, и вышелъ бы молодецъ-молодицею,—сказалъ онъ съ усмѣшкою:—и, какъ, право, странно рядятся эти женщины! Точно писанки на Пасху... Распотѣшу же я теперь всю сходку! И набѣгается, насмѣется и навеселится моя Най-дуся, моя зорька, моя краля непаглядная!»

Онъ погасилъ огонь, вышелъ изъ хаты, заперъ дверь и ступилъ за ворота. Гордый молчалъ. Свѣтлая глубина неба переливалась тысячами звѣздъ... Мѣсяцъ неподвижно и ярко сто-

ялъ надъ горою Кремлянцемъ.—«Впередъ, Явтухъ Остановить, впередъ!»—сказалъ самъ себѣ Явтухъ, двинувшись въ путь по опустѣлой улицѣ, и вдругъ заболталъ по воздуху ногами...

Протеръ глаза, посмотрѣлъ внизъ—и обомлѣлъ отъ ужаса. Земля у него далеко-далеко подъ ногами, а его тянетъ къверху какая-то невидимая, страшно-могучая сила, и онъ летитъ все выше и выше, покидая облитый луннымъ блескомъ городъ и быстро разбѣгая воздухъ ночи.

— Что? будешь теперь смѣяться да грозить?—спросилъ за плечами чей-то голосъ... Явтухъ обернулся и увидѣлъ, что маленький и черненькій бѣсенокъ торчитъ у него за спиной, а мохнатая лапа бѣса держать его подъ руки.— Вотъ тебѣ и невѣста, и горѣлка, и твои вечерницы!»—говорить парубку чортъ, быстро унося его все выше и выше. Холодомъ обдало парня при мысли о мести и силѣ нечистаго, и отъ страху онъ закрылъ глаза. Когда онъ вновь посмотрѣлъ—земля, городъ, лѣсъ и окрестности, все исчезло подъ его ногами... Онъ летѣлъ въ необъятной пустотѣ, и воздухъ съ шумомъ скользилъ мимо его ушей.

— Куда ты несешь меня, дядюшка?—спросилъ, опомнясь, Явтухъ.

— А вотъ я сейчасъ тебѣ скажу!—отвѣтило у него за плечами:—я тебя, братъ, посажу верхомъ на мѣсяцъ; и просидишь ты у меня на немъ день, два, а можетъ и годъ, развѣ, когда мѣсяцу придется опуститься до краевъ земли, успѣешь ты соскочить на стогъ травы, или на какое-нибудь дерево...

— А какъ я неравно засну и упаду съ мѣсяца?

— Ну, туда тебѣ и дорога!—отвѣтилъ чортъ и рванулъ его еще скорѣе...

«Прощай, Найда! Теперь ужъ я тебя не увижу никогда!»—подумалъ Явтухъ и отдался на волю бѣса.

Летѣлъ онъ долго, минуя воздушныя пространства; наконецъ, мѣсяцъ, спрятавшись и опять явившись, мелькнулъ между разбѣжавшихся тучекъ и сталъ къ нему такъ близко, что онъ, какъ постлѣ самъ рассказывалъ, могъ даже разглядѣть, изъ чего онъ сдѣланъ; а сдѣланъ мѣсяцъ, по его словамъ, изъ серебра, только вызолоченъ, какъ блюдо изъ хорошей посуды, да еще въ одномъ мѣстѣ, — должно быть, задѣлъ обо что-нибудь на землѣ, — позолота потерялась, и оттого пятна на мѣсяцѣ. Онъ поднялся высоко и вдругъ слышитъ, что-то въ воздухѣ шумитъ, и въ то же время

чортъ за его плечами задрожалъ и увильнуль, отшатнулся въ сторону.

— А! такъ ты дѣвockъ таскаешь, сякой-такой?—раздался хриплый и сердитый голосъ.

Старая, сморщенная вѣдьма, верхомъ на метлѣ, налетѣла на бѣса съ поднятыми кулаками.

— Да это, полноте, не дѣвка; это парень, — пропищаль нечистый.

— Какъ парень?.. Ахъ ты, сякой-такой!.. А юбка?

— Да вы, Мавра Онуфріевна... да я, право... ужъ я жо вамъ говорю!—кричалъ чортъ, осыпaeмый кулаками вѣдьмы.

— Вотъ я тебя, вотъ я тебя!—кричала вѣдьма, отъ ревности и злобы не зная, съ какого конца лучше отсчитывать удары. Она ухватила бѣса за хвостъ и за загривокъ и такъ стала его трясти, что съ ея рыжей косы слетѣлъ платокъ, а изъ когтей чорта выпалъ Явтухъ и камнемъ полетѣлъ на землю... — «Ну, теперь ужъ и мнѣ не сдобровать!»—сказалъ бѣсъ и понесся выше и выше, сисясь стряхнуть съ себя злую вѣдьму.

И долго въ воздухѣ сыпались клочки волосъ, и крупная брань бѣса и вѣдьмы оглашала темныя пространства. Явтухъ камнемъ летѣлъ на землю...

Между тѣмъ весело лилась бесѣда въ низенькой свѣтелкѣ подгородной мельницы. Складчина на этотъ разъ удалась какъ нельзя лучше, потому, во-первыхъ, что мельникъ, старый вдовецъ и скряга, уѣхалъ въ Чугуевъ на ярмарку и дочка его осталась хозяйкою хаты; и, во-вторыхъ, потому, что многіе изъ изюмской молодежи надѣялись на этотъ разъ привести къ окончанію свои сердечныя дѣла.

Полъ мельниковой хаты былъ чисто прибранъ и вымазанъ заново охрою; стѣны, также вновь выбѣленные, украсились вѣнками и пучками цвѣтовъ. Печь ярко горѣла и въ ней шипѣли на горячихъ сковородахъ, въ маслѣ, пшеничные орѣшки, ячнне блины и сладѣны. Дубовый столъ, покрытый бѣлою скатертью, помѣщался въ главномъ углу, подъ образами; на немъ стояли графинчики съ горѣлкой. На лавкѣ у печи, близъ двери въ темную комнату, лежали куски сдобнаго и прѣснаго тѣста, яйца, свиное сало и стручковый перецъ. Вокругъ этого стола двѣ молодежи, и одна изъ нихъ Ивга Лобода, хлопотали надъ печеніемъ и замѣ-

шиваніемъ сластенъ и орѣшковъ. По сламейкамъ, опрокинутымъ ведрамъ и корытамъ, вокругъ хаты, сидѣли дѣвки и парни. Смѣхъ, говоръ и пѣсни перемѣшивались съ трескомъ печи и жужжаніемъ веретѣнъ. Дѣвки, сидя на рѣзныхъ дѣлкахъ, тянули изъ гребней пряди и бойко водили веретенами. Иныя сидѣли молча, другія пѣли пѣсни, а третьи болтали и щебетали, какъ ласточки въ весеннее утро. Парни, кто за столомъ, кто на перевернутомъ боченкѣ, а кто и просто на полу, сидѣли и тоже занимались разными работами. Иной точилъ деревянную чашку, другой строгалъ веретено своей красавицѣ; третій гнулъ дугу; четвертый расписывалъ вывѣску для хуторянского кабака, а иные говорили сказки. Сказки смѣнялись хоровыми пѣснями. При окончаніи одной изъ послѣднихъ, длинный ткачъ Бубликъ вдругъ приложилъ ладонь къ уху и, давъ знакъ рукою, чтобъ всѣ замолчали, затянулъ тоненькимъ голосомъ весьма жалобную пѣсню. Это не помѣшало ему протянуть въ печку спичку и потянуть оттуда, подъ общій хохотъ, горячую галушку. Всѣ веселились, хохотали, шумѣли, рассказывали сказки. Не веселилась одна хозяйка, мельникова дочка...

Прошло уже немало времени, а Явтуха не было да и не было. Сперва она думала, что онъ зашелъ къ своему пріятелю писарю; потомъ ей казалось, что онъ только притворяется, что давно ужъ пришелъ и спрятался гдѣ-нибудь поблизости, за хатою, ожидая, что вотъ она не вытерпитъ и выбѣжитъ сама къ нему навстрѣчу. Найдя ужъ готова была встать и выйти, какъ будто невзначай. «Нѣтъ! — подумала она, — лучше подожду его. Нечего баловать жениха! Положишь ему палецъ въ зубы, такъ и не вынешь!»

И она осталась.

Прошло еще нѣсколько времени. Найдя забылась и слушала, вода веретеномъ, страшную сказку, которую началъ ткачъ. Нитка пряхи у нея оборвалась, и она выронила веретено. Нагнулась подъ столъ и вдругъ видитъ: въ углу, подъ лавкой, сидитъ что-то худенькое, маленькое, черепькое и, виляя хвостомъ, смотритъ горящими, какъ угли, глазами... Найдя обомлѣла отъ ужаса... Чортъ, между тѣмъ, посидѣвъ и юркнувъ въ дверь; дверь за нимъ тихо затворилась. Кромѣ Найды, никто не замѣтилъ ни его появленія, ни бѣгства. Сказка тянулась своимъ чередомъ.

И вотъ, чувствуетъ Найдя, что непонятная сила тянетъ

и ее съ мѣста за дверь. Она знаетъ очень хорошо, что за дверью, въ темныхъ сѣняхъ, ожидаетъ ее то же страшное чудище, что за дверью она перепугается до смерти, знаетъ и—дивное дѣло!—не можетъ себя побѣдить. Встала она съ лавки, тихо сложила гребень и отворила дверь. «Куда ты, Найда?»—спрашиваютъ ее подруги. «А вотъ я... въ сарай... коровѣ сѣна нужно подложить!»

Она ступила въ темныя сѣни. Въ сѣняхъ—ни души. Она на крыльцо—и на крыльцѣ никого не видно. Площадка передъ хатою также пуста. И только подъ заборомъ маленькаго садика бѣгаетъ котъ. «Васька, Васька!» стала она звать кота. Котъ вошелъ въ калитку садика. «Еще забѣжить въ лѣсъ!—подумала она,—шляется за сосѣдскими кошками...» Но не успѣла сдѣлать и пяти шаговъ, какъ котъ къ ней обернулся и сталъ мяукать и рости. Холодъ пробѣжалъ по ея жиламъ. «Брысь!»—закричала она.—Котъ опетинился, выпустилъ когти, страшно засверкалъ зелеными глазами, такъ что освѣтилъ сосѣдніе кусты и плетень, замыкалъ еще сильнѣе и, выгибаясь, сталъ рости и рости... Найда хотѣла бѣжать и не могла: ноги не слушались; хотѣла кричать: языкъ, какъ во снѣ, не двигался. А котъ прыгнулъ и, поднявшись на заднія лапы, протянулъ къ ней усатую морду... «Тьфу!»—крикнула Найда и спрятала лицо. «За что же ты бранишься?»—спросилъ у нея нѣжный и сладкій голосъ. Найда смотритъ: передъ нею стоитъ ужъ не котъ, а Явтѹхъ, ея Явтѹхъ, ея милый суженый...

— Это ты, Явтѹхъ?

— Я, моя кралячка!

— Какъ же ты напугалъ меня! Богъ знаетъ, чѣмъ показался!

И она кинулась къ нему на шею и потащила его за руку въ хату.

— А, Остоповичъ, Шаловаленко!—зазвонили вокругъ парня собесѣдники:—а мы васъ ждали, да все думали, куда это васъ запесло.

Найда отъ радости бѣгаетъ по хатѣ и ставитъ на столъ миски съ угощеніями. Явтѹхъ, крутя усы и нахмурившись, стоитъ посреди хаты, не снимая шапки и сурово поглядываетъ по сторонамъ.—«Будетъ вамъ, щебетухи, языкомъ торохтѣть!—сказалъ ткачъ:—садитесь вечерять».

Найда всыпала въ миску варениковъ.

Всѣ при этомъ бросили болтовню и, крестясь, сѣли за столъ. Явтухъ молча сидѣлъ, сложа руки.

— А ты же что паномъ разсѣлся?—спросила его съ досадою Найдъ, видя его невольчивость: — не велика птица! на подотенце, да занавѣсь свои шаровары, а то еще какъ разъ съ усовъ кашнеть!

Явтухъ нагнулся къ столу и раскрылъ ротъ. Въ ту же минуту дивныя дѣла произошли въ хатѣ. У одного изъ парней въ карманѣ были припасенные орѣхи и рожки; вдругъ карманъ раскрылся, и орѣхи, а тамъ и рожки, будто воробы, стали вылетать оттуда, направляясь въ ротъ Явтуха, который только раскусывалъ ихъ. Долго никто не могъ придти въ себя отъ изумленія. «Э-ге-ге! да что же это такое?» — подумали въ одинъ разъ всѣ гости и остались неподвижными. Молчаніе сдѣлалось такое, что слышно было, какъ муха жужжала и билась гдѣ-то подъ опрокинутымъ кувшиномъ.

— Ой, дѣлечко, братцы!.. караулъ! — закричалъ вдругъ ткачъ, весь въ мукѣ вскакивая изъ-подъ стола, куда нагнулся искать упавшій кисеть съ табакомъ: — да это — не Явтухъ; это, братцы, такое, чего и назвать нельзя... у него хвостъ собачій! Смотрите!..

— Чортъ, чортъ! — закричали всѣ, и во мгновеніе ока, выскочивъ изъ хаты, побѣжали, куда глаза глядятъ. — Въ то же время у мнимаго Явтуха упала съ головы шапка, и на лбу сверкнула пара золотыхъ рожекъ. — «Такъ вотъ это кто!» — подумала Найдъ и замерла отъ ужаса, оставшись глазъ на глазъ съ тѣмъ, котораго, по словамъ ткача, даже и назвать было нельзя...

Выроненный изъ рукъ чортомъ, Явтухъ стремглавъ понесясь съ неба, посылая прощанія милой и ожидалъ каждое мгновеніе, что вотъ снизу, изъ воздушной тьмы, выяснится рѣка, болото или сухое, рогаѣе дерево, и онъ распростится на-вѣки съ жизнью, — какъ вдругъ неожиданно почувствовалъ подъ собою что-то мягкое. Онъ осмотрѣлся и видитъ, что упалъ со всего размаха въ стогъ свѣжаго, пушистаго сѣна и утонулъ въ немъ по самую шею. Почувствовавъ пріятный запахъ травы, Явтухъ сперва убѣдился, что всѣ ребра у него цѣлы, потомъ выкарабкался изъ сѣна, легъ на стогъ и посмотрѣлъ внизъ...

Возлѣ стога былъ разложенъ огонь. Толпа чумаковъ, наклонясь надъ чугуннымъ котелкомъ и кури трубки, сидѣла у огня.

— Здорово, паны-браты! — сказалъ со стога Явтѣхъ.

Чумаки, не поднимая головы, не двинули ни плечомъ, ни усомъ, а только въ одинъ голосъ отвѣтили:

— И ты будь здоровъ!

— А я къ вамъ! — сказалъ опять Явтѣхъ.

— Милости просимъ! — отвѣтили чумаки, не поднимая головы и спокойно сося коротенькія трубки.

Явтѣхъ оправилъ на себѣ бабью юбку и кофту и съ такою рѣчью обратился къ чумакамъ:

— А посмотрите-ка, добрые люди, въ чемъ я!

Чумаки вынули изо рта трубки и подняли къ нему головы.

— Хорошъ? — спросилъ Явтѣхъ.

— Хорошъ.

— И башмаки хороши?

— Хороши.

— А платокъ? — спросилъ Явтѣхъ.

Чумаки, которые опять было принялись курить, удивляясь, что это за человѣкъ ихъ разспрашиваетъ и откуда онъ взялся, опять отыли изо рта трубки и, смотря на Явтѣхъ, отвѣтили:

— Хорошъ и платокъ.

— Хлѣбъ же соль вамъ! — сказалъ нежданный гость, спускаясь на землю со стога: — должно быть, борщъ варите, съ таранью.

— Нѣтъ, кашу съ саломъ.

Явтѣхъ спустился на землю и подсѣлъ къ костру.

— А позвольте узнать, господа-чумачество, откуда васъ Богъ несетъ?

— Изъ Крыма.

— За солью ѣздили?

— За солью.

— А гдѣ мы теперь, паны-браты? — прибавилъ Явтѣхъ.

Чумаки молча переглянулись: вотъ насмѣхается человѣкъ.

— То-есть... какъ оно... насчетъ, то-есть?.. гдѣ это мѣсто, на которомъ вотъ мы теперь сидимъ? — прибавилъ Явтѣхъ, указавъ пальцемъ на землю.

— Гдѣ это мѣсто? — спросили чумаки, опять переглянувшись между собою.

— Да, добрые люди.

— За Мелитополемъ.

— Слышалъ, слышалъ, братцы, про Мелитополь! слышалъ! это отъ насъ верстъ пятьсотъ будетъ! Еще оттуда,

то-есть — тѣфу! отсюда... коробейники къ намъ съ ситцами ходятъ. Ну, хватилъ же нечистый! въ полночи пролетѣлъ полъ-тысячи верстѣ.

Чумаки перестали курить.

— Такъ ты, стало-быть, не здѣшній? — спросили они.

— Не здѣшній... Я изъ Изюма, коли знаете. Еще сегоднѣ ходилъ тамъ по базару и купилъ себѣ шаровары, — зашѣтилъ Явтѣхъ, да и запнулся на этомъ словѣ. — То-есть, просто диво! — вздохнулъ онъ и, придвинувшись поближе къ чумакамъ, сталъ рассказывать обо всемъ дивномъ и непонятномъ, что съ нимъ случилось въ тотъ вечеръ.

«Съ пьяну!» — думали, глядя на него, чумаки.

— Да что, — сказалъ въ заключеніе Явтѣхъ: — я вамъ, братцы, скажу такое еще, что просто отъ смѣху за бока ухватишься... Дайте трубочки покурить... Какъ летѣли мы съ чортомъ, встрѣтилась намъ вѣдьма, рыжая да старая, такая старая, что только воронѣ пугать. Завидѣла меня у него въ лапахъ, подумала, что я — не казакъ, а дѣвка, потому что въ этой юбкѣ былъ, и вцѣпилась въ него. Нечистый выронилъ меня, а съ головы вѣдьмы свалился платокъ. Такъ она простоволосая и полетѣла съ нимъ подъ самыя звѣзды... Когда я падалъ сюда, вижу — по дорогѣ летитъ обрonnenный вѣдьмою платокъ; я его захватилъ налету съ собою! Должно быть, вещь важная! — заключилъ Явтѣхъ и, спрятавъ трубку за пазуху кофты, выложилъ передъ глазами чумаковъ яркій, невиданнаго цвѣта платокъ.

— Эка, бѣсово племя! да еще и козырится! — прибавилъ Явтѣхъ, собираясь спрятать находку, и видитъ: сзади его, на корточкахъ, сидитъ тощая, простоволосая старушонка и изъ-за его плеча протягиваетъ костлявую руку. «А! такъ ты тутъ?» — закричалъ Явтѣхъ, такъ что чумаки привскочили на мѣстѣ, и ухватился за сморщенную лапу вѣдьмы.

Вѣдьма заметалась, закричала, какъ заяцъ, когда собаки поймаютъ его за длинныя уши, и стала, подпрыгивая, подниматься съ Явтѣхомъ изъ кружка изумленныхъ чумаковъ. Тихо всплылъ онъ съ ней опять на воздухъ и, освѣщенный блескомъ костра, взмахнулъ ногами, сталъ исчезать въ темнотѣ, превратился въ красноватую тонку и скрылся... И долго еще чумаки, въ сѣрыхъ бараньихъ шапкахъ, сидѣли подъ стогомъ, съ опрокинутыми головами и неподвижно смотрѣли въ темное небо...

Какъ легкое перо, носимое вѣтромъ, летѣлъ Явгѹхъ по небу, держась за руку вѣдьмы. Вѣдьма бросалась изъ стороны въ сторону и стонала, выбиваясь изъ силъ. Наконецъ, она поднялась такъ высоко, что, какъ рассказывалъ впоследствии Явгѹхъ, чуть не зацѣпила за край мѣсяца и стала опускаться на землю. Явгѹхъ не унывалъ и, держась за ея руку, смотрѣлъ внизъ.

И вотъ, видить онъ, далеко-далеко внизу, сверкнули огоньки, сперва одинъ, потомъ два и, наконецъ, цѣлыя сотни. «Что бы это было такое? — думалъ Явгѹхъ, — у насъ въ Изюмѣ давно уже спать. Ужъ не Полтава ли это, или Бахмутъ?»

Воздухъ съ шумомъ летѣлъ мимо его ушей, а съ земли неслись къ нему навстрѣчу чудныя картины. Утесы и горы, покрытые лѣсами; на скалахъ каменная крѣпость, башни, лѣсъ, глубокия, какъ колодцы, долины и, наконецъ, цѣлый огромный городъ, залитый огнями. Явгѹхъ только высматривалъ, обо что ему придется грянуться и распротираться съ жизнью, и вдругъ почувствовалъ, что снова тихо и плавно на что-то опускается. Онъ сталъ на ноги, а вѣдьма, утомленная несеніемъ здороваго парня, воспользовалась счастливымъ мгновеніемъ, вырвалась у него изъ рукъ и съ быстротой молніи исчезла въ темномъ пространствѣ.

Явгѹхъ окинулъ взоромъ окрестность.

- Богатый городъ разстилался у его ногъ; онъ самъ стоялъ на плоской кровлѣ высокой башни. Гдѣ-же это онъ? и что это за городъ?

Башня помѣщалась въ нижнемъ отдѣленіи сада, идущемъ уступами въ гору. Вокругъ башни — рядъ тополей. Далѣе, вправо, небольшой прудъ, окруженный мраморною набережною; кусты широколиственника темнѣютъ здѣсь и тамъ, и мѣсяцъ ярко отражается въ стеклѣ пруда... Другая, болѣе высокая ограда окружаетъ и тополи, и прудъ, и башню. За садомъ виденъ просторный дворъ; его обступаютъ высокіе теремы, съ островерхими крышами и причудливо-рѣзными окнами и деревьями. Въ глубинѣ двора возвышается новая башня съ воздушнымъ крылечкомъ. Глядя на огоньки въ окошечкахъ домовъ, прилѣпленныхъ къ уступамъ горъ, между которыми легъ городъ, Явгѹху показалось, что по сторонамъ его не горы, а огромные дворцы, съ тысячами оконъ. «Нѣтъ, это не Полтава!» — сказалъ онъ самъ себѣ, и для того, чтобы убѣдиться, точно ли онъ все это видѣлъ на яву, а не во снѣ,

опъ ущипнулъ себя за ухо, а потомъ за носъ. Ничуть не бывало! онъ, точно, не спитъ и находится въ какомъ-то далескомъ, дивномъ городѣ.

Осмотрѣвшись еще нѣсколько вокругъ себя, Явтѹхъ протянулъ руку въ карманъ кофты и, вынувъ оттуда трубку, взятую у чумаковъ, а изъ шароваръ огниво, вырубилъ огня и, стоя на крышѣ башни, принялся курить и поглядывать на городъ, на скалы и небо. «Оно бы и выкупаться хорошо!»—подумалъ онъ, глядя на прудъ. И, нагнувшись съ башни, увидѣлъ, что сойти съ нея очень легко: тополь росла у самой ея крыши. Недолго думая, онъ уцѣпился за стволъ и сталъ спускаться на землю, но не успѣлъ миновать и половины дерева, какъ дверь изъ терема въ садикъ отворилась, и цѣлая толпа женщинъ, въ бѣлыхъ покрывалахъ и желтыхъ и красныхъ остроконечныхъ башмакахъ, потянулась черезъ крыльцо къ пруду. За женщинами шелъ черный губанъ-арабъ, въ широкихъ шароварахъ, зеленой чалмѣ и съ саблей у пояса. Сердце застыло въ груди Явтѹха, и руки приросли къ стволу тополя. Онъ остановился въ воздухѣ, а вошедшія женщины, не замѣчая его, съ хохотомъ и съ криками окружили прудъ и, въ пяти шагахъ отъ него, стали скидаты съ себя длинныя, легкія покрывала...

Найда, оставшись, между тѣмъ, глазъ на глазъ съ чортомъ, долго не могла опомниться: мнимый Явтѹхъ сидѣлъ передъ нею за столомъ и пристально глядѣлъ на нее. Наконецъ, онъ шевельнулся, поправилъ усь, кашлянулъ и протянулъ къ ней руки...

— Краля ты моя, Найда, садись возлѣ меня. Да обними, да поцѣлуй.

Найда вскочила.

— Сгинь ты, окаянный, нечистый!—крикнула она и бросилась въ другой уголъ хаты.

Бѣсъ засмѣялся и кинулся вслѣдъ за нею. Найда, не смотря на то, что приходилось возиться съ чортомъ, ловко увертывалась и отбивалась отъ него. Ужъ одна изъ лапъ нечистаго ухватила ее за рукавъ рубашки, а другая порвала нитку красныхъ гранатовъ, и тѣ со звономъ посыпались на столъ и по лавкамъ; ужъ она почувствовала на своихъ щекахъ дыханіе чорта. «Явтѹхъ, Явтѹхъ!»—закричала она въ отчаяніи и, однимъ взмахомъ руки отбившись

отъ объятій бѣса, кинулась въ темный чуланъ, заперла за собою дверь и наложила на нее крестное знаменіе. Чортъ грянулся въ двери и остановился. Найдѣ, въ страхѣ, смотрѣла въ замочную скважину и увидѣла странныя вещи...

Бѣсъ, принявшій образъ царя, сѣлъ за столъ, придвинувъ къ себѣ миску оставленныхъ варениковъ, досталъ съ полки здоровенную флягу водки и съ голоду принялся закусывать. Все было тутъ же вскорѣ очищено. Тогда чортъ принялся выглядывать, какъ бы удобнѣе лечь спать. Мостился онъ долго и безуспѣшно. Легъ на лавку—узко; легъ на полъ—холодно; легъ на печку—жарко... Охмѣлѣвшій бѣсъ подошелъ къ столу, на которомъ мѣсили тѣсто, и легъ прямо въ муку. Только и тутъ еще провозился немалое время: то ляжетъ такъ, что голова свѣситсѣ, то ляжетъ такъ, что свѣсятся ноги. Наконецъ, онъ легъ поперекъ стола, то-есть въ такомъ положеніи, что съ одной стороны свѣсились ноги, а съ другой голова, и заснулъ.

Найдѣ подождала еще нѣсколько времени, усмѣхнулась, отыскала впотѣмахъ свою шубку, постлала ее на сундукъ, начала молиться долго и не спѣша, перекрестила всѣ углы, окна и двери, легла тоже, свернулась клубочкомъ и заснула, еще не оправаясь отъ тревоги и волненія той ночи. И долго во снѣ ей мерещилось все, что она испытала, и пьяный сатана на столѣ, который храпѣлъ не хуже хмельного отца Найдѣ, какимъ тотъ возвращался иной разъ съ ярмарки.

Ни живъ, ни мертвъ сидѣлъ Явтѣхъ на тополи, держась за стволъ, и смотрѣлъ на непонятныя вещи, происходившія вокругъ него. Женщины, скинувъ покрывала, вопли въ ограду пруда и стали скидать съ себя серьги, золотыя шапочки, пестрыя туфли, наконецъ, стали расплетать длинныя косы. Надобно сказать, что Явтѣхъ былъ, вообще, храбръ и смѣлъ только съ своимъ братомъ; женская же красота совершенно отнимала у него всякую прыть... «Боже мой, Боже! что-жъ это будетъ?»—думалъ онъ, глядя изъ-за вѣтвей тополя на толпу раздѣвавшихся красавицъ.

Съ криками и хохотомъ кинулись незнакомки къ водѣ. Арабъ, зѣвая во весь ротъ, ушелъ въ теремъ.

Красавицы, между тѣмъ, услышавъ на ступенькахъ ограды и, скидая съ ножекъ башмаки, нехотя и шаловливо опускали ноги въ холодныя струи. Вотъ онѣ разстегиваютъ шелковые пояса, готовятся сходить въ воду.

«Господи, Боже мой! что-жь это я дѣлаю! зачѣмъ я смотрю на этихъ женщинъ? Вѣдь онѣ совсѣмъ и не знаютъ, что я тутъ»...

Недолго думая, спустился онъ съ дерева на землю, поднялъ одно изъ покинутыхъ покрывалъ и, закутавшись въ него, сѣлъ на берегу пруда. Купальщицы его примѣтили.

— Это кто?—закричали онѣ.

Явтѣхъ закутался съ головой.

— Это ты, Ханымъ?

— Это ты, Шерфѣ?—заговорили купальщицы и стали плескаться, прыгать и возиться, какъ маленькія рыбки.

«Ну,—думалъ Явтѣхъ, жмуря глаза:—что-то будетъ дальше?»

— Да что жъ-ты молчишь? Выходи, раздѣвайся и полѣзай въ воду, купаться съ нами.

— Ай, усы!!!—закричали вдругъ нѣкоторые, и всѣ пугливо бросились въ воду.

— Что вы испугались, добрыя пани?—проговорилъ Явтѣхъ:—я—мѣщанинъ изъ Изюма.

— Э! да это и вправду казакъ!—сказала одна изъ красавицъ по русски.

— Ну, да, казакъ!—прибавилъ Явтѣхъ:—лукавый бѣсъ занесъ меня и опустил вонъ на ту башню.

Возгласы изумленія раздались изъ воды.

— А скажите, пани, гдѣ это мы теперь... то-есть, какой это городъ?

— Бахчисарай.

— А далеко это будетъ отъ Изюма?

— Считаю самъ; это—столица Крымскаго царства...

— Крымскаго царства!—вскрикнулъ Явтѣхъ, всплеснувъ руками:—вѣдь это еще дальше Мелитополя будетъ!..

— Тс! что ты! не говори такъ громко, а то какъ разъ разбудишь всѣхъ во дворцѣ,—сказала незнакомка:—ложись лучше въ этотъ ящикъ; мы одѣнемся и тебя потихоньку пронесемъ въ наши комнаты.

— Да кто вы такія?—спросилъ Явтѣхъ, заноса ногу въ ящикъ.

— Мы—жены крымскаго хана! лежи смирно!

И красавицы бережно понесли его въ теремъ.

Когда Явтѣхъ почувствовалъ, что ящикъ снова опустили, онъ приподнялъ крышку и всталъ на ноги. Стѣны гарема, гдѣ онъ очутился, были обтянуты краснымъ сукномъ. По

полу валялись подушки. Зеркало надъ каминомъ было обито фольгою. Дрожащій свѣтъ лампы, изъ разноцвѣтныхъ стеколъ, лился съ потолка, и легкій дымъ курильницы, стоявшей у завѣшенной двери въ другую комнату, стлался по полу. Явтухъ не могъ надивиться на все это и, поднявъ голову, оглядывался по комнатамъ.

— Какой хорошенькій!—сказала одна изъ красавицъ по-своему.

— Какой страшный, да усатый!—прибавила говорившая по-русски.

— Давайте, сестрицы, свяжемъ ему руки, да одѣнемъ его въ наши наряды! Вѣдь одѣли же его гдѣ-то казачки въ юбку...

— Ахъ, да какой онъ смѣшной!—закричали остальные, хлопая въ ладоши и еще тѣснѣе окружая гостя.

Явтухъ вѣжливо и молча стоялъ передъ ними.

Одна изъ женъ обратилась къ нему съ просьбой:

— Повесели насъ твоими рассказами; какою силой занесло тебя сюда?

Просьбу эту ему перевели. Явтухъ почесалъ за ухомъ.

— Да что же такое я вамъ, пани-матки, расскажу? Я, право, и не знаю; языкъ какъ-то... того... не ворочается!

— А вотъ, мы его подмажемъ!—сказали болѣе догадливыя.

И съ этими словами его усадили на мягкія подушки, поставили передъ нимъ низенькій столикъ, а на столикъ большое блюдо съ яблоками, персиками, виноградомъ и татарскими пряниками, и принесли ему ханскій кальянъ.

— Начать съ того...—заговорилъ Явтухъ.

И всю ночь рассказывалъ онъ красавицамъ свои похождения, которыя тутъ же переводились. Когда на подносѣ не осталось ужъ ничего, Явтухъ всталъ и, покачиваясь, сказалъ:

— Теперь ужъ все! теперь ужъ я пойду отсюда...

— Какъ пойдешь?—спросили съ удивленіемъ красавицы.

— Да, мнѣ пора ужъ домой.

Въ комнату проникалъ блѣдный разсвѣтъ зари.

— Ахъ, какой ты чудной! Вѣдь самъ же говоришь, что отъ твоей родины до насъ чуть не тысяча верстъ.

— И то правда!—вздыхнулъ Явтухъ, почесывая за ухомъ:— а впрочемъ, нѣтъ, ужъ лучше я пойду!

— Да вѣдь вокругъ дворца течетъ рѣчка, и часовые стоятъ у поднятыхъ мостовъ! Если тебя увидятъ, да поймать, то приведутъ поутру къ хану, на дворцовомъ мосту

отсѣкутъ тебѣ голову, положить тебя въ мѣшокъ, да такъ, безъ головы, и бросить въ воду.

— Э, нѣтъ, я ужъ лучше пойду!—твердилъ Явтѹхъ, пробираясь сквозь толпу красавицъ къ двери.

— Такъ хотъ, по крайней мѣрѣ, погоди ты, бѣшенная голова! Мы тебя вынесемъ опять въ ящикъ въ садъ, и ты опять влѣзешь на крышу; оттуда спустишься на улицу; авось, найдешь въ городѣ какого-нибудь жиды: онъ тебя и вывезетъ въ таратайку, подъ мѣшками.

И, уложивъ его снова въ ящикъ съ нарядами, красавицы вынесли его въ садъ. Явтѹхъ толкнулъ крышку и оглянулся вокругъ себя.

Мѣсяцъ опустился за гору, и румяная полоса на другомъ концѣ города показывалась изъ-за плоскихъ крышъ. Въ воздухѣ свѣжѣло. Роса сверкала на листьяхъ цвѣтовъ. Отблескъ зари прокрадывался по островерхимъ минаретамъ, плоскимъ крышамъ саклей и по трубамъ позолоченныхъ кровель ханскихъ дворцовъ.

Явтѹхъ протеръ глаза: чтѣ это такое? Передъ самымъ его носомъ торчитъ опять вчерашняя рыжая старушонка.

— Не унывай, казаче!—говоритъ она:—прости меня и забудь прошлое; дай только мнѣ найти да порядкомъ проучить того косопалаго, чтѣ тебя вчера обидѣлъ, такъ я мигомъ тебя донесу домой.

— Кого найти, какого косопалаго?—спросилъ съ изумленіемъ Явтѹхъ.

— Чорта!—отвѣтила вѣдьма:—моего губителя, изверга! Онъ теперь заперся на мельницѣ съ твоею невѣстою и сидитъ тамъ всю ночь, окаленный.

— Съ моею Найдю?—закричалъ во все горло Явтѹхъ и такъ ухватился за тоненькую лапу вѣдьмы, что та не взвильла свѣта:—неси меня, распропацая твоя душа! неси, а не то, вотъ клянусь тебѣ, измѣлю тебя въ табакъ!

И, вскочивъ на спину вѣдьмы, Явтѹхъ стиснулъ ее коленями, засучилъ рукава и поднялъ здоровенные кулаки. Вѣдьма сперва пошатнулась, заскреблась лапками, какъ мышь; но потомъ понемногу выпрямилась, подпрыгнула и стала подниматься съ парнемъ на воздухъ. Она полетѣла сперва къ крышѣ терема, потомъ черезъ дворъ къ мечети; а наконецъ, стала косвенно подниматься кверху. Ханская стража замѣтила ихъ. Во дворѣ, въ саду и на улицѣ под-

нялся сильный переполохъ. Махали саблями, раздавались крики, даже послышался ружейный выстрѣлъ. Но трудно было догнать улетѣвшихъ: поминай какъ звали...

Сидя на плечахъ вѣдьмы, Явтѣхъ недоумѣвалъ, какъ это оца, не двигая ни руками, ни ногами, летитъ быстрѣ облака, гонимаго вѣтромъ. Въ это время онъ поднялся такъ высоко, что кое-гдѣ на землѣ еще были сумерки, а онъ уже увидѣлъ вдаль красный шаръ солнца, которое будто купалось въ волнахъ большого озера, готовясь выкатиться въ ясное небо.

— А какое это озеро, тѣтка?—спросилъ Явтѣхъ у вѣдьмы.

— Это—Черное море! тамъ много хорошей тарани, да и всякой другой рыбы.

«Э!» подумалъ Явтѣхъ и отшатнулся.

Прямо въ глаза ему налетѣла легкая прозрачная тучка, и онъ исчезъ въ ней, точно въ волнахъ серебристой кисеи. Когда онъ вылетѣлъ снова на свѣтъ, въ его волосахъ и на рубашкѣ блестѣли капли росы, а тучка далеко-далеко внизу виднѣлась лиловою точкою.

Въ иныхъ мѣстахъ, когда ужъ нѣсколько разсвѣло, онъ увидѣлъ въ воздухѣ раннихъ жаворонковъ, у которыхъ глаза еще спали, а они ужъ поднялись въ небо и славили своими пѣснями восходящее солнце.

Изъ трубы какого-то села вылетѣлъ, въ серебряной одеждѣ, свѣтлый духъ, держа на рукахъ что-то.

— Это что такое?—спросилъ Явтѣхъ.

— Это ангелъ Божій уноситъ въ небо только-что умершую дѣвушку!

«Ужъ не моя ли Найда?» вздохнулъ Явтѣхъ.

Въ другомъ мѣстѣ онъ совершенно наткнулся на распластаннаго подъ облаками коршуна, который сторожко глядѣлъ внизъ, въ траву, и выбиралъ себѣ утреннюю поживу. Явтѣхъ хотѣлъ ему дать по дорогѣ порядочнаго тумака, но одумался, чтобъ не сорваться съ вѣдьмы, и полетѣлъ далѣе.

— А это какія голубыя облака?—спросилъ онъ вѣдьму.

— Это—Черкесскія горы, покрытыя снѣгомъ, и снѣгъ этотъ никогда на нихъ не таетъ.

— Какъ никогда не таетъ?

— Такъ же, никогда!

— Стало быть, и въ косовицу не таетъ?

— И въ косовицу не таетъ.

«Чудеса, да и только!» подумалъ Явтухъ и сталъ снова всматриваться въ безконечныя пространства земли, выходявшей подъ нимъ изъ ночныхъ сумерекъ.

— Ну, а то что такое?—спросилъ онъ, указывая пальцо, черезъ плечо:—точно жаръ горить; должно быть, чумаки чужіе дѣса подожгли?

— Это—городъ Кіевъ, и въ немъ такъ золотыя главы церквей горятъ!

«Э!—подумалъ про себя Явтухъ, —какой же важный городъ Кіевъ, да никакъ въ немъ уже и къ заутрени благовѣстять?—И онъ еще пристальнѣе началъ вглядываться внизъ.—Послушай... какъ тебя звать? Мавра Онуфриевна, что ли?.. это ужъ и на базаръ выходятъ? Ишь ты, какъ народъ повалилъ на улицы; должно быть ярмарка!

— Въ Кіевѣ каждый день ярмарка; ужъ такой, хлопче, городъ удался!..—замѣтила вѣдьма и понеслась еще быстрѣе.

— Да куда тебя несеть такъ? погоди, скажи-ка, тѣтка, гдѣ Москва?

— Москва, казаче, такъ далеко, что нужно еще въ десять разъ подняться выше, и тогда увидишь не всю Москву, а одного Ивана Великаго, да Царь-пушку.

— Ну, а вонъ то что такое танцуетъ?—спросилъ, помолчавъ, Явтухъ.

— То плясовицы, бабы некрещенныя, выходятъ всякое утро, рано на зарѣ, съ распущенными косами, на вершинахъ кургановъ солнце встрѣчать... Пора, пора!—проговорила неровнымъ голосомъ вѣдьма:—надо пѣтуховъ обогнать...

И она помчалась стрѣлой.

— Какъ пѣтуховъ обогнать?

— Подъ нами, какъ пролетали Катериновку, давно ужъ въ первый разъ прокричали... Скоро прокричатъ въ другой разъ, а до третьихъ пѣтуховъ надо все покончить.

— Эхъ ты, мышиная кума, гдѣ была!—замѣтилъ весело Явтухъ, покачивая головою.

— Что ты сказалъ, хлопче?—спросила вѣдьма, оглядываясь на него.

— Я спрашиваю, что это такое выяснилось тамъ внизу, точно коровы идутъ по зеленой травкѣ?

— Это—вправо Даниловка, пальцо Гусаровка, далѣе Пришибъ, Петровское, а еще далѣе Харьковъ.

— Ну, а это какія серебряныя ленты протянулись, точно амфи по лугамъ?

— Это, казаче, рѣки Донецъ, Берека да Торець со своими озерами...

Не успѣлъ оглянуться Явтѹхъ, какъ земля, горы, лѣса и весь Изюмъ понеслись къ нему навстрѣчу.

— Тихе, тихе!—закричалъ Явтѹхъ, камнемъ падая на кривую березу, что росла у самой мельниковой хаты.

— Ничего, хлопче! сиди только смирно!—отвѣтила вѣдьма и тихо опустилась на землю, подъ березой у порога хаты:—теперь слѣзай съ меня и отворяй двери; твоя невѣста ихъ перекрестила, и мнѣ туда не войти.

Явтѹхъ сталъ на ноги, хотѣлъ войти въ дверь.

— Нѣтъ, погоди! чортъ теперь спяна спать, такъ ты его не буди, а прежде ступай въ кладовую и выводи оттуда свою красавицу. Съ косопалымъ же я сама справлюсь!..

Съ трепетомъ подошелъ Явтѹхъ къ кладовой, въ которой спала Найдѣ. Чуть переводя духъ, онъ взялся за дверь; еще въ первый разъ въ жизни онъ переступалъ порогъ, за которымъ спала его суженая. Онъ повернулъ скобку двери и остановился. — «Нѣтъ, подумалъ онъ, махнувъ рукой;— не войду!» и прибавилъ шепотомъ, наставивъ губы къ замочной скважинѣ:

— Найдѣ, вставай, одѣвайся, выходи...

— Кто тамъ?—спросилъ тихій, чуть слышный голосъ.

— Это я, Явтѹхъ... твой Явтѹхъ, моя кралечка!

— А если ты Явтѹхъ, а не тотъ, что лежалъ на столѣ, такъ перекрестись: я буду въ щелку смотрѣть.

Явтѹхъ перекрестился; дверь отомкнулась; Явтѹхъ и Найдѣ бросились другъ къ другу.

— Какой же ты странный, Явтѹхъ, въ этомъ нарядѣ!

— Ничего, моя зорочка, пойдемъ отсюда; послѣ я тебѣ все расскажу.

Онъ тихо увлекъ ее изъ хаты и тутъ только, проходя мимо двери, замѣтилъ, какая образаина лежала на столѣ, свѣсивъ на полъ ноги и отекающую пьяную голову. Они вышли на крыльцо, а вѣдьма съ порога прыгнула въ хату, и скоро тамъ послышались крики, брань, визгъ, шумъ, и въ растворенную дверь запыхавшаяся вѣдьма злобно вытасила за чубъ мнимаго казака.

— Вотъ я тебя, вотъ!—кричала она, трепля бѣса за волосы,

какъ бабы треплютъ мочки льна: — готъ я тебя! теперь не скажешь, что не бражничаешь, да не гоняешься за дѣвками.

— Да что вы! да помилуйте! — стоналъ жалобнымъ голосомъ чортъ, успѣвшій принять свой бѣсовскій образъ.]

— Вотъ я тебя!.. а?.. за дѣвками? — и градъ кулаковъ сыпался на сатану. Къ его счастью, прокричали пѣтухи.

Вѣдьма опять ухватила худого бѣса одною рукою за хвостъ, а другою за загривокъ, повернула его вверхъ ногами и поднялась съ нимъ на воздухъ.

— Вотъ тебѣ и на! — усмѣхнулся Явтѣхъ, прижимая къ сердцу Найдѣ: — заплатилъ-таки вражій сынъ! Ишь ты, какъ удираютъ! точно москаль съ краденымъ индюкомъ на ярмаркѣ... Ну, ужъ ночка! — прибавилъ онъ, нѣжно глядя на Найдѣ и ласкаясь къ ней.

— Да! — сказала, вздохнувъ, Найдѣ: — а ты гдѣ былъ все это время?

— Въ Крыму, — отвѣтилъ Явтѣхъ.

— Какъ въ Крыму? въ крымскомъ царствѣ?

— Въ крымскомъ царствѣ...

— Любить прибавить, брехунъ, да нехотя повѣришь, что былъ онъ сегодня въ Крыму! — проговорилъ у Явтѣхъ за плечами басистый голосъ: — нехотя повѣришь послѣ всего, что сейчасъ видѣлъ.

Явтѣхъ и Найдѣ оглянулись. За ними, на подлѣхавшей телѣжкѣ, сидѣлъ старый мельникъ и, закинувъ кверху голову, смотрѣлъ въ небо.

— Все расскажу вамъ, Семенъ Потаповичъ! — сказалъ Явтѣхъ, кланаясь въ поясъ мельнику: — ничего не утаю, только отдайте за меня Найдѣ.

И онъ замеръ въ ожиданіи отвѣта. Найдѣ стояла въ сторонѣ, закрывъ лицо рукавомъ.

Мельникъ сбросилъ съ телѣги кучу пустыхъ мѣшковъ, слѣзъ на-земь, перекинулъ на спину лошади вожжи и, взявшись руками въ бока, задумался.

— Развѣ ужъ потому, — сказалъ онъ, наконецъ, поглядывая поверхъ хаты: — что счастливо продалъ муку въ Чугуевѣ! Такъ и быть, дочка; такъ и быть, Явтѣхъ! Только ужъ ты, братъ, не отвертись, расскажешь все, какъ было!

ПЕНСИЛЬВАНЦЫ И КАРОЛИНЦЫ.

(ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОКЪ ГУБЕРНСКАГО ДЕПУТАТА А. С. С.).

«О, родина моя!..»

N. N.

Не даромъ зовутъ наши новороссійскія степи и нашу Украйну краемъ крайностей. Здѣсь въ одной сторонѣ какъ будто одолѣвають преданія старосвѣтскія, представители которыхъ, въ незлобїи души и тучности тѣла, желаютъ сохраненія всего, что было прежде, или, какъ говорятъ здѣсь, сохраненія «дѣдовщины» и «батьковщины». Съ другой—здѣсь ясно забираютъ силу молодые побѣги явленій новыхъ, наплывныхъ, колоніальныхъ, для которыхъ еще столько хранятъ простора наши пустынные, воспримчивыя и привольныя степи. Чуждыя всякаго консерватизма, онѣ отъ созданія міра свободно пропустили черезъ себя тучи всякихъ бродячихъ, переходныхъ племенъ и всякихъ понятій и вѣрованій, оставляющихъ послѣ себя либо благодатныя сѣмена, либо темные и непонятные слѣды, въ родѣ здѣшнихъ таинственныхъ истукановъ, нашихъ смиренныхъ «каменныхъ бабъ». По всѣмъ новымъ вопросамъ тутъ рѣшительно тѣ же Соединенные Штаты Сѣверной Америки, съ которою наша молодая Украинская Новороссія имѣетъ столько родственнаго. Недаромъ и для слова колонія здѣсь давно есть свое слово «займка». Такъ и по крестьянскому дѣлу здѣсь явились свои пенсильванцы и свои каролинцы, свои Сѣверные Штаты, поклонники эмансипаціи, и свои южные противники ея.

Сравненіе съ Соединенными Штатами Америки озадачить читателя.

Но право такъ. Наша степная, украинская колонія имѣтъ много общаго съ родиной и любимымъ дѣтищемъ Вашингтона. Здѣсь кроются дѣльные уроки и для нашей Метрополіи. Та же благодатная дѣвственная почва и пока та же испорченность первыхъ ея колонизаторовъ. Позднѣйшіе пришлецы, поселенцы новые, идущіе и бѣгущіе сюда безъ обветшалыхъ привилегій на готовый, вѣками заготовленный трудъ, безъ старыхъ претензій и предразсудковъ, съ однимъ путеводителемъ—силою рукъ и жаждою честныхъ работъ, и съ живыми, бойкими и смѣлыми денежными капиталами, захватываютъ здѣсь теперь послѣднія, еще незанятые мѣста. Та же здѣсь, какъ и въ Америкѣ, смѣсь сословій и народовъ, и та же поэтому горячая мѣстная борьба умирающаго съ начинающимъ жить. Только нѣтъ тутъ еще, какъ въ странѣ Бостона и Филадельфіи, ни каналовъ, ни очищенныхъ и оживленныхъ рѣкъ съ громадными пароходами, нѣтъ пятисотъ-тысячныхъ населеній въ здѣшнихъ смиренныхъ, еще первобытныхъ казацкихъ городкахъ, восемьдесятъ лѣтъ назадъ бывшихъ маленькими и глухими запорожскими «заимками». Лѣнятся еще эти «заимки» и до сихъ поръ у тощихъ рѣченокъ, на пустынныхъ равнинахъ, въ пологихъ и тихихъ степныхъ котловинахъ, не увѣнчанныя пока ни исполинскими трубами паровыхъ фабрикъ, ни складочными магазинами всесвѣтной торговли. Рѣки плывутъ себѣ тихо, омывая малолюдныя поля, бревенчатые и малолюдные хутора и жалко вспаханныя нивы и прыгая, какъ во времена былыя, какъ, вѣроятно, было и при Адамѣ, черезъ каменные гряды непобѣжденныхъ пороговъ. Молчатъ наши степи. Ихъ зеленныя равнины не оглашаются еще звуками желѣзныхъ чудовищъ, въ иныхъ странахъ давно раскидывающихъ свои дымовыя полосы по вѣтру. Попрежнему здѣсь, съ весны, бродятъ по пустыннымъ, пыльнымъ «пшяхамъ» тяжелые чумаки, лѣнливо погоняющіе своихъ лѣнливо пагающихъ воловъ. Осенняя и весенняя грязь у насъ еще, попрежнему, историческая грязь. Многого еще, многого здѣсь нѣтъ. Зато уже появляются у насъ новые, небывалые люди—«степные янки». Это—сыновья бѣдныхъ помѣщиковъ, новыхъ купцовъ и чиновниковъ, кончившіе курсъ въ университетахъ и неслужащіе. Бойкіе и ловкіе практики, они ищутъ работъ другихъ, горячихъ и болѣе подвижныхъ. Рыская съ мелкими, сколоченными капиталами, они съ виду мало разнятся отъ

тѣхъ же нашихъ купеческихъ подрядчиковъ и приказчиковъ приморскихъ хлѣбныхъ конторъ, отъ бродячихъ кулаковъ, странствующихъ маклеровъ и прочей перелетной торгующей птицы, съ давнихъ поръ, еще отъ генуэзцевъ, населяющихъ шумными кочевьями наши степныя и побережныя мѣста и отважно свивающихъ нынѣ свои гнѣзда тамъ, гдѣ водились еще недавно одни цапли да пеликаны. Странствуя въ мѣщанской дубленкѣ и сапогахъ выше колѣнъ, эти небывалые господа, янки, являются сюда въ видѣ коммисіонеровъ, агентовъ и директоровъ разныхъ новыхъ обществъ. И смотришь—то тамъ, подъ ихъ началомъ, склеилась контора, то здѣсь уладилось и пошло вѣрное и бойкое торговое дѣло, создаются фабричныя дома, огромныя паровыя мельницы. Это—квартиргеры нашихъ будущихъ Вашингтоновъ. Какъ на диковинку, еще засматриваются здѣсь на ихъ бодрія, здоровыя и какія-то сіяющія лица. Это же по преимуществу—и наши пенсильванцы. Но есть у насъ, повторяю, и свои каролинцы. Эти большею частью сродни римскимъ гусамъ. На первомъ словѣ у нихъ старина и бывлыя патріархальныя преданія. Тайнственныя и мрачныя патріоты, господа каролинцы большею частью опираются на примѣры старобытной, старосвѣтской Малороссіи. Это—наши южныя казакофилы, хотя въ старомъ казачествѣ было болѣе свободы, чѣмъ въ ихъ требованіяхъ. Ихъ вѣншнее знамя—поклоненіе салу и вареникамъ. Ихъ идеаль—возвращеніе родныхъ степей ко временамъ Хмельницкаго. Небольшой кругъ нашихъ любимыхъ народныхъ писателей съ ними ничего не имѣетъ общаго. Они плачутъ надъ виршами Сковороды, считая этого мистика за поэта, плачутъ надъ слабѣйшими изъ повѣстей Квитки и не признаютъ Гоголя. А наши дни, наши вѣрованія—имъ не по сердцу. Словомъ, здѣсь—какъ вездѣ: умъ работаетъ, безуміе ему несетъ преграды...

Свѣдѣнія о помѣщичьихъ имѣніяхъ были собраны и внесены въ губернскіе комитеты. Комитеты открыли и закрыли свои засѣданія. Много высказалось дѣльныхъ мыслей, много выдвинулось живыхъ людей. Пенсильванцы и каролинцы, аболіціонисты и анти-аболіціонисты, сошлись на послѣдней исторической раздѣлкѣ, вступили въ борьбу, спорили, писали, составляли сходки, ополченія. Губернскій застой ожилъ и передалъ движеніе уѣздамъ. Уѣзды раздѣлились на свои враждебныя станы, зашумѣли, а кое-гдѣ шумятъ и до

сихъ портъ. Изъ городовъ волненіе перешло въ хутора и деревушки. Въ городахъ оно давало волны большія, морскія, если не волны самого океана; здѣсь оно отозвалось мелкою зыбью рѣченокъ. Ожились такіе дома, гдѣ уже все, казалось, давно умерло, отпѣто и погребено. Тутъ также открылись ставни, крыльца усыпались песочкомъ, въ комнатахъ явились гости и все спорщики. Явились сюда и невиданныя здѣсь вовсе газеты. Старые, забытые очки вынуты изъ ящика; пожелтѣлыя стекла въ нихъ протерты, заржавленные ободки вычищены. Читаются правительственные циркуляры, списки выборовъ, программы; читаются печатныя журнальныя статьи. Тамъ съѣздъ, тутъ съѣздъ. На съѣздъ къ холостымъ депутатамъ даже являются непрошенными шестидесятилѣтніа барыни-хуторянки съ молодыми внучками. И имъ подавай циркуляры и списки, и имъ объясняй программы и печатныя статьи. Враги барынь находятъ даже, что эти неожиданныя наѣзды съ ихъ стороны — не болѣе какъ ловкое видоизмѣненіе прежнихъ способовъ выставить на показъ своихъ засидѣвшихся невѣсть: то возили на балы, а теперь — на гражданскія сходки... Подмѣшалась тутъ, разумѣется, и всегдашняя уѣздная и губернская грязь. Она смѣло лишнетъ къ колесамъ нашей торжественной колесницы. Бездарные уѣздные остряки прежде потѣшались уличными сплетнями, описывая въ тупоумныхъ пасквиляхъ какіе-нибудь смиренные балы и семейные вечера, куда они сами же первые подобострастно вторгались. Теперь эти уѣздные памфлетисты перенесли свои стрѣлы на степенныхъ депутатовъ по крестьянскому дѣлу. Къ чести пенсильванцевъ надо сказать, что они, какъ партія пока торжествующая, не прибѣгаютъ къ этимъ пасквилямъ. Зато каролинцы носятъ усердно въ своихъ сановныхъ и горделивыхъ карманахъ замасленные списки сатиръ на своихъ ненавистныхъ собратій и сами на старости лѣтъ становятся памфлетистами, какъ школьные мальчишки. Составляются враждебныя эманципаторамъ сходки, адреса; пишутся угрожающія, надменные письма...

А время идетъ своимъ путемъ, и пенсильванцы все-таки празднуютъ пока побѣды, задаютъ пиры, произносятъ рѣчи. Избиратели видятъ, кто торжествуетъ, и заранѣе со вздохомъ спѣшатъ кроить на новый ладъ свой бытъ, свои вѣрованія и свои привычки. Много драмъ разыгрывается въ маленькихъ хуторахъ, много надеждъ разбивается подъ со-

ломенными и камышевыми кровлями, много позднихъ и спасающихъ уже слезъ проливается изъ старыхъ глазъ. Нашихъ Кавуровъ зовутъ предателями, нашихъ Меттерниховъ превозносятъ послѣдними и безплодными оваціями. Старики взываютъ, что дожили до временъ, когда придется имъ повѣсить на деревьяхъ свои люти и «сѣдѣти и плакати на рѣкахъ. вавилонскихъ». Молодые ждутъ не дождутся увидѣти зарю жизни новой. Въ печальныхъ попыткахъ только тѣ, кто, какъ дѣвы библейскія, въ ожиданіи прихода жениха, найдены врасплохъ съ угасшими свѣтильниками. А солнце свѣтитъ по-былому, по-старому, такъ же взойдетъ, поглядитъ во всѣ яркіе глаза, повеселитъ степь и пажити, сады и покосы и закатится. Дни идутъ; жатва спѣетъ; серпъ и коса машутъ и блестятъ на солнышкѣ. День прошелъ; зной смѣняетъ прохладой душистаго, степного вечера. Новыя села тѣснятся между хатами старыхъ: это—хлѣбныя и сѣнные клади новаго сбора, загромождающія собою токи и дворы. Пыль клубится. По дорогѣ съ поля ползутъ громадные золотые жуки, скрипя и звеня по пригорку: это ѣдутъ возы, нагруженные червонно-золотыми копнами пшеницы. На возахъ ѣдутъ хуторянки. Черные, бойкіе глаза смотрятъ отсюда. Длинный, въ ладонь шириной, горделивый косы качаются надъ снопами. Вечеръ тихъ. Только черные глаза посматриваютъ на одинокій степной проселокъ. Съ нимъ сливается за пригоркомъ битая столбовая дорога. По ней летятъ почты и курьеры. И вьется дорога столбовая далеко,—далеко туда, гдѣ лежитъ милый и пока молчаливый сѣверъ.

Былъ полдень. Мѣсто—подъ Сагайдачнымъ Лугомъ, гдѣ сходятся дороги изъ макарославскаго уѣзда въ южнобайрацкій.

Мы ѣхали опять съ Говорковымъ и въ той же нетечанкѣ, въ которой представились впервые читателю, по пути въ Сорокопановку. Теперь мы пробирались на Желтыя Воды, на отдыхъ послѣ трудовъ комитетскихъ.

Товарищъ мой и бывшій секретарь, въ той же гороховой шинелькѣ и смятомъ картузѣ, обдаваемый клубами бѣлой густой пыли, умирая отъ зноя и духоты, попрежнему не унывалъ и ободрялъ меня рассказами.

— Слышали вы, Александръ Сергѣичъ, у Нидемацкихъ опять съѣздъ?

— Нѣтъ, не слышалъ.

— Эти господа такъ и мѣтять въ колонновожатые, такъ и хотятъ попасть въ кругъ передовыхъ, передъ нашими смиренными Павлѣнками, Дублѣнками, Макаренками и Назарѣнками!

Клубъ новой, убійственной пыли обдалъ опять нетѣчанку и скрылъ на мгновеніе Говоркова. Но опять высунулись оттуда его голова и рука. Онъ силился дохнуть чистымъ воздухомъ и кашлялъ.

— А слышали вы, что не только господинъ Пяльскій, добрыйшій, впрочемъ, старикашка, едва умѣющій подписать свое имя, сочинилъ цѣлый проектъ эмансипаціи,—даже барыня Забайрачная уневѣстилась пишущей братіи! Вообразите, эта барыня, кромѣ шутокъ, сочинила и написала собственноручно, говорятъ даже на картузной какой-то бумагѣ, полный проектъ эмансипаціи для края, возить его въ каретѣ шестерикомъ, устраиваетъ литературные вечера, тычетъ его каждому, ѣздила съ нимъ къ губернатору и чуть не разбила губернскаго предводителя на улицѣ за то, что тотъ отъ нея бѣгалъ, какъ отъ чумы, и семь разъ ей не сказался дома. То-то бойкая дама!

— Вы сегодня, Абрамъ Ильичъ, очень злы, осыпаете насмѣлками даже полезныхъ людей.

— Со смѣху люди бываютъ!—заключилъ Говорковъ и закашлялся. Пыль рѣшительно залѣпила ему все горло.

— Впрочемъ, нынче уже всѣ тычутся въ передовые, да поздно! И рада-бъ теперь наша мама за пана, да панъ не беретъ!.. Охъ, проклятая пыль!..

И онъ опять закашлялся и скрылся въ пыли.

Скоро мы спустились въ долину. Дорога пошла зеленымъ, сыроватымъ лугомъ, безъ пыли и духоты. Впереди рисовались вербы и поселокъ. Это была недавняя еще слобода бывшихъ южныхъ военныхъ поселеній.

Сбитыя и полуразрушенныя кирпичныя пирамидки вели къ слободѣ, по бокамъ всей дороги. Онѣ имѣли прежде назначеніе скрапивать и указывать дорогу и бѣлились поэтому, чистились и поправлялись ежегодно міромъ. Теперь ихъ тайкомъ поселяне развозили на поправку печей. Идали еще, при въѣздѣ въ околицу, мы увидѣли полосатые столбы и шлагбаумъ съ цѣпью сельской, нынѣ упраздненной также, гауптвахты. Намъ, при въѣздѣ въ слободу, никто уже не

опустилъ роковой перекладки. Заржавленная, забытая цѣпь ея уныло висѣла. На тяжеломъ концѣ праздно взброшеннаго шлагбаума сидѣла стая воронъ. А на площадкѣ тутъ же лѣпившейся маленькой гауптвахты бѣгала и шумно суетилась безпечная толпа ребятишекъ, весело крича и со смѣхомъ сѣдая другъ друга. Улицы, по случаю полевыхъ работъ, были совершенно пусты.

— Вотъ, — замѣтилъ Абрамъ Ильичъ: — тутъ недалеко живеть отставной капитанъ, имѣеть свой собственный хуторокъ и десять тысячъ капиталу въ сундукѣ. Онъ былъ здѣсь военнымъ волостнымъ, и я его коротко зналъ, даже чай у него пивалъ. Вообразите, онъ всегда говорилъ, вмѣсто гауптвахты—абафта, вмѣсто слишкомъ—слишкомъ, вмѣсто—комитетъ—комикетъ, а отлично зналъ службу...

— Абрамъ Ильичъ, пощадите! Лучше взгляните, какова слободка: заглядѣнье!

— Да-съ, свободное нынѣ, государственное село! — И, вздохнувши, онъ повелъ кругомъ тусклыми, желтоватыми глазами. Кучеръ тоже, какъ бы угадавши наши мысли и давая лошадямъ посмотрѣть на село, ѣхалъ шагомъ.

Мы оба переглянулись: такъ, очевидно, измѣнились образъ слободки, которую мы оба знали. Видно урожай особенно великъ былъ въ эти два года. Село домилось отъ хлѣба и сѣнныхъ стоговъ. Я особенно всегда любилъ эту слободку, сорокъ лѣтъ назадъ вольную и обращенную потомъ въ военное поселеніе. Лучшихъ временъ ея я не помню. Сорокъ лѣтъ прошло, и она опять принимала прежній, домашне-пестрый видъ. Поселяне радовались, что они опять—хуторяне... Прежде всѣ хозяева до одинаго чумаковали, то-есть ходили въ Крымъ за солью и на Донъ за рыбою. Теперь хозяева-землепашцы опять начинали составлять чумацкія «валки». На эту слободку нельзя было не наглядѣться. Переставши быть Новосамарскомъ и ставши опять былою, тихою Цвѣтовѣнкой, она особенно привлекала взоры, какъ всѣ здѣшнія государственныя села, своимъ хлопотливымъ, добродушнымъ домоводствомъ и свойственнымъ хуторянамъ довольствомъ малымъ. При взглядѣ на ея бѣлыя хатки, гнѣздившіяся въ разсыпку, по пригоркамъ ея извилистыхъ, между ярами и буграми, улицъ, казалось, что эти хатки строили бобры, а ласточки ихъ обмазывали. Хатка на хаткѣ и садъ переплетается садомъ. А внизу—пруды, одинъ вы-

текаетъ изъ другого; въ нихъ много рыбы. Вербамъ обсажены берега. Улицы выются между садами. И все зелень, да бѣленькія хатки, да гладенькія соломенные крыши. Четыре церкви, усердно содержимыя обществомъ. Въмѣсто волостного — выборный изъ селъ голова, въ простой, долгополой свитѣ, по мѣстному степному обычаю — безъ бороды.

— Хорошо село! — проговорилъ даже нашъ кучеръ, ткнувши въ воздухъ кнутомъ съ козелъ нетечанки.

— Какъ бы, однако, сюда не затесался волостной, въ родѣ того, что вмѣсто гауптвахты говорить «абафта!» — заключилъ мой спутникъ.

— Трогай! — сказали онъ кучеру, и мы выѣхали опять въ поле.

Лошади пробѣжали еще часа два или три. До подорожной корчмы, гдѣ мы разсчитывали кормить, оставалось не болѣе пяти верстъ. Надо было только переѣхать новую долину и рѣчку. Кучеръ сталъ уже спускаться въ долину. Намъ дремалось. Вдругъ онъ вскочилъ, замахалъ кнутомъ и давай кричать по-своему: «О-о! ге-е-й! а ну, бисовы сыны, поийте съ мосту!» Нетечанка стала.

— Что ты?

— Да глянтье, вонъ...

И онъ указалъ кнутомъ. Съ пригорка видны были внизу рѣка и узенькая, жалкая плотинка. Два громадные обоза передними возами съѣхались — одинъ съ той стороны рѣки, а другой съ этой, съѣхались на самой плотинкѣ, сѣпнулись колесами и не могли податься ни впередъ, ни назадъ. Кучка озадаченнаго народа копошилась близъ сѣпнувшихся колесъ. Другіе сидѣли молча или тутъ же стояли, ковыряя въ носахъ. Кучеръ съ бранью всталъ и пошелъ къ плотинкѣ, помахивая кнутомъ.

— Что мы будемъ дѣлать? — сказалъ я въ досадѣ: — солнце заходить, а обозы столкнулись такъ, что, какъ говорится, когда задъ ихъ спать собирается и кашу варить, то передъ уже Богу молится и отиравается въ походъ.

— Извѣстное дѣло, будемъ ждать! — началъ Говорковъ: — теперь ихъ самъ чортъ не разведетъ... Я уже знаю, какъ это дѣлается! Должно-быть, вожаки ѣхали себѣ да ѣхали, то-есть шли себѣ, помахивая кнутами. Каждому захотѣлось понюхать у встрѣчнаго табаку. Вотъ, забывая о томъ, что сзади двигалась громада другихъ возовъ, они и съѣхались

па мостку. «Здравствуйте!»—«Здравствуйте!»—«А ке, лишень, дядьку, кабаки!» Тотъ и подставилъ тавлинку. Нюхаютъ и нюхаютъ, и другіе слазятъ съ возовъ и тоже нюхаютъ. А возы себѣ сходятся и сходятся. Ну, колеса затрещать, они и ахнутъ...

Кучеръ нашъ воротился разобиженный.

— Ну, что?

— Обломались, съ хурами соли, какъ разъ на мосту...

— А что! Я же вамъ говорилъ!—съ радостію крикнулъ Говорковъ:—теперь тутъ ужъ просидимъ до вечера.

— Когда-бъ до вечера:—замѣтилъ кучеръ:—возовъ и до утра не разведешь; съ плотины некуда податься—надо разгружать хуры...

Мы слѣзли съ нетечанки, легли на травѣ и закурили сигары. Долго еще возились чумаки у возовъ. Долго еще неслись оттуда брань и споры. За нами раздался звонокъ и стукъ колесъ. Черезъ минуту съ горы показался экипажъ, четверкой, въ пыли. Не зная, подобно намъ, что было внизу, онъ стремглавъ, звеня бубенчиками и колокольчикомъ, понесся туда. Крики нашего кучера остановили его. Двѣ бѣлыя холстинковыя фуражки высунулись изъ оконъ крытой коляски.—«А? что?»—спрашивали въ сумеркахъ фуражки. Мы рассказали, въ чемъ дѣло.—«Ну, Павладій, бери вправо по берегу!»—стойчески заключили фуражки, знавшіе, видно, лучше насъ нужныя споровки при подобныхъ встрѣчахъ. Мы спросили: «А развѣ направо проѣдешь?»—«Проѣдете, тутъ есть другой мостокъ—вонъ и дорожка туда идетъ. А тамъ сейчасъ Улановка Дядятовскаго. Мы туда ѣдемъ. Всего семь верстъ осталось»...—Дядятовскаго? Романа Романыча?—спросили мы съ Говорковымъ въ одинъ голосъ.—«Да-съ. Тамъ именины и сѣздь». Коляска быстро свернула вправо и полетѣла лугомъ надъ рѣкой, подхваченная сытою и рослою четверкой.

Мы взглянули другъ на друга. Дядятовскаго знали мы оба и любили, несмотря на его скупость и причуды. Это былъ помѣщикъ другого съ нами уѣзда и каролинецъ. Какъ честные пенсильванцы, мы бы не поѣхали въ такое время гражданскихъ схватокъ къ каролинцу и плантатору, слѣдовательно, къ нашему врагу. Это бы у насъ назвали лѣзариничествомъ и неимѣніемъ такта. Но то былъ владѣлецъ другого уѣзда и притомъ истинно-невинный и простой че-

ловѣкъ. Разность въ убѣжденіяхъ насъ съ нимъ не поссорила и теперь.

— Признаюсь, хотѣлось бы посмотрѣть на сѣздъ тамошнихъ, — сказалъ Говорковъ: — да Романъ Романычъ естатѣ и именинникъ! Поѣдемъ къ нему. Сколько времени уже мы не были у него! Да тамъ же всегда и безъ церемоній. А гостей своихъ, особенно, напримѣръ, изъ офицеровъ, онъ даже иногда и по фамиліи не знаетъ! — И мы свернули вслѣдъ за коляской. Нетечанкѣ, впрочемъ, было не подъ силу гнаться за нею. Мы скоро отстали.

— Догоняй богатаго, что вѣтра въ полѣ! — заключилъ Абрамъ Ильичъ, печально свистнувши вслѣдъ за крутымъ гоготаньемъ ея лежачихъ рессоръ, исчезавшихъ вдали, по тропинкѣ, между темными уже камышами.

Мы также вѣхали въ камыши.

— Да еще какъ! — продолжалъ нашъ кучеръ, все еще въ отвѣтъ своимъ недавнимъ перебранкамъ съ чумаками на плотинѣ: — я пришелъ, спору; а они мнѣ: «да вы, бываетъ, не изъ жидовъ, что добрыхъ людей въ такомъ дѣлѣ попрекаете?» А! мы, съ панями жидаы!!! — И его огорченію не было предѣловъ. — «А я имъ! — продолжалъ возница: — ахъ, вы душогубы! Чтобъ вамъ сто-пидцать лихорадокъ, да сто болячекъ, да всѣ прыщи и свищи! Такъ вы пановъ жидами звать?.. одного даже за чубъ взять, да бросилъ послѣ; ну его...

Дорога свернула влѣво. Лошади свободно простучали по какому-то мостику. Черезъ полчаса мы впотьмахъ вѣхали въ село.

— Это Улановка?

— Нѣтъ, еще не Улановка, а Гусаровка: Улановка черезъ двѣ версты! — отозвался чей-то голосъ изъ темноты.

Названія селъ произошли отъ предковъ нынѣшнихъ владѣльцевъ, бывшихъ друзей. Одинъ служилъ въ уланахъ, другой въ гусарахъ. Это они и оставили себѣ на память. Какъ въ Гусаровкѣ, такъ и въ Улановкѣ, при нашемъ проѣздѣ, съ заваленокъ хатъ вскакивали и шмыгали за ворота какія-то пары.

— Это все влюбленные! — шепталъ опять Абрамъ Ильичъ: — матери и отца нѣтъ дома — парубокъ и садится, обнявшись съ дивчиною. Сидятъ себѣ въ парочкѣ, «дружкуются», «женыхаются». А въ концѣ села у какого-нибудь свата уже

окна свѣтятся. Тамъ идетъ гуляня. Старые условливаются о сватовствѣ дѣтей. И сидятъ эти влюбленные всю ночь, пока, по здѣшнему повѣрью, заря скажетъ мѣсяцу: «мѣсяченьку, мой братику! освитимо звиря въ полѣ, шуку-рыбу въ морѣ, чумака въ дорози!» Только блескъ мѣсяца, да стукъ панскихъ колесъ и разгонять этихъ счастливыхъ до новой встрѣчи. И чего только они не перетолкуютъ: про свое хозяйство, про работы, кто изъ нихъ что въ этотъ день сработалъ, и что ему сказано, и какъ они устроить свое теплое житье-бытьѣ послѣ свадьбы! А у насъ? Баринъ стоитъ на колѣняхъ передъ барышней и говорить: «я-съ васъ люблю-съ!» Тыфу! Ажно противно! Да еще иной разъ на французскомъ діалектѣ. Я никогда такъ не говорилъ!

Мы вѣхали въ ворота и подъ крыльцо освѣщеннаго дома. Множество экипажей стояло въ полусвѣтѣ у конюшни.

— Панъ по мечу и кудели!—шенталь Говорковъ, выѣзая изъ нетечанки:—панъ отъ двѣнадцати колѣнъ панскихъ, этотъ нашъ пріятель Дядатовскій! Въ гербѣ у него, говорить, суцая шляхетская диковина: пугъ — пса и пугъ — козы, да какъ говорить еще въ Поляшѣ «чарна вѣшка по бѣмбешку гѣнке біе!»

Кто-то распахнулъ на крыльцо двери, и насъ разомъ обдало свѣтомъ.

— А! Скавронскій! Говорковъ! какая радость!—И Романъ Романычъ уже душилъ насъ въ своихъ объятіяхъ.

— Волъ, — кричалъ онъ, таща насъ на крыльцо: — что значить мѣстоположеніе! Живу на самомъ пупѣ земли, на бугрѣ; ко мнѣ и слетаются всѣ братья! Пожалуйте!

Но, сказавши это, онъ тутъ же засуетился и исчезъ. Мы прошли въ боковую комнату, наскоро переодѣлись и пошли въ залъ. Не успѣли мы туда войти, какъ Дядатовскій уже стоялъ въ толгѣ другихъ, окружавшихъ какого-то рассказчика.

Романъ Романычъ былъ по старому въ ермолкѣ, для прикрытія своей полнѣйшей плѣши, въ сѣренькомъ сюртучкѣ и съ огромнымъ лѣтчатымъ платкомъ въ рукахъ, по случаю нюханія табаку. Несмотря на свои шестдесятъ лѣтъ и очень маленькій ростъ, Романъ Романычъ сохранилъ еще много бойкости и подвижности нрава. Страсти въ немъ еще кипѣли. Тѣло было уже плоховато, какъ отзывался порою онъ самъ. Голосокъ у него былъ тоненькій, и онъ часто заливался веселымъ смѣхомъ. Выйдя рано въ отставку и же-

нившись на милѣйшей и красивѣйшей женщинѣ, онъ скоро вдался въ хозяйство, но остался въ немъ, какъ и въ своихъ убѣжденіяхъ, охранителемъ стараго. Сорокъ лѣтъ онъ прохозяйничалъ, но не улучшилъ имѣнія ни на волосъ, и въ концѣ могъ сдать его въ томъ видѣ, какъ принять. Получалъ порядочный, но ровный всегда доходъ, онъ и его не проживалъ. Гдѣ-то, въ сундукахъ ли, или на сторонѣ, составилъ у него значительный капиталъ. Но, смотря уже въ гробъ, одолѣваемый болѣзнями, предтечами послѣдней расплаты, онъ не могъ сказать: я привольно прожилъ на свѣтѣ! Теперь уже и хотѣть-то онъ ничего не могъ. Его деньги были—орѣхи подъ старость беззубой бѣлкѣ. Скупидомство перешло въ скупость. Сперва свои сборы онъ берегъ изъ разсчета не заявить ихъ молодой женѣ и молодымъ друзьямъ; потомъ сталъ таить, какъ мрачный и негодный скряга. И, говорятъ, боясь сдѣлать о нихъ даже завѣщаніе, чтобы не узнали про нихъ и не промотали ихъ дѣти, онъ могъ вовсе погубить этотъ капиталъ. Любя искусство отъ природы, онъ и теперь еще игралъ часто на скрипкѣ и на фортепіано. Но, оставши отъ литературы за хозяйствомъ, т.-е. за самою дурною стороною хозяйства—за сидѣньемъ надъ работникомъ съ утра до вечера,—онъ уже не понималъ современныхъ явленій мысли и прикрывалъ себя довольно пошлою и жалкою отговоркою. — «Вы читаете что-нибудь теперь, Романъ Романычъ?»—спрашивали его.—«Э! не читаю ничего, кромѣ бѣуны (оберточной бумаги),—отвѣчалъ онъ:—съ тѣхъ поръ, какъ карбонеры стали писать тамъ всякое эдакое!» Не имѣя на головѣ ни единого волоска, Романъ Романычъ всегда носилъ длинныя, сѣдые усы.

— А!—шепнулъ мнѣ Говорковъ, когда мы вошли и стали незамѣченныя въ толпѣ другихъ:—посмотрите, Романъ Романычъ и бороду запустилъ, а ругаетъ радикаловъ!

Въ самомъ дѣлѣ, у него изъ-подъ жабо торчала пресмѣшная, бѣлая, какъ кружевной воротникъ, борода. Онъ ее по минутно гладилъ. Послѣ мы узнали, что эту бороду онъ запустилъ потому, что одинъ его знакомый, старикъ и его другъ, тоже запустилъ ни съ того, ни съ сего бороду.

— Онъ умный человѣкъ и даромъ ничего уже не сдѣлаетъ!—говорилъ Романъ Романычъ:—отпущу и я бороду, а при встрѣчѣ его спрошу, зачѣмъ это; коли нужно,—оставлю, а нѣтъ,—то сбрыю!

— Ха, ха, ха!—раздалось вдругь среди залы изъ круга слушателей.

Мы съ шапками подошли ближе.

— А я ему говорю,—продолжалъ рассказчикъ:—что же, что вы въ комитетѣ были?..

— Ну, что же онъ? что же онъ?—заговорилъ-было кто-то изъ толпы слушателей.

Рассказчикъ, говорившій, какъ говорили на сходкахъ въ былыя времена гетманы, т.-е. по мѣстному выраженію, всѣхъ озираючи и ни на кого особенно не глядя, бросилъ презрительный взоръ на вопросившаго, сердито сбилъ пальцами пепелъ съ папироски, помолчалъ, вздохнулъ и началъ снова.

— Ну, я пошелъ его валять, и пошелъ! Да мы, говорю, васъ, щелкоперовъ, на выборахъ прокатимъ! Да мы теперь и губернскаго предводителя на вороныхъ провеземъ! Да мы васъ опубликуемъ! Что вы? А?! а?! насъ продавать?..

Слушатели и самъ Романъ Романычъ работѣнно молчали, внимая этимъ перунамъ.

— Кто это?—шепнулъ я на ухо молодому бѣлокурому господину, стоявшему впереди меня, именно одному изъ двухъ встрѣченныхъ нами у плотины въ бѣлыхъ фуражкахъ.

— Пивантьевъ..

— Что же онъ такъ сердится?

— А видите ли, онъ теперь чернитъ дѣйствія нашего уѣзднаго депутата по комитету; этотъ комитетъ ему бѣлымъ въ глазу. На выборахъ того единогласно выбрали, а Пивантьева забаллотировали.

Новый хохотъ покрылъ какую-то выходку ликующего Пивантьева. Онъ самодовольно отошелъ къ сторонѣ и направился въ гостиную къ дамамъ. Слушатели тоже разошлись, кто въ кабинетъ, гдѣ играли въ карты, а кто въ садъ, гдѣ гуляли дѣвицы.

— Это, однакожъ, пріятно!—прибавилъ бѣлокурый незнакомецъ:—у толпы есть въ спокойныя минуты свой инстинктъ самосохраненія. Теперь она этому господину дѣйствительно аплодируетъ, а тогда его не выбрали. Говорятъ, Пивантьевъ прежде служилъ въ какой-то комиссіи и былъ нечистъ на руку...

— Пойдемте къ дамамъ,—шепнулъ Говорковъ.

Сѣвши въ сторонѣ, въ гостиной, мы окинули глазами присутствующихъ. Слава Богу, ни одной знакомой!

— Правда ли, Марѳа Петровна,—говорила, при нашемъ входѣ, одна помѣщица въ зеленыхъ лентахъ другой, бывшей въ коричневыхъ, набирая себѣ на блюдо варенья:— что уже наши дѣвки намъ ни пить, ни прастъ, ни вязать, ни служить безъ денегъ не будутъ?

— Правда, матушка, правда,—отвѣчала дама въ коричневыхъ лентахъ.

— Такъ позвольте же васъ спросить,—неожиданно крикнула та же дама въ зеленыхъ лентахъ:— какъ же я буду жить, когда у меня девятеро дочекъ, а имѣнія, кромѣ долговъ моего Филаши, ничего нѣтъ!

— Плохо, плохо!—пищала низенькая, въ розовыхъ лентахъ, сосѣдка говорившей:—много мнѣ рассказывали, много читали, и про какія-то урочныя работы, и про общины толковали. Ни клочка не поняла и не припомню изъ всего,—хоть Богъ меня убей, ни клочка, клянусь моей душою! Такъ написано!..

— Да еще то диво, что не чувствуютъ стыда! — прибавила первая дама въ зеленыхъ лентахъ:—даже выѣзжаютъ уже въ свѣтъ, къ избирателямъ въ мирные дома входятъ!

— Это на нашъ счетъ!—шепнулъ мнѣ Говорковъ:—стыдитесь!

Прошло нѣсколько минутъ молчанія. Слуги разносили конфеты и арбузы.

— А будетъ ли выкупъ? —спросила протяжно молодая дама, недурная собой и не скидавшая перчатокъ.

Ей не отвѣтили.

— Я полагаю, что выкупъ, потому что это разомъ разрѣшитъ намъ міровой вопросъ!—нѣсколько учено прибавила милая дама, бойко разрывая маленькими ручками арбузъ, но не безъ волненія видя, что ея собесѣдницы ей не отвѣчаютъ, несмотря на ея перчатки и миловидность. На какой-то новый вопросъ она опять не дождалась отвѣта. Только вилка судорожно звякнула въ рукѣ дамы съ зелеными лентами, усердно уплетавшей арбузъ.

— Милая пенсильванка!—замѣтилъ Говорковъ:—пойду къ тебѣ на помощь!—и подѣлся къ ней.

Не рекомендованные, по случаю близкаго конца праздничнаго дня, какъ и двое-трое другихъ, подѣхавшихъ еще послѣ насъ, мы свободно располагались, гдѣ хотѣли. Оставивъ Говоркова съ «милой пенсильванкой», я пошелъ въ каби-

неть. Тучи дыма висѣли надъ игравшими въ карты. Съ дивана, сквозь тотъ же дымъ, торчали ноги и головы бесѣдовавшихъ. Какъ новый человѣкъ въ краѣ, и здѣсь я былъ не замѣченъ.

— Да,—продолжалъ разговоръ съ дивана молодой человѣкъ съ длинными, черными волосами и недурной собой:—ужъ и выдумали же штуку—уступить, продать имъ земли!.. Да я-то этого не хочу! Я-то, слышите ли, не хочу! Земля моя, и баста! Или уже, если продать, такъ по вольной цѣнѣ! Я меньше двухсотъ цѣлковыхъ за десятину не возьму!..

— Семь въ червахъ! Вистъ! Пась! — отдавалось на это со столовъ играющихъ въ карты.

У окна въ креслахъ сидѣлъ высокій, рябой, мѣдноцвѣтѣный, какъ житель Отаити, господинъ, въ рыжевато-буромъ парикѣ, толстый и сырой, лѣтъ восьмидесяти, держа и вогрочая въ рукахъ изломанную, замасленную пуховую городскую шляпу и поминутно обливаясь потомъ. На него рѣшительно никто не обращать вниманія. Внукъ хозяина, девятилѣтній разбойникъ, сзади то посыпалъ ему сахару на парикъ, чтобъ липли на него мухи, то просто его щипалъ и толкалъ. Не принадлежа къ кругу помѣщиковъ, этотъ господинъ, впрочемъ, держалъ себя гордо и, утирая потъ съ лица, презрительно улыбался на иные разговоры. Кто-то съ дивана сказалъ, что теперь ходитъ вообще множество всякихъ темныхъ слуховъ.

— Да, — повторилъ рябой старикъ и всталъ, порывисто двигаясь въ короткихъ брюкахъ и во фракѣ съ протертыми локтями, какъ у Робера Макера:—въ наше время этого не было. Тогда уважали законность! да! законность! Вотъ и у меня въ мои дни, когда я былъ губернаторомъ — вѣдь я былъ губернаторомъ!—никто у меня не уходилъ безъ аттестации, ни-ни! *Sunt cuique!* Всякому была дана помощь! А теперь?! Насъ презирають...

И онъ обвелъ кабинетъ желтыми, воспаленными глазами, теребя въ одной рукѣ шляпу, а въ другой клѣтчатый, бу-мажный, продыравленный платокъ.

— Да, теперь, — добавилъ онъ шопотомъ и озираясь:—да! пришли послѣднія времена!..

Въ эту минуту въ кабинетъ вошелъ тотъ же блѣднѣлый знакомецъ нашъ съ блѣдой фуражкой, и съ нимъ Говорковъ.

— Что, Андрей Петрович, что ты тутъ наговорилъ опять и навралъ?—спросилъ громко и насмѣшливо бѣлокурый.

Старикъ ошатайлъ, завертѣлся, кашлянулъ и сѣлъ, со словами, что онъ много слышалъ въ городѣ.

— Въ городѣ? Да ты, ваше превосходительство, въ городѣ уже пять лѣтъ не былъ! Лучше попроси у меня цѣлковый на выпивку, а не ври! Иначе исправнику пожалуюсь!

Исправника старикъ, какъ видно, очень боялся, потому что замолчалъ окончательно. Сидѣвшіе у стола стали опять играть. На выходку бѣлокурого никто не обратилъ вниманія. Старикъ былъ, очевидно, въ черномъ тѣлѣ у общества.

— Кто это?—спросилъ я Говоркова, указывая на бѣлокурого.

— Турбачевъ, старшій братъ: ихъ два брата, здѣшніе богачи. Этотъ отказался отъ выборовъ два раза. У обоихъ пять тысячъ десятинъ земли. Ведутъ хозяйство по новому способу и сущіе янки. Не служатъ, путешествуютъ, хозяйничаютъ и живутъ въ свою волю. Я съ этимъ сошелся. Благороднѣйшій пенсильванецъ! Дамочка, къ которой я подсѣлъ, ихъ сестра, жена одного содержателя пансіона, тоже умнаго человѣка. А главное—оба смѣлы, самостоятельны и съ языками, какъ бритвы...

Говорковъ меня сейчасъ познакомилъ съ Турбачевымъ.

— Очень пріятно, много слышалъ!—сказалъ онъ развязно и собираясь опять съ натискомъ на стараго вѣстовщика.

— Кто это?—спросили мы съ Говорковымъ у Турбачева про послѣдняго.

— О! это личность удивительная!—началъ вполголоса веселый и развязный Турбачевъ:—это Андрей Петровичъ Кузничевскій. Онъ, дѣйствительно, былъ лѣтъ двадцать или тридцать назадъ гдѣ-то вице-губернаторомъ, жилъ въ богатѣйшемъ домѣ, задавалъ пиры, развратничалъ и любилъ хапанцы, но слегка, потому что было и свое имѣніе. Тогда же онъ обобралъ одного родственника, честнѣйшаго малаго, кажется, Твѣрдова, отнялъ у него послѣдній хуторокъ. Теперь колесо повернулось. Твѣрдовъ нажилъ новый хуторъ; Кузничевскій прожилъ въ пухъ, отставленъ отъ службы и живетъ у него же на хлѣбахъ, въ какой-то лачужкѣ, вымаливая у своего родного по четвертаку на утѣху! Клянусь честью, это не сказка! Да погодите, я его еще спрошу, какъ онъ возилъ съ собою въ Петербургъ одну одиннадцатилѣтнюю особу...

Но Турбачевъ замолчалъ.

Въ это время въ кабинетъ впопыхахъ вошелъ хозяинъ дома, нашъ почтенный Романъ Романычъ. За нимъ шла толпа, и впереди всѣхъ опять Пивантьевъ.

— Господа, позвольте! Слушайте, слушайте,—заговорилъ вполголоса старикъ Дядьтовскій, самъ внѣ себя отъ восторга, ломая руки и подобострастно глядя на Пивантьева:— вотъ Макаръ Макарычъ насъ опять подарить хочетъ разсказами! Что за штиль, что за слова! Чисто жемчугъ! Вотъ кто наши защитники, вотъ кого мы должны въ золотыя рамки вставить!

— Разскажите, разскажите!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

Всѣ сѣли. Пивантьевъ, не поднимая глазъ и попрежнему германомъ стоя среди комнаты, началъ:

— Это пустое, господа, это случай; но о немъ нельзя умолчать въ наши дни.

Онъ оглянулся. У дверей, качаясь отъ дремоты, стоялъ ребенокъ-казачокъ.

— Выплите его вонъ!—шопотомъ сказалъ Пивантьевъ.— Пошелъ вонъ! Чего ты, ракалія, стоишь тутъ? все подслушиваешь!—крикнулъ хозяинъ дома.

Мальчикъ, качаясь, вышелъ.

— Да-съ, въ нашемъ уѣздѣ былъ недавно такой случай!—говорилъ, озираясь, Пивантьевъ:— вы, конечно, Зеленчука помѣщика знаете? Хорошо. Всѣ мы его знаемъ. Вотъ онъ прожилъ до этой эмансипаціи, или, какъ тамъ ее зовутъ наши филантропы, до ампутаціи, что ли, пятьдесятъ лѣтъ безвыѣздно на своемъ хуторѣ. И какое же несчастье постигло его въ жизни! Его дочка влюбилась въ мѣщанина; случилось даже такое дѣло, что она пошла за него замужъ, убѣжала и обвѣнчалась. А? а?.. И теперь гдѣ-то—увы!—живетъ наемницей, гувернанткой. Тамъ же и мужъ ея нанимается. А?.. Ну, вѣдь подло поступила? Такъ ли? Хотя и славная барынька сама по себѣ вообще. Отецъ отъ нея, разумѣется, отрекся. Правда, что и самъ онъ проживалъ въ утѣшеніи, то-есть держалъ своихъ шамшѹрокъ...

Слушатели молча и почтительно внимали рассказчику. Турбачовъ презрительно усмѣхнулся.

— Такъ что же вы тутъ находите особенно печальнаго?—спросилъ онъ со сдержанною злостью.

Страшный ропотъ раздался въ кабинетѣ. Добрый, но тру-

сливый отъ природы, Дядитовскій чуть не плакалъ, смотря на Турбачева. Сперва онъ дергалъ его за фалды, чтобъ тотъ не заходилъ слишкомъ далеко, а потомъ началъ ругать его.

— Это удивительно, до чего доходятъ нынѣ молодые люди,—пищаль Романъ Романычъ:—какая смѣлость, какое даже нахальство, какая самонадѣянность! Молокососы!

— Романъ Романычъ, Романъ Романычъ! — началъ медленно и со вздохомъ Турбачевъ, дрожащими руками оправляя себѣ галстукъ: — это правда, вы меня на рукахъ носили, почти нянчили; вы были дружны съ моимъ отцомъ; я моложе васъ. Да за что же оскорблять меня? И вамъ ли опять жаловаться на своихъ вассаловъ? Тоже сорокъ лѣтъ съ ними живете? А обидѣлъ ли васъ хоть единый? — Въ дверь вошелъ лакей и нагнулся на ухо къ Дядитовскому. Тотъ сталъ какъ обваренный; дыханіе замерло и ротъ раскрылся. Онъ шагнулъ къ дверямъ.

— Что вы? — спросили его.

— Э! это пустое! пришелъ атаманъ, староста: чего-то мужики мои пришли тамъ.

И онъ торопливо вышелъ.

Турбачевъ шепнулъ намъ:

— Вотъ трусы! Нарочно обѣгу кругомъ дома и посмотрю, въ чемъ дѣло. Я уже знаю его...

Какъ школьникъ, вышелъ Турбачевъ въ сосѣднюю проходную комнату, раскрылъ окно, осмотрѣлся кругомъ и выпрыгнулъ въ садъ, а тамъ завернулъ за уголъ дома къ крыльцу, куда собрались мужики Дядитовскаго.

— Мнѣ не нравится эта безобразность, безцеремонность Романа Романыча,—началъ вслухъ покровительственно Пивантьевъ, едва тотъ ушелъ: — скверно то, что всегда здѣсь какой-то сумбуръ! Назоветъ кучу гостей, всякаго сброда! Всѣ тычутся по угламъ; нѣтъ того, чтобы усесться да побесѣдовать съ умными людьми! Пріѣзжаютъ и уѣзжаютъ, какъ изъ трактира. А тотъ еще благодаритъ за посѣщеніе!

— Семь въ пикахъ! Вистъ! Пасъ! — опять раздалось съ карточныхъ столовъ.

— Макаръ Макарычъ, васъ зовутъ дѣвицы! — послышался голосъ изъ дверей.

Пивантьевъ вскочилъ и ушелъ въ садъ. У окна, сквозь табачный дымъ, мелькнула бѣлая фуражка.

— Господа, пожалуйте сюда,
Мы съ Говорковымъ подошли.

— Вообразите,—начать онъ шепотомъ:—это просто невероятное событіе. Я подкрался къ окну кабинета. Смогрю: нашъ-то почтеннѣйшій Романъ Романычъ прибѣгаетъ туда; впотьмахъ зажегъ спичку, возится, руки дрожатъ, и затѣмъ тихо шагнулъ въ лакейскую. Я припалъ со двора къ окну лакейской. Онъ что-то шепчетъ казачкамъ, разставляиваетъ ихъ, отвернулся опять, тайкомъ перекрестился и ступилъ въ сѣни. Тутъ уже я его дождалъ впотьмахъ, у крыльца, у водосточной трубы. Онъ вышелъ, еле дышитъ, спрашиваетъ у мужиковъ: «что вамъ надо?» Ты подходять ближе; онъ къ сѣнямъ... Да уже кто-то побойчѣе вышелъ изъ толпы, поклонился и говоритъ: «Мы, пане, цѣлый день возили хлѣбъ, а теперь воротились съ поля и пришли васъ поздравить съ именинами!» И кланяются. Онъ даже икнулъ отъ неожиданности, тоже поклонился, велѣлъ атаману имъ дать по рюмкѣ водки, еще что-то сказалъ и ушелъ... Уже девять мѣсяцевъ онъ лично не являлся на полевые работы.

Мы не вѣрили словамъ Турбачева.

— Клянусь вамъ, господа,—добавилъ онъ:—все это правда! Да вотъ онъ и самъ! Подожду я тутъ у окна въ саду.

Вошелъ медленно Романъ Романычъ, даже съ улыбкой, утерся платочкомъ, смиренно сѣлъ, сложилъ на колѣняхъ маленькія ручки и безпечно вздохнулъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Но дыханіе его еще было неровно, и самъ онъ былъ изжелта-зеленоватый. Ермолка была на затылкѣ.— Что, Романъ Романычъ, гдѣ вашъ сынъ теперь? Мы такъ давно его не видали! — спросили мы съ Говорковымъ въ ободреніе его.

— Сынъ мой, сынъ? Да!.. Я было васъ не разслушалъ!.. Ходятъ всякіе слухи, какъ вообще теперь. Да. Богъ его знаетъ, гдѣ онъ! Все просить у меня, однако, денегъ. Я же говорю: отчего не служишь? А онъ говоритъ: давайте денегъ! А гдѣ я возьму денегъ! Доходовъ нѣтъ уже тридцать лѣтъ, и я боленъ! Впрочемъ, сынъ мой не можетъ въ казачеріи служить, а въ пѣхотѣ не хочетъ. А вонъ его сынъ, мой внучекъ, бѣгаетъ, все Кузничевскому сахару на парикъ подсыпаетъ! Видите! Вотъ геній! Кольми паче еще нянюку ругаетъ такъ, что просто молодецъ!..

Романъ Романычъ отиралъ съ лица обильный потъ.

— Нѣтъ, вы позволите, вы позволите,—отозвался съ дивана голосъ того самаго молодого, съ длинными черными волосами, человѣка, который цѣнилъ у себя землю по двѣсти рублей серебромъ десятину: — вы мнѣ скажите: можетъ ли быть въ наше время новое переселеніе народовъ? Возможны ли движенія народовъ съ сѣвера на югъ? Я думаю, что нѣтъ! Я, слава Богу, таки учился: знаю экономистовъ нынѣ западныхъ. Именно нѣтъ. Литераторы также трезвонятъ о филантропін, о любви къ ближнему! Подлецы! чистые подлецы! Это все выскочить хотять на нашъ же счетъ; извѣстное дѣло, имъ рисковать нечѣмъ... На колъ бы ихъ посадить—пусть любятъся видами!—четверговать! Нѣтъ, господа, дайте мнѣ хоть еще пять лѣтъ сроку, и я ворочу въ доходахъ тройную цѣнность имѣнія; а тамъ хоть трава не расти...

— Кто это?—спросилъ я опять Турбачева.

— Это другъ Пивантьева, довольно богатый и не совсѣмъ глупый человѣкъ, Торбанинъ, если даже хотите, нѣсколько и нашъ братъ, степной «янки», отличный хозяинъ, но закоренѣлый эгоистъ въ душѣ. И вѣдь что тутъ грустно, — продолжалъ Турбачевъ, облокотясь изъ сада въ окно:—будь онъ фронтовикъ; а то вѣдь изъ нашихъ университетскихъ и даже товарищъ мнѣ по факультету! Учился-то онъ плохо и товарищъ намъ былъ такъ себѣ, не изъ лучшихъ. Но все же таки натерся около науки и хоть по наслышкѣ зналъ имена Бэкона, Смита, Маколя и хоть, положимъ, нашего Грановскаго... А теперь каковъ? Порочить каждый шагъ нашихъ комитетовъ, ругаетъ всякую прогрессивную мысль — и это двадцати-семи-лѣтній студентъ, выпущенный шесть лѣтъ назадъ! Посмотрите, съ какимъ благоговѣніемъ слушаетъ его Дядятовскій!.. Пойдемте, господа, въ садъ, здѣсь свѣжѣе...

При нашемъ выходѣ изъ кабинета Торбанинъ, кусая до крови ногти, вдругъ взмахнулъ длинными волосами и, скрипши зубами и показывая кулакомъ въ воздухъ, сказалъ:

— Развѣ не будетъ выборовъ! это ни на что не похоже! это безчестно! У насъ завелись уже предатели, слуги пресловутой гласности—я ихъ знаю. Трезвонятъ, грабятъ насъ! На колъ ихъ! Въ Австріи Радецкій ихъ розгами сѣкъ...

Мы вышли въ садъ. Тамъ было дѣйствительно свѣжѣе. Часа полтора мы ходили, слушая рассказы Турбачева о хозяйствѣ.

— Мы съ братомъ Петромъ, — говорилъ онъ: — получили нѣвніе разоренное, хотя и порядочное. Не было сѣна — мы наняли въ долгъ луга; стали дешевы овцы — мы въ долгъ купили у тѣхъ, у кого онѣ падали отъ голоду; продали отцовскіе экипажи, мебель и всякій хламъ, устроили салотопню и въ одинъ годъ выплатили съ сала и за наемъ луговъ, и за овецъ, а салотопню продали черезъ годъ и выплатили главный долгъ на имѣніи. Мы завели машинное хозяйство. Я самъ пробылъ два года въ Ливерпулѣ, на фабрикѣ хозяйственныхъ машинъ, и вывезъ оттуда паровой локомобиль. Черезъ годъ мнѣ половины крестьянъ нашихъ не надо уже. А братъ ѣдетъ весной въ Америку...

У освѣщенной бесѣдки мы увидѣли Пивантьева. Онъ стоялъ, опять окруженный дѣвками, и съ полнымъ свойствомъ мѣднаго лба занималъ снова всѣхъ разсказами. Увы! онъ помѣшался на роли говоруна единственно только потому, что какая-то старуха-аристократка, бывшая когда-то большая практикантка насчетъ молодыхъ людей, прѣздомъ черезъ Южно-Байрацкѣ, сказала ему гдѣ-то за обѣдомъ: «Да вы, м-сье, краснобай! Владѣете слогомъ!»

— Я прошу васъ, дѣвицы, разрѣшить мнѣ одинъ вопросъ, — говорилъ Пивантьевъ, развязно качаясь и охораниваясь: — хорошо или нехорошо брать жалованье на службѣ по выборамъ?

Тѣ, разумѣется, молчали, робко прижимаясь другъ къ другу и пугливо слѣдя за его туманными намеками.

— Ну, такъ я же вамъ скажу, что наши филантропы...

— Ну, погоди же ты! — прошепталъ съ холодной злобой Турбачевъ: — я же тебя оборву! Вотъ скотина! Извините, господа, за такія крупныя выраженія! Вы себѣ представить не можете, до чего безобразенъ этотъ господинъ!

Мы ушли въ темныя аллеи. Еще проговорили съ полчаса. Турбачевъ разспрашивалъ о нашемъ южно-байрацкомъ уѣздѣ, поѣздахъ, сборѣ хлѣба, дѣлалъ предположенія объ устройствѣ громаднаго общества для торговли хлѣбомъ, разспрашивалъ о нашемъ губернскомъ положеніи о крестьянахъ, и вообще смотрѣлъ съ большимъ сочувствіемъ на все сдѣланное депутатами. Говорковъ, хотя и не бывшій въ составѣ комитета, въ качествѣ моего друга и писмоводителя, просто ликовалъ. «Экъ, душа-то, душа-то!» — шепталъ онъ, толкая меня. Передъ освѣщенной ретондой, въ одномъ мѣстѣ сада,

гдѣ играла музыка, ходилъ съ понуренной головой сѣдой, съ длинными, бѣлыми волосами на головѣ и въ длинномъ сѣромъ сюртукѣ, старикъ-помѣщикъ.

— Это печальный примѣръ, это профессоръ и нашъ помѣщикъ! — началъ Турбачевъ, указывая на старика: — онъ попалъ въ сосѣдній съ вами комитетъ о крестьянахъ. Я былъ когда-то его ученикомъ, любилъ его всею душою, вѣровалъ въ него и ожидалъ отъ него всегда многого и многого! Его чтенія въ классахъ распаляли насъ страстною любовью къ людямъ! Онъ былъ у насъ гуманистъ въ полномъ смыслѣ слова, поклонникъ Гегеля, Гейне... Открылся комитетъ, онъ и тамъ сталъ изъ первыхъ, въ ряду либераловъ; даже тайкомъ его называли краснымъ, чѣмъ онъ втихомолку и гордился. Такъ дѣла шли мѣсяца два! И что же? Какъ-то на носъ предсѣдателя комитета сѣла муха, въ то самое время, какъ этотъ почтенный либераль читалъ свою рѣчь по какому-то вопросу; тотъ громко чихнулъ; члены тоже чуть не дремали. Этотъ обидѣлся, перешелъ на сторону оппозиціи и запутался такъ, что подъ конецъ даже трудно было понять, чего онъ хотѣлъ. Онъ рѣшилъ тѣмъ, что кинулся въ объятія отсталыхъ, плантаторовъ, — но и тѣ его, говорятъ, не приняли. Жаль мнѣ его; истинно добрый человѣкъ, только очень мягкій. Мы какъ-то съ пріятелями недавно поминали его: «Покойся сномъ праведника, чистая карьера быворо гегелиста; ты сталъ помѣщикомъ и все позабылъ!» — говорили мы, распѣвая надъ жженкою студенческія пѣсни.

— Пожалуйте укинуть! — сказалъ слуга, добѣжавшій къ намъ напрямикъ, черезъ вишенникъ и поляны сада.

Въ ярко освѣщенной залѣ мы уже всѣхъ застали въ сборѣхъ усаживаніи за столъ и выбрали себѣ три мѣста рядомъ. Стулья прогремѣли, слуги вошли съ дымящимися тарелками. Все шло чинно; дѣти гостей сидѣли за особымъ столомъ, самъ хозяинъ сидѣлъ на одномъ концѣ стола, жена его на другомъ. Пивантьевъ — среди дѣвицъ, безпрестанно услуживая имъ. Попавши такъ неожиданно къ Дядятовскому, — вообще любившему въ свои семейные праздники, какъ вѣрно выразился Пивантьевъ, принимать всякій сбродъ, лишь бы было побольше гостей, — мы опять принялись разсиранивать Турбачева о разныхъ незнакомыхъ лицахъ. Рѣчь началъ Романъ Романычъ.

— А слышали вы, господа, у насъ на тотъ годъ пред-рекають саранчу и голодъ?..

Пошли толки о саранчѣ.

— Что саранча! Говорять, залоговъ уже имѣній больно не будетъ!—произнесъ кто-то.

Бородатый господинъ, едва дышавшій отъ толстоты, протянулъ руку за квасомъ и спросилъ, покашливая по-своему:

— Говорять, въ нашемъ губернскомъ комитетѣ вышли несогласія: братъ возсталъ на брата и сынъ на отца, какъ говорится въ писаніи о послѣднихъ временахъ?

— Страмъ, чистый страмъ! — подхватилъ Романъ Романъчъ:—чуть не шли на ножи! Я тамъ не былъ, а слыналъ, что были случаи, какъ въ уѣздной школѣ! Даже, повидимому, сажались по звонку, говорили и молчали, какъ въ классахъ, еще и въ мои времена!

— Это и въ англійскомъ парламентѣ заведено, Романъ Романъчъ!—перебилъ Турбачевъ.

— Въ англійскомъ! Да хоть бы и въ китайскомъ. Что англичане? Соловецкій монастырь разграбили, зоставили потопить наши корабли въ Севастополѣ, а теперь новые намъ за деньги сами строятъ! Вотъ австрійцы — это народъ! И пеговоруны, и дезатѣйливы...

Незнакомый сосѣдъ мой съ лѣвой стороны, горбатый, подслѣповатый, немного выпившій и навеселѣ, толкнулъ меня подъ бокъ, указывая на высокаго и блѣднаго, черно-волосаго лакея, стоявшаго съ тряпкою за чѣмъ-то стуломъ.

— Что вамъ угодно?—спросилъ я.

— Посмотрите сюда: вотъ слуга, — началъ горбатый сосѣдъ, сопя и ковыряя переникомъ въ зубахъ:—слуга, лакей! только хитрое и умное созданіе... У! чистая бестія! посмотрите только на его глаза! Его отдавали въ художники, въ академію, въ Петербургъ, — и вышелъ, ничего, артистомъ!.. Славно малоесть-сь. Даже тамъ въ какую-то барышню было, говорятъ, влюбился! Ну, да ничего—теперь служить и объ искусствахъ говорить: хоть нескучно! Хитрая бестія!.. Павелъ!

Сосѣдъ мой кивнулъ головой; черноволосый слуга подошелъ къ нему и нагнулся.

— Кто былъ первымъ художникомъ въ Россіи?—спросилъ горбатый сосѣдъ вполголоса.

— Карлъ Павловичъ Брюловъ, творецъ картины «По-

слѣдній день Помпей», — тихо и какъ-то ласково-грустно отвѣтилъ лакей подъ шумъ общихъ разговоровъ.

— А что такое искусство?—продолжалъ глумиться веселый мой сосѣдъ.

— Свободное творчество!—отвѣчалъ лакей.

— А что лучше: хорошій ли обѣдъ, или картина?—говорилъ насмѣшливый баринъ, хихикая себѣ подъ носъ и ковыряя въ зубахъ.

Лакею-художнику готовились новыя шутки и веселости, какъ въ другомъ концѣ стола раздался нежданно шумъ, скоро перешедшій въ крупную перепалку. Спорили Пивантьевъ и какой-то студентъ.

— Нѣтъ, этого быть не можетъ, — рѣзко повторялъ студентъ:—ваши слова отзываются личностями! А кто злится, тотъ не правъ!

— Личностями?—подхватилъ Пивантьевъ:—Ха, ха, ха! Прошу вашего вниманія, господа! Юноши зовутъ насъ отсталыми; враги на возрастъ зовутъ насъ плантаторами! Гдѣ же тутъ молчать? Въ качествѣ плантатора, имѣю честь передать вамъ, что нашъ предсѣдатель того... свихнулся!

Головы и глаза общества устремились къ спорившимъ. Дядитовскій сталъ даже торопиться уничтоженіемъ тарелки какого-то любимого соуса.

— Какъ это, какъ это? расскажите?—подхватилъ Романъ Романычъ, утирая губы:—ахъ! не могу молчать! Вотъ настоящий, плавный штиль! вотъ истинное краснорѣчіе! вотъ наши защитники! Расскажите!

— Дѣло было вотъ какъ, — началъ, важничая и дерзко поглядывая на всѣхъ, Пивантьевъ: — я не служу въ комитетъ, не имѣю этой высокой чести, да, не имѣю, но знаю изъ вѣрныхъ источниковъ, что, мѣтя на какое-то значительное мѣсто, нашъ здѣшній великій сановникъ затѣялъ составить себѣ сильное большинство по одному дѣлу... Сталъ вывѣдывать передъ баллотировкой—оказывается, что голоса раздѣлились такъ, что не только не выходило сильнаго большинства его мнѣнію, но даже и съ его голосомъ на сторонѣ его было однимъ шаромъ меньше...

— Правда это?—шепнули мнѣ Турбачевъ, схвативши меня за руку и едва подавляя въ себѣ волненіе:—вы были сами въ комитетѣ! Правда это?

— Клянусь Богомъ, ничего подобнаго не было: у насъ

дружное большинство встрѣтило и до конца провожало всякое дѣйствіе предсѣдателя...

— Благодарю васъ... Хорошо... будемъ слушать!—И Турбачевъ впился глазами въ Пивантьева, изрѣзывая мелкими кусочками хлѣбную корку.

— Да-съ, плохо приходилось нашему официалу!—продолжалъ Пивантьевъ:—онъ рѣшительно терялся. Вдругъ въ умѣ его мелькнула счастливая мысль. Вспомнилъ онъ, печально вглядываясь въ списокъ членовъ, объ одномъ господинѣ съ широчайшими бакенбардами и либерализмомъ и страстью къ англоманіи, бывшемъ на сторонѣ его враговъ, сообразить, что англоманъ сильно нуждается пока въ субсидіяхъ по поводу одной городской интрижки, а впослѣдствіи въ тепломъ мѣстечкѣ, позвалъ его, подъ общій шумъ и споры, къ своему креслу и шепнулъ ему на ухо: «выходите въ залъ». Тамъ въ будущемъ обѣщано представленіе къ мѣсту, и дѣло слажено... Пошло на голоса, и мнѣніе его восторжествовало... И вотъ, господа, пути, по которымъ разыгрываются дѣла у насъ...

Сказавши это, Пивантьевъ спокойно принялся за недоѣденный кусокъ.

Тарелка звякнула въ рукахъ Турбачева.

— Вы ждете, — сказалъ онъ гладко и какъ-то особенно кругло и внятно, смотря на Пивантьева, а самъ былъ бѣлѣе полотна: — вы ждете, какъ пятилѣтній мальчикъ! И это не дѣлаетъ вамъ чести!

Многія вилки остановились на воздухѣ; многіе рты, не проглотивъ вкуснаго дыпленка съ грибами, остались незакрытыми.

— Что-о-о?—спросилъ озадаченный Пивантьевъ, еще блуждая глазами и сперва не разобравши, кто его такъ оборвалъ.

— Вы ждете! — опять звонко и кругло сказалъ Турбачевъ:—это клевета...

Слуги стали убирать тарелки и разносить жаркое.

— Нашъ пенсильванецъ, однако, тоже горячится!—шепнулъ мнѣ Говорковъ.

— Вотъ мило! Это еще у насъ, господа, и не слыхано!—возразилъ Пивантьевъ, стараясь улыбнуться какъ можно беззаботнѣе, поперхнувшись и озираясь во всѣ стороны: — за столомъ, при дамахъ, говорить такія дерзости!

Глаза общества, однако, мигомъ устремились въ тарелки.

Бѣдныя и встревоженныя дамы стали торопливо перешептываться, косясь то на Дядьковского, то на его жену. Но хозяева тоже молчали. Романъ Романычъ было обозвался, тоже улыбувшись и поперхнувшись, словами: «да, правда! это немножко того, рѣзко сказать безъ причины: вы ждете», но тут же утеръ губы салфеткой и, присмирѣвши, сталъ медленно жевать крылышко цыпленка.

— Вы клеветникъ, господинъ Пивантьевъ! — продолжать тѣмъ же голосомъ Турбачевъ: — и мнѣ пріятно будетъ это доказать публично. Лучше заранѣе извинитесь сейчасъ же, за столomъ, сію минуту, передъ обществомъ и передо мною!

— Какъ? Мнѣ?? Передъ вами??? Ха-ха-ха!

Турбачевъ положилъ руки на столъ. Красивые перстни сверкнули на его кривыхъ пальцахъ.

— Если вы будете паясничать и хохотать, я васъ прогоню изъ-за стола... почтеннѣйшаго Романа Романыча! — началъ опять Турбачевъ, закрывая глаза отъ дрожи и злости, прохватывавшей его до костей.

— Меня? О, нѣтъ, нѣтъ! — крикнулъ, красный уже, какъ ракъ, Пивантьевъ: — я, господа, на васъ ссылаюсь, на васъ! Если бы не дамы, я проучилъ бы... всякаго! Господинъ Турбачевъ богатъ, а я бѣднякъ! Имъ можно имѣть такую смѣлость! Я обиженъ, господа, обиженъ и буду требовать общественнаго суда, суда всѣхъ дворянъ, всего сословія, у губернскаго стола... Я обиженъ... Клянусь, я говорилъ правду, я желалъ обществу пользы. Все, что я ни говорилъ, сущая правда! я докажу... здѣсь свидѣтелей нѣтъ, но я найду, у меня будутъ свидѣтели моихъ словъ!

Прошло нѣсколько секундъ мучительной паузы. Всѣ сердца бились напряженно; всѣ глаза стремились, по обычаю въ такихъ случаяхъ, подъ столъ.

— Что же, господа, будемъ вставать! — сказалъ-было Романъ Романычъ, пуская извѣстную уловку старины, любившей заминать всякія дѣла, не допуская ихъ до крутыхъ раздѣловъ.

— Нѣтъ, господа, позвольте, подождите! — перебилъ его Турбачевъ: — здѣсь обижены мы всѣ, и потому запросто, не вставая, кончимъ дѣло. Противъ господина Пивантьева есть улика! Между нами теперь сидитъ одинъ изъ господъ депутатовъ комитета — г. Скавронскій!

Онъ обратился ко мнѣ, и взгляды всѣхъ остальныхъ по-

слѣдовали за его движеніемъ. Даже неповинный ни въ чемъ Романъ Романычъ—и тотъ поспѣшилъ загладить свой промахъ и спросилъ меня: «Такъ вы тоже депутатъ? А я этого и не зналъ...»

— Позвольте васъ спросить, Александръ Сергѣичъ, какъ посторонняго свидѣтеля этой выходки, — сказалъ мнѣ Турбачевъ: — было что-нибудь въ нашемъ комитетѣ подобное тому, что такъ громко и свободно постарался передать г. Пивантьевъ?

Мертвая тишина осѣнила все общество. Даже слуги остановились у дверей. Слышно было черезъ стулъ, какъ билось сердце у Говоркова, и какъ тупоумно и обливаясь потомъ сохлѣлъ отставной вице-губернаторъ.

— Я скажу одно,—отвѣтилъ я:—подкупалъ ли NN кого-нибудь изъ моихъ сочленовъ, я не знаю; но по дѣлу объ усадьбахъ, да и вообще во всѣхъ спорныхъ баллотировкахъ—онъ въ этомъ не нуждался. Вездѣ мнѣнія круга, къ которому я самъ принадлежу и гдѣ онъ имѣлъ честь руководить, выражались всегда огромнымъ большинствомъ тридцати голосовъ — противъ десятирехъ. Раздѣленія голосовъ поровну быть не могло: партія десятирехъ у насъ до конца не завоевала себѣ ни одного голоса.

За моимъ отвѣтомъ раздался такой шумъ за столомъ, что ничего нельзя было разобрать. Всѣ спорили и кричали. А у Романа Романыча мелькали одни усы да борода; словъ его не было слышно. Турбачевъ сидѣлъ съ достоинствомъ и, блѣднѣе противъ прежняго, молча выжидалъ конца споровъ. Пивантьевъ кричалъ во все горло.

— Да, можетъ быть... но... все-таки, говорятъ, что было такъ!—кричалъ, покрывая всѣ голоса, Пивантьевъ.

— Покоритесь, сосѣдъ, — раздался голосъ съ другого конца стола:—покоритесь, вы неправы, далеко хватили! И я въ этомъ случаѣ противъ васъ...

Это говорилъ, преклонивши сѣдую голову, тотъ самый отставной профессоръ, бывшій депутатомъ комитета сосѣдней губерніи, о бѣдственномъ паденіи котораго намъ передавать въ саду Турбачевъ.

Пивантьевъ глянулъ на него и на всѣхъ, какъ волкъ въ послѣдней угонкѣ, огрызающійся на близкія уже морды плотоядныхъ борзыхъ.

— Но какъ же, однако, это? Я не могу!! Нѣтъ, нѣтъ,

и не могу податься на это доказательство! — сказал онъ, едва уже владея собою.

Но въ это же время окно сзади Пивантьева зазвенѣло, и стекла разлетѣлись вдребезги. Мимо уха его, задѣвши за курчавый локонъ, просвистѣла фаянсовая тарелка, пущенная въ голову злополучнаго болтуна Турбачевымъ. Общество вскочило. Скандалъ вышелъ полный и небывалый...

— Что вы надѣлали? Боже, Боже! Осрамить мой домъ! — вопилъ Дядатовскій, подбѣгая, когда всѣ встали и слуги стали поспѣшно уносить со стола посуду, то къ пылавшему честию и злобой Турбачеву, то къ ахавшимъ и пицавшимъ дамамъ.

— Нѣтъ, пересолилъ и нашъ пенсильванецъ! — сказалъ мнѣ Говорковъ, съ сожалѣніемъ глядя на общій шумъ.

— Оррёръ, оррёръ! — кричали нѣкоторые изъ дѣвицъ.

— Такъ подобныхъ молодцовъ и учать! — говорилъ студентъ, ставшій спиною къ кому-то изъ подошедшихъ къ нему съ увѣщаніями.

Мигомъ все общество стало разѣзжаться. Но шумъ не прекращался въ кабинетѣ, куда друзья Пивантьева собрались толпой, съ угрозами отмстить Турбачеву. Турбачевъ неожиданно и смѣло вошелъ туда, съ хлыстомъ и папироской, и объявилъ, что вызываетъ каждаго, кто еще пикнетъ о комитетѣ. Пивантьевъ, ероша волосы, стоялъ у окна.

— А васъ, — сказалъ Турбачевъ Пивантьеву: — я прошу ожидать отъ меня, гдѣ бы мы ни встрѣтились, всего, что только можно сдѣлать пятью пальцами! Теперь, не сходя съ мѣста, прошу васъ объявить сейчасъ же, при всѣхъ, что вы за столомъ сказали ложь, и съ умысломъ.

Пивантьевъ оглянулся за спину, на окно, потомъ на общество и сказалъ, запинаясь:

— Да, извините, я за столомъ немного ошибся...

Студентъ, дама-аболиціонистка, еще два-три гости и съдовзасый профессоръ-помѣщикъ, очевидно искавшій въ полномъ осужденіи своего сосѣда Пивантьева чистосердечнаго испушенія своей недавней депутатской карьеры, — стояли на крыльцѣ, вдали отъ озлобленныхъ, разѣзжавшихся пріятелей Пивантьева.

— Ай да Турбачевъ! — говорила громко и съ увлеченіемъ молодежь изъ гостей, въ потемкахъ усаживаясь во дворѣ въ экипажи: — вотъ такъ проучилъ! Да еще чуть не выки-

нуль въ окно! Заставилъ сознаться — и тотъ сознался! Дуэлистъ! въ университетѣ онъ побилъ одного господина...

Къ стоявшимъ на крыльцѣ подошелъ, сверхъ всякаго чаянія, самъ Пивантьевъ, уже закутанный въ шинель. Онъ всхлипывалъ и билъ себя въ грудь. — Меня назвали лжецомъ! меня! пустили въ меня тарелкой! — говорилъ онъ: — Богъ ему судья!.. О, до чего я дожилъ! до чего... Нельзя было уже и пошутить! Я желалъ сословію добра! Ахъ! грустно и горько у насъ служить обществу!..

Онъ опять ударилъ себя въ грудь, сѣлъ въ какую-то бричонку и уѣхалъ. А вдали, уже за деревней, опять гремѣли бубенчики и колокольчикъ на дышлѣ бойкой четверки, уносившей въ бѣлыхъ фуражкахъ нашихъ дорожныхъ знакомцевъ, братьевъ Турбачевыхъ. Уѣхали и дама, и студентъ, и профессоръ, и отставной вице-губернаторъ въ парикѣ, присыпанномъ сахаромъ. Послѣдній, говоря, подъ шумокъ, за ужиномъ, рѣшительно напился пьянъ, и его замертво уложили въ чью-то чужую телегу. Сюда онъ пришелъ за семь верстъ пѣшкомъ, во фракъ и въ шляхъ, безъ шинели.

Уѣхали и пенсильванцы, и каролинцы...

Остались дома одни хозяева, да мы съ Говорковыми, нуждавшіеся въ отдыхѣ и кормѣ лошадей. Ночь прекратила всѣ гражданскія смуты. Оба лагеря погрузились въ тишину на всемъ протяженіи губерніи... до новой схватки поутру.

Романъ Романычъ, нашъ бывшій короткій пріятель, простился съ нами сухо. Добрая жена его тоже глядѣла на насъ съ какимъ-то сожалѣніемъ, провожая насъ на покой.

Намъ отвели комнату во флигелѣ. Говорковъ, по обычаю, приобрѣтенному имъ еще въ какой-то ротѣ въ Сибирь, прочитавши громко и съ поклонами при мнѣ всѣ молитвы, легъ и заснулъ какъ убитый. Мнѣ не спалось. Промаявшись на постели, я всталъ и посмотрѣлъ на часы, наведи ихъ на мѣсяцъ: было два часа ночи. Я вышелъ на крыльцо, вырубилъ огня и закурилъ сигару.

Дворъ, домъ и садъ спали въ тишинѣ.

Посидѣвши нѣсколько времени, я уже хотѣлъ идти во флигель на кровать, какъ изъ-за угла кухни, отъ села, раздались мѣрные шаги и какое-то мурлыканье грубымъ голосомъ, точно кто едва двигался и бормоталъ или пѣлъ

самъ съ собою. «Конкуррентусъ, винентусъ, бабентусъ...» отдавалось въ тишинѣ. Я вышелъ за кухню. На полномъ сѣннѣ мѣсяца двигался ко двору по полянѣ, съ палкой и въ какомъ-то бѣломъ балахонѣ, не то въ халатѣ, не то въ длинномъ сюртукѣ, видѣ челоуѣка — старика и, очевидно, слѣпого. Точно, это былъ слѣпой старикъ. Ощупывая палкой знакомую дорогу и напѣвая про себя непонятное: «Конкуррентусъ, винентусъ, бабентусъ», — онъ поровнялся со мной, остановился и вдругъ скинуть шапку.

— Здравія желаю! — сказалъ онъ, шамкая губами и въ носъ.

Это меня сперва удивило. Но потомъ я понялъ, въ чемъ дѣло.

Запахъ сигары далъ ему средство угадать мое присутствіе.

— Кто ты такой? — спросилъ я старика.

— Крѣпостной его благородія Романа Романыча!.. крѣпостной и усердный холопъ, Елизаръ Приходько! отставной музыкантъ, капелмейстеръ, сочинитель нотъ и пѣвчій, отъ малыхъ лѣтъ имѣлъ необычайный голосъ!.. А вы кто?

Я назвалъ себя и объяснилъ свое депутатство.

Онъ гордо выпрямился, отставилъ ногу и, помахивая шапкой, съ презрѣніемъ отвернулся.

— Это все пустяки, дрянъ, ваша милость!

— Какъ пустяки, отчего?

И я сталъ объяснять ему, что вотъ «пришла пора» и что теперь господа и правительство дадутъ и вскорѣ объявятъ крестьянамъ свободу.

— Это все пустяки, — повторилъ онъ: — сами не знаютъ, что дѣлаютъ. Я съ малыхъ лѣтъ пѣвчимъ былъ у отца моего настоящаго пана; дискантище у меня бѣдовый былъ! А теперь вотъ сегодня я пьянъ; ну, пьянъ и пьянъ, даже въ канавѣ проспалъ цѣлый день... Ну, панъ-то мой, значитъ, Романъ Романычъ наидобрѣющій, только глянулъ на меня, да и полно; а прежде дали бы дерку, посватали бы съ березой липовой на пять недѣль...

Я не оспаривалъ отставного музыканта, сказавши только, что пожалуй ему-то вольность и не нужна, да молодые-то за нее поблагодарятъ. Онъ усмѣхнулся и помолчалъ. Выраженіе безбородаго, блѣднаго и морщиноватаго лица его изъ насмѣшливаго перешло въ грустно-задумчивое, ноющее.

— Скучно на свѣтѣ жить! — добавилъ онъ: — скучно, а выпьешь, и веселѣе станетъ... Эхъ, панычъ вы мой, паныченокъ! — сказалъ онъ, качая сѣдой, плотно остриженной го-

ловой:—гдѣ она, вольность-то, у насъ на свѣтѣ? Птицы-се, что лц, имѣютъ? или муха крылатая, или звѣрь полевой? Не-мѣ ея, не-мѣ, и бѣсъ ее знаетъ, гдѣ она! Не-мѣ! И пусть на нее молодые не таращатся. Не-мѣ, паныченко, и не ищите!

Онъ надѣлъ картузь, какъ-то всхлипывая вздохнулъ, хлопнулъ по картузу ладонью и пошелъ далѣе, черезъ дворъ, къ какой-то конурѣ, коверкая опять на латинскій ладъ бессмысленныя слова. Я ему крикнулъ вслѣдъ: «Елизаръ, погоди, я объясню тебѣ кое-что... ты не понимаешь!» Но старикъ не воротился. Старый слуга вѣрилъ старому времени... На дворѣ свѣжѣло... «Стожаръ» или «волосожаръ»—по мѣстному названію—голубоватая кучка звѣздъ по сѣверной сторонѣ неба отливалась розово-золотистымъ огнемъ и спускалась къ землѣ. Это опущеніе здѣсь считается за близость утра. Большая медвѣдица, по-здѣшнему—возъ, также склоняла уже къ землѣ и свое дышло, и свзи осм, и бока своей воздушной колесницы...

Со стороны вольной слободы, гдѣ стояли, по словамъ стараго музыканта, солдаты, послышался въ тишинѣ медленный крикъ. Замолчалъ онъ и отдался опять. Я сталъ вслушиваться. Кто-то изъ гушины вербъ, ограждавшихъ огороды—должно-быть, солдатъ—кричалъ навеселѣ и должно-быть, товарищу на всѣ лады: «Ивановъ! Ивановъ! А чи не хочешъ ты Ганки *)?» И этотъ окликъ повторялся нѣсколько разъ, разносясь по тихимъ полянамъ и по рѣкѣ, уже подернутой туманомъ близкаго разсвѣта.

1860 г.

*) Ганка—сокращенное имя Агафя.

БЫЛОЕ И НОВОЕ.

Тетунка моя, Анисья Еремьевна Магденко, говорила какъ-то, что прежде, бывало, выѣдетъ землеѣръ и говорить:

— Хотите, матушка, я вамъ землицы отрѣжу чужой, а вы мнѣ заплатите?

— Съ радостью, батюшка, отрѣжьте!

— Сколько же вамъ нужно?

— Да десятинокъ двѣсти, у сосѣда Бакланова хорошо бы прихватить! Пустыни отличныя, какъ разъ вонъ за рѣкой, съ моими смежны; конопли и просо отлично родятся!

— А какъ благодарность будетъ?! Я меньше ста рублей не возьму. Нужно въ губерніи заплатить, чтобъ бумагу и указъ мнѣ написали рѣзать!

— Съ удовольствіемъ, батюшка, съ удовольствіемъ.

Вотъ и скажетъ землеѣръ въ чертежной, что такая-то помѣщица проситъ выслать межевщика, отрѣзать у сосѣда купленную землю. Ну, присутствіе и высылаетъ съ бумагою, за должною скрѣпою. Выѣзжаетъ господинъ. Сосѣда, какъ парочно, дома нѣтъ. Показываетъ бумагу, гдѣ предписывается произвести должное отмежеваніе. Староста сосѣдскій ничего не понимаетъ. Выводятъ съ обѣихъ сторонъ понятыхъ. Ставятъ вѣхи, астролѣбію, ведутъ черту по самой цѣлинѣ, по чертѣ проводятъ плугомъ приличную борозду, роютъ ямы и ставятъ столбы. Землеѣръ даже ловкія мѣры принимаетъ, чтобъ и потомство не забыло о его межахъ, а у самыхъ ямъ сводитъ толпу деревенскихъ ребятишекъ и сѣчетъ ихъ, чтобъ когда даже «прежніе парнишки станутъ бородаты»—и тогда бы памятно имъ было, что тамъ-то шли они съ образами, а тамъ-то еще имъ задали припарку. Кон-

часть дѣло землемѣръ, какъ слѣдуетъ, и говорить барынѣ: «Ну-съ, земля вапала! Теперь благодарность!» И увозить, громѣ ста рублей, полотна еще, мотковъ, грибовъ, варенья, наливки и всякой рухляди. Лигуетъ барыня. Разумѣется, сосѣдъ возвращается, видитъ какъ разъ на сѣнокосной степи свѣжія борозды и межевые столбы.

— Это что такое?

Староста говорить:

— Наѣхалъ землемѣръ и отрѣзать такой-то Анисѣ Ерсмѣевнѣ!

— Быть не можетъ! По какому праву?

Летить въ судъ. Судъ, разумѣется, предписываетъ барынѣ отдать неправедно отнятую землю; столбы выбрасываются, межи и ямы сравниваются. Все забывается. Землемѣръ лигуется. Барынѣ не тягаться же съ нимъ. Да и уликъ на лицо нѣтъ. Межевщики-де не отвѣчаютъ за землеладѣльцевъ и рѣжутъ, что попросятъ ихъ размежевать. И остается только въ памяти ребятишекъ, что тогда-то, дѣйствительно, ихъ высѣкли. Былъ одинъ такой землемѣръ, еще маленькій да худенькій, невзрачный, а поди — какалъ птица, что изъ одного уѣзда такимъ образомъ вывезъ чотыре тысячи на ассигнаціи. Все у сосѣдей сосѣдямъ отрѣзывалъ поля, а дворяне были на ярмаркѣ, — безъ себя и поручали благодѣтелю расправляться. Да еще какой это былъ проноза! Нужно, бывало, отклонить въ рошѣ или столѣтнемъ бору линіи отъ астроябінъ въ сторону: онъ взберется на дерево, зацѣпится за вѣтку вверхъ ногами, повиснетъ и начнетъ кричать не своимъ голосомъ. Ну, мужичье, понятые и разбѣгутся отъ страху. А ему этого и нужно. Сдѣлаетъ свое дѣло, да ихъ же еще и срамить.

— У меня, говорить, животъ заболѣлъ. Я такъ всегда лѣчусь! А вы чего разбѣжались?..

Теперь, конечно, люди стали умнѣе. А жить нужно. Ну, и берутъ другими путями. И всякъ это знаетъ. Думали у насъ сначала, что кончившіе курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ не будутъ брать. А оказалось иначе.

— Я, говорить, девятымъ классомъ выпущенъ. Мнѣ нужно и вышить, и поѣсть, и перчатки тоже нужны. А жалованья сколько?

Всѣ мы, оказывается, немного капитаны копейкины! Какъ-то одинъ разъ въ нашей губерніи студентъ изъ ста-

рыхъ московскихъ студентовъ, уже дряхлый и разорившійся баринъ, прїѣхалъ по дѣлу о продажѣ имѣнія, узналъ, что надсмотрщикъ изъ университетскихъ и посовѣтился дать ему благодарность. Смотрить, а дѣло не подвигается. Что за навожденіе! Спросилъ.

— Те-те-те!—запѣлъ ему помощникъ изъ канцелярскихъ дѣтей:—да вы дайте ему фіолетовую, и дѣло съ концомъ!

Сгорѣлъ старикъ со стыда, вспомнивши Мерзлякова, Карамзина и весь классическій идеальный міръ прежняго храма науки; а дѣлать нечего: вынулъ изъ старенькаго платочка единственную фіолетовую и подаль надсмотрщику между листами дополнительныхъ справокъ. Въ тотъ же день дѣло было подписано. Не вытерпѣлъ старикъ и, блѣдный, едва сдерживая дыханіе, свертывая дрожащими руками дѣло, на дому у надсмотрщика, сказалъ ему:

— Многогнѣко изволили взять!

Тотъ вспыхнулъ и вскочилъ:

— Милостивый государь, извольте идти вонъ! Вы забываетесь, милостивый государь! вонъ!

Едва выскочилъ на крыльцо потерянный старикашка.

— Ишь ты, — разсуждалъ онъ: — прежде, бывало, дашь, подыачему, да и съ нимъ же еще и выпьешь. А тутъ!..

И онъ махнулъ рукой. Да и винить ли вполнѣ чиновника? Мѣсто изстари доходное, такъ уже принято, и держится на откупъ. Долго до него надо дослужиться. А въ губерніяхъ при томъ же все такъ непомѣрно вздорожало: четверть ржи прежде стоила два съ половиной ассигнаціями, а теперь шесть съ половиной серебромъ, индѣйка—цѣлковый, фракъ—сорокъ пять рублей серебромъ. Тяжелое время!

Кто же не беретъ? Люди-призраки, люди-идеалисты, люди-либералы, которыхъ еще вчера называли безпокойными, и наконецъ особенно склеенныя природы. Вѣдь бываютъ же такіе антики, плезіозаурусы и мамонты нашей общественной фауны...

Нынче «новымъ вѣетъ» у насъ...

Былъ я какъ-то на сельской богатой ярмаркѣ, и показали тамъ мнѣ помѣщика, по прозвищу — Криничка. Тутъ кроется острога. Видите ли, какъ вода въ криничкѣ (степномъ ключѣ) чиста, такъ-де и поведеніе этого господина было чисто и непорочно. У него даже составилъ особаго рода «норовъ чести», какъ бываетъ у русскихъ людей «но-

ровъ правды-матки», «норовъ усердія», «норовъ чистоплотности» и «норовъ кутежа» Онъ не иначе при этомъ ужъ, разумѣется, ходилъ, какъ въ какомъ-то засаленномъ сюртучикѣ, шалоновыхъ брючкахъ, всунутыхъ въ сапоги, въ нанковомъ жилетѣ, грязныхъ рубашкахъ изъ домашнего холста, нечесанный, съ изъерошенной головой, ѣлъ гадко, пилъ простую очищенную, а имѣлъ три тысячи десятинъ земли и вездѣ и каждому совалъ подъ носъ любимую поговорку: «Па-алюби, бра-атецъ, насъ въ чернѣ, а въ бѣлѣ насъ вся-акой полюбить!» Проводилъ онъ время, разматывая съ утра до ночи мотки пряжи и вывязывая тенета и перепелиныя сѣти. Носилъ на тоненькихъ ножкахъ, отвислое брюшко и нюхалъ табакъ изъ лубковой тавлинки. Дѣйствительно, по общему говору онъ не бралъ на службѣ взятокъ, служа по выборамъ, и въ расчетахъ былъ честенъ. Съ любопытствомъ я приглядывался къ нему на ярмаркѣ, гдѣ онъ ходилъ, какъ падишахъ, и всѣ ему шапки снимали. Да что же изъ этого? Черезъ полгода, когда я уже съ нимъ познакомился, послалъ этотъ Криничка шерсть со своихъ овецъ на ярмарку, не въ свой, а въ сосѣдній городъ, продавать, слышавъ, что тамъ лучшая будетъ цѣна. И что же вы думаете, для чего онъ при шерсти послалъ не писаря своего, всегда продававшего шерсть, а старосту? Онъ хотѣлъ наградить старосту.

— Шерсть-де продается, положимъ, по пятнадцати цѣлковыхъ за пудъ, а онъ покажетъ, положимъ, по четырнадцати рублей по восьмидесяти пяти копейкѣ серебромъ. Ну, сто цѣлковыхъ въ карманѣ и будетъ безгрѣшныхъ барышей! Выторговалъ! Нельзя же, надо и ему дать почувствовать сладость и утѣхи тепленькаго, доходнаго мѣстечка! Пусть-де поправится, оперится!

Вотъ и честный, не берущій взятокъ человѣкъ. Самъ не беретъ, да допускаетъ возможность арендаторства тамъ, гдѣ одна тѣнь неправды уже бросаетъ порчу въ самый корень званія и мѣста, хотя бы это мѣсто было не болѣе, какъ санъ сельскаго старосты. Расскажу вамъ о хивинцѣ Эскеръ-Агѣ, или иначе о русскомъ поручикѣ Эскеровѣ, пріемномъ сынѣ помѣщика Чебардина. Сидѣлъ я однажды у пріятели моего, землемѣра губернскаго, Щуковича, въ то время, какъ онъ еще не затѣвалъ печальнаго дѣла съ парикмахеромъ Исидоромъ, но уже, подъ обузою губернскихъ пріятностей, го-

варивалъ:—Боже, Господи! Когда-то я буду имѣть возможность купить десятины двѣ лѣсу, въ лѣсу выстроить домикъ, и обнести его частоколомъ, сажень на сто во всѣ стороны, чтобы погрузиться, въ тишинѣ, въ созерцанье собственного достоинства, а калитку запретъ ото всѣхъ на замокъ и на цѣпъ! Кто придетъ, даже въ двери не стукнетъ, не заглянетъ въ окно, а прежде повозится у калитки. Вотъ, провести бы этакъ годика два жизни, не видя и не слыша никого. Много бы хорошихъ вещей надумалось... Не даромъ присажныхъ въ Англіи запираютъ въ отдѣльную комнату и морятъ голодомъ, пока тѣ не рѣшатъ, въ присѣсть, извѣстнаго дѣла единогласно. А тутъ отписывайся! Ничего и неидетъ въ голову!

Зашла какъ-то рѣчь о честности.

— Видѣли вы, — спросилъ онъ, — вчера господина Эскерова у меня?

— Нѣтъ.

— Жалко же! Вотъ субъектъ, мимо могилы котораго я никогда не пройду съ покрытою головою. Сущій гость адема!

— А что?

— Да не любятъ его у насъ развѣ однѣ барыни: обидятся, что всегда безъ перчатокъ ходить и не танцуетъ польки. Вонъ, вчера, мадамъ окружная при мужѣ, нарочно въ пику ревнивому супругу, объявила при всѣхъ съ утонченною развязностью:—«Я, Свищевъ и козель всегда вмѣстѣ!» А Свищевъ ея любовникъ. Вотъ и поди ты съ нашею развязностью. И мужъ стерпѣлъ; только улыбнулся и поцѣловалъ еще ей ручку. Этакая, разумѣется, Эскерова не полюбить!—Однако, вотъ въ чемъ дѣло: покойный свитскій полковникъ Чебардинъ, пріемный отецъ Эскерова, дѣлалъ одинъ разъ съемку береговъ Каспійскаго моря и высадился съ небольшимъ конвоемъ на песчаную косу Хивинскаго залива. Пока онъ курилъ отличную гаванскую сигару и дѣлалъ свои наблюденія, три всадника, должно быть странники, показались на ближнемъ пригоркѣ. Они, повидимому, ѣхали мимо. Конвой офицера былъ въ шлюпкѣ, куда и онъ уже готовился воротиться, но еще уклонился въ сторону. Вдругъ всадники гикнули, кинулись на него, схватили его на сѣдло и умчали. Наши солдаты выпалили по нимъ изъ винтовокъ и пистолетовъ, но понапрасну. Хивинцы скоро умчали Чебардина изъ виду. Дорогою онъ быстро понялъ

свое отчаянное положеніе, но сохранить присутствіе духа. Какъ это онъ оплошалъ, было ему самому непостижимо! Три хищныя рожи торчали передъ нимъ, только махая на востокъ: «туда, дескать, тебя запропастимъ». Вскорѣ на дорогѣ за холмомъ, въ оврагѣ, къ нимъ пристали еще двое, старикъ и мальчикъ, очевидно наблюдавшіе за ними издали. Лицо мальчика болѣзненно дрогнуло при видѣ скрученныхъ толстымъ ремнемъ бѣлыхъ рукъ и ногъ всадника, помѣщеннаго какъ-то въ стоячемъ положеніи между двухъ сѣделъ. Цѣлый день, пока хищники ѣхали по степи, глаза мальчика съ жалостью обращались то на русскаго, то на его похитителей. Это незримое участіе возросло до невѣроятной степени, и четырнадцатилѣтній хивинецъ сталъ видѣть въ Чебардинѣ чуть не полубога, когда на первомъ же ночлегѣ офицеру освободили руки и онъ, вынувъ изъ гармана карандашъ, на доскѣ поданной деревянной миски набросалъ удивительно схожій портретъ дикаренка. Тутъ же они кое-какъ объяснились (Чебардинъ говорилъ немного по-персидски) и назвались братьями. Въ ближнемъ городкѣ слухъ о знатномъ плѣнникѣ уже разнесся далеко. Густые полковничьи эполеты, самый видъ статнаго и полного Чебардина и его кабалистическія занятія на берегу съ магпитной стрѣлкой и зрительной трубой заставили принять его чуть не за намѣстника Кавказа. Городскія власти тотчасъ взяли его на свое попеченіе, думая особенно имъ угодить хивинскому хану, снарядили караванъ изъ верблюдовъ, пѣшихъ и всадниковъ и отправили его далѣе. Сочувствіе маленькаго Эскера не ускользнуло отъ первыхъ хищниковъ, ставшихъ во главѣ торжественнаго отряда и они сказали объ этомъ городскимъ властямъ. Безъ дальнихъ околичностей, власти закатали мальчику, несмотря на его княжескій титулъ, сто палокъ по пятамъ и запретили ему шествовать при отрядѣ. О! тогда мѣсть закипѣла въ груди его. Схвативши миску съ нарисованнымъ на ней собственнымъ своимъ портретомъ, онъ сѣлъ на коня и въ двое сутокъ слеталъ въ свой родимый околотокъ, гдѣ онъ съ другими братьями былъ въ числѣ владѣтельныхъ князьковъ. Прискакавъ, сталъ бить себя въ грудь, рвать на себѣ волосы и съ пѣною у рта клясться и божиться, что надо отнять у такихъ-то такого-то плѣнника, что этотъ плѣнникъ стоитъ большого выкупа, что царь русскій не пожа-

лѣтъ за него ничего, что онъ такъ-то и вотъ такъ-то рисуетъ. Миска пошла по рукамъ. Дикари забормотали гортанныя рѣчи, кинжалы сверкнули, и пятнадцать улусовъ возмутились и поднялись на ноги. Мингомъ составлена вооруженная погоня, караванъ догнать и разбить. Братья и родичи метили еще за оскорбленіе родной крови, за наказаніе Эскера. Чебардинъ перешелъ въ полчаса изъ рукъ въ руки — и хивинцы пошли во-свои, ведя вмѣстѣ отнятыхъ верблюдовъ. Тутъ, выждавши на пути случай и время, Эскеръ-Ага ночью пришелъ къ Чебардину и, подавая ему кинжалъ, сказалъ по-персидски:

— Братья! возьми этотъ кинжалъ и заколи меня! Я не могу вести тебя въ неволю и торговать твоею свободой, а безъ тебя братья меня зарѣжутъ, какъ барана! Лучше ты меня убей и бѣги...

Чебардинъ сталъ его уговаривать.

— Полно, полно, Эскеръ! убѣдимъ вмѣстѣ! Я тебѣ дамъ въ Россіи денегъ, и ты будешь жить со мною.

— Денегъ? нѣтъ! Эскеръ-Ага такой же князь, какъ и ты, и у него всего вдоволь, земли, скота, овецъ и садовъ! Денегъ я не возьму и не поѣду съ тобою: ты меня сдѣлаешь своимъ рабомъ!..

Чебардину не мало стоило труда переубѣдить Эскера. Онъ поклялся, что никогда не обидитъ его предложеніемъ денегъ, будетъ считать его равнымъ себѣ и самому царю о немъ скажетъ. Эскеръ-Ага согласился, выбралъ у братьевъ лучшихъ двухъ коней, скинулъ съ себя нарядный чекмень и все лучшее, изрѣзалъ это кинжаломъ, чтобъ не показать, что беретъ что-нибудь лишнее, остался въ простомъ исподнемъ кафтанѣ и бѣжалъ съ Чебардинымъ. Послѣ мучительной дороги, на второй день они, верхомъ и пѣшкомъ, достигли наконецъ нашего передового поста. Чебардинъ, освобожденный такъ романически изъ плѣна, действительно сдержалъ слово, Эскеръ-Ага получилъ имя Эскерова и русское дворянство... Грудь его украсилась серебряной медалью за спасеніе... Чебардина, который его усыновилъ, Эскеровъ такъ любилъ, что однажды, когда тотъ отлучился по службѣ въ дальнюю командировку, а Эскера оставилъ дома полнымъ хозяиномъ, онъ чуть не уморилъ себя голодомъ. Послѣ шести или семи лѣтъ упорной школы, новый пересаженный цвѣтокъ, наконецъ, немного освоился съ мѣст-

ностью, принялъ лоскъ русской жизни, былъ записанъ въ полкъ, говорилъ уже по-русски, хотя во всемъ еще сохранилъ черты степного дикаря, и былъ произведенъ въ поручики. Одна бѣда: Чебардинъ вскорѣ умеръ, но, оставя названному сыну дворянство, не догадался оставить ему ни копееки наслѣдства, хотя самъ былъ значительно богатъ... Говорятъ, просто забылъ составить духовную!! А настоящие наслѣдники, разумѣется, обошли хивинца, пользуясь буквальнымъ смысломъ закона о родовомъ имѣніи. Но и тутъ простодушный, честный хивинецъ не свихнулся и ни однимъ словомъ не намекнулъ, что скорбитъ и жалѣетъ объ оставленной въ Хивѣ роднѣ, княжескихъ почестяхъ, стадахъ, земляхъ, садахъ и родныхъ, проклявшихъ его за измѣну во имя дружбы.

— Мой атецъ, Чебардынъ, любилъ меня. Мой очень любилъ ево! Эй фай! О другихъ я не думаю! — говорилъ онъ.

Черезъ мѣсяцъ послѣ сообщенной мнѣ биографіи Эскерова, я опять заѣхалъ къ первому.

— Да! — сказалъ онъ послѣ перваго привѣтствія: — помните мой рассказъ о хивинцѣ!

— Помню. Что же?

— А вотъ что, вообразите. На-дняхъ онъ отчисленъ былъ изъ полка въ сосѣдній городъ для пріемки рекрутъ. Ну, а вы знаете, что такое пріемка рекрутъ?.. Сидитъ онъ за столомъ у станка, крутитъ усы, держится за пашку, да топорщитъ бѣлки на сдатчиковъ и на рекрутъ. Воетъ баба и ругается.

— Лобь! — кричитъ главный пріемщикъ.

— Какъ лобъ? Какъ лобъ? — кричитъ баба: — онъ однимъ окомъ плохо видитъ!

Происходитъ замѣшательство. Баба воетъ. Медикъ показываетъ, что ничего не замѣчаетъ и что-то пишетъ у двери.

— Коли такъ, — кричитъ баба, рванувшись къ присутственному столу: — такъ пусть же лѣкарь отдастъ мнѣ назадъ пять золотыхъ; онъ взялъ у меня, видитъ Богъ, взялъ!

— Кровь застучала въ вискахъ Эскерова; губы его сперва побѣлѣли, потомъ посинѣли. Онъ всталъ...

Какъ лѣкарь взялъ? — спросилъ онъ, шатаясь и неровно идя по комнатѣ.

Лѣкарь, худенькій, золотушный человѣчекъ, въ зеленомъ

виць-мундирчикъ и гъ очкахъ, застегнутый на всѣ пуговицы и скромно заложя руку за лацканъ, стоялъ между тѣмъ у двери.

— Ты кто? — спросилъ Эскеровъ у бабы: — мужъ есть, али ты вдова?

— Вдова, батюшка, вдова: пятеро дѣтей и все дочки, а это одинъ мой сыночекъ!

Эскеровъ глянулъ исподлѣбья по комнатѣ и, казалось, уже не видя ничего, подошелъ къ лѣкарю.

— Вынимай деньги сейчасъ при всѣхъ! Слышишь ли? — сказалъ онъ ему громко, стискивая рукоятку шашки и бѣшено вращая налитыми кровью зрачками.

— Какъ-съ? что-съ? — забормоталъ лѣкаръ, шурясь и ерзая у двери.

— Отдавай! — крикнулъ Эскеровъ, уже съ такимъ злобѣщимъ выраженіемъ лица, что лѣкаръ вытянулъ только къ нему побагровѣвшій носикъ и замолчалъ: прилипъ языкъ къ гортани. Червонцы сама собою какъ-то при этомъ достала изъ праваго кармана сѣрыхъ брючекъ правая же рука и протянула ихъ къ Эскерову.

— На твои дѣнга! — сказалъ Эскеровъ вдовѣ и въ то же мгновеніе, шагнувши мимо присутственнаго стола, рванулъ доктора съ полу и вышвырнулъ его за окно... Одни золотыя очки зазвенѣли по полу...

— Благо, что оно не было высоко! — замѣчали, толкуя про этотъ казусъ, мѣстные чиновники. Лѣкаръ отдѣлался небольшоимъ ушибомъ, а пріемка рекрутъ пошла болѣе честнымъ путемъ.

Разсказъ объ этомъ былъ сообщенъ Щуковичемъ въ присутствіи нѣсколькихъ человѣкъ гостей, гдѣ были и дамы.

— Да! герой для повѣсти! Ужъ мосье Щуковичъ всегда такую любопытную исторію сообщить! — говорили дамы.

— Нѣтъ, это понятно... понятна цѣль разсказа! — возразилъ, горячась съ каждымъ словомъ, сухой и ѣдкій чиновникъ изъ уголовной палаты: — только предметъ не достигнутъ! Что же вы хотите, милостивый государь, сказать? Что если кто не беретъ у насъ взятокъ, такъ только выходцы, люди, подобные Эскерову, дикари, первобытныя натуры, бросающія родину, домашній почетъ и братьевъ за слово другъ? Сущій вздоръ, милостивый государь, сущій вздоръ! Наше время ушло впередъ, ушло-съ! Да! и вы умал-

чиваете, умалчиваете! Есть уже люди съ образованіемъ, совѣстью, вкусомъ и сознаніемъ долга! Вонъ нашъ Трембицкій писалъ, и другіе тоже писали! Да... есть люди, не берушіе взятокъ, есть; а это — либерализмъ, пустословіе. Расскажу вамъ о Карпѣ Семенычѣ Мокроболотовѣ...

Но, увы! Краснорѣчивый защитникъ Карпа Семеныча Мокроболотова началъ службу съ рублемъ; а теперь — не угодно ли справиться? Имѣетъ на имя жены два дома и строить свѣчную фабрику на краю города...

Пройдетъ еще пять лѣтъ, онъ будетъ покровителемъ и сподвижникомъ дѣла цивилизаціи. И прошу покорно тогда заговорить ему о взяткахъ! Одна изъ роскошнѣйшихъ розъ нашего околотка, онъ назоветъ скромную былъ о хивинцѣ Эскеровѣ журнальною дребеденью и скажетъ:

— Молодежь, молодежь! шумить, пока перебьются. Эхъ, вы, умники, умники! Россію вы мало знаете! А узнаете, не будете такъ горячо довѣрять всякимъ вздорнымъ писакамъ... Словомъ, знакомыя мысли...

1860 г.



ВЕЧЕРЪ ВЪ ЧЕРЕШНЯХЪ.

Былъ у меня въ сосѣднемъ казенномъ мѣстечкѣ, Черешняхъ, пріятель-докторъ. Служа при военномъ госпиталѣ, онъ составлялъ рѣдкое исключеніе. Ну, велико ли казенное жадованье военного медика? А посмотрите, между тѣмъ, чѣго у него не было! Послѣдняя копейка шла на приобретеніе книгъ, газетъ и журналовъ. Рижскому извѣстному садовнику и поставщику припасовъ на всю Россію, Вагнеру, стоило только назвать имя Карталинскаго, онъ приходилъ въ восторгъ: «А! герръ Карталинскій, герръ Карталинскій! О! это—великій знатокъ и покровитель флоры: онъ ее понимаетъ и живетъ ею!» Стоитъ ли прибавлять, что герръ Вагнеръ зналъ герра Карталинскаго по перепискѣ, за полторы тысячи верстъ, и что садъ великаго покровителя герра Карталинскаго былъ величиною всего въ пять квадратныхъ сажень. И когда подумаешь, что другіе сосѣди, окрестные помѣщики, владѣльцы имѣній въ тысячу и въ пять тысячъ десятинъ земли, имѣютъ сады, гдѣ прозябаютъ искони одни яблоки, да, дико растущая туземная вишня, то неводно беретъ злость. Иной разъ пріѣдешь къ такому господину,—на дворѣ жарко, въ комнатахъ безъ занавѣсокъ душно, и спѣшишь въ садъ.

— Куда вы?

— Въ садъ! Хочется посмотрѣть на ваши дорожки и бесѣдки. Вашъ садъ, говорятъ, столѣтній, и еще адъютантъ Потемкина, ухаживая за вашею прабабкою, насадилъ каштаны.

— Э! помилуйте! — отвѣчаетъ безъ запинки хозяинъ:— стоитъ ли ходить по бурьянамъ? Каштанъ этотъ можетъ быть и есть, да я не видѣлъ его; а дорожки у насъ не

чистятся уже седьмой годъ. Перестали плодить бергамоты, мы его и запустили!

А у Карталинскаго—чудеса, сущія чудеса. Пришелъ онъ чуть не пѣшкомъ въ мѣстный университетъ, кончилъ курсъ, живя уроками, женился, кажется, на другой же день послѣ выпускныхъ экзаменовъ, на сестрѣ губернскаго учителя, такого же бѣдняка, какъ и онъ, и былъ причисленъ къ военному госпиталю. Квартирка его въ Черешняхъ, бѣдномъ мѣстечкѣ, гдѣ квартировалъ уланскій полкъ, состояла изъ трехъ комнатъ. При квартирѣ былъ дворикъ, величиною съ любой залъ иного помѣщичьяго дома. У этого-то дворика онъ и отрѣзалъ часть земли подъ садъ. Удобрилъ землю, насадилъ деревьевъ, и пошли дива-дивныя. Въ одномъ углу сада, съ необычайною быстротою давшаго уже густую тѣнь отъ бѣлыхъ акацій, дикаго жасмина и душистыхъ тополей, явилась тепличка, въ три аршина длины и вышины, куда невозможно было даже и войти, но гдѣ разводились на зиму и выставлялись къ веснѣ на воздухъ оранжерейныя растенія. Въ другомъ углу возникъ парничокъ, и къ Пасхѣ за столомъ доктора стала являться зелень, рѣдисы, шавель, салатъ и скороспѣлые огурцы. У самыхъ оконъ дома, выходившаго въ садъ, раскинулся диковинный цвѣтникъ такихъ цвѣтовъ, о которыхъ въ околоткѣ и не подозрѣвали. Среди клумбъ вознеслась бесѣдка съ хитро размалеванными карнизами и стѣнами. Хмелевая бесѣдка, съ ванною внутри, приткнулась уже у самого плетня въ переулочъ. Наконецъ, вдоль бѣлой, солнечной стороны домика, имѣвшей, даже въ осенніе дни, градусовъ до пятнадцати тепла, явились виноградныя лозы, и на второе же лѣто собственные ребятишки Карталинскаго, въ концѣ сентября, нарвали корзинку, фунтовъ въ двадцать, своего винограду, да какого еще: первѣйшихъ южныхъ сортовъ, нарочно выписанныхъ изъ Крыма и Кавказа! А собственная душа Карталинскаго, любовь къ чести и къ правдѣ, вопреки житейской логикѣ? Э! лучше объ этомъ и не упоминайте... Люблю я эту слободку Черешни... Сидѣлъ я на-дняхъ въ садикѣ у Карталинскаго. Зелень едва проглянула, но на солнцѣ было уже тепло. Онъ курить сигару изъ своего доморощеннаго мериленскаго табаку, который тоже воздѣлывалъ, и былъ въ торжественномъ настроеніи духа. Жена его, Вѣра Осиповна, еще въ ваточной мантилїи, сидя на скамеечкѣ съ косымъ изголовь-

емъ, читала вслухъ какую-то повѣсть изъ новыхъ журналовъ. Изрѣдка чтеніе прерывалось общими замѣчаніями. Чего, казалось, еще не доставало для счастья бѣдныхъ людей нашего десятка? Весна, первые теплые дни, умная книга, милое общество доброй молодой женщины. Соловьи только-что прилетѣли. Кругомъ разносилось дыханье первыхъ липкихъ почекъ тополей, одаренныхъ необыкновенною пахучестью. Кусты крыжовника убирались зелеными куколками. Береза изъ-за плетня опускала ожерелье своихъ гладенькихъ цвѣточныхъ сверточковъ. За ближними вербами, по ту сторону сосѣднихъ огородовъ, раздавалось веселое побрякиванье цымбалъ и треньканье ходячей скрипки. Тамъ были спрятаны подъ вѣтвями, у рѣки, шинокъ. А надъ нами трепетно сквозила и точно носилась вверху и плавала «лазури таящая нѣжность...»

— А вотъ, вы не знаете, о чемъ я думаю? — сказалъ Карталинскій.

— Не знаю, Михаилъ Петровичъ!

— Вотъ о чемъ. Только-что я сегодня сдѣлалъ обходъ въ госпиталь, побывалъ на перевязкѣ и у трудно-больныхъ, какъ говорятъ мнѣ, что какой-то помѣщикъ пріѣхалъ прямо въ госпиталь; прихожу я къ нему. — «Что вамъ угодно?» — «А вотъ, нельзя ли дать этому сыну моему свидѣтельство, заднимъ числомъ и годомъ, что ему привита оспа?» Удивило уже меня это предложеніе о заднемъ числѣ, но я скрылъ удивленіе и только спросилъ, зачѣмъ такое свидѣтельство. — «А въ гимназію думаю его помѣстить. Только туда не принимаютъ безъ такого свидѣтельства. Напишите, я вамъ и денегъ дамъ!» — Отпустилъ я фельдшеровъ и вступилъ съ нимъ въ разговоръ. Думаю: хоть усовестить его, а то еще и къ другому съ такими же предложеніями поѣдетъ. Разговорились мы. Что жъ бы вы думали? нейметъ его! такъ и лѣзетъ: напишите, да напишите! «Я, — говоритъ, — пять цѣлковыхъ дамъ!» — Изъ мелкопомѣстныхъ! — «Да вы, — говорю, — заразите все училище!» — «Э! въ томъ-то и штука, что нѣтъ; тамъ уже у всѣхъ привита; Ванѣ моему и не у кого будетъ заразиться!» Насилу его спровадилъ.

Разговоръ перешелъ къ заботливости нѣкоторыхъ помѣщиковъ заводить у себя для лѣченія крестьянъ «домашнія аптеки».

— Что же, это превосходно, мой другъ, — замѣтила жена: —

дѣло цивилизаціи выиграетъ, хоть люди твоего ремесла и теряютъ...

— Цивилизація!.. Превосходно!.. Годъ назадъ зовутъ меня за Подпольную: гонцомъ прискакалъ какой-то юнкеръ, въ усахъ, съ косую сажень, тройку лошадей загналъ. Что такое? «Паленька,—говорить,—сестрицѣ хотѣли дать слабительнаго, да вмѣсто того съ просопковъ, послѣ обѣда, дали чего-то такого, что ее все рветъ да рветъ, и она кричитъ, точно подъ ножомъ!» Полетѣлъ я. Оказывается, что заботливый батюшка далъ дочкѣ, вмѣсто англійской соли, ложечку свинцоваго сахару. Насилу отпоили и вылѣчили. И то до сихъ поръ рѣзьями страдаетъ. А другой, вмѣсто кремортартара, собственному садовнику закатилъ мышьяку. Такъ и схоронили бѣдняка. Меня же еще и позвали, точно на похороны. И славный былъ садовникъ,—Вань-Гутта понималъ и за границей былъ... А то, тоже завелась у нѣкоторыхъ страсть репутаціи фельдшеровъ составлять. Иной подумаетъ, что изъ зависти это говоришь. Отрядишь въ деревню для первыхъ пособій фельдшера—кровь бросить, банки поставить, рану перевязать; смотришь—черезъ мѣсяцъ его уже и не узнаешь. А чѣмъ портятъ? «Иванъ Гаврилычъ, да Агѣй Филимонычъ!» и становятся Ванька и Агѣшка въ число окружныхъ геніевъ. Воротнички отпускаютъ; на неофициальномъ, праздничномъ скюртучкѣ офицерскіе погончики тайкомъ ставятъ. А помѣщикъ и уши развѣсилъ! Важничаетъ и ломается у него фельдшеръ. Ужъ и за однимъ столомъ обѣдаетъ. А отчего? Дешевле, видите ли, визиты стоять, чѣмъ пріѣзды настоящаго доктора. Ну, до поры до времени и сходить съ рукъ какъ-нибудь. Та же англійская соль, рвотное, пипирменты, сода, тинктура валеріана и другія подручныя снадобья играютъ пока безвредную роль. Но вдругъ помѣщикъ заболѣлъ не на шутку. Затянулася злая лихорадка, грозитъ горячка, завалы сдѣлались, острое воспаление. Что же вы думаете, доктора тогда позовутъ? Какъ бы не такъ! А Гавриловъ зачѣмъ, а Филимонычъ развѣ не геній-самородокъ? «Вѣдь, говорятъ, у Трындиной грудница послѣ родовъ сдѣлалась, лѣчили-лѣчили эти доктора (въ сущности, оказывается, что одного Яблочкина позвали, по знакомству, изъ городка, да и тотъ не поѣхалъ, зная скверность звавшихъ), а онъ сдѣлалъ припарки, и все какъ рукой сняло». Вотъ и посылаютъ за Филимонычемъ уже не

телѣжку, а экипажъ, коляску четверикомъ. Филимонычъ заводится штатскимъ платьемъ. Отводятъ ему комнату, и живетъ онъ тамъ по недѣлямъ. Въ госпиталѣ до него мало дѣла, и жуируетъ онъ на сладкихъ хлѣбахъ, даже рецепты тайкомъ въ губернскую аптеку посылаетъ. Хватъ, а помѣщикъ уже и на отходѣ... «Пошлемъ,—говорятъ домохозяды,— за Карталинскимъ!» Ёдетъ Карталинскій, ничего не зная. Филимонычъ при этомъ разоблачается и въ погончикахъ встрѣчаетъ начальника на вытяжку. «Чѣмъ ты лѣчишь?»— «Такъ и такъ-съ, однѣ предварительныя-съ мѣры». Разспрашиваются далѣе домашніе. «Какъ предварительныя? Ахъ, ты душегубъ, мерзавецъ, убійца! Вѣдь ты кровь бросилъ?»— «Бросилъ-съ»...— «Въ лихорадкѣ и старику кровь бросилъ?! Вонъ отсюда! мерзавецъ, вонъ»... — Но уже поздно, и экономный господинъ отправляется, благодаря Филимонычу, на тотъ свѣтъ... А прошу покорно увѣрить ихъ, что теперь докторъ безъ платы за визиты лѣченія жить не можетъ! Плату суютъ, краснѣя и заикаясь, точно взятку даютъ. Да о томъ еще и не подумаютъ, что коли тебѣ извѣстно, что я по полтора цѣлковыхъ въ часъ беру, такъ ты уже, суя деньги изъ-подъ полы или въ шляпу, всѣ давай, а то смотришь, трехъ цѣлковыхъ и не додалъ... Точно подарковъ или милостыню даетъ... Да чѣмъ же мы-то виноваты, что въ дѣтствѣ голодали, молодость убили за книгами и въ душевныхъ клиникахъ, а теперь обладаемъ такимъ же собачьимъ аппетитомъ, какъ и вы всѣ?—Чѣмъ виноваты въ этомъ мы?.. Нѣтъ, далека еще та пора, когда умственная производительность будетъ у насъ цѣниться если не выше, то хоть наравнѣ съ вещественною. Сапожнику заплатить долгъ сполна, а учителя музыки надуетъ! Перчаточнику заранѣе шлетъ деньги, а книгъ не покупаетъ въ лавкахъ и по объявленіямъ,—у пріятелей зажиливаетъ! Будто эти господа писатели для того и живутъ, чтобы голодать, да думать о безсмертіи въ потомствѣ! Нѣтъ, коли ты сытъ, веселъ и здоровъ, такъ дай же ѣсть и литератору, и музыканту, и доктору... Былъ недавно одинъ презабавный случай»... Карталинскій не окончилъ. На дворѣ стало сыро, и мы вошли въ комнаты. Въ залѣ было шумно уже и горѣли свѣчи. Старшій сынъ хозяина, Александръ, гимназистъ пятаго класса, живя на пасхальныхъ праздникахъ, возился у стола надъ сосудомъ съ проволоками, гдѣ отливалась гальванопластикой

какая-то красивая медаль. Полненькая, черноглазая дочка хозяина, Машенька, пансіонерка, вырбывала восковые цвѣты. Меньшой сынъ, Миша, возился съ собакой. Мы перенбрались въ гостиную...

— Былъ одинъ презабавный случай,—продолжалъ здѣсь снова Карталинскій: — и, кажется, всего лѣтъ пять-шесть назадъ. Одинъ богатѣйшій помѣщикъ на Подпольной, Проскуряковъ, начиталъ гдѣ-то въ газетахъ, что какой-то иностранецъ предлагаетъ выгодно устроить сахарный заводъ. А у него былъ какой-то доморощенный заводецъ съ отсталой системою производства, съ тяжелыми и устарѣлыми машинами. Вотъ онъ и выписалъ иностранца. Нельзя же. Является на Подпольную честнѣйшій бельгіецъ, Девинъ, какъ теперь помню,—я даже видѣлъ его. Мнѣ показывали его на ярмаркѣ, уже прогорѣлаго. Начинается дѣло. Пишется контрактъ. Заводъ сдается на томъ условіи, что, положимъ, съ каждаго берковца сахару, въ пользу Девиня, какъ преобразователя завода, за его трудъ и хлопоты отчисляется десятый процентъ. Контрактъ подписанъ обѣими сторонами, и въ немъ положена еще неустойка, что-де «кто нарушитъ контрактъ, платитъ противной сторонѣ пени тысячу рублей серебромъ». Закопшился бельгіецъ, трудится день и ночь, ползаетъ по лѣстницамъ и печамъ, перемѣняетъ людей, перемѣняетъ машины, ведетъ корреспонденцію съ лучшими заграничными сахароварами и рафинадными заводчиками, на безденежь помѣщика прилагаетъ въ кипучемъ дѣлѣ три тысячи цѣлковыхъ собственнаго кровнаго капитала, съ прибавкою жениныхъ денегъ, и копчаетъ тѣмъ, что дѣлаетъ чудеса: въ два съ половиною года заводъ, прежде не окупавшій работъ своихъ и матеріаловъ, усмеряетъ производство. Помѣщикъ въ первый годъ сталъ получать десять тысячъ серебромъ чистаго дохода, на второй — восемнадцать, на третій — двадцать-пять. Готовясь къ четвертому году, Девинъ объявилъ, что надѣется этотъ доходъ въ грядущемъ году довести до тридцати-пяти тысячъ рублей, и что кладезь послѣдній камень, становится простымъ компаньономъ, а изъ Манчестера на два года выписываетъ еще новую машину и такого машиниста-заводчика, что фабрика на седьмомъ году станетъ на неизмѣнный путь пятидесяти тысячъ цѣлковыхъ ежегоднаго барыша. При этомъ самому Девиню десятымъ процентомъ выпадало на долю пять ты-

сячь рублей серебромъ. Завидная доля, за то же и хлопотъ много, — а знанія и природнаго генія еще больше. «Пять тысячъ цѣлковыхъ! — сталъ между тѣмъ разсуждать нашъ господинъ: — да этакъ, считая платежи въ опекунскій совѣтъ да вычеты по долгамъ частнымъ — и все мое имѣніе того не стоитъ! За что же давать бурсману?» — Покрѣпился еще, выждалъ, пока Девинъ дѣйствительно выписалъ новую машину и шотландца-машиниста, да въ одно прекрасное утро выгналъ бельгійца, со всею его семьею, за околицу своей деревни. Онъ разсчиталъ, что гораздо выгоднѣе ему заплатить сразу тысячу цѣлковыхъ неустойки, чѣмъ, сохраняя при устроенномъ уже заводѣ Девина, удѣлять ему ежегодно по пяти тысячъ цѣлковыхъ. Какъ былъ Карлъ Богданычъ въ шлафрокѣ и вязанномъ дочерью колпакѣ, такъ его и вышвырнули, сунувши въ руки пакетъ съ тысячью рублями и съ письмомъ барина: «Я-де тобою, Карлъ Богданычъ, недоволенъ. Иди съ Богомъ и устройвай заводы въ другихъ мѣстахъ. А за неустойкой я не погонюсь — возьми ее себѣ до копейки по условію!» — «Вздоръ, вздоръ! — вопилъ бельгіецъ, бѣгомъ лѣтя въ шлафрокѣ черезъ озадаченную деревню къ барскимъ покоямъ: — ты отдалъ неустойку? хорошо! а мои лучшія шесть лѣтъ жизни, а моя репутація, честь и слава!» Проклятъ Подпольную бѣднѣй бельгійца и пошелъ таскаться сперва по разнымъ заводамъ, предлагая свои услуги, а тамъ уже просто по кабакамъ. Осрамился передъ соотчичами, передъ семьей и запилъ горькую чашу. Я, говорю, видѣлъ его самъ какъ-то на ярмаркѣ въ Лышковѣ. Стоитъ издали, прислонясь къ возу съ мѣшками, ногу за ногу заложилъ и качаетъ головой, а голова уже бѣлая, какъ серебро, и весь распяно. «Мусью! — кричатъ мѣстные мелочные торговцы: — открой заводы!» — А въ другомъ концѣ площади стоитъ толстый-претолстый брюхачъ. «Кто это?» — «Проскуряковъ!» — Подхожу ближе. Разговоръ, слышу, идетъ о той же извѣстной всѣмъ продѣлкѣ его съ бельгійцемъ. Онъ говоритъ, размахивая руками и косясь черезъ плечо къ видному вдаль возу съ мѣшками, а слушатели надсѣдаются отъ хохота. «Какъ такъ?» — «А вотъ какъ! Разсчитываю я, что заплатить неустойку выгоднѣе. Ну, вотъ я призываю приказчика Нестеренко. Такъ и такъ, Нестеренко, обдѣлай дѣльце. Ну, и обдѣлалъ»...

Карталинскій не кончилъ и сталъ перелистывать книги

и газеты на столѣ; мы поболтали еще и готовились разойтись спать. Я мимоходомъ взглянулъ на разложенныя по столу книги. Передо мною лежалъ Шиллеръ, съ картинками, которые перебирали передъ тѣмъ дѣти.

— Да, — заключилъ Карталинскій: — оспа, коммерческая честь и взаимный кредитъ у насъ туго принимаются, да врядъ ли когда вполнѣ и примутся, а вотъ романтизмъ такъ глубоко пустилъ корни. Знаете ли, что въ мои студенческіе годы, не далѣе, значить, пятнадцати лѣтъ, у насъ на Вшивой-Горѣ былъ свой Вертеръ? Да! Вы смѣтаете? Нѣтъ, истинная правда! Вообразите, полюбилъ пѣхотный офицеръ барышню, зачитавшись Марлинскаго и другихъ сочинителей, свирѣпствовавшихъ въ то время въ нашей литературѣ. Читаютъ они вмѣстѣ «Фрегатъ Надежду», «Капитана Милозора», «Торкватто-Тассо» и кстати «Страданія Вертера». И что же бы вы думали? Напечатлѣли одинъ разъ другъ другу поцѣлуй, за чтеніемъ наединѣ, да и поѣхали на Вшивую-Гору. Пріѣзжаютъ ночью, а тамъ есть кладбище. Привелъ офицеръ барышню на какую-то могилу, а она въ бѣломъ платьѣ, и волосы распущены. Поставилъ ее на колѣни, велѣлъ молиться Богу. Поцѣловались они еще разъ. Онъ ей и говоритъ: «Тамъ увидимся, гдѣ вѣчный май?» А она ему отвѣчаетъ: «Ахъ! Точно! Тамъ увидимся, гдѣ вѣчный май!» Приложилъ извергъ ей пистолетъ къ груди и бацъ. А самъ, пока она трепетала въ послѣднемъ издыханіи, взъерошилъ себѣ волосы, выкурилъ трубку и тоже застрѣлился. Сторожъ видѣлъ всю эту продѣлку, но такъ перепугался, что не высунулъ носа изъ будки и на другой день только все рассказъ полиціи.

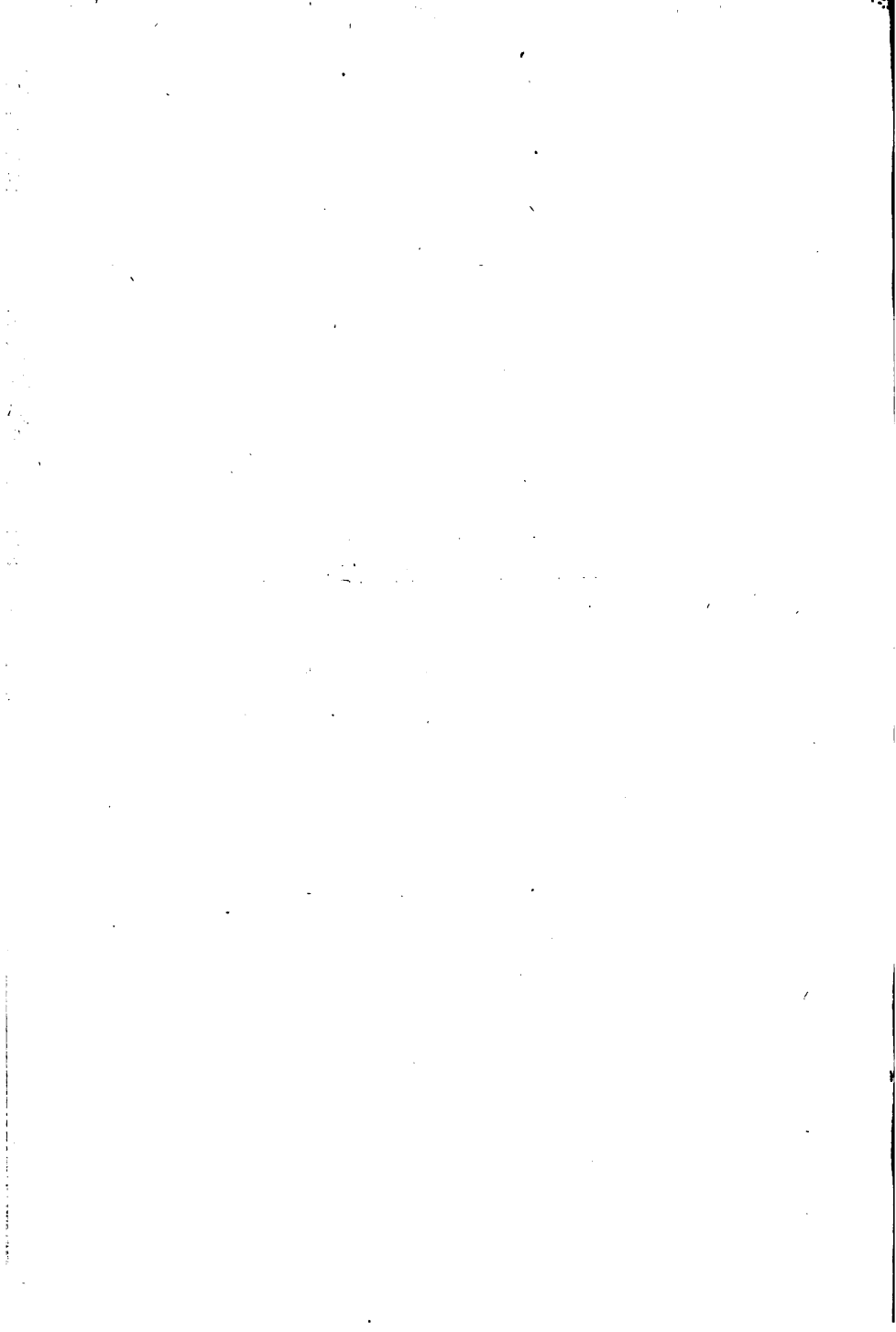
— Да отчего же ты не крикнулъ, никто не позвалъ, по крайней мѣрѣ, на помощь? — допрашивали его: — можетъ быть, тебя слышали бы?

— А я думалъ, что это черти! — отвѣчалъ сторожъ. — Такъ и похоронили...

Р. S. Когда рассказъ этотъ готовъ былъ къ печати, я получилъ письмо отъ жены Карталинскаго: «Вообразите наше горе. Безъ всякой видимой причины, мужу моему сегодня объявили, что онъ переводится въ Грозныйскъ. Прощай нашъ садъ, оранжерея; прощайте и вы. Напрасно онъ толкуетъ о ломкѣ. Надо ѣхать съ мѣста, гдѣ мы прожили столько лѣтъ».

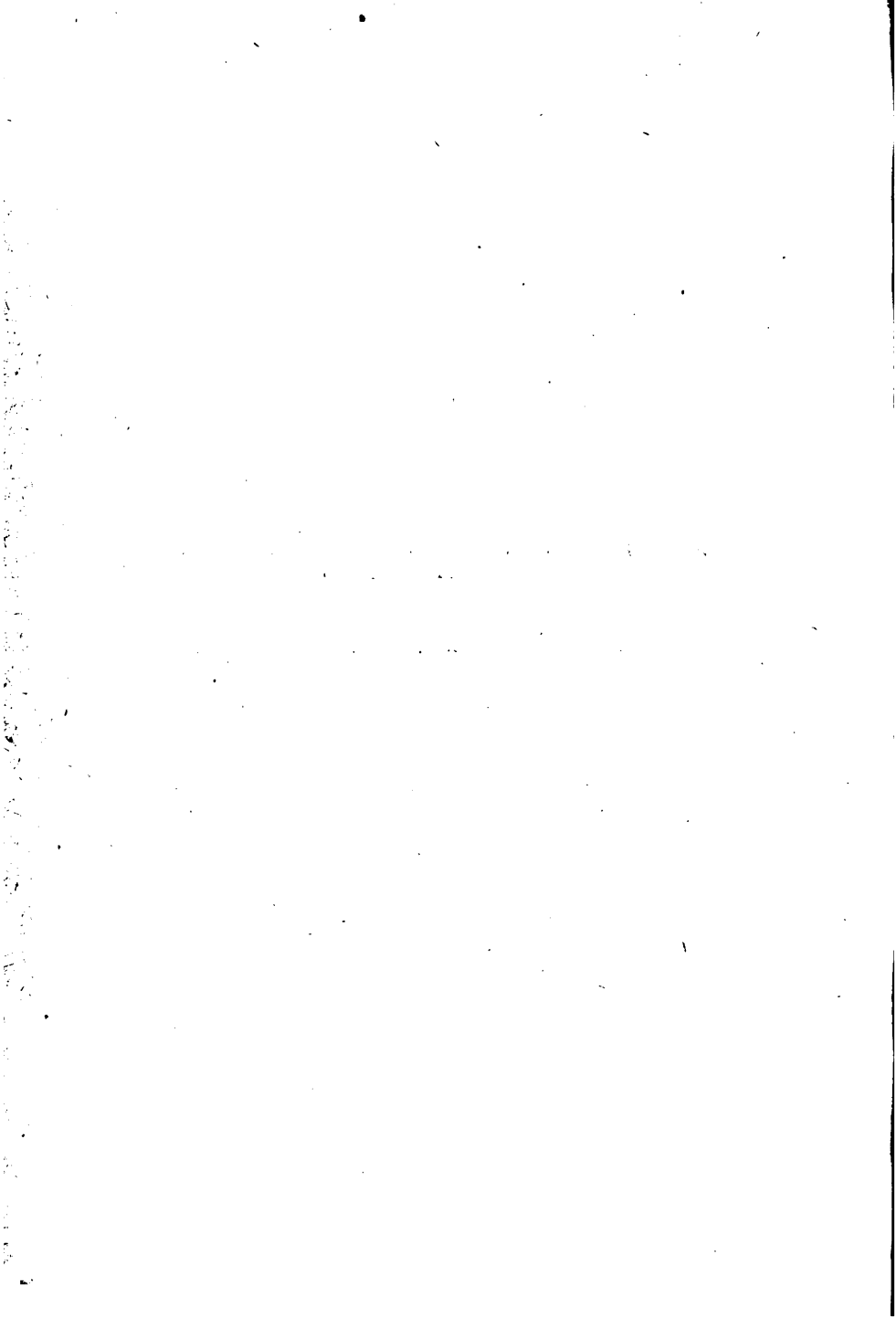
1858 г.





СЛОБОЖАНЕ.

МАЛОРОССИЙСКІЕ РАЗСКАЗЫ.



ВВЕДЕНИЕ.

«Лучше быть первымъ въ мѣстечкѣ,
чѣмъ вторымъ въ Римѣ!»

Юлій Цезарь.

Малороссія историческимъ путемъ образовала три отдѣльныя страны. Запорожье, это славянское рыцарство, единственное въ мірѣ братство, жившее войной за родину и вѣру, представляетъ шумную, живописную вольницу днѣпровскихъ островитянъ, летавшихъ въ легкихъ лодкахъ, съ выборными атаманами, изъ бревенчатыхъ куреней за шелками, коврами и золотомъ Турецкой Анатоли. Гетманщина, старая степная гетманщина, гдѣ на кровавомъ поединкѣ рѣшенъ споръ между туземнымъ населеніемъ и польскими старостами, между православіемъ и іезуитами, гдѣ вращались тѣни «Тараса Бульбы» и «гайдамаковъ» — представляется съ своими сожженными городами, съ гетманами и бунчуками, слѣпцами-бандуристами и отважнымъ казачествомъ... Третья часть Малороссіи, молодая, свѣтлая страна, степная Слобожанщина, представляетъ тихій, благодатный, живописный край, зеленые сады и пажити, широкія рѣки и торговые широкіе проселки, лѣса и города, молодые и богатые, какъ самъ край, старину, у которой нѣтъ ни одного воинственнаго, громкаго имени, ни одного воинственнаго, громкаго событія, много счастливыхъ хуторовъ и слободокъ, мирныхъ добряковъ, лелѣющихъ мечтательную лѣнь, среди зеленыхъ весей и полей, героевъ домашняго очага, картинъ пустынныхъ гладей, усѣянныхъ душистыми цвѣтами, и этой благодатной старости и привольнаго дѣтства, среди тысячи предметовъ, питающихъ чудесность и страстную любовь къ родному пріюту... Что же это такое Слобожанщина и откуда она

взялась? За двѣсти лѣтъ страна, именуемая Слободскою, представляла пустыню безлюдныхъ степей и дикихъ лѣсовъ, по которымъ носились одни дикіе татары и гдѣ возвышались одни дозорныя мѣста пограничныхъ обывателей. Четыреста лѣтъ сряду эта богатая область была безлюдна и пустынна, съ той самой поры, какъ набѣгъ ордынцевъ опустошилъ ее вмѣстѣ съ сосѣдними русскими княжествами. И вотъ, потомки ея владѣльцевъ вспомнили о покинутой отчизнѣ... Донецъ, на триста верстъ протянувши логовище своихъ водъ, лѣса и сѣнные раздолья, родной Донецъ принялъ забытыхъ родичей, какъ нѣкогда онъ же, по словамъ пѣвца стараго времени, принялъ издалека князя Игоря. Золотая, туманная старина встала изъ мрака. Донецъ, по словамъ вѣщаго Слова, сказалъ Игорю: «Княже Игорю! Не мало-ль тебѣ нынѣ величія, а врагу нелюбія, а Русской землѣ веселія?»—И отиѣчалъ родной рѣкѣ князь Игорь: «О, Донче! Великъ ты, дельбующій князя на волнахъ своихъ; великъ ты, стелющій ему зеленую траву на серебряныхъ прибрежяхъ, великъ ты, одѣвшій его темными мглами, подѣ сѣнію зеленаго полѣся!» Прошли многія столѣтія, и описанное пѣвцомъ стараго времени снова возникло... За двѣсти лѣтъ назадъ близъ береговъ Донца, верхомъ на изнуренномъ конѣ, показался чубатый гетманецъ, съ пищалью и котомкой за плечами, въ изношенной черкесскѣ и синей шапкѣ, подбитой смушками. Онъ окинулъ взоромъ безмолвную пустыню лѣсовъ и полей, гдѣ жили нѣкогда его мирные дѣды, страну, четыреста лѣтъ не выдавшую своихъ родныхъ изгнанниковъ, и слѣзъ съ усталаго коня... На дикомъ, глухомъ мѣстѣ скоро поднялся уединенный курень; на зарѣ дымъ легкою струей всталъ надъ куренемъ; черезъ годъ въ сосѣдствѣ раскинулась пасѣка, въ прибрежномъ тростникѣ заколыхался подъ рыболовною сѣтью челнъ... Немного лѣтъ спустя, вокругъ куреня поднялись, какъ изъ земли, другіе оревенчатые курени. Изъ куреней возникъ хуторокъ, хуторокъ съ садами, бакшею, колодцами и хлѣбными кладями... Пять-шесть хуторковъ соединились внизъ по рѣкѣ въ одинъ, и возникла слободка. Слободка пустила въ степь, какъ корни, свои хутора и курени, свои сады и огороды; народъ засновалъ по перелѣскамъ и луговинамъ; стадо вышло на тучное пастбище; надъ оврагомъ заскрипѣлъ тяжелый возъ, запряженный парю круторогихъ во-

ловъ; вечеромъ, сѣвши на порогѣ хатки, чернобровая слобожанка затынула пѣсню громкую и звучную; въ праздникъ изъ слободки понеслись звуки церковнаго колокола... Прошло еще нѣсколько лѣтъ. На вершинѣ кургана показались усы и рысья шапка татарина... Слободка засуетилась, окружилась палисадникомъ; изъ ея воротъ вышелъ съ распущенными значками легкій, летучій, безстрашный отрядъ; быстрый натискъ сломилъ и разметалъ враговъ; слободка стала крѣпостцей, откликнулась другимъ городкамъ-слободкамъ, и пошла по свѣту вѣсть о новой странѣ, о молодой, богатой Слобожанщинѣ! Великій царь Алексѣй Михайловичъ объявилъ во всеуслышанье, что дарить русскому шляхетству и казакамъ Гетманщины и Запорожья земли по Донцу и сѣвѣднимъ рѣкамъ, и бросили русское шляхетство и вольные казаки землю смутную и обогренную кровью, бросили Гетманщину и Запорожье для тихой, новой страны, для страны хуторовъ и слободокъ!—Богатый край, подъ одной широтою съ сѣвернымъ Китаемъ и сѣверной Франціей, край, почти съ тремя милліонами десятинъ черноземной, нетронутой плугомъ, степи и полумилліономъ десятинъ лѣсовъ, край, гдѣ рѣки замерзаютъ въ началѣ декабря, а вскрываются въ началѣ марта, гдѣ морозъ постоянно не болѣе десяти, а зной на солнцѣ превышаетъ тридцать градусовъ; гдѣ, наконецъ, уже въ апрѣлѣ все дышитъ весною, летятъ птицы, цвѣтутъ деревья и кустарники, а въ концѣ іюня поспѣваетъ озимь,—этотъ край скоро возродился и закипѣлъ жизнью... Сперва отдѣльно, потомъ съ семьями, наконецъ, цѣлыми сотнями и тысячами семействъ стали бѣжать и переселяться въ Слобожанщину гетманскіе и запорожскіе казаки и русское шляхетство. Лучшія дворянскія фамиліи переселились въ окрестности полковыхъ сотенныхъ городковъ. Выборные полковники продолжали раздавать, безоборочно и безпошлинно, лѣса и водяныя мельницы, вольные грунты и сѣнные угодья, ольховыя пристѣны, озера и пашки. Тамъ, гдѣ четыреста лѣтъ сряду носились дикіе татары, гдѣ шла уединенная и рѣдко оживляемая пустынными обозами, по гребню возвышенности, пересѣкающей слободскую котловину, дорога въ Крымъ, именуемая Муравскимъ шляхомъ, тамъ къ началу нашего столѣтія было уже до шестисотъ церквей и до милліона жителей. Рѣки усыпались винокурнями и мельницами. Луга и лѣсныя раздолья на-

полнились косарями. Плугъ пошелъ по косогорамъ и тучнымъ прибрежьямъ. Амбары и степныя одонья стали ломиться отъ хлѣба. Богатства полились въ руки землевладельцевъ!—Скоро на земли слободскія явились пришельцы чужеземные, сербскіе и болгарскіе переселенцы, румыно-налахи и, наконецъ, молдавскіе аристократическіе роды, положившіе начало новымъ туземнымъ фамиліямъ. Молодой университетъ поддержалъ литературныя начинанія, и въ пятьдесятъ лѣтъ слобожане встрѣтили сряду три громкія имени: Сквороды, Каразина и Основыяненка! Слобожане вошли въ пословицу своимъ богатствомъ, и когда ихъ живописная родина получила имя Русской губерніи, на гербѣ новой губерніи изобразили рогъ изобилія... Здѣсь сѣверъ и югъ отдають другъ другу свои достоянія. Сюда изъ Крыма прилетаютъ аисты и пеликаны, съ Кавказа заходятъ дикія козы! Рѣки и озера, полныя рыбъ, здѣсь не замерзають цѣлыя двѣ трети года. Лѣнивый плугъ царапаетъ землю, и посѣянное зерно родить самъ-шестьдесятъ. Это — не запорожская луговина, обнаженная и палимая солнцемъ! Здѣсь каждый оврагъ, каждый байракъ заросъ кустарникомъ, а широкія рѣки съ обоихъ боковъ тянуть стѣны дремучаго лѣса, на который взглянуть, такъ шапка валится! Трехпольное хозяйство не тяготитъ пахаря. Онъ запряжеть въ тяжелый плугъ три пары воловъ, съ погоничемъ-мальчишкою распашетъ въ три дня двѣ десятины и надолго спокоенъ... А сады его?—Поѣзжайте-ка въ валковскій уѣздъ, такъ такія сливы и бергамоты, что не зубами, а губами ихъ ѣшь, раскусишь, а онѣ душистыя и сочны, и янтарны, и прозрачны, какъ липовый сотъ, и ни съ чѣмъ въ мірѣ не сравнятся! Въ окрестностяхъ Волчанска и Богодухова удивительныя пчеловоды. А въ изюмскомъ уѣздѣ найдете и сахароваровъ... Съ виду какъ будто и ничего эти слободки!—А поѣзжайте къ нимъ поближе: дикая смѣсь соломы и глины, стоговъ и садиковъ, эти изгороди, перегородки и обгородки, эти клѣти, клѣточки и подклѣтки васъ ошеломятъ сразу! Зато какъ присмотритесь, что не даромъ слобожанинъ строить свои улья и свои хаты изъ чистаго липоваго теса, какъ присмотритесь и увидите, вокругъ этихъ свѣтлыхъ, бѣлыхъ мазанокъ, пышныя нивы пахотей и раздольныя сѣножати, какъ увидите, что всѣ эти клѣти и подклѣтки, всѣ эти перегородки и загородки полны домашней утвари, на-

рядовъ и хлѣба, а вѣтви садиловъ гнутся и ломаются отъ яхонта сливъ и багрянца вишенъ, вы не то скажете. Вы скажете: чуденъ край этой благодатной слобожанщины! И какъ ему не быть чуднымъ! А прошу покорно усидѣть охотнику на мѣстѣ, когда зимою вышелъ въ садъ, а зайцы такъ и пныряютъ между кустами щепами!.. А кто хочетъ пожить весело? Что вы скажете о Харьковѣ? Гдѣ вы видѣли такой городъ? На Руси не мало городовъ, о которыхъ мягкосердые проѣзжіе и услужливые обыватели постоянно говорятъ: «Да помилуйте-съ! Да это уголокъ Петербурга-съ». Но ни одинъ русскій городъ не заслуживаетъ подобнаго отзыва, какъ Харьковъ, если только авторъ не будетъ также обвиненъ въ излишнемъ мягкосердіи и тайномъ покровительствѣ всѣхъ безпечныхъ, чернобровыхъ, добродушныхъ и счастливыхъ! Давно ли возникъ этотъ Харьковъ! Давно ли возникъ онъ на берегахъ Лопани и Нетечи, на берегахъ великолѣпныхъ рѣкъ, которыя могутъ поспорить красотою съ Мансаресомъ потому, что и въ нихъ, подобно ему, лѣтомъ едва хватаетъ воды для гусей и утокъ! Не одинъ изъ современниковъ можетъ примѣнить къ этому городу слова Августа: «Я засталъ Римъ кирпичнымъ, а оставляю мраморнымъ!..» Что же представляетъ нашъ Слободской край въ нынѣшнее время? Роскошная, нетронутая почва ждала только свѣжихъ рукъ и здоровыхъ, свѣжихъ силъ. Руки явились, сѣмя брошено, и стройное дерево, не найди на матерней почвѣ враждебныхъ, закоренѣлыхъ, старыхъ плевелъ, дало здоровый, свѣжій плодъ. Молодое общество созрѣло. Его могутъ упрекнуть только въ молодости его; но это—порокъ, отъ котораго мы исправляемся каждый день! Развитіе деревенской жизни, какъ главное выраженіе края, уклонившееся-было отъ своихъ началъ подъ общимъ моднымъ повѣтріемъ вѣка, стало снова перерождаться. Брошенная родная нива стала снова дорога владѣльцу. Забытые дѣдовскіе дома, стоявшіе безъ мебели и оконъ, обновляются... И вотъ, мы снова живемъ въ своихъ хуторахъ. Лѣто всюду упоительно; не радуешь сердце одна жестокая, неумолимая зима! Но, быть-можетъ, и съ нею мы сладимъ! Вечеромъ, когда метель кружится и вѣтеръ воетъ въ трубѣ, когда новая книга усыпляетъ, а болтливая газета, описывающая дебютъ новаго дарованія на берегахъ ликующей въ снѣжномъ покровѣ Невы, валится изъ рукъ,—неожиданный колокольчикъ звя-

каетъ по слободѣ, въ темныя ворота влетаютъ тройки, тройки, въ намѣтахъ и бубнахъ, и толпа сосѣдей и сосѣдокъ врывается въ дремлющія комнаты... Шубы и шапки сброшены; рояль гремитъ подъ иззябшими пальчиками хорошенькихъ хуторянокъ! Шумъ, бѣготня... Старая ключница Аграфена, фрейлина бабушки и няня маменьки, дочекъ и внучекъ одной и той же семьи,—едва успѣваетъ отвѣчать на вопросы гостей, заказывающихъ ужинъ! Хозяинъ, съ сияющей улыбкой, несетъ свѣчи въ гостиную; гувернантка двухъ капельныхъ крошекъ, строгая Евгенія Ивановна, ученая дѣвица съ добрымъ сердцемъ и прекрасными, темными глазами, улыбается и складываетъ тетрадки и книги... И въ мгновеніе ока тихій домъ превращается въ балъный залъ, и цѣлыя недѣли гостятъ сосѣди у сосѣдей! И выводятся, наконецъ, въ новомъ обществѣ дикое понятіе, что одна скука рождаетъ такое гостепріимство! Скука рождаетъ зеленое море карточныхъ столовъ, а не гостепріимство. Скука рождаетъ все въ этомъ мірѣ, все, кромѣ гостепріимства. И плохо знаютъ нами отдаленныя области тѣ, которые находятъ такое начало русскому областному гостепріимству! Нѣтъ, господа! Не медвѣди-степовики тѣ, которые, извѣдавъ свѣтъ, хозяйничаютъ и трудятся на клочкахъ родной земли! Не медвѣди-степовики тѣ, которые, выучившись, сами учатъ и, просвѣтясь, идутъ въ работѣ наравнѣ съ своими послѣдними работниками! Эти медвѣди, господа, прежде васъ выгнали плутовъ-приказчиковъ и сами воздѣлываютъ данную Богомъ ниву! Они, господа, прежде васъ стали выкупать имѣнія изъ долговъ, снятіе недоимокъ стали считать семейными праздниками и, входя въ нужды крестьянъ, наполнять тишиною и счастьемъ свой домашній уголъ!.. Разумѣется, вездѣ есть исключенія. На почву бросается сто зеренъ, а между тѣмъ девяносто девять не всходятъ, и всходитъ только одно зерно, которое за то возвращаетъ посѣвъ сторицею! Эти-то исключенія и любопытны, привлекательны потому, что ими еще рѣзче обозначаются красоты цѣлаго, привлекательны и любопытны потому, что въ наше время, болѣе чѣмъ когда-либо, интересуются знать, какъ живетъ русскому человѣку всюду, въ костромскихъ и въ орловскихъ лѣсахъ, на взморьяхъ и въ оренбургскихъ равнинахъ, въ городахъ и по великимъ русскимъ рѣкамъ, вездѣ, гдѣ русскій духъ и Русью пахнетъ...

Не всё одинакаго понятія о Малороссіи, объ этой житницѣ южной отчизны нашей! Для однихъ это—страна, гдѣ проживаютъ лѣнивѣйшіе въ мірѣ пожиратели варениковъ, о которыхъ ходитъ по свѣту столько уморительныхъ анекдотовъ,—анекдотовъ, съ которыми сравниваются одни анекдоты объ англичанахъ. Для другихъ это — что-то до сихъ поръ еще дикое, отсталое, гдѣ говорить на тарабарскомъ нарѣчьи, носить чубы и ѣздить на волахъ. Для третьихъ веселонравная и простодушная хохландія—мѣсто, гдѣ винокурни держать очень выгодно, народъ глуповать, хотя подчасъ лукавъ, арбузы ни почемъ, въ деревнѣ скука страшная, сосѣди неучи и женщины довольно, однако, красивы... Для четвертыхъ, наконецъ, Малороссія—что-то такое, какъ бы вамъ сказать, такое странное, надъ чѣмъ иные восхищаются, какъ надъ Италіей, и чего, впрочемъ, они никогда не узнаютъ потому, что туда ѣхать страшно долго и неприятно, а они лучше поѣдутъ на Крестовскій или въ Новую Деревню,—тамъ, по крайней мѣрѣ, весело, нѣмецъ ходить по канату и музыка играетъ!.. Жители-туземцы тоже не одного понятія о Малороссіи. Одни ее любятъ, другіе совсѣмъ не любятъ; одни ею восхищаются, другіе ею ничуть не восхищаются! Объяснимся примѣромъ... Былъ нѣкоторое время сосѣдомъ моимъ помѣщикъ, по фамиліи Ганчірка. Наливки онъ предпочиталъ всякимъ на свѣтѣ заморскимъ винамъ, никогда не брился, съ утра до вечера ругался съ смазливой ключницей и знать не хотѣлъ ни о чемъ, кромѣ своего хутора! Въ числѣ другихъ странностей, было у него, между прочимъ, одно довольно любопытное убѣжденіе.—«Да помилуйте, — говорилъ онъ, улыбаясь такъ радушно и искренно, что и слушающіе его при этомъ невольно улыбались: — да это подлецы-французы все выдумываютъ! Ну, повѣрьте мнѣ, что нѣтъ на свѣтѣ ни Парижа, ни Лондона, ни Америки! Ну, ей-Богу же, нѣтъ! А это все черти-французы выдумали!» Господинъ этотъ, какъ видите, весьма любопытный господинъ! Но рядомъ съ нимъ существуютъ между нашими и такіе, которые рѣшительно не имѣютъ понятія о томъ, что дѣлается у нихъ въ деревнѣ, такіе, которые очень спокойно курятъ трубку гдѣ-нибудь въ Городовой, носятъ свои бобры на показъ мирнымъ сослуживцамъ на Невскій проспектъ, очень довольны картофельнымъ супомъ варвара-кухмистра, гдѣ-нибудь на Васильевскомъ

Островъ, и въ частой бессонницѣ, послѣ карточной перепалки, мечтають о томъ, что вотъ, современемъ, заведется у нихъ такая славная карета, на лежачихъ этакихъ рессорахъ и съ такимъ, чортъ возьми, жокеемъ въ ботфортахъ! Но и подобные не выдержать! Попадись имъ инвалидъ-старикъ, храбрый русскій воинъ изъ степи, для котораго до смерти не существуетъ слова «слушаю», а существуетъ слово «чую», услышь они въ частномъ домѣ, занесенную Богъ-вѣсть откуда, степную пѣсню, пѣсню чудную, простую, отъ которой весело становится на душѣ, хоть бы ничего веселаго на душѣ не было,—воскресшее сердце подхватывается на крылья воображенія, подхватывается и уносится въ далекія степи, въ широкія степи, на тихій, сбѣжавшій къ рѣчкѣ хуторокъ, въ маленькій домикъ, гдѣ странникъ далекаго края родился, гдѣ прижимала его къ теплой груди стройная, черноглазая, добрая матушка, гдѣ онъ ползалъ и бѣгалъ, росъ и проказничалъ, гдѣ пролетѣли незамѣтно его далекіе, невозвратные младенческіе годы! И радъ онъ, и плачетъ тогда, и стремится всею душою вдаль, вдаль, прочь изъ душнаго города, и выходитъ въ его мысляхъ клочокъ земли, нѣсколько знакомыхъ десятинъ родной земли!.. И радъ онъ этой землѣ, радъ этимъ десятинамъ, радъ болѣе всего въ мірѣ уголку,—уголку, незнаемому свѣтому, деревушкѣ, съ доброю дворнею, съ доброю старою няней, съ темною большою залой, съ гостиной, увѣшанными портретами предковъ, съ отцовскимъ кабинетомъ, гдѣ щегольской подборъ ружей и охотничьихъ снарядовъ виситъ и сверкаетъ за стеклами, и съ этою перспективою тихихъ, раздольныхъ окрестностей, тонущихъ въ сумеркахъ лѣтней зари! И гордъ онъ, бѣдный степнякъ, тѣмъ, что, когда наступитъ время силамъ отойти на покой,—найдетъ онъ на родинѣ пріютъ, гдѣ спокойно склонитъ усталую голову, найдетъ рядъ дѣтскихъ воспоминаній, связанныхъ съ каждымъ кустикомъ, съ каждою травкой, съ бѣднымъ, источеннымъ молю, стуломъ и ветхимъ дѣдовскимъ диваномъ... О, господи, ничто въ мірѣ не сравнится съ счастьемъ бѣдняка, мечтающаго о счастья!.. И вотъ, въ долгій зимній вечеръ, когда уже ничто не влечетъ разсѣяться, когда театры полны радостной толпы и быстрокрылые экипажи гремятъ и несутся по улицамъ,—въ такой вечеръ невольно мечтается о другихъ мѣстахъ и о другихъ картинахъ! О, какъ бы хо-

тѣлось тогда распахнуть промерзлое окно и встрѣтить не пасмурное, холодное небо, не громады каменныхъ, безмолвныхъ домовъ, не театры и улицы, не гранитныя и деревянныя мостовыя, а волшебнымъ маніемъ представшую степь, — степь съ панорамою луговъ и пашень, съ пестрою панорамою широкой рѣки, медленно идущей среди высокострѣлчатыхъ, темныхъ стѣнъ лѣса, уединенный курганъ съ каменною, вросшею въ него бабою, островерхій дозорный курень бакшевника, рядъ красивыхъ, нанизанныхъ вдоль тощаго ручья, холмовъ и овраговъ, лѣнивый, скрипучій обозъ чумаковъ, хуторянскую ярмарку съ криками, топотомъ и гамомъ хуторянского веселья, бѣлѣющійся вдали домъ помѣщика, домъ старика-хлѣбосола, готовящаго отчизнѣ пятерыхъ молодцовъ-сыновей и красавицу дочку, ужинъ косарей въ полѣ, бѣгъ степного дикаго табуна, распѣваемую на зарѣ долгую, чудную украинскую пѣсню, и всю эту дивную картину, которой имя—родина...



I.

СТЕПНОЙ ГОРОДОКЪ.

Никто такъ не гордится своимъ положеніемъ, какъ житель тихаго, степного городка,—городка и съ улицами, и съ домами, и съ аптекою, и съ лавками, городка настоящаго, среди пустынь да полей, и полей, полей безъ конца и оглядки. Это правда, мѣстоположеніе городка не завидно; посмотрите на него: онъ непремѣнно надъ рѣкою, широкою, но мелководною, степною рѣкою, и потому у него справа песокъ, слѣва песокъ, спереди песокъ, вездѣ песокъ! Такъ что зимою онъ похожъ на чернильницу, а лѣтомъ на песочницу, и молодые подсудки его, вообще большіе охотники до игры въ мячикъ и въ скрагли, въ вѣтренную погоду не употребляютъ песочницъ, а написанный листъ бумаги просто выставляютъ за окно... Эти подсудки въ слякоть употребляютъ особый родъ калашъ непомерной величины, чудовищной величины, въ которыя стоитъ только впрыгнуть, и дѣло съ концомъ. Оно конечно, молодые подсудки иногда дерутъ другъ друга за чубы; но вообще они—люди хорошіе, и нигдѣ въ свѣтѣ нѣтъ такихъ голубей, какъ у нихъ. Чтѣ за голуби, чтѣ за голуби! И гдѣ они ихъ только достаютъ? Есть тутъ и турмана и мохначи, и голуби припетни, и обыкновенные голуби: двуплѣкіе, сѣроплѣкіе, полвоплѣгіе съ подпалиной, и просто полвоплѣгіе; синехлуные, подъ парусомъ, дымножарые, панцырники и хвостари! И весело смотрѣть, какъ въ праздники гоняютъ ихъ съ соломенныхъ крышъ молодые подсудки, и самому хотѣлось бы пожить въ маленькомъ степномъ городкѣ! Маленькій степной городокъ былъ когда-то городкомъ богатымъ и населеннымъ; во времена давно прошедшія, въ немъ помѣ-

щалась даже резиденція одного изъ старѣйшихъ слобожанскихъ полковъ; но пора настала другая; сперва набѣги татаръ, потомъ пожары разорили его, и городокъ обезлюдѣлъ. Впрочемъ, по его улицамъ пасутся куры и гуси, а по городской площади разгуливаетъ постоянно журавль сѣрый и старѣй, и разгуливаетъ съ такимъ говоромъ, какъ будто ему принадлежать и улицы, и подсудки, и голуби, и весь городокъ со всѣмъ, что въ немъ ни на есть! — Городская рѣка; уже, разумѣется, милый сердцу Донецъ, издавна представляетъ, особенно съ Горы, подъ которой легъ городокъ, занимательные виды отъ песчаныхъ отмелей и наносовъ. На одномъ берегу его купаются мужчины, на другомъ — женщины; и между двумя берегами, при этомъ, всегда начинается такой разговоръ. Мужчины, войдя въ рѣку, говорятъ: «можно ли нырять? Мы подъ водою къ вамъ не подплывемъ!» А женщины отвѣчаютъ: «нѣтъ, нырять нельзя, потому что мы уже васъ знаемъ, и вы какъ разъ подплывете подъ водою!» И вслѣдъ затѣмъ онѣ начинаютъ барахтаться, подмахивая спиною кверху, что, какъ уже извѣстно, означаетъ женское плаванье. На той же рѣкѣ толстая купчиха, гордость бакалейнаго торговца, у котораго, подыстать ей, есть хриплый перепелъ, широкозадый битюгъ, бархатный чай, пятиведерный самоваръ и всегдашняя одышка, тутъ же бережно входитъ въ воду и говоритъ про себя, глядя подслѣповатыми глазками на другой берегъ, а на другомъ берегу купается крошечный человѣчекъ: «и зачѣмъ это дѣтей пускаютъ въ воду? Еще неравно утонетъ!» На эти слова, съ другого берега, раздается сердитый голосъ: «вѣрно, матушка, глаза-то подъ мышки, или въ другое мѣсто спрятала, что не видишь? Я секретарь, а не дитя!» Говорящій это, непомѣрно маленькаго роста, но, тѣмъ не менѣе, не то, что сказала купчиха, а секретарь, выкашивается изъ воды, и бакалейница видитъ, что онъ точно секретарь, а не дитя. Тутъ же, на берегу, въ платьѣ адама, моетъ снятую съ себя рубашенку дѣвочка и потомъ, въ томъ же платьѣ, идетъ разостлатъ ее на берегу просохнуть, пока она сама выкупается. Въ самый солнцепекъ, когда городскія плотины, пожирательницы сапогъ и постоловъ, не гнутся отъ прожжающихъ обозовъ, и торговки на базарѣ не перестрѣливаются мелкою бранью, именуемою бекасинникомъ, въ полдневный зной, городокъ совершенно стихаетъ,

и все въ немъ остается до вечера въ горизонтальномъ положеніи въ домахъ, съ заколоченными наглухо ставнями. Въ горизонтальномъ положеніи, впрочемъ, появляются прежде всего почтенные старожилы, которые въ это время уже пообѣдали и поспѣшили, какъ говорится, завернуть на село боковеньку! Не спятъ въ это время одни модники: они дѣлаютъ визиты почтенія и визиты уваженія. Кто съ кѣмъ давно знакомъ, то еще ничего и не выходитъ дурного; но съ новичкомъ при этомъ случаются странныя исторіи. Проговоривъ не малое время съ авантажною дамочкой, хозяйкою дома, проговоривъ въ пріятной темнотѣ, съ закрытыми ставнями, модникъ переходитъ изъ царства мрака въ царство свѣта, встрѣчается съ нею, иногда въ тотъ же самый вечеръ, на улицѣ и остается въ ошолбенѣніи: авантажная дамочка, хозяйка дома, не узнаетъ его! Но, вотъ, визиты кончаются. Въ горизонтальномъ положеніи всѣ отъ мала до велика. Тогда мертвая тишина городка не нарушается ничѣмъ; она нарушается только звонкимъ храпомъ Бориса Борисовича, или, какъ его называютъ въ городкѣ, Барбариса Барбарисовича Плины, отставного судьи; этотъ храпъ, въ самомъ дѣлѣ, такъ звонокъ, что внимающимъ ему все кажется, будто къ порогу Плины пришли съ поздравленіемъ трубачи. Наконецъ, уже не слышно и трубачей! Жара въ полномъ разгарѣ. Тутъ скрытый глазъ наблюдателя можетъ подмѣтить, какъ запоздавшая въ болтовнѣ съ кумой, загорѣлая мѣщанка, въ красной юбкѣ и голубомъ шушунѣ, идетъ, изнемогая отъ зноя, и, полусонная, вяжетъ на ходу чулокъ; а рыжій поповичъ, въ набойчатомъ балахонѣ, тащить за рога келейно-похищенную у сосѣда козу, и коза упирается и шагаетъ, пошатываясь, какъ марширующій рекрутъ. Но никогда такъ не шуменъ городокъ, какъ во время ярмарокъ. Главныя ярмарки въ немъ бывають подъ Варвару, на Преполовенье и подъ Трехъ сестеръ и ихъ матери.

Въ обыкновенное время тутъ не достанешь даже донского, зато на ярмаркахъ чего только не достанешь! Окружные помѣщики, съѣхавшись, прежде всего заводятся новыми картузами. Помѣщицы, съѣхавшись, прежде всего летятъ туда, гдѣ продаются чепчики, чепчики, чепчики прелесть и очарованіе! Ремонтеры торгуются съ цыганами и пьютъ го и просто сотернѣ, а также шато-марго, который они зовутъ

шатай-моргай. На городскихъ франтахъ появляются розовыя кисейныя накидки и брюки такихъ цвѣтовъ, что на нихъ постоянно лаютъ собаки! Изъ невѣдомыхъ странъ возникаетъ, среди улицъ, извозчикъ, извозчикъ — чуда, извозчикъ—привидѣнія, на пролеткахъ, обитыхъ полинялою нанкою, и на парѣ лошадей, изъ которыхъ за одной слѣдуетъ годовалый жеребенокъ. Каждый молоденькій панычъ тутъ на перечетъ, жениховъ ловятъ, какъ перепеловъ на дудочку! При видѣ молоденькаго паныча, обитательницы городка стараются тотчасъ обратить на себя вниманіе или костюмомъ, или словомъ, или чѣмъ-нибудь, чѣмъ-нибудь! Онѣ возвышаютъ голосъ громче обыкновеннаго. Одна говоритъ: «ахъ, душенька, кумушка, вы не повѣрите, что это за бондарь! Макитры и товкачи еще дороже стали!» На это другая отвѣчаетъ: «ахъ, крошечка моя, это еще что, макитры и товкачики! А вотъ, я борова приобрѣла за свое старое букмуслиновое платье, и что же? Еще приплатилась, матушка! Кѣчеты по полтинѣ, рыжики по полтинѣ, а къ яйцамъ, съ позволенія замѣтить, и приступа нѣтъ!» Крикъ сластеницы заглушаетъ голоса дамъ. Усѣвшись на дорогѣ съ желѣзною печкою и спрятавъ подъ юбку, отъ мухъ и пыли, горшокъ съ тѣстомъ, она кричитъ: «панычѣ, голубчики! У меня возьмите! Панычѣ, душечки! У меня!» Или: «господа-служба! вотъ у меня хорошія сластѣны!» Желаящему она тотчасъ производитъ самую свѣжую сластѣну: для этого посылонить только пальцы, ухватить изъ-подъ завѣса тѣсто и бросить его прямо въ масло!—Да, ярмарки городка—любопытныя ярмарки! Спозаранку около пестрыхъ ятокъ уже идетъ гулъ и толкотня. Рыжій захожій сузалецъ, съ книжками и коврижками, имѣющій обычай, какъ говорится, спрятать въ карманы по денежкѣ и къ вечеру въ каждомъ спрашивать барыша, имѣющій обычай, какъ тоже говорится, тереть полушку о полушку, въ надеждѣ, не выпадетъ ли третья, остановился и слушаетъ, какъ отставной шевронистъ, побывавшій за моремъ и дальше, толкуетъ о томъ и о семъ, и о томъ, какъ солдатъ солдата въ Туречинѣ изъ глины лѣпить. — «Э! Да ты, другъ, уже слишкомъ!—замѣчаетъ сузалецъ:—этого, братъ, быть не можетъ!»—«Не можетъ быть?» спрашиваетъ шевронистъ: «не мѣшай попустому; не твоя чередъ; безъ смазки сказки, что безъ полозьевъ салазки! Сѣсть сядешь, только все изгадишь!» Гром-

кій хохоть сопровождает прибаутку шеврониста. — Но вот, близокъ обѣдъ. Толпа возрастаетъ. Цыганъ съ утра еще началъ торговаться и для этого, по своему цыганскому обычаю, хлопать рукою въ руку слобожанина и до обѣда все еще хлопаютъ, не сходясь съ нимъ на цѣлковомъ. — «Ну, дашь за коня цѣлковый?» — кричить, хлопаютъ цыганъ. — «Не дамъ цѣлковаго!» — отвѣчаетъ оглушенный слобожанинъ. «Ну, обернись на сходъ солнца; обернись, красота! — говорить цыганъ и самъ обертывается. — Ну, молись, красота! конь твой!» Красота оборачивается и молится, но коня не беретъ за цѣлковый, потому что, кромѣ цѣлковаго, онъ долженъ еще дать и своего коня, и сапоги, и куль привезеннаго гороха! Цыганъ въ отчаяніи; а уже когда цыганъ въ отчаяніи, то торгу недолго длиться, онъ присѣдаетъ къ землѣ и кричитъ, срывая горсть травы: «чтобы такъ у меня животы оборвало, и еще родимецъ убилъ бы мою тетку, если конь не годится!» — Слобожанинъ при этомъ чешетъ за ухомъ, и соглашается потому, что цыганъ уже такъ побожился, что уже, кажется, и соврать никакъ не можетъ. «Пидчеревей, шобъ бахтировала!» — кричитъ пестрая мѣднотица толпа, прыгая и подчуж коня пинками и тычками, и сколько осторожный слобожанинъ ни машетъ шапкою, то въ правый, то въ лѣвый глазъ коня, слѣпая, разбитая кляча идетъ за зрячею! Но, вотъ, еще шумнѣе, еще пестрѣе! Торгъ въ полномъ разгарѣ. — Индѣйки кавкаютъ на голоса школяровъ; дѣти, покинутыя засуетившимися матерями, хныкаютъ, а налетѣвшій вѣтеръ заворачиваетъ имъ рубашенки на головы; заводскій, караковый въ сливахъ жеребецъ бьется и ржетъ, на желѣзной цѣпи, косясь на проходящій табунъ; торговки на мосту говорятъ всѣ разомъ и ни одна не хочетъ слушать! Ряды палатокъ съ красными товарами разстилаются длинною, пестрою панорамой. Тамъ еще шумнѣе! Одинъ спорить, другой божится на весь базаръ отцомъ и матерью, дядею и теткой; третій наскоро подставилъ сосѣду тавлинку и самъ собирается пропустить въ ноздрю порядочный фейерверкъ, между тѣмъ какъ увѣряетъ покупателя, что его ситецъ не ситецъ, а просто, такъ сказать, предводительская оранжерея; подъ яткою, гдѣ играютъ кббзы и цимбалы; кто-то растрогался и плачетъ и обѣщаетъ брата изъ тюрьмы выкупить, и говорить, что брата онъ такъ любитъ, какъ никого не любить; а вотъ несется за плетнемъ

отрывистая брань и чей-то басъ иронически замѣчаетъ: «да ужъ гдѣ же тебѣ, Ѳеда, спорить, когда у тебя весь ротъ на бекрени!» Красноносая перекупка показываетъ уходящей бабѣ дулю.—А около ставки, гдѣ выскакиваетъ деревянная кукла, такой гамъ, что еще никогда и не слышано; одинъ хохочетъ, ухватившись за бока, причѣмъ шапка его съѣхала на самый затылокъ; другой жену громко кличетъ посмотреть; а третій, въ оцѣпенѣннѣ, объявляетъ, что у него разомъ изъ обоихъ кармановъ украли и трубку, и кisetъ! Но и это еще не все. Идите скорѣе въ ветошный рядъ; тамъ продается всякая пестрая рухлядь. Старая лохмотница, обмотанная лентами, кусками распоротого желтаго и краснаго сукна, несетъ на головѣ гору шляпокъ, а на рукахъ гору брюкъ. Къ ней подходятъ безъ перемонѣ, берутъ ея шляпки и ея брюки, переворачиваютъ ихъ во всѣ стороны, тутъ же примѣряютъ, хлопаютъ руками по сомнительнымъ мѣстамъ и снова отдаютъ ей шляпки и брюки. Въ ветошномъ ряду продаютъ также грушевый квасъ и соловьевъ!—О, ярмарки въ городкѣ—очень любопытныя ярмарки!—Но никогда такъ не скученъ городокъ, какъ послѣ ярмарокъ. Тогда онъ совершенно пустѣетъ, и ничто уже не въ силахъ его развеселить. Одинъ острякъ сравнилъ городокъ послѣ ярмарекъ съ сусликомъ, который спитъ, а городокъ во время ярмарокъ съ сусликомъ, который радостно кричитъ на своей норкѣ.—На что только не пускаются горожане по обычаю всякаго русскаго человѣка, который гнетъ—не паритъ, переломить—не тужить! И книги начинаютъ читать, и другъ другу стараются всучить кума или куму, сватаютъ другъ друга, и въ гости къ румяному Ефиму Трофимовичу ѣздить, къ которому до той поры, по одной причинѣ, никогда не ѣздили, и принимаются, наконецъ, особенно пожилыя и плотныя дамы, верхомъ ѣздить, причѣмъ выписанныя изъ губерннѣ амазонки пышно обрисовываютъ ихъ полныя округлости. Вообще, надо замѣтить, туземныя дамы изъ породы булокъ, что не мало удивляетъ мужей, потому что невѣстами дамы вовсе не были булками, а были вообще барышни нѣжненькя, какъ говорится, барышни-хрящики, питавшіяся мѣломъ и грифельами! Иногда, впрочемъ, невѣдомое перо вдругъ пустить неожиданный, словесный брандскутель. Тутъ все оживаетъ и поднимается. Въ ловкихъ стишкахъ говорится про особу, побывавшую въ столицѣ, что она: «съ чухной лично гово-

рила и въ кунсткамерѣ была!» Про красавицу, предметъ общихъ толковъ, говорится: «и какъ не веселиться тутъ землѣ и небеси, когда ты именинница, Эмилія, еси!» И долго шумять и волнуются, по поводу словеснаго брандскутеля, горожане, и долго городокъ не утихае, какъ присутствие послѣ какого-нибудь биле-ду ревизіонной комиссіи. Но, наконецъ, и это умолкаетъ. Тогда маленькій городокъ—царство неисходной скуки! Одинъ учитель пѣнья тогда еще заходитъ изрѣдка потолковать съ аптекаремъ о томъ, что, вотъ, нѣтъ совсѣмъ ни уроковъ, ни больныхъ; но и это бываетъ не надолго. Дверь въ аптеку скоро заплетается паутиною, и аптекарскіе ученики пускаютъ изъ оконъ на опустѣлую улицу мыльные пузыри, а учитель пѣнія открываетъ табачную лавочку и съ улыбкой встрѣчаетъ каждаго покупателя, рѣдкаго и счастливаго покупателя!.. Въ одинъ изъ такихъ-то послѣярмарочныхъ вечеровъ, именно, когда маленький степной городокъ походилъ на суслика, который спитъ, къ городской чертѣ подъѣзжалъ на рыскахъ дорожный дормезъ, запряженный шестерикомъ почтовыхъ. Лакей, толстый господинъ изъ разряда крупночубыхъ бакенбардистовъ, качаясь, дремалъ сзади, усѣвшись въ подушки рессорнаго челоуѣколюбія. Заставы въ городкѣ никогда не водилось, на мосту собирали деньги за переправу черезъ рѣчку. Подслѣповатый инвалидъ, починавшій какое-то женское платье, принимая отъ лакея деньги, спросилъ: «а кто ѣдетъ?» И получилъ въ отвѣтъ: «ѣдетъ подполковникъ!». Хотя подполковникъ въ послѣдствіи оказался просто надворнымъ совѣтникомъ. Дормезъ, въѣхавъ на пески, поплелся шагомъ. Приближаясь къ городку, проѣзжій поминутно высовывался изъ оконъ. Въ улицѣ пригороднаго села онъ разѣхался съ бричкой, изъ-подъ будочки которой выглянули два дѣвическія лица, въ мелкихъ рыжихъ тирбушонахъ и голубыхъ полинялыхъ шляпкахъ. Проѣзжій, бросивъ на нихъ бѣглый взглядъ, тихо вздохнулъ. Казалось, онъ жалѣлъ и о тирбушонахъ, и о голубыхъ шляпкахъ! Далѣе, почти уже на городскомъ мосту, онъ разминулъ съ толстою шестимѣстною, хуторянской колымагой, набитой биткомъ, какъ арбузъ съ сѣмьячками, молоденькими, веселыми барышнями. Сердитая особа престарѣлаго возраста, очевидно маменька, жалась въ глубинѣ экипажа, завинченная и сжатая со всѣхъ сторонъ. Кругленькія и бѣленькія, какъ гладенькое

яичко, личики на стукъ dormёза выглянули изъ оконъ, выглянули съ задержанными рѣчами и изумленными взглядами, выглянули чуть не помирая со смѣху, и проѣзжій слышалъ, какъ дружный хохоть градомъ раздался за его спиною, едва dormёзъ разѣхался съ колымагой. Проѣзжій тоже улыбнулся; казалось, онъ былъ доволенъ и кругленькими личиками, и звонкимъ дѣвическимъ хохотомъ. Скоро dormёзъ поднялъ облака песку въ городскихъ улицахъ и остановился подъ крыльцомъ единственной гостиницы иногородняго еврея, Сруля Мошки, у котораго дѣти были Юдка и Мордка, вѣчно бѣгавшія нагишомъ, и полная, бѣлолицая жена Хаюня. Сруль Мошка держалъ гостиницу безъ выѣски; но зато эта гостиница была съ бильярдомъ и маркѣромъ. Проѣзжій вышелъ изъ dormёза. Едва его лысина, такъ-называемая ранняя лысина, съ волосами, зачесанными въ видѣ артишоковъ, съ затылка на виски, показалась въ сѣняхъ, съ лавки вскочилъ растрепанный маркѣръ, вставившій на одно мѣсто въ брюкахъ заплату голубого цвѣта. Проѣзжій, проходя по коридору, заглянулъ въ залъ. На бильярдѣ, по обыкновенію, сидѣла курица. Этотъ бильярдъ имѣлъ то похвальное обыкновеніе, что куда бы шаръ по немъ ни катился, онъ непременно попадалъ въ лѣвую среднюю лузу и, поставленный на навощенный шароставъ, качался нѣсколько минутъ, какъ акробатъ на канатѣ. Окна въ залѣ, поднимаемыя въ видѣ силковъ на подставкѣ, имѣли тоже похвальное обыкновеніе иногда, совершенно неожиданно, хватить по просунутой въ нихъ шеѣ. Войдя въ номеръ, проѣзжій замѣтилъ маркѣру, что не мѣшало бы выпить съ дороги чаю. Суровый маркѣръ на это ничего не сказалъ, но скоро загремѣлъ блюдечками и чашками; лакей-бакенбардистъ, между тѣмъ, раскинувъ умомъ, что отъ хозяина скорѣе поживешься и съѣстнымъ, и питьемъ, пустился на поиски Сруля Мошки. Пройдя черезъ дворъ, онъ остановился передъ погребомъ, гдѣ, по справкамъ, долженъ былъ находиться жидъ. На дворѣ, между тѣмъ, уже окончательно стемнѣло. Подъ широкимъ навѣсомъ, въ мерцающемъ полусвѣтѣ онъ рассмотрѣлъ пейсы и черную бороду. И только-что онъ, прокашлявшись и потерявъ для бодрости бока нанковой куртки, сказалъ: «подполковникъ пріѣхалъ, и потребуется сарай для кареты!» — какъ откатнулся назадъ и въ ужасѣ раскрылъ глаза... Рука его коснулась чего-то мягкаго и теплаго, и

изъ глубины подвала выдвинулась, вмѣсто жиды, узкая морда стараго конюшеннаго козла. Изумленіе лакея было неопи- санное; оглянувшись во всѣ стороны, онъ пошелъ, какъ обгаченный водою пудель, и въ то же время услыхалъ за заборомъ чьи-то торопливые шаги. Впослѣдствіи оказалось, кому принадлежали эти шаги. Стягивая съ барина сапоги и чулки, причемъ тотъ подергивалъ пятками потому, что боялся щекотки, онъ не выдержалъ и въ волненіи, почти умирающимъ голосомъ, разсказалъ свое приключеніе съ ко- зломъ. Баринъ покачалъ головою и, стукнувъ лакея по крас- ному затылку, весело замѣтилъ: «это, Вася, счастье; это, Вася, пророчить большое счастье!» Едва проѣзжіи разобла- чились и надѣли ночную кофту, едва самоваръ, подпертый съ одной стороны, за отсутствіемъ ножки, замкомъ, а съ другой стороны ножницами, запыхтѣлъ и зарумянился на столѣ,—дверь комнаты отворилась, и на порогѣ явился го- сподинъ, какъ говорится, изъ породы недоростковъ недостат- ковскихъ. Склонивъ голову на подобіе подстрѣленной дичи и прикладывая руку къ груди, точно держалъ въ ней про- шеніе на погребеніе жены или дочери, вошедшій началъ говорить вдохновенно: «И возможно ли, и вижу мужа такого сана, и взоры меня не обманываютъ!» Думая, что это за- тѣмъ, чтобы точно просить на погребеніе жены или дочери, проѣзжіи снялъ со стола коншелекъ и протянулъ вынутый изъ него четвертакъ къ двери. Посѣтитель востепенулся, посинѣлъ и, закинувъ голову, отступилъ...

— Не понимаю, не понимаю!—произнесъ онъ, запальчиво и занкаясь: — что это можетъ значить? — Проѣзжіи тоже переконфузился.

— Вотъ, милый мой, возьмите, не церемоньтесь!—произ- несъ онъ довольно неровно. Посѣтитель засмѣялся, какъ человѣкъ, соболѣзнуюющій объ ошибокъ ближняго, и замѣтилъ: «извините, тутъ вышло кипрокѣ, и не одно, а цѣлыхъ два кипрокѣ: во-первыхъ, я не то, что вы думали; во-вторыхъ, я — Борисъ Борисовичъ Плифа, здѣшній обыватель; и не стыдно ли вамъ потчивать меня четвертаками?» Читатель уже вѣроятно привелъ въ памяти, что это былъ тотъ самый Плифа, къ которому въ полдень обыкновенно приходили съ поздравленіемъ трубачи, и вѣроятно также догадался, что появленіе его произошло вслѣдствіе подслушаннаго раз- говора лакея съ козломъ. Проѣзжіи согласился, что потчи-

вать четвертаками, дѣйствительно, стыдно, и произнесъ: «Извините, я ошибся, прошу садиться, и не желаете ли стаканъ чаю?» — «Много благодаренъ!» — подхватилъ Плинка, утирая носъ, кончикъ котораго начала беспокоить выступившая изъ него капля: — только ужъ позвольте въ прикуску и пожиже; крѣпкій чай, говорятъ, раздражаетъ нервы и заставляетъ думать о томъ, о чемъ иногда и не хочешь думать!» Проѣзжій... но, прежде, нежели мы скажемъ, согласился ли проѣзжій съ тѣмъ, что чай раздражаетъ нервы и заставляетъ иногда думать о томъ, о чемъ бы и не хотѣлъ думать, — скажемъ, что за человѣкъ былъ этотъ проѣзжій. — Проѣзжій, мужчина лѣтъ сорока, былъ человѣкъ добрый, добрый, какъ говорится, необидчивый на своемъ вѣку мухи. И это, сколько намъ кажется, происходило отъ его домашняго воспитанія. Вслѣдствіе этого домашняго воспитанія, выйдя въ отставку и поселясь въ деревнѣ, онъ старую клячицу, мошенницу изъ мошенницъ, звалъ Михѣвной, а иногда тетенькой, атаману на всѣ распоряженія его говорилъ: «хорошо, хорошо, братецъ, Силентій; это очень хорошо!» — и отъ скуки игралъ въ карты съ двумя горничными, которыми имена были Гопка и Галька. На службѣ, ходя постоянно въ широкомъ фракѣ на ватѣ и получая къ столу всѣ деревенскіе припасы, онъ слылъ у молодыхъ сослуживцевъ подъ именемъ зайца въ мѣшкѣ и сахарнаго тихоня, а у пожилыхъ — подъ именемъ прекраснаго молодого человѣка. Эти пожилые только находили его нѣсколько разсѣяннымъ. Разсѣянность въ самомъ дѣлѣ была любопытная... Бывало, поймаетъ въ присутствіи кого-нибудь за пуговицу и начинаетъ съ нимъ говорить, да говорить до того, что слушающій готовъ въ обморокъ упасть и не имѣетъ силъ вырваться. Одинъ шутникъ въ такомъ положеніи вынулъ изъ кармана ножикъ, отрѣзалъ пуговицу, за которую разсказчикъ держался, и улизнулъ. На службѣ же, бывало, остановить кого-нибудь въ экипажѣ на улицѣ, деликатно стащить его за пуговицу на мостовую, спросить, какъ ваше здоровье, и, получивши должный отвѣтъ, скажетъ: «А, хорошо!» и, сказавши: «А, хорошо!» сядетъ спокойно въ чужой экипажъ и укатитъ, прежде чѣмъ владѣлецъ его успѣетъ опомниться. Въ деревнѣ онъ жилъ довольно порядочно; сосѣди ѣзжали къ нему на именины и поиграть въ карты. Только вдругъ однажды онъ задумался, думалъ-думалъ, и

рѣшился произвести важный переворотъ въ своемъ существованіи. Каковъ былъ этотъ переворотъ, читатель увидитъ дальше... Проѣзжіи, дѣйствительно, согласились, что чай разстраиваетъ нервы и вселяетъ иногда предосудительные помыслы; гость на это помолчалъ и спросилъ съ улыбкой: «Имя и отчество ваше?»—Надворный Совѣтникъ Оока Пятизбенко!»—отвѣтилъ хозяинъ, также съ улыбкой.

— Оока Лукичъ?—подхватилъ гость, покачнувшись и съ улыбкой.

— Оока Ильичъ! — отвѣтилъ хозяинъ, также покачнувшись и также съ улыбкой.

Чай снова былъ розлитъ по стаканамъ.

— Отъ васъ, Оока Ильичъ,—началъ гость:—вѣроятно не укрылось, какъ бѣденъ и скученъ нашъ городъ?

— Не укрылось!—отвѣтилъ хозяинъ, расправляя и обсматывая замоченные въ чаю усы, которые онъ носилъ для нѣкоторой прикрасы ранней лысины: — только я не думаю, чтобы городъ вашъ былъ точно скученъ и бѣденъ.

— Скученъ и бѣденъ! — подхватилъ гость: — скученъ и бѣденъ! И вы не повѣрите, какіе странные случаи бывають въ немъ! Вотъ, напримѣръ, у меня на свадьбѣ, на первой еще свадьбѣ, потому что я вдовецъ, изъ самой, такъ сказать, брачной комнаты украли сапоги и брюки!

— Быть не можетъ!—подхватилъ удивленный хозяинъ.

— Точно такъ, прошу не сомнѣваться!—подхватилъ гость, кланаясь:—и утащили въ то время, какъ кромѣ меня и жены никого не было въ комнатѣ! — Послѣдовало деликатное съ обѣихъ сторонъ молчаніе; хозяинъ налилъ гостю еще стаканъ чаю, помолчалъ и началъ говорить... И то, что услышалъ Плифа, поразило его неописаннымъ удивленіемъ; блудечко зазвенѣло въ его рукахъ, когда Пятизбенко произнесъ послѣднія слова и завершилъ: «Вотъ, Борисъ Борисычъ, вотъ мое задушевное и неизмѣнное желанье!» Плифа помолчалъ и спросилъ: «Да на комъ же это вы думаете жениться?»—спросилъ, все еще не понимая вполне страннаго намѣренія помѣщика и мысля про себя: «какая же это наша фефела наградить собою такого жениха?»

— Да я же вамъ говорю, на комъ, — отвѣтилъ Пятизбенко и еще разъ повторилъ въ малѣйшихъ подробностяхъ сказанное Плифѣ. — Далеко за полночь огонь погасъ въ окнѣ вновь занятаго номера гостиницы. Какъ обухомъ оглу-

пенный, вышелъ Плифа на улицу и почти опрометью побѣжалъ, повторяя про себя: «Ахъ ты, батюшки, батюшки, вотъ разодолжилъ!»—И цѣлый рой предположеній заходилъ и завертѣлся въ головѣ Плифы. — А надо сказать, что Плифа былъ большой поклонникъ всякаго рода новостей. Живя уже давно въ отставкѣ, онъ постоянно, по привычкѣ, каждый день приходилъ, какъ будто по дѣлу, въ присутствіе и весело здоровался съ чиновниками, которые всѣ знали и любили отставного судью и всякій разъ говорили: «А! вотъ и вы, Барбарисъ Барбарисовичъ! Ну, что? есть ли теперь что-нибудь новенькое?» На это Барбарисъ Барбарисовичъ молча скрипѣлъ табакеркою, на которой была изображена таблица съ расчетомъ для бостона, и отвѣчалъ: «Какъ же, есть!»—«Да что же такое есть?» допрашивали любопытные чиновники. — «А вотъ и есть!» отвѣчалъ Плифа, смотря себѣ на сапоги:—вотъ, Вакулищенко мнѣ новые сапоги сдѣлалъ!» — «Да какъ же новые?» замѣчали на это пытливые чиновники: «вы, Барбарисъ Барбарисовичъ, еще на той недѣлѣ ихъ показывали!» На это Плифа качалъ головою и говорилъ: «Э! то не тѣ сапоги, то были совсѣмъ другіе сапоги, а эти совсѣмъ новые сапоги!» Еще Пятизябенко спалъ на кровати, о которой выражалась одна надпись на стѣнѣ нумера: «Горе и мука тому, кто будетъ осужденъ судьбою лежать на сей кровати!» и которая точно представляла горе и муку потому, что поминутно двигалась и скрипѣла, издавая какіе-то насмѣшливые звуки, точно говорила: «А что, братъ, а-га! посмотримъ, какъ ты заснешь, посмотримъ! что, братъ, взять?» Еще маркѣръ, въ ожиданіи пробужденія гостя, поминутно смотря на вновь заплатанныя брюки, вытиралъ кии и чистилъ бильярдъ, на которомъ шары, какъ извѣстно, непременно падали въ лѣвую среднюю лузу, — а уже городокъ шумѣлъ, и цѣлое море толковъ, споровъ и догадокъ колебало спокойствіе низенькихъ домиковъ. Слово «женихъ» молніей облетѣло всѣ дѣвственныя сердца и закоулки. Разнеслась вѣсть, что пріѣзжій помѣщикъ, Надворный Совѣтникъ Пятизябенко, рѣшился жениться на той, которую первую увидитъ въ городкѣ, разумѣется, если эта первая согласится отдать ему свою руку, и ужъ также разумѣется, что какая же не согласится отдать ему своей руки! Главную роль въ этихъ городскихъ толкахъ играла высокоуважаемая дѣвица-акушерка, Анна Ванна Гонорарій, какъ

ее называли горожане, и которая на ванну впрочемъ нисколько не походила, а походила на бекаса, котораго прозвище къ ней и было навсегда припечатано. Надо замѣтить, что на эту птицу акушерка походила вслѣдствіе носа, который, какъ кранъ у самовара, торчалъ на ея миниатюрномъ личикѣ. Еще до разсвѣта, по неисповѣдимымъ судьбамъ, эта особа узнала всю подноготную отъ Плины и до утра не могла сомкнуть глазъ. Съ зарей она уже порхнула въ тѣлѣжку, именующую нетечанкою, и полетѣла съ визитами къ нуждающимся и ненуждающимся въ ея искусствѣ, изъ которыхъ первыхъ, впрочемъ, постоянно было болѣе въ благословенномъ городкѣ. Благословенный городокъ, скажемъ мимоходомъ, особенно пришелся по вкусу акушеркѣ. Она прилетѣла сюда, по окончаніи курса, на почтовыхъ и съ той поры сдѣлалась душою его общества. Увидѣвъ, какъ на одной станціи она подкатила къ крыльцу, на перекладной, въ чепчикѣ безъ вуали и съ книжкою въ рукахъ, громко скомандовала запрягать и, выпивъ стаканъ молока, снова умчалась впередъ, какъ добрый фельдъ-егерь, одинъ проѣзжій, заслуженный генераль, замѣтилъ: «Ну, матушка, такал не сробѣлъ!» И точно, Анна Ванна Гонорарій никогда еще не сробѣла. Разѣзжая по городу въ уютной нетечанкѣ и служа первымъ привѣтствіемъ всякому новому гостю міра, Анна Ванна въ то же время слыла и модницей, и затѣйницею веселиться, и затѣйницею устраивать сговоры и свадьбы, а слѣдовательно и нужныя подготовленія будущихъ привѣтствій новыхъ гостей міра. Выходя утромъ за ворота, она не пропускала ни одного хуторянина, идущаго изъ окрестностей на базаръ, и всѣхъ почти знала по имени. — «Ты это пѣтуха, Онисимъ, несешь?» — спрашивала она. — «Пѣтуха, барышня!» — отвѣчалъ Онисимъ, держа перевернутого вверхъ ногами, съ отекиною головою, пѣтуха. — «Продай мнѣ пѣтуха, Онисимъ», — говорила она, ощупывая хлупъ и бока пѣтуха. — «Берите, барышня!» — говорилъ на это Онисимъ: — только позвольте прежде вашу ручку поцѣловать!» Съ акушеркой жить еще маленькій племянникъ Вава, который иногда сопровождалъ ее въ поѣздкахъ по городу. — «Это что, тѣтя, какое слово написано на заборѣ?» — спрашивалъ онъ, подпрыгивая на нетечанкѣ и рассматривая тѣ надписи мѣломъ, которыя иногда производятся на стѣнахъ и заборахъ въ отдаленныхъ городскихъ улицахъ. — «Это,

душечка, ничего! это неконченное слово! — говорила на это тетенька, оборачивая лицо Вавы въ другую сторону: ты этого не поймешь!» И точно, Вава этого не понимала. — Не мѣшаетъ также замѣтить, что, по туземному обычаю, помолвившись за Плифу, о чемъ мы забыли сказать, Анна Ванна Гонорарій позволяла своему жениху, при людяхъ, иногда нѣкоторыя золотыя вольности. Она... цѣловалась съ своимъ женихомъ. И надо было видѣть, какъ она съ нимъ цѣловалась! Такъ уже теперь не цѣлуются на свѣтѣ! Тонко намекая на румянецъ щекъ Анны Ванны, почтмейстерша, едва видѣла ихъ вмѣстѣ, обыкновенно говорила: «Барбаристъ Барбарисовичъ! посмотрите, какая она хорошенькая! ужъ поцѣлуйте ее, душечку, въ стыдливое мѣсто!» На это душечка краснѣла и, подставляя щеку, говорила: «Ахъ, право, ужъ вы мнѣ съ вашими просьбами!» И Плифа, также зардѣвшись, исполнялъ желаніе почтмейстерши, то-есть, цѣловалъ невѣсту въ стыдливое мѣсто... Совершивъ болѣе десяти наѣздовъ на дома и домики, акушерка подлетѣла къ крыльцу Плифы и въ волненіи, сказавъ племяннику: «Ну, Валя, поставь лошадь подъ сарай, а самъ побѣгай въ садъ; я зайду къ дядѣ!» — быстро порхнула въ сѣни. Вава поставилъ коня подъ сарай и пошелъ въ садъ. Пижонъ, собака акушерки, тоже подошелъ въ садъ, но прежде его настигли дворняги Плифы и, составивъ около него кружокъ, стали, по своему обыкновенію, какъ говорится, читать его дипломъ. — «Ну! поздравляю васъ!» — вскрикнула акушерка, сталкиваясь въ передней лицомъ къ лицу съ Плифою: — гость-то вашъ оказался обманщикомъ, гнуснымъ обманщикомъ! онъ вамъ все, должно быть, нагаль, и больше ничего!»

— Да помируйте, — проговорилъ робкій Плифа, подходя къ ручкѣ невѣсты: — чѣмъ же онъ могъ нагаль?

— Отстаньте! — вскрикнула акушерка, отдергивая ручку, одѣтую въ перчаточку цвѣта майскаго жука, съ отливомъ: — что мокрой-то курицей такой смотрите! Страмъ, да и только! Обѣхала всѣхъ, была у всѣхъ, спрашивала всѣхъ, никто и не слыхалъ такой фамиліи, — Пятизябенко! И развѣ могутъ быть такіе женихи на свѣтѣ!

— Да что-жъ тутъ такого въ этой фамиліи? — спрашивалъ озадаченный Плифа: — и чѣмъ же она худая фамилія?

— Была даже у буфетчика, у маркёра Букана въ гостиницѣ! — продолжала гостыя: — заѣзжаю по дорогѣ и спра-

пываю: что, говорю, Букаша, прїѣзжій женихъ уже посватался? — Какой, говорить, посватался. Онъ еще спитъ, говоритъ! — Спитъ! И это женихъ! Ну, такіе ли бываютъ на свѣтѣ женихи? Да что же вы такой нюней стоите? Отвѣчайте! — почти сквозь слезы спрашивала акушерка... Но не успѣла она произнести послѣднихъ словъ, какъ посреди улицы показался красивый господинъ въ соломенной шляпѣ, не молодой, это правда, но еще румяный и съ вожделѣннымъ запасомъ здоровья. Онъ остановился передъ окнами дома, противъ Плифы. Сердце ёкнуло подъ лифомъ акушерки, и въ глазахъ ея заходилъ сладкій туманъ. Ей показалось, въ первое мгновеніе, что прохожій замѣтилъ ее. Но скоро предположеніе это оказалось ошибочнымъ: прохожій ступилъ на крыльцо и вошелъ въ сѣни противоположнаго дома. Акушерка нервически оттолкнула Плифу и, вскрикнувъ: «Ахъ-ти, матушка, опростоволосилась!» — кинулась въ ближній залъ. Тамъ, изъ-за горшковъ ерани и занавѣсокъ, стала она въ кулакъ наблюдать, что будетъ происходить въ сосѣднемъ домѣ. Вотъ, опредѣлите послѣ этого сердце женщины; вѣдь, кажется, женихъ у нея стоялъ за плечами, а между тѣмъ... Нѣтъ, странное сердце женщины! На воротахъ дома, куда вошелъ прохожій, была надпись, еще шесть лѣтъ назадъ прибитая вверхъ ногами и до сихъ поръ остающаяся въ такомъ же положеніи: «Неслужащаго дворянина Обалки». Пятизябенко между тѣмъ, — это былъ онъ, — пройдя не безъ волненія двѣ улицы, гдѣ, къ удивленію своему, вмѣсто ожидаемыхъ дѣвицъ, видѣлъ все прифрантившихся на этотъ разъ маменокъ и папенекъ, встрѣчавшихъ его даже съ улыбками, точно давно знакомаго и точно говоря: «А, здравствуйте, Гока Ильичъ, съ прїѣздомъ!» или: «А, вотъ и вы! какъ провели ночь?» Пятизябенко очень обрадовался потому, что въ окнѣ дома, куда вошелъ, мелькнуло, какъ ему показалось, весьма смазливенькое лицо блондинки... Войдя, не безъ волненія, въ переднюю, гдѣ не было ни души, и потомъ въ залъ, гость остановился на порогѣ. Хозяинъ и хозяйка, Обалки, которые о немъ уже, какъ и всѣ горожане, знали всю подноготную, но никакъ не ожидали его появленія, крайне изумились и остались безмолвны. Обалка-мужъ, изъ породы кубариковъ, раскладывавъ въ это время въ залѣ перепелиныя сѣти, собираясь починить ихъ новыми нитками и думая про себя: «А это, однакоже,

Любопытно: къ кому зайдетъ прїѣзжій помѣщикъ?» Обаналкажена, также не далекая отъ породы кубариковъ, сортировала въ залѣ же ягоды для настойки и тоже думала: «А это, впрочемъ, вещь любопытная: куда завернетъ прїѣзжій помѣщикъ?» И вдругъ, этотъ помѣщикъ явился въ ихъ собственномъ залѣ. Нѣтъ! Перо опускается, и недостаетъ силъ изобразить изумленіе почтенныхъ супруговъ! Едва гость очутился на порогѣ и замеръ въ невольномъ, понятномъ трепетѣ, оторопѣлый хозяинъ бросилъ сѣти, взглянулъ на него съ улыбкой и шарикомъ укатился изъ залы въ коридоръ. Тамъ супруги пожали плечами и молча взглянули другъ на друга. — «Ну, ничего, мамаша! — произнесъ, помолчавъ, въ одно мгновеніе все сообразившій мужъ: — ничего, это очень выгодно!» — «Что выгодно? — спросила супруга, смотря на него во всѣ глаза и не понимая его: — развѣ ты забылъ, папаша, что у насъ нѣтъ дѣтей?» — «Ничего, дуся, ничего! это очень выгодно, и не надо упускать случая, а ужъ мы ему достанемъ!» — «Какъ достанемъ, кого достанемъ?» — спросила, внезапно проникнутая припадкомъ ревности, супруга: — ты съ ума сошелъ!» — «Ну, съ ума не съ ума, котикъ, а ужъ ты не безпокойся; когда человѣкъ въ такомъ аппетитѣ жениться, не надо упускать случая!» — И мужъ поцѣловалъ въ обѣ полныя щеки взволнованную жену. Поцѣлуй произошелъ въ тишинѣ, такъ же какъ и разговоръ, и черезъ нѣсколько минутъ супруги явились въ залѣ, одинъ уже во фракъ и бѣломъ галстукѣ, а другая въ новомъ, шоколадномъ кисейномъ платьѣ. Нѣсколько минутъ и гость, и хозяинъ молча смотрѣли другъ на друга. Наконецъ хозяинъ кашлянулъ и началъ:

— Весьма ошастливленъ! Чему обязанъ этимъ посѣщеніемъ?

Гость отвѣтилъ:

— Мнѣ сказали, что у васъ есть продажныя дрожки!

— Дрожекъ продажныхъ у меня нѣтъ! — ловко вклеилъ хозяинъ: — но садитесь милости просимъ! — Всѣ сѣли. Разговоръ начался о городскихъ новостяхъ. Пятизябенко не хотѣлъ ударить лицомъ въ грязь и обратился къ прекрасному полу. Оглянувъ кисейное платье и въ то же время шерстяныя ботинки прекраснаго пола, онъ съ деликатною ловкостью спросилъ: «А отчего это, сударыня, въ такое теплое время на вашихъ милыхъ ножкахъ такія вовсе не милыя

ботинки?» Хозяинъ нагнулся къ уху гостя и шепнулъ ему одно слово, которое совершенно удовлетворило любопытство гостя, но бросило его въ порядочную краску. Не мало также смутился гость, когда слуга внесъ поднось съ закускою, и хозяинъ спросилъ: «не угодно ли водочки и рѣдечки?» Гость отвѣдалъ и водочки, и рѣдечки... Во время закуски, хозяйка взглянула на мужа и произнесла: «Шерчикъ! фуршетъ!» Гость предупредилъ желаніе дамы. Но, черезъ секунду, дама, потребовавши по-французски вилку, лежавшую передъ ея носомъ, за хлѣбомъ пошла сама, въ то время, какъ этотъ хлѣбъ лежалъ на другомъ концѣ стола. Гость изумился и долго не могъ прийти въ себя потому, что не смѣлъ ничего предполагать насчетъ познаній почтенной дамы. — Для одобрения себя, пробуя какіе-то маринованные въ уксусъ грибки, Пятиязыбенко спросилъ:

— А какъ фамилія, не знаете ли, той пожилой дамы съ дочерьми, которую я встрѣтилъ вчера на городскомъ мосту? Еще у нея голубая карета?

— А! это та, Макортытъ, помѣщица изъ Пупавокъ; еще сама, говорятъ, съ дочерьми въ пруду бреднемъ рыбу ловить! — отвѣтилъ добродушный Обѣалка.

— Ну, а тѣ барышни, кто такія, рыженькія и въ голубыхъ шляпкахъ?—спросилъ кашлявшій въ салфетку гость:— я ихъ вчера тоже встрѣтилъ за городомъ!

— Это, — подхватилъ добродушный хозяинъ, смотря на жену: — это Завалишинскіе однодворки! У насъ зимою, на балу, шутники-офицеры наименовали одну Кырпаша, а другую Мордата!—Фамилія же у нихъ, право, такая мудреная, на М, и, кажется, нѣмецкая!

— Хѣха! — подхватила супруга.

— Да, точно, Хѣха, я и забылъ!—прибавилъ супругъ:— точно Хѣха, и не на М!

Разговоръ въ этомъ тонѣ длился еще нѣсколько минутъ. Наконецъ догадливая хозяйка вышла. Гость высморкался, сложилъ платокъ втрое, спряталъ его въ боковой карманъ фрака и началъ:

— А вы, я думаю, уже догадались, зачѣмъ я явился къ вамъ?

— Хи, хи! Какъ же не догадаться! Хи, хи! — подхватилъ, улыбаясь, хозяинъ, склоняя на бокъ голову и въ то же время смотря гостю въ глаза.

— Такъ, значить, вы соглашаетесь! — спросилъ, приподнимаясь, гость.

— Соглашаюсь ли?..

— Да!

Обапалка потеръ переносицу. Потъ градомъ катился съ него. «Была не была! — подумалъ онъ, — подставимъ ему Акулину Саввишну!» И еще разъ сообразивъ, какъ полезно будетъ, для его отношеній къ супругѣ, подставить гостью Акулину Саввишну, онъ сдѣлалъ изъ лица своего лицо важное и сказалъ:

— Я согласенъ на все, только съ однимъ условіемъ: оставимъ все это до сегодняшняго вечера; вечеромъ мы все закончимъ! Да притомъ же надо и ей дать опомниться! — прибавилъ Обапалка уже съ располагающей улыбкой. При словѣ ей Пятиязыбенко совершенно оживился, сталъ болтать о разныхъ веселыхъ вещахъ и вышелъ отъ Обапалки, чуть не подпрыгивая отъ радости...

— Такъ до вечера? — спросилъ онъ уже на улицѣ, раскланиваясь съ Обапалкою.

— До вечера! до вечера! — отвѣтилъ, также раскланиваясь, Обапалка.

Въ онѣ противоположнаго дома между тѣмъ сильно задышалась розовая штора.

«Что бы это значило? — думала акушерка, слѣдя изъ-за сѣна за уходящимъ гостемъ, — не задумалъ ли мерзавецъ Обапалка надуть гостя?» — Какъ надуть, акушерка еще недоумѣвала, но видѣлъ ея копотливый умъ какія-то сѣти, разставленные противъ интереснаго проѣзжаго, и этого уже было для нея довольно. Никогда не питая къ Обапалкамъ особеннаго сочувствія, она задумала и рѣшилась разрушить ихъ ковы. Такъ какъ окончаніе дѣла должно было произойти вечеромъ, то акушерка предположила напустить къ Обапалкамъ весь городъ: пусть тогда выборъ незнакомца произойдетъ при всѣхъ, и судьба, одна судьба рѣшить, кому изъ дѣвицъ торжествовать. Созвать же весь городъ къ Обапалкамъ было очень не трудно: для этого стоило только пустить въ городѣ вѣсть, что у нихъ будетъ пить чай новый гость, и городъ полетитъ туда, гдѣ будетъ пить чай новый гость! Акушерка рѣшилась, и нетечанка ея загремѣла и запрыгала по улицамъ. Насталъ роковой вечеръ. Городъ превратился въ муравейникъ, на который мальчишка-

настухъ крикнуть известную примолвку: — «комашки, комашки, прячьте подушки, татары идутъ!» — И еще скорѣе онъ походилъ на тотъ же городокъ, въ старину, когда произошла эта примолвка. Крикъ со стени: «татары идутъ!» поднималъ и стараго и малаго, и женщину и больного, и все по улицамъ степного слободского городка суетилось, кричало, металось и бѣжало опрометью куда глаза глядятъ. Такъ было и теперь; только горожане нынче знали, куда бѣгутъ. Кирь Кирычъ спѣшилъ къ стряпчему; Пудъ Пудычъ спѣшилъ тоже къ стряпчему. Секретарь Панмутьевъ летѣлъ къ секретарю Панкутьеву, а секретарь Панкутьевъ къ секретарю Панмутьеву, и оба на дорогѣ, въ пріятномъ изумленіи, сталкивались! Обыватель Андрей Андреичъ Крути-Верти кричалъ своей супругѣ: «Замолчи ты, Гавриловна, замолчи, или я тебѣ всю рожу разобью!» А толстенкій ходатай по дѣламъ, тоже обыватель, Заткни-Перцу, брился передъ мискою съ водою, вмѣсто зеркала, и полоскалъ ротъ апельсинною водичкою, по случаю сытнаго обѣда у сосѣда съ непристойнымъ чеснокомъ. Двѣ застарѣлыя, уже известные дѣвицы въ тирбушонахъ ѣхали въ бричкѣ, напудренные по самымъ рѣсницамъ, потупя глаза и въ то же время говоря шопотомъ:

«А посмотри, посмотри, копочка, у поповны опять угорь вскочилъ на носу, а она все-таки ѣдетъ!» Веселыя барышни съ сердитою маменькою тоже ѣхали. И ѣхалъ весь городокъ въ гости къ Обапалкамъ. Улица передъ домомъ Обапалокъ совершенно запрудилась экипажами. Какихъ тутъ экипажей не было! И колымаги, и брички, и фаэтоны лиловаго цвѣта, и желтыя дрожки, и краковскія брички, и нетечанки и чертапханы, и слобожанскія таратайки, именуемыя «бѣда» и на которыхъ точно бѣда ѣздитъ! На нѣкоторыхъ козлахъ сидѣли обыкновенные кучера; на другихъ — мальчики въ непомѣрныхъ шерстяныхъ капотахъ, а на третьихъ — дворовыя дѣвки въ рукавицахъ и шапкахъ, очевидно занявшія мѣста кучеровъ, ушедшихъ на косовицу. Словомъ, сѣздъ былъ хоть куда. Внутри дома также было пестро и шумно. Между собравшимися пролетѣлъ слухъ, что самихъ хозяевъ нѣтъ въ домѣ. Всѣ недоумѣвали, куда они могли скрыться; недоумѣвала и акушерка. Чтобы какъ-нибудь пока замаять дѣло, она распорядилась съ чаемъ, и скоро казачки стали разносить установленные подносы. «И куда улетѣли? — ду-

мала акушерка, обѣгая глазами шумное собраніе, — неужели догадались и рѣшились дать тягу?» — Но не успѣла она подумать этого, какъ на улицѣ послышался стукъ колесъ, и дѣрмѣзъ давноожидаемаго гостя подкатилъ къ крыльцу. Принявъ шумный сѣздъ за особое расположеніе къ себѣ новыхъ родныхъ, Пятизбенко, съ чувствомъ удовольствія, вступилъ въ двери залы. На первыхъ же порахъ, однако, онъ былъ удивленъ, что хозяева не встрѣтили его. Поклонившись съ улыбкой и пригласивъ взглядомъ вставшее при его входѣ собраніе сѣсть, Пятизбенко опустился въ кресло и спросилъ:

— «А хозяевъ, господа, еще нѣтъ?» — «Да, хозяевъ нѣтъ еще!» — отозвались робко нѣкоторые голоса, и вслѣдъ за тѣмъ въ залѣ воцарилась мертвая тишина. Пятизбенко началъ ощущать признаки робости и неловкости. Въ самомъ дѣлѣ, положеніе его, среди кучи незнакомыхъ и невиданныхъ лицъ, становилось затруднительнымъ. Побарабанивъ пальцами по ручкамъ кресель, причемъ въ лицѣ его не было ни кровинки, онъ поднялъ голову и рѣшился прибѣгнуть ко всегдашнему своему спасенію, къ краснорѣчію.

— Вотъ, господа, — началъ онъ, покашливая и стараясь попасть на веселый тонъ: — дожилъ я до горькаго разочарованія въ жизни; думалъ испытать, какъ говорится, до дна чашу блаженства и остался холостякомъ; выходитъ, — ладилъ человекъ челнокъ, а свелъ на ухвертку! Такова-то наша жизнь! Такова-то наша печальная и поучительная жизнь! — Гость остановился; отвѣта на его слова не послѣдовало... За спиною его только раздался прерывистый шопотъ и даже сдержанный смѣхъ; Пятизбенко не имѣлъ силъ обернуться, да и хорошо онъ сдѣлалъ, что не обернулся! Собраніе, очевидно, начинало потѣпаться на его счетъ. Одинъ только Борисъ Борисычъ, проскользнувшій въ это время въ залъ и стоявшій у двери, задумчиво склонивъ голову, съ пальцемъ въ петлицѣ жилета, помолчалъ-помолчалъ, да вдругъ выступилъ и отвѣтилъ: — «Точно такъ, Гока Ильичъ! точно такъ!» — «А, это вы! — произнесъ, не безъ ощущенія внутренней радости, гость и ободрился: — а у насъ тутъ шель очень интересный разговоръ о поучительности человеческой жизни!» — «Ну! — подумали при этомъ нѣкоторые изъ собравшихся, — поучительность поучительностью, только, братъ, это все еще не дѣло и порядочная — таки чепуха;

пора бы, наконецъ, перейти и къ главному!» Гость терялся окончательно...

— А гдѣ же милые наши хозяева?—началь онъ снова:— я что-то не вижу между вами нашихъ милыхъ хозяевъ!— Деликатный Плинка, желавшій всегда, какъ о немъ говорили, смягчить дѣло, или, какъ онъ самъ выражался, подмазать сахарцемъ скипидарную пилюлю, хотѣлъ уже произнести: «А вѣрно они тутъ же, и только чѣмъ-нибудь вѣрно заняты!»—какъ слова его замерли на устахъ...

— Удрали куда-нибудь!—хватилъ напрямикъ и какъ будто про себя кривошей-подлѣкаръ, прокладывавшій, по общему мнѣнію, понтоны черезъ самыя неприступныя рѣки.— «Какъ удрали?—спросилъ Пятизябенко и заикнулся; ему показалось, словно какая струна при этомъ лопнула и зазвенѣла передъ его ухомъ:—я васъ что-то не разслышалъ!»

— Какой тутъ не разслышалъ!—замѣтилъ весело и опять-таки какъ-будто про себя кривошей-подлѣкаръ:—онъ вамъ навралъ, собачій сынъ, если сказалъ, что у него есть дочка! Ну, у какого бѣса онъ возьметъ дочку, и на комъ васъ женить? Развѣ на своей качкѣ женить?

Тутъ строго внимавшее собраніе не выдержало и прыгнуло со смѣху; веселыя барышни звенѣли, какъ колокольчики. Однѣ дѣвицы съ тирбушонами долго крѣпились-крѣпились, но, наконецъ, не вытерпѣли и расхохотались, утирая обильныя слезы. Пятизябенко былъ, какъ на угольяхъ; онъ теперь ясно видѣлъ, что его водили за носъ.

— Ну,—началь онъ разбитымъ голодомъ:—вы, милостивый государь, произнесли недостойное слово...

— А, когда недостойное.—замѣтилъ еще болѣе въ духѣ подлѣкаръ:—такъ и значить, что онъ васъ женить на своей качкѣ!

Взрывъ потрясающаго хохота перешелъ всякія границы. Огня въ залѣ дрожали, какъ на балу послѣ выборовъ. Уже обиженный гость хотѣлъ встать и выйти, уже Плинка порядочно трухнулъ и также намѣревался выйти, какъ вдругъ, изъ-за ряда городскихъ дамъ, выступила акушерка и, поклонившись гостю, начала:

— Я дѣвица не-богатая и; смѣю сказать, даже неопытная, но позвольте, милостивый государь, замѣтить: смѣю ли я спасти васъ отъ соблазну, да, спасти васъ отъ соблазну? Ссылаясь на весь городъ, я, Анна Ивановна Гонорарій,

акушерка, уверяю, что у Обалалокъ дѣтей—ни мальчиковъ, ни дѣвочекъ—никогда не было и быть не могло! И если они васъ увѣрили въ противномъ, то не доживи я до свѣтлаго дня свадьбы, — потому что выхожу замужъ и даже скоро, и даже выгодно, и даже очень счастливо, и притомъ за человѣка, которому дорого одно мое вниманіе (пять спижекъ разомъ вонзились и укололи сердце Плифы!), — не доживи я до свѣтлаго дня свадьбы, если слова мои неправы!

Пятизябенко не помнилъ себя отъ смущенія; въ глазахъ его ходилъ туманъ! Тутъ еще, къ довершенію общаго смѣтенія, не успѣла акушерка вынуть платочекъ и, плюнувъ въ него, положить его обратно въ ридикюль, — что она изъ деликатности дѣлала всякій разъ, когда нужно было плюнуть, — какъ въ дверяхъ гостиной появились сами хозяева — Обалалки, блѣдные и неподвижные, какъ смерть. Никто не зналъ теперь, не зналъ и впослѣдствіи, откуда они явились, потому что акушерка, по собственнымъ ея словамъ, обѣгала не только всѣ комнаты и чердакъ, но и всѣ прочія мѣста.

— А, и вы здѣсь! — произнесъ уже какъ съ того свѣта Пятизябенко: — ну, не грѣхъ ли, не стыдно ли вамъ? Надули, надули, какъ послѣдняго школьника!

Тутъ подняла снова голосъ Гонорарій:

— Послушайте, милостивый государь! — начала она, покапливая: — не обижайтесь еще, не обижайтесь! Смиритесь! Дѣло ваше еще не потеряно, потому что выборъ вашъ сію же минуту можетъ пасть на достойнѣйшую изъ дѣвицъ нашихъ!

Пятизябенко потеръ лысину, откачнулся въ кресло и засмѣялся... Смѣхъ его сталъ неожиданно возрастать, возрастать, перешелъ въ неописанный, неудержимый хохотъ и, какъ пламя, вдругъ обнялъ и всколебалъ все собраніе! Хототалъ и Плифа, хототала и акушерка, хототали и барышни, все хототало самымъ неудержимымъ, самымъ неподдѣльнымъ хохотомъ, хототало, утирая слезы, охая и сморкаясь, сморкаясь и охая... Первый остановился гость.

— Ну, не умора ли, господа, — началъ онъ, оставливаясь и задыхаясь отъ смѣха: — ну, не умора ли все это событіе? Ну, откуда мнѣ показалось, ну, откуда мнѣ это вздумалось, право? Нѣтъ, господа, это событіе — невѣроятное событіе. И какъ это такъ, вдругъ пріѣхалъ, увидѣлъ, и что такое увидѣлъ — и самъ не знаю!.. Чортъ знаетъ, какая исторія! А

впрочемъ, такъ какъ, господа, всякая исторія чѣмъ-нибудь кончается, то ужъ не откажите мнѣ и отужинайте сегодня у меня, въ саду гостиницы! Вѣдь, я думаю, тамъ готовятъ хорошій ужинъ? А?..


Собраніе отвѣтило, что точно ужинъ готовятъ хорошій, и разошлось, шумно разбирая случившееся. И вотъ, далеко за-полночь, въ гостиницѣ загремѣла полковая музыка, зазвенѣла посуда, захлопали пробки, и цѣлый городъ сталъ веселиться наскоро, общими силами слѣпленнымъ весельемъ! И что же? при послѣднемъ тостѣ, когда извѣстный уже подлѣкаръ проигралъ на принесенной гитарѣ «Черничку», любимую пѣсенку горожанъ, и Плинка, по общему желанію, поцѣловалъ свою невѣсту въ стыдливое мѣсто, Пятизябенко всталъ и обнялъ Обапалку. Собраніе открыло глаза и въ пріятномъ изумленіи стало смотрѣть на достойный поступокъ гостя.

— Ну, скажите мнѣ,—началь Пятизябенко, цѣлуя Обапалку то въ одну, то въ другую щеку: — ну, скажите мнѣ, за что вы меня хотѣли такъ обшипать?

— Не хотѣлъ обшипать, по совѣсти не хотѣлъ! — отвѣтилъ, едва держась на ногахъ, Обапалка:—въ окнѣ у меня никакой барышни не было, а было что-нибудь другое (при этомъ Обапалка робко взглянулъ на жену), — и вамъ это показалось; а впрочемъ, господа, подкачнемъ нашего гостя! Гостя подкачнули, подкачнули, подкачнули дружно, весело и стали цѣловаться; и когда стали горожане цѣловаться, стали бесѣдовать, и что говорили при этомъ веселые горожане, того рѣшительно никто не могъ уже разобрать!—Веселые горожане еще крѣпко спали, когда dormire заѣзжаго гостя снова покатишь по пыльной дорогѣ! Гость уже не выглядывалъ изъ оконъ на встрѣчные экипажи; ему, повидимому, было не до того! И жаль: въ одномъ изъ этихъ экипажей сидѣла, полулежа на бѣлой, какъ снѣгъ, подушкѣ, обшитой кружевами, дѣвушка—лѣтъ двадцати-трехъ, брюнетка, въ маленькомъ чепчикѣ, съ большими темными глазками, и блѣдная, какъ мраморная Геба! Она окинула орлинымъ взглядомъ проѣзжаго и подумала: «Вотъ бы муженекъ, и старъ, и не бѣденъ, и порядочный, кажется, колпакъ!» — Дѣвица была дочь одной современной маменьки, гдѣ-то проживавшей домоправительницей, слыла у сверстницъ подъ именемъ Тамерлана и теперь уѣзжала изъ одного

смейства, гдѣ была, безъ году недѣлю, гувернанткой и гдѣ ей только-что торжественно отказали.

Хорошенькій Тамерланъ въ тотъ же день подъѣхалъ въ чужой каретѣ къ лавкамъ, подъѣхалъ съ цѣлью блеснуть въ послѣдній разъ интересною обстановкой и столкнулся тамъ съ акушеркою, у которой еще живо въ памяти было вчерашнее событіе. Когда услышала отставная гувернантка рассказъ о гостѣ, когда она услышала этотъ рассказъ, — лицо ея поблѣднѣло, слезы выступили изъ глазъ, и батистовый платокъ вмгъ превратился въ клочки. Она тутъ же, какъ есть, передъ подругою вызывалась садиться въ перекладную и догонять гостя! И насилу ее уговорила и утѣшила «шерчикъ» акушерка, или, собственно, не утѣшила — потому, что хорошенькая гувернантка долго не могла забыть этого событія и долго была главнымъ повѣствовательницею пассажа, нарушившаго покой тихаго стеного городка.



II.

СЛОБОДКА.

Вахраманы—старинная малороссійская слободка. Вахраманы—слободка на рѣчкѣ Балаклеѣ. Что же это за слободка и гдѣ лежитъ она? Лежитъ ли она среди дубоваго лѣса; сбѣгаетъ ли, зелеными садами къ морю; бѣлымъ ли стадомъ, среди колодевъ и тополей, раскинулась по влажной луговинѣ; или сидитъ себѣ бочкомъ, брошенная въ разсыпку на маковкѣ изрытаго дождями песчаного косогора, сидитъ себѣ, свѣсившись въ одну сторону надъ синѣющими равнинами болотъ и залежей, а въ другую—надъ шахматными коврами черныхъ пахатей и пышныхъ озимей, клубящихся по вѣтру свои перлово-оранжевыя волны? Гдѣ она, эта слободка? И куда лежитъ къ ней пустынная, малопрѣзжая дорожка?.. Слободка лежитъ далеко-далеко, тамъ, гдѣ надъ степью возвышается курганъ, курганъ уединенный и зеленый, вокругъ котораго на привольи гуляетъ вѣтеръ! Съ него глядѣли, съ этого кургана, и сторожевые дикари, поджидая издали родныя полчища, съ гикомъ несущихся на степь, ордынцевъ; глядѣли нѣкогда и суровые жрецы, въ бѣлыхъ одеждахъ, съ поднятыми къ небу руками, дымившіе передъ суровыми истуканами кровавыя жертвы, жертвы во славу и спасеніе склонившихся вокругъ холма суровыхъ легіоновъ! Все измѣнилось! Не видно болѣе на курганѣ косматыхъ сторожей; нѣтъ болѣе на немъ и жрецовъ въ бѣлотканыхъ одеждахъ. Съ пустыннаго кургана глядитъ дикій коршунъ, недвижно сидя въ ожиданіи новой добычи, да глядитъ съ него еще, забытая временемъ и отошедшими безъ вѣсти народами и обычаями, вросшая по поясъ въ землю, каменная баба. Эта каменная баба съ величайшею флегмою упираетъ косые, сѣрые глаза въ пустынный воздухъ, и все равно ей, темно или свѣтло на небѣ, покрыта ли земля цвѣтомъ и зеленью, или сувоями непроходимаго снѣга, и скучно или весело жить на свѣтѣ людямъ! Стоитъ

каменная баба и смотреть. А между тѣмъ, вокругъ нея, времена бѣгутъ и смѣняются временами, солнце катится и перекачивается, совершается торжественное шествіе пустынной жизни, и каждый мигъ уступаетъ мѣсто идущему за нимъ преемнику, безъ грусти и сожалѣнія, уступаетъ охотно и радушно, тихо и беззаботно, точно какъ будто его никогда и не было на свѣтѣ! Что же видитъ каменная баба? Какія картины встаютъ и возвращаются, всплываютъ и гаснутъ передъ ея недвижными взорами?..

Огромный, исхудалый грачъ съ шумомъ пролетѣлъ; каркая надъ степью. Въ воздухѣ повѣяло робкимъ, чуть слышимымъ тепломъ. Подъ косвеннымъ лучемъ затаили пѣточины и родники; звучно падаютъ первыя брызги капли. Сомнѣнья нѣтъ: зима гдѣ-то близко, гдѣ-то не за горою, гдѣ-то встрѣтилась съ лѣтомъ! Сомнѣнья нѣтъ; блескъ и веселье на порогѣ!..

Весна!..

Рыжий байбакъ вскидывается отъ спячки, становится у подмытой норки на заднія лапки и пускаетъ по стени пронзительный, оглушающій, долгій свистъ. Сквозь кору гололедицы пробивается душистая коронка синички. Ранняя цапля летитъ, согнувъ длинную шею, на оттаявшее болото. Байбакъ, синичка и цапля несутъ весну. Весна идетъ радостно и привольно, идетъ, захватывая врасплохъ, идетъ, все будя и зажигая, все наполняя силами и жизнью! Вездѣ вода, вездѣ сверкающія водныя стекла, по которымъ стелется и бѣжитъ голубая паутина, едва пахнетъ и пронесется свѣжій, душистый весенній вѣтеръ! Проточки чернѣютъ и зеленѣютъ. Степь отливается, поочередно, то желтыми, то лиловыми, то ярко-пламенными красками. Взошла поводь, налетѣли туманы... Дикіе гуси плывутъ въ недосыгаемой вышинѣ, плывутъ тупымъ угломъ, и вожатый, волнуя свой живоподвижной косякъ, оглядываетъ изъ-подъ бѣгущихъ, тонкихъ облаковъ поля и побережья, и окостенѣлый въ дуплѣ лѣсной груши ястребъ, отраживая иней съ замерзшихъ крыльевъ, встаетъ и летитъ на добычу. Гдѣ же люди? Встрѣчаютъ ли они также радостно весеннее ликование?— За лугами и пахотью, надъ косогоромъ, едва черкнула румяная заря, тамъ и сямъ, тихо поднялись въ воздухъ буравявыя полосы дыма. Жилья не видно. Виденъ съ кургана только просторъ всюду оживающей степи. Но если бы каменная баба встала съ кургана, освободила изъ-подъ земли

свои неподвижные члены и пошла по направленію къ сверкнувшему раннему дыму, она увидѣла бы сбѣжавшій къ рѣчкѣ хуторокъ, увидѣла бы уютную слободку Вахраманы. Иногда усталый, изнуренный зноемъ путникъ раздвигаетъ руками чащу дикаго кустарника, тщетно пролагая въ дубравѣ тяжелый свой путь, и вдругъ въ лицо его повѣетъ влагою, тѣнь осѣнитъ его, и побѣгъ чистой, холодной струи затрепещетъ въ легкомъ сумракѣ тишины и свѣжести лѣсной чащи. Также неожиданно, словно изъ-подъ травы, является путнику уединенная слободка, слободка на рѣчкѣ Балаклеикѣ, слободка старинная, не новая, притаившаяся въ глубинѣ байрака, съ своими обычаями и нравами, притаившаяся, какъ забытый лѣтнимъ зноемъ снѣгъ запоздалой зимы, какъ отнесенная съ равнины успокоившагося моря щепка разбитаго бурей корабля.—О, весна еще радостиѣ встрѣчается на слободкѣ! Авдотья-кузнечиха пришла и стала надъ рѣками и озерами; Хіона-урви-берега пришла за нею. Щука хвостомъ разбила ледъ, и воды двинулись среди потопленныхъ луговъ. Егорій-съ-водой былъ не долго; Никола-съ-травой близится и замѣняетъ его; жаворонки рѣютъ и слобожане поютъ: «прилетѣлъ куликъ изъ заморья, вывелъ весну изъ затворья!» Весна идетъ по слободкѣ. Пѣтухи заливаются криками съ утра до вечера, заливаются на крышахъ и воротахъ соломенныхъ хатокъ; волы жмурятъ глаза, грѣя у заборовъ свои плотныя спины. Корова шумно дохнула и лижетъ оттаявшее окно; а съ вошедшимъ въ хату ребенкомъ влетаетъ свѣжесть и какое-то обхватывающее душу благоуханье воздуха. Летятъ травники и поручейники; летятъ кряквы и тудаки. Ласточки снуютъ, какъ мухи; далекій рѣзкій крикъ гуся оглашаетъ пустынные тростники; въ ближней гущинѣ кленовъ звучить и перезванивается золотая флейта иволги; а слобожанинъ, покинувъ объятія теплой печки, гдѣ лежалъ всю зиму въ просѣ, куря трубку, уничтожая горячіе блины и любуясь молодою женой, вышелъ подъ навѣсъ хаты въ одной рубашкѣ и не безъ основанія полагаетъ, что иволга кричитъ: «Брось сани, возьми возъ!» Пчелы засуетились, загудѣли и одна за другой вылетаютъ изъ улья вялые и сонныя, вылетаютъ на луга и степи. Темнымъ вечеромъ, сѣвши на заваленкѣ, полновидаля и чернбровая дивчина затынула пѣсню, ей вторять другія, и слободка зазвучала!—Пѣсни-веснянки идутъ по слободкѣ,

сосѣднимъ луговинамъ и рощамъ. Пѣсни-веснянки поются шумными толпами слобожанской молодежи. Чернобровыя дивчата, въ лентахъ и монистахъ, поютъ: «по три гроша молодецъ, какъ печеный горобецъ»; лихачи-парубки, въ шапкахъ, заломленныхъ чортомъ, поютъ: «по копейка баба, по полушкѣ дѣвка!» Пестрая, дѣтская толпа прыгаетъ и хлопая въ ладоши, кличетъ дождь: «дождь-дождемъ, поливай ковшемъ!» — прыгаетъ и поетъ: «иди, иди, дождикъ, сварю тебѣ борщикъ, и съ петрушкою, и съ капусткою, и съ желтыми печеричками!» Дождь шумитъ и падаетъ, и благодатный солнцегрѣвъ словно тянетъ изъ земли пышныя травы и овощи. При первомъ ливнѣ дѣвушки подставляютъ подъ холодныя брызги свои пышныя плечи и нѣжныя щеки, а парубки свои густыя кудри. При первомъ громѣ слобожанинъ считаетъ долгомъ стать подъ заборомъ и подпереть его своею спиною. По улицамъ несутъ хлѣбъ, обложенный первой зеленью, несутъ деревянныхъ ласточекъ. Чтобы явилась сорока, кладутъ на дорогѣ къ колодцу сорокъ палочекъ, а школяры несутъ дыку сорокъ бубликовъ; впрочемъ, веснянки еще не несутъ теплоты, будетъ еще сорокъ морозовъ! Сорока является, и дивчата и парубки идутъ въ лѣсъ — закликать кукушекъ. На зеленой просѣкѣ ждутъ перваго крика птицы-предвозвѣстницы, бесѣдуютъ съ нею, ѣдятъ и пьютъ, и шумно открывается пора цвѣтныхъ игръ... Чеканчики, свинка, вдовья лоза, горѣ-цвѣтъ, скрагли, хрещикъ и рябецъ идутъ и смѣняются другъ другомъ. Пастухъ выбранъ: съ каждой головы скотины обѣщано ему по грошу или по гривнѣ за лѣто; стадо двинулось въ поле, и дудка зазвучала. Мартовская брага ставится въ глубокіе подвалы, на случай близкихъ сватаній и обмѣна ручниковъ. Но прежде выбора пастуха и обмѣна ручниковъ, наступаетъ Еоминъ понедѣльникъ; идутъ на дѣдовскія и отчія могилы, идутъ, прежде воздѣланья нивъ земныхъ, на нивы божьи, гдѣ почіютъ сномъ безмятежнымъ отошедшіе работники земли, почіютъ давшіе жизнь племенамъ новымъ, племенамъ новымъ и счастливымъ. Слобожанинъ остается безъ шапки на родимомъ погостѣ; онъ молчитъ и трижды кладетъ земные поклоны... Но вотъ, просохшія пахоты зовутъ въ поле. Еремей-запрягальникъ несетъ плугъ и борону; Ирина-разсадница копаетъ огороды и бакши; а вотъ, не за горами и Аграфена-купальница и Ѳедосья-колосница. Духовникъ ближ-

няго мѣстечка совершаетъ крестный ходъ на нивы и озими. Полевая работа начинается: подѣвки, засѣвки и досѣвки идутъ другъ за другомъ. За первыми всходами, на засѣянной нивѣ, послѣ общаго обѣда въ полѣ, на плугу, увитомъ цвѣтами, атаманъ съ слобожанами возятъ на себѣ панъ-отца. Но вотъ, летитъ уже изъ лѣсу стонъ и звонъ воздушныхъ пѣсень. Появляется желтоногенькая, вѣчно тиликающая птичка: это — мучимая жаждой, это — птичка, по словамъ слобожанъ, вѣчно просящая пить. Зной на порогахъ, лѣто не загорами.—А вотъ оно и настало!..

Лѣто!..

Какъ ярко и зелено кругомъ! Какъ кипитъ заботливая жизнь! На Зилота собраны быстро-отпѣвтающія цѣлебныя травы. Настаетъ зеленая недѣля. Свѣжесть и влага весны еще не закатились за синѣющіе холмы окрестностей. Пояса плетутся изъ травъ, шапки плетутся изъ травъ, вѣнки и черевички плетутся изъ травъ! Въ косяки хатъ втыкаются красныя васильки, голубыя сокирки, панскій-макъ, нагидки, лилово-сизые колокольчики, павлиньи глазки. Всюду зелень, всюду травы, всюду радость! Дѣтвора дудитъ въ осиновыя дудки. Суровый чабанъ ладитъ лады и сердце на грубо-отесанной очеретяной свирѣли. На каждой русой головкѣ вѣнокъ, на каждой русой головкѣ любимый выборъ стебельковъ руты, волошковъ, любистка, мяты, крученыхъ-панычей, гвоздики, чернобривцевъ, зинзивера и черевичковъ. Ковалева-Катря, у которой густыя брови, какъ черныя жуки, сошлись и не расходятся, нацѣпила во всю косу, косу и шириною съ ея собственную ладонь, цѣлую лавку-ленту и увѣнчала ихъ огромнымъ пучкомъ калины. Сирота Хрѣстя, у которой никто еще не видѣлъ улыбки, воткнула въ волосы вѣтку божьяго-листу и человѣчьяго-вѣку. Чабанова Хитка украсилась нечесей-панночкой; а полногрудыя и рослыя дочки зажиточнаго атамана, — атамана Самойлика, никогда не покидающаго своей палки, обвинили положенныя вѣнцомъ надъ русыми головками русыя косы свои нитями вѣчно-зеленаго и вѣчно-любимаго барвинка, этого завѣтнаго, перваго друга степной дѣвической юности и послѣдняго украшенія старческой, одинокой, степной могилы. И все это поетъ, и веселится, и ждетъ въ опьяняющемъ туманѣ радостей праздника завѣтнаго, праздника Ивана-Купала. Иванъ-Купало сходить на холмы и долины. Крас-

ный пѣтухъ зажаренъ; клей съ девяти деревъ собранъ; на перекресткѣ трехъ дорогъ подняты соломинки и сплетенъ вѣнокъ изъ девяти травъ, сорванныхъ на девяти холмахъ. Сглаженный злымъ глазомъ выкупались въ ранней росѣ, и деревянный огонь, или царь-огонь, приобретенный отъ тренія двухъ вѣтвей лѣсной ивы, не слыхавшей ни шума воды, ни крика пѣтуха, ивы, изъ которой свирѣль способна даже мертвого заставить плясать, уносится съ торжествомъ въ поле изъ тихой слободки. Въ темную, безлунную ночь пространства степей, на цѣлыя сотни верстъ, мгновенно вспыхиваютъ и освѣщаются живыми огнями. Въ темную, безлунную ночь съ холма къ рѣкѣ, по отлогому берегу, ездутся вереницей десятки костровъ, и посмотрите, какъ обливаются блескомъ эти ленты и дукаты, широколистые вѣнки и груди, обнаженные ноги и ярко вышитые подола стройныхъ слобожанокъ, прыгающихъ подъ заунывные купальскія пѣсни черезъ соломенные и посконные костры! А чучело марены изъ вѣщихъ травъ, изъ былицы, богатѣнки, одолена и адамовой-головы, въ длинной бѣлой рубахѣ, въ желтой плахтѣ и въ монистѣ, въ вѣнкѣ изъ алыхъ махровыхъ маковъ и чернобыльника, стоитъ себѣ на холмѣ, среди тихо-подвижнаго, громкаго хоровода. И чуденъ издали видъ быстро бѣгущихъ и волнующихся въ дыму и пламени слобожанокъ! И поютъ слобожанки про Ивашку и Оленку, про Петрочку и Парасю, про Васильку и Оксану, про Павлочку и Пидорку. И поютъ онѣ, какъ ходили дѣвочки около мареночки, около того Вудала-Купала, и какъ играло солнышко на Ивана. Съ шумомъ топятъ наконецъ въ рѣкѣ нарядную марену. И далеко разносится по темной долиנѣ надъ рѣкою пѣсня: «Купался Иванъ и въ воду упалъ!» — И отъликаетъ тонущая въ сумракѣ окрестность: «Иване, Иване, подъ гору зелененько, на мѣсяцѣ видненько, серденько!» — И катятся съ холма, обнявшись по-парно, молодые подружки, и катятся съ другой стороны, также съ холма, парубки; пары разрываются, и кто къ кому докатится, того и считаютъ за назначеннаго судьбой жениха. А между тѣмъ, головы болѣе безстрашныя собираются тайкомъ проскользнуть, до первыхъ пѣтуховъ, въ лѣсъ или на болото, гдѣ скоро зацвѣтетъ сатанинская трава папоротникъ, и не боятся они встрѣтить качающихся на вѣтвяхъ зеленыхъ русалокъ и синихъ, въ косую сажень величину,

ящерицъ, и не боятся они увидѣть сотни разсыпанныхъ по травѣ, огненныхъ ивановскихъ человѣчковъ! И самые хороводы завиваются и гремятъ надъ долиною, пока, наконецъ, страшнымъ голосомъ изъ лѣсу не станетъ ихъ разгонять. Купало проходитъ, недалеко Петровка, недалеко задумчивыя, уныло-тихія пѣсни—петровочка, еще печальнѣе и еще элегичнѣе пѣсенъ купальскихъ. Слобожанинъ, между тѣмъ, не плошаеть. Онъ уже надѣлъ на лицо волосяную сѣтку и ловить рои, съ шумомъ вылетающіе изъ пасѣки,— пасѣки въ уютномъ грушевомъ садикѣ. Онъ помнитъ, что завѣщала людямъ царица-пчела, отъ которой вышли всѣ на свѣтѣ пчелы: «Корми меня до Купала, сдѣлаю изъ тебя пана». Приходить, наконецъ, Петровка, хлопотуньи хозяйки пекутъ вкусныя мандрыки. Замолкла кукушка, замолкла лѣсная провозвѣстница. «Отчего же это она замолкла?» — «Подавидась мандрыкою», — замѣчаетъ сѣдой, старый дѣдъ, обтесывая кривымъ рубанкомъ рукоятку для серпа своей внучки. Веснянки, купальскіе огни, петровскія пѣсни и кукушки прошли; царство зноя, царство жаровъ и засухи вступаетъ въ свои права. Утреннія росы кропятъ еще едва остывающую за ночь, жаркую грудь земли; колосья зрѣютъ и наливаются, и пышно волнуется червонно-золотая, сквозящая огнемъ нива новаго хлѣба. Немного печалить людъ Божій заломы колосьевъ: ночью чья-то невидимая рука надламываетъ тяжелыя колосья; ну, да ничего! авось умолотъ будетъ хорошій. И вотъ, руки ломаются отъ размаховъ косы; спина ломится отъ сверканья кривымъ серпомъ; ноги ломаются отъ ходьбы по необозримой пажити. Работа идетъ живо и скоро. Обжинки, праздникъ новаго хлѣба, встрѣчаются съ сулеею вина и новыми пѣснями, — пѣснями косовицкими и гребовицкими; золотой вѣнокъ изъ колосьевъ, увитыхъ васильками, надѣвается на голову лучшей жницы. Священникъ опять является съ крестомъ и водою, среди разбросанныхъ кучами сноповъ и копенъ. Кутья изъ первыхъ зеренъ ячменя на мискѣ, убранной цвѣтами и листьями, отсылается въ церковь. А вотъ толпа, радостная случаю повеселиться, убрала послѣдній снопъ изъ послѣднихъ брошенныхъ колосьевъ на нивѣ, убрала его въ видѣ человѣка съ руками и ногами и несетъ его съ торжествомъ на слободку, и слободка снова не умолакаетъ до зари. Покосы, запашки, засѣвки, помочи, замо-

лоты, умоты и перемолоты — идутъ вслѣдъ за обжинками. Спиридонъ-солнцеворотъ недалеко. На Макавеевъ производится макотрусь и пекутся шулики изъ маку и сдобныхъ коржиковъ. Наступилъ Спасъ медовый и Спасъ яблочный. Бьютъ пчелъ и выбираютъ медъ; тутъ пчела очень зла, и не одинъ является на косовицу съ дулею подъ глазами или цѣлымъ огурцомъ подъ губою. Ягоды зрѣютъ, бакши зрѣютъ, ленъ и конопля зрѣютъ. Потрепунки, колотушки, супряжки, порѣшцы, капустницы и дынекрадницы настаютъ на слободкѣ. Но что это? Куда стремится разряженная толпа? Возы скрипятъ, сапоги звенятъ подковами, алые черевички какъ жаръ горятъ. Въ сосѣднемъ мѣстечкѣ, въ Лиманѣ, соборный праздникъ и ярмарка. Что же это за ярмарка? Продаются ли тутъ кони и полотно, сукна и посуда? Стоять ли тутъ гордые строемъ разноцвѣтныя палатки и самовары, наставляемые по тринадцати разъ въ сутки? Нѣтъ тутъ ни коней, ни полотентъ, ни суконъ, ни самоваровъ! Продается тутъ рыба-чехонь, и птица-курица, торгуетъ тутъ нашъ братъ, слобожанинъ, торгуетъ чѣмъ попало, и хлѣбомъ, и дегтемъ, и солью, и всячиною, и чѣмъ только онъ задумаетъ. И поетъ тутъ свои безконечныя пѣсни, подъ звуки кобзаря, слѣпой кобзарь Гарбузъ, или знаменитый Петро Колибаба, или, наконецъ, и самъ Тростинецкій кобзарь, — Залавскій. Цыгане замолкли, крики торгашей замолкли, щебетухи-перекупки замолкли. Стоять слобожане кружкомъ, подперши головы руками и свѣсивъ чубы, стоятъ и слушаютъ кобзаря; и звучатъ потрясающіе, унылые переливы украинскаго речитатива, и звучатъ торжественныя думы о Голотѣ, о смерти атамана Федора Безроднаго, о Самойлѣ Кумкѣ, о Барабашѣ, о Морозенкѣ и о вѣчно любимомъ гетманѣ, о гетманѣ Хмельницкомъ — Богданѣ. — А не хотите ли пѣсни другой, будничной, пѣсни соромнишкой? Кобза загремѣла, мѣхоноша-повадырь дудитъ въ дудку, и пошла гремѣть! «Ой бись мини раду давъ, що я соби бабу взявъ! Бабу, бабу, бабу, бабу, бабу взявъ!» И внимающая толпа не выдерживаетъ, пускается въ плясъ и подхватываетъ съ громомъ: «Ой, сорока скрегоче, никто бабы не хоче! Бабы, бабы, бабы, бабы не хоче!» И площадь мѣстечка долго гудитъ подъ сапогами веселыхъ слобожанъ. И далеко наконецъ разносятся слова пѣсни: «Ой, кто до кого, а я до Параски!» И громко льется слободское ве-

селье.—Но вотъ, послѣдняя лѣтняя гроза ползеть и застилаетъ половину неба. Укрывшись подъ развѣшенною на кося свиткою, лежитъ навзничъ истомившійся косарь, лежить и не видитъ, какъ злобѣщая тѣнь перебѣгаетъ по копнамъ и сѣннымъ покосамъ, спавшее стадо поднимаетъ тревожно головы, и стая дикихъ утокъ летитъ, спѣша укрыться въ тростникъ, котораго верхушки уже срѣзались и переклонились отъ набѣгающаго быстрога степного вихря. И вотъ, подулъ бурей вѣтеръ отъ солнца, несущій бури; звучно падаютъ первыя металлическія капли ливня, и цѣлое море дождя разомъ проливаетъ на жадную землю послѣдняя лѣтняя туча. Быстро падаетъ и быстро высыхаетъ этотъ дождь. Черезъ мигъ, кругомъ уже свѣтло, и въ лучахъ солнца купаются послѣдніе клочки летящихъ безъ вѣсти, влажныхъ облаковъ, а веселуха-радуга, переклонившись коромысломъ, тянетъ изъ ближней рѣки воду. Только на дальней, синѣющей луговинѣ поднялся дымокъ, подъ нимъ зардѣлась алая точка, и стогъ сѣна, подожженный молніей, клубитъ летущее пламя. Но вотъ, Спиридонъ-солнцеворотъ наступилъ, солнце поворотило съ лѣта, а лѣто на холодъ... Заяцъ выкунѣлъ и сталъ, какъ въ мѣховыхъ штанахъ. Алое сукно клубники застилаетъ холмы и луговины. Въ байракѣ, за Балаклеюкою, открыта волчья выводка. Поросята, что день, исчезаютъ въ ближнемъ стадѣ, и коренастый кабанъ, не безъ тревоги, посматриваетъ съ косогора на стада барановъ, тонущія въ густой, сквозящей головатыми маковками, полянѣ цвѣтовъ и травъ.—Осень!..

Семень-лѣтопроводецъ обходитъ сады, пашни и огороды: край неба на зарѣ багровѣетъ! Она радуется и не радуется, грѣетъ и не грѣетъ, эта чудно-суровая степная осень. На Воздвиженъе уже сдвинулась свита и подвинулся кожухъ. Слобожанинъ выходитъ изъ хаты, становится противъ солнца и пристально смотреть, блуждая взорами по опустѣлой окрестности... Сколько потрачено на эту землю силъ и трудовъ, заботъ и здоровья! Давно ли шумѣли по ней лезвія быстрыхъ косъ, и косари, какъ паруса кораблей, рядами шли и расходились по луговинѣ? Давно ли огни позднихъ ужиновъ усыпали звѣздами темнѣющее море степи, и за казанкомъ водки батраки ѣли пшенную кашу съ таранью, галушки съ перепелками? Дымъ, какъ саванъ блѣднаго привидѣнія, шелъ по полю и исчезалъ въ мерцаніи ночи,

а багровый, гигантскій шаръ запоздалаго мѣсяца, какъ голова сказочнаго богатыря, тихо высовывался изъ-за двухъ кургановъ, посылая прежде себя пожаръ далекаго лѣса, или подобно раскаленному сердцу, воткнутому въ далекій стогъ сѣна, алѣлъ на небосклонѣ... Давно ли скрипѣли по проселку возы, нагруженные снопами, и на подвижной громадѣ ихъ круглилась русая головка въ вѣнкѣ изъ ярко-голубыхъ васильковъ? Давно ли?—А теперь въ полѣ скучно и пусто, скучно и бѣдно! Задумывается слобожанинъ и рѣшаетъ, что близко паутиные лѣто и похороны мухъ. Паутиные лѣто и похороны мухъ наступаютъ; летать по воздуху бѣлыя нити паутинокъ, сорванныя вѣтромъ. Вѣдьмы думаютъ на помехахъ эти нити и свиваютъ ихъ въ мотки на зиму. Въ арбузныхъ коркахъ строятъ могилки мухамъ; а день становится все менѣе и менѣе. Тернъ собранъ; арбузы на зиму насолены; сливки, барбарисовки, смородиновки, черешневки, грушевки, клубниковки и всякія водянки настоены, слиты и укупорены въ завѣтныхъ дѣдовскихъ подвалахъ. Знахарки, навьюченные травами и кореньями, десять разъ уже посѣтили сосѣднія балки и рощи. Дикіе журавли стадами бродятъ около копенъ сѣна и по курганамъ, выплывая на солнцѣ другъ передъ другомъ неистовыя пляски. Молодой заяцъ мячетъ выкатывается изъ-подъ ногъ охотника. Рогъ звенитъ, и свора несется, чуть касаясь верхушекъ легкой травы. На тусклѣ небесъ снуютъ и чернѣютъ неподвижно распластанные кресты плавающихъ подъ облаками коршуновъ. Хлѣборобы, гречкосѣи, просомяты и домонтари жарче берутся за работу; одни чумаки, въ ожиданіи умодота пшеницы и обычнаго похода въ Крымъ за солью, лежатъ и грѣются подъ вишнями. Въ бондаркѣ звенитъ подъ новымъ обручемъ бочка. Волъ чешется о поднятую оглоблю воза, раскрашеннаго прохожимъ изъ Яковенковыхъ хуторовъ маляромъ. Молодица, вся подоткнутая и подвязанная, только-что выподоскала новую крашенину и опрокидываетъ ушатъ съ водою, смѣшанною съ синькой, а румяный мельникъ, съ напудренною бородой и висками, остановился у своихъ воротъ и, изъ-подъ мѣшковъ съ горохомъ и просомъ, кричитъ проходящему кузнецу, чтобъ не забылъ подковать его новые желтые, козловые сапоги. На длинныхъ кольяхъ изгороди, перевернутые вверхъ дномъ, торчатъ зеленыя кубышки и миски, и локоны хмеля,

выглядывая изъ-подъ морщинистыхъ желтыхъ тыквъ, выросшихъ на заборѣ, взбѣгаютъ на жерди и вьются на воздухахъ махровыми кружевами. Среди слободки появляются навьюченные мѣшками и связками покупщики щетины, пеньки, перьевъ, полотна, воску и меду; товаръ мѣняется на гребни и иголки, на ленты и бусы. А вотъ и вириѣ начался. Въ теплыя страны, въ страны приморскія улетаетъ всякая птица. Плынуть въ небѣ нити дикихъ гусей и стрепетовъ, мелкая дробь перепеловъ и скворцовъ, плывутъ снова косяки курликающихъ журавлей и огари, съ яркомалиновыми ногами и носомъ, точно обмокнутые въ яркопламенную киноварь. Волосные кулички, и тѣ летятъ. Длинныя перья на ихъ шеѣ и хребтѣ заворачиваются отъ вѣтра, и кажется, будто распукленные хлопки шерсти летятъ по воздуху. Дѣти пускаютъ въ это время, изъ луковъ, въ перелетную птицу камышевыя стрѣлы, облѣпленные на концѣ смолою. Большею частью эти стрѣлы уносятся подъ крыльями дюжей птицы; но иногда жирный, упитанный гусь, догнанный ловко-пущенною стрѣлою, падаетъ изъ недостигаемой высоты и разбивается тутъ же о твердую землю. Въ воздухѣ свѣжѣетъ. Пахнули первые утренники. Значить, зацвѣла гдѣ-то, вовѣки незримая, трава глody. На Покрова толпа дѣвушекъ идетъ молиться о Покровѣ женихамъ. Рослый, плечистый атаманъ, неподкупный атаманъ Самойликъ, ведетъ съ послѣдней полевой работы, съ опашки и засѣвковъ подъ озимь, своихъ слобожанъ и, остановясь среди улицы, угощаетъ ихъ водкою. Палка, усѣянная бирками, отставлена въ сторону, и веселье идетъ разливанною рѣкой; самъ атаманъ расправляетъ усы и осушаетъ муравленный шкаликъ. Въ кружкѣ пьющихъ и поющихъ молодицъ прохаживается здоровая, полнокроя бабенка; носъ ея ужъ озарился лучами подступающаго веселья, и, прохаживаясь мелкимъ топотомъ, бренчитъ она подковами и припѣваетъ: «Вотъ, бабы, какая я хорошая! Вотъ, бабы, какая у меня плахта! Гуляй, бабка!.. Эхъ, но-ожъ гуляй, бабусю!» — Бабуся, однако, гуляетъ не долго! — Сине-водная весна, зелено-благоуханное лѣто и золото-багряная осень прошли; краски полей измѣнились: бѣлая зима недалеко. Морозъ неожиданно перекидывается изъ-за цѣпи приземистыхъ косогоровъ, грянетъ стужа, и достанется тогда на славу всѣмъ дысымъ и плѣшивымъ. Иззябшія галки снуютъ по небу

и каркають, пророча близкую зиму. Снѣгъ виситъ въ каждой тучкѣ, виситъ надъ омертвѣлою, опустѣвшею стенью.

Зима! Долгая, скучная зима!

Вы хотите знать, какъ живетъ на слободкѣ зимою? — Какъ живетъ? Живетъ скучно! — Нѣтъ на слободкѣ ни каминовъ, ни газетъ, ни театровъ; нѣтъ на ней ни баловъ съ ослѣпительнымъ освѣщеніемъ, зеркальными полами, яркою зеленью и сверкающими, обнаженными плечами. Скучно живетъ зимою на слободкѣ! — Слобожане, однако, стараются разогнать эту скуку. Чуть пришла пора рѣкостава и подступили Егорій-съ-гвоздемъ и Никола-съ-мостомъ; окна законопатились, и земля съ водой сплотилась однимъ непрерывнымъ мостомъ. Время работъ внутри двора настало. — Эти, напримѣръ, бѣлыя, чистенькія хатки разукрашиваются и убираются весьма затѣйливо. Стѣны подъ образами разрисовываются розовыми, голубыми и зелеными полосками, какъ цвѣтутъ розы и васильки; тутъ же втыкаются пучки любистка, гвоздики и полыни, и послѣдняя трава считается травой очистительной. Вымѣненные у Царьборисовскихъ и Салтовскихъ маляровъ иконы, между которыми особенно уважается икона Межигорской Богоматери, освѣщаются передъ каждымъ праздникомъ восковыми свѣчами. Страстная свѣча припасается на случай грозы. Тутъ же, въ мѣшкѣ, виситъ артосъ и ладанъ и для неизлѣчимыхъ болѣзней полотенце, которымъ священникъ отиралъ съ престола пыль. Надъ дверью, въ пузырькѣ, виситъ крещенская вода; ею кропятъ перепуганныхъ дѣтей. Ткацкій станъ стучитъ и хлопаетъ съ утра до ночи, и гребень, съ начатою мочкою пряжи, уже не пускаетъ Ковалеву-Катрю, щеголиху и пѣвунью, взглянуть лишній разъ въ обломокъ зеркальца, вмазанный между окнами. Начинается долгая пора домашнихъ работъ; работы коротаютъ время и скуку. — Хлопотуньи-хозяйки встаютъ, или, какъ говорятъ слобожане, рѣшатся первыя; задолго до разсвѣта, почти въ полночь, зажигаются жировые каганцы, и пряжа прядется до самой зари. Усталые глаза липнутъ отъ дремоты, но веретено жужжитъ и прыгаетъ по глиняному полу. Чуть заря, начинается стряпня обѣдовъ. Полностаная, полногрудая дивчина, взявши круглое коромысло съ двумя ведрами на плечи, идетъ за водой, и пышно колышется на ней бѣлая новая свитка съ двумя черными

сердечками на спицѣ, у пояса. Время обѣда, о вы, отдаленные читатели столичные, на слободкѣ — десять часовъ утра. Послѣ обѣда — кто садится опять за пряжу, кто за ткацкій станокъ, а кто и за питье. Людямъ на сторону. Съ сумерками настаетъ топка печей къ ужину. Ужинаютъ въ пять часовъ, и вслѣдъ затѣмъ на слободкѣ уже не слышно человеческого голоса. Мужики, впрочемъ, какъ и слѣдуетъ, лѣнявые бабъ. Мужикъ, отработавшій осенью, до первой новой теплыни лежитъ себѣ на печи и знать ничего не хочетъ. Онъ и за золотыя горы не пойдетъ зимой на заработки: чего ему еще надо? Хлѣба у него полны закрома, въ хатѣ молодая жена, на ногахъ одни сапоги, а другіе сапоги еще въ дегтѣ такъ и мокутъ: только задумаль, надѣлъ и щеголай по слободкѣ! — «Жинко, найди трубку!» — говоритъ хозяинъ съ печи. — «Да гдѣ-жъ она?» — говоритъ жинка, шаря по угламъ. — «Да ты ужъ знаешь, гдѣ она», — говоритъ мужъ, потягиваясь и зѣвая на печи. — «Гдѣ знаешь! — не знаю!» — говоритъ робко жинка, теряясь въ тщетныхъ поискахъ. — «Да ужъ найдешь!» — говоритъ непрופтый лѣнтяй: — ты только ищи тамъ, гдѣ пахнетъ!» И терпѣливая жинка ищетъ тамъ, гдѣ пахнетъ, и точно — находитъ трубку. — Но печелобы и лѣнтяи — не главный народъ слободки. Расторопный хозяинъ съ зари уже за работою. Онъ идетъ на загонъ, задаетъ кормъ воламъ и атавъ, молотить, вѣетъ, толчетъ, мелетъ крупу, мелетъ муку, мелетъ табакъ, возитъ дрова, или садится за какое ремесло — бочарное, столярное, кожевенное, кузнечное или малярное. Не замѣтишь, какъ Варвара уже ночи ukrала и дня притачала, — и смотреть слобожанинъ: не идетъ ли уже весна съ поля? Нѣтъ! далеко еще, не идетъ! Будутъ и сильныя вьюги, и сильные морозы; будетъ еще семь долгихъ морозовъ, — морозы: михайловскіе, введенскіе, екатерининскіе, никольскіе, рождественскіе, аанасьевскіе и срѣтенскіе. Въ ясную оттепель гурьба ребятишекъ бѣжитъ за околицу — катать снѣжные шары. Изъ шаровъ возникаетъ огромный, головатый человекъ — и съ руками, и съ ногами, и съ носомъ, и съ усами; его обкачиваютъ водою, и ледяной великанъ остается до перваго дождя, служа непомѣрною потѣхой слободскимъ ребятишкамъ. Но, наконецъ, пряжа и молотба, всякія ремесла и снѣжный великанъ, и все надоѣло! Зима тянется нескончаемо. Настаетъ пора сказокъ... Старухи гадаютъ

внучатамъ и внучкамъ на угли, на воду и красныхъ пѣтуховъ. Онѣ говорятъ краснощекиимъ внучкамъ: «Ты не бойся, кубышка моя, ты не бойся, муравленая; ты, кубышка, на счастье шла, макитру пироговъ несла, еще курицу жареную, еще утицу перепареную, будь здорова, кубышка моя!» Скопидомка-знахарка, старая старица, всегдашняя дѣвица, сбрызгиваетъ сглаженныхъ недобрымъ глазомъ, выливываетъ переполохъ, завариваетъ сояшницы, лѣчитъ дѣтскую чахлость и старческую вялость, шепчетъ на зубы, сводитъ куриную слѣпоту, шептываетъ бѣлыма, находитъ вѣдьмины горы и даритъ охальнымъ хозяевамъ неразмѣнный рубль. Приди только бѣдственное сердце, она утѣшитъ; приди сердце покинутое, она дастъ зелье на слѣдъ; приди человѣкъ испорченный, она дастъ зелье на вѣтеръ; по пѣтуху откроетъ вора и по пчелиному соту исправить пчелиное дѣло. Обратись къ ней немощный, она оградитъ отъ всего; заговоритъ отъ тоски по насердкѣ, отъ несчастія въ дорогѣ; заговоритъ отъ змѣи, отъ крови, отъ зубной скорби, отъ нкоты; отъ войны и мора, отъ черныхъ мурьевъ, отъ красныхъ мышей съ зеленымъ глазомъ, отъ живота и отъ подпечныхъ «дидьковъ», принимающихъ такое участіе въ хозяйствѣ. А что такое подпечный дидько, это всякъ ужъ скажетъ! Да я думаю, что даже и не скажетъ, потому что врядъ ли кто рѣшится сказать, когда—того и гляди—старецъ, величиною съ воробья, въ войлочной шапкѣ и весь синій, выглянетъ изъ темнаго угла... А вотъ и неожиданная свадьба проглянула на слободкѣ. Сваты, перевязанные ручниками, подходятъ къ окну отца и матери невѣсты и говорятъ: «Мы слышали, что у васъ есть гусочка, а мы приготовили гусака; такъ, какъ бы ихъ спарить,—чтобы ужъ вмѣстѣ ходили и вмѣстѣ паслись?»—На это отвѣчаютъ: «Рады господамъ сватамъ!»—и пиръ горою начинается. Только-что прошла свадьба и хмельныя головы простыли, опять веселье и опять радость: сочельникъ рождественскій на порогѣ. Хата заново обѣлена и размалевана. Надъ столомъ красуется новая картина; кадка меду, чистаго, какъ глыба перваго снѣга, отдана за нее лиманскому звонарю, и еще переминался рыжій звонарь и утѣшился только тогда, какъ выпилъ еще кварту сливанки и взялъ на рубашки дѣтямъ кусокъ полотна. На картинѣ написанъ запорожскій гайдамакъ въ зеленомъ кунтушѣ и спичхъ шароварахъ; чубъ свѣсился за ухо и коротенькая люлька тор-

чнтъ въ зубахъ. Тутъ же стоитъ бѣлый конь и фляжка съ водкою; на деревѣ—полковой гербъ, а на землѣ—ружье и рогъ. Гайдамакъ что-то пьетъ. А внизу надпись: «Сидитъ казакъ на стерну и штаны латаетъ; стерна его очень колетъ, а онъ стерну лаетъ!» — Хозяинъ-домонтарь выбрилъ гладко бороду, подбрилъ усы и затылокъ и ходитъ по хатѣ, въ ожиданіи праздника. Дѣти несутъ крестнымъ отцамъ вечерю: узварь, кутю и пироги. Въ звѣздную, морозную ночь начинаются колядки. Толпа дивчатъ идетъ чествовать святой вечеръ. Шумныя толпы славятъ Христа. По улицѣ несутся пѣсни: «Ой, рано-рано, куры запѣли; святой вечеръ!» По улицѣ несутся пѣсни: «Ивашко всталъ, лучкомъ забряжчалъ, зоветъ братьевъ въ поле; тамъ куница въ деревѣ, а дивчина въ теремѣ!» Толпа парубковъ пересѣкаетъ имъ дорогу, сбиваетъ ихъ съ голоса, и строгія пѣсни колядокъ смѣняются пѣснями шуточными. Раздосадованныя дивчата поютъ: «Поѣхали хлопцы на ловы до зеленой дубравы; та уловили комаря-звонаря; стали суды судити, стали комаря дѣлти!» Парубки на это только слушаютъ и ничего не поютъ. Колядки смѣняются щедровками. На Меланку, ребятишки и дѣвочки ходятъ съ мѣшками и поютъ подъ окнами стариковъ, собирая за это, точно убогіе странники, куски хлѣба, пироги, колбасы и блины. Но ничто такъ не радуетъ дѣтей, какъ утро новаго года. Тутъ имъ полное раздолье. Съ шерстяными рукавицами, полными гороху, овса, гречихи и проса, они врываются въ хаты дядьковъ и дѣдовъ, врываются и посыпаютъ сонныхъ дядьковъ и дѣдовъ полными горстями зеренъ, посыпаютъ окна, столы и даже вставшихъ хозяевъ, причитывая: «На счастье, на здоровье! Уроди Боже жито, пшеницу и всякую пашницу! Съ новымъ годомъ и съ Василемъ!» Пришло Крещенье... Сыплеть и медленно падаетъ мохнатый снѣгъ, сугробы застилаютъ дорогу; на рѣчкѣ прочищена сверкающая полоса синезеленаго льда, и толпа ребятишекъ скользятъ и катятъ по ней палки, подбиваютъ другъ друга, кричатъ и смѣются на морозѣ; и не видятъ они, не замѣчаютъ, какъ клонится къ закату и угасаетъ недолгій февральскій вечеръ. Но, что это? Съ холма, со слободки, идетъ длинная вереница; печально и тихо идетъ толпа, неся высокіе кресты, церковные высокіе фонари и хоругви. Солнце скрылось за сплошныя бѣлыя тучи, и безпредѣльнымъ саваномъ разстилаются

бѣлыя степи. Умеръ атаманъ, умеръ высолій, чернобровый атаманъ, вождь и начало всѣхъ трудовъ, всѣхъ безчисленныхъ работъ и заботъ слобожанскихъ. Смежились долгимъ сномъ его зоркіе глаза, и палка, усѣянная бирками, навѣки покинута! Жилъ онъ привольно и богато, и по заслугамъ, какъ говорится, одна рука его была въ меду, а другая въ патоку. Не станеть онъ болѣе передъ косцами, не тряхнетъ кружкомъ нависшихъ на лобъ волосъ, не скажетъ: «А ну-те, господа слобожанство! а гдѣ ваши руки, да и гдѣ ваши ноги?» И тутъ же, сорвавъ зеленую козельку, не прибавитъ болѣе: «Хорошая козелька! славная козелька! не дураки овцы, что ее такъ любятъ!» — Довольно! Отработался первый и лучший работникъ слободки, отработался честно и до послѣдней капельки силы! Толпа идетъ и нѣсколько разъ останавливается. И всякій разъ, какъ она останавливается, священникъ, въ темной рясѣ, читаетъ во всеуслышанье вѣщую страницу разогнутой Вѣщей Книги. Толпа подходитъ къ погосту. Могила принимаетъ должное ей тѣло, и всѣ тихо расходятся по домамъ. Придетъ опять весна, степи зазеленѣютъ, но уже не встанетъ изъ могилы покойный атаманъ! И вотъ подулъ вѣтеръ, метель хлынула и закружилась, степь потемнѣла, какъ море, и только съ уединеннаго кургана смотрятъ недвижно недвижные взоры каменной бабы, смотреть и слѣдять по-былому за тихимъ шествіемъ пустынной, степной жизни...

А между тѣмъ, послѣдняя льдинка растаяла, съ Аѳанасіа полозъ пошелъ глубже, корова бока стала грѣть. Аксиныя-полужимница привела ясные дни и ясныя ночи, и вотъ опять пахнула теплынь и радость, изъ вирія опять летятъ птицы, опять катится по небу животворящая весна; и не видитъ слобожанинъ, и не слышитъ слобожанинъ, какъ убѣгаетъ передъ нимъ вереница тихихъ годовъ, и самая старость для него не несетъ уже изнуренія души и тѣла, не несетъ тоски и скучныхъ жалобъ дряхлости; она является къ нему какимъ-то яснымъ, умиротворяющимъ возвратомъ къ дѣтству, возвратомъ къ началу жизни, возвратомъ къ тишинѣ и незлобію стремленій и помысловъ. — Такъ-то живетъ въ степной, маленькой слободкѣ, въ слободкѣ на рѣчкѣ Балаклеикѣ *).

*) Нѣкоторыя мѣста этого разсказа вошли въ очерки «Чумаки».

III.

ДѢДУШКИНЪ ДОМИКЪ.

(Над. Оед. Бантышъ.)

Теплинскій лѣсъ выходитъ на большую чумацкую дорогу. Въ старину, по случаю частыхъ разбоевъ, о немъ говорили: «Кто минуетъ голую долину, да высокую могилу, да теплинскій лѣсъ, то не возьметъ того бѣсъ!» Времена стали другія. Лѣсъ состарѣлся и измельчалъ. Но одна половина его, именуемая Черточешенскимъ уступомъ, попрежнему пугаетъ праздное воображеніе людей. Дремучая дебрь уступа полна таинственности и мрачныхъ красокъ. Впрочемъ, слово дремучая да не введетъ никого въ ошибку; дремучаго здѣсь собственно очень мало потому, что эта дебрь простирается не далѣе какихъ-нибудь двухъ или трехъ верстъ, и дремлетъ въ ней развѣ одному усталому отъ зноя лѣсническому да старику-дровосѣку. Нѣтъ въ теплинскомъ лѣсу ни рысей, ни песцовъ, ни росомахъ, ни горностаевъ; нѣтъ въ немъ ни барсуковъ, ни соболей, ни ланей, ни бобровъ, ни медвѣдей. Зато въ неисчислимомъ множествѣ прыгають въ его чащѣ приземистыя, краснобурья лисицы; зато всѣ дубки и орѣшники его усыяны бѣлками; зато волки въ немъ, какъ дома: никто имъ, уже болѣе пятнадцати лѣтъ, не мѣшаетъ тутъ плодиться, дѣлать набѣги на сосѣднія слободки и хватать изъ сосѣднихъ слободокъ лучшихъ поросятъ и барашковъ. Одинъ только разъ досталось въ ближнемъ селѣ, Панковѣ, какому-то косолапому сѣрку. За то же онъ и надѣлалъ дѣлъ! Пробрался въ околнцу, да не только пробрался, а отыскать еще хату, и чью бы вы думали? — самого атамана, Колоднѣжнаго-Юхты, онъ же и Хриновъ-Бурякъ, — отыскать, вошелъ въ сѣни, изъ сѣней въ двери, залѣзъ на печку, сѣлъ тамъ три окорока, откопченныхъ къ петровскимъ розговѣнямъ, закусилъ миской варениковъ съ ягодами, да тамъ же и заснулъ. И досталось же за это косолапому сѣрку! — Теплинскій лѣсъ перерѣзанъ многими озерами, изъ

которых Лебяжье, Платок и Кривое считаются лучшими потому, что нигдѣ нѣтъ такого множества дичи, какъ тамъ. Въ Черточенскомъ уступѣ, о которомъ пойдетъ главная рѣчь, протекаетъ небольшое безыменное, подвижное озеро, просачиваясь изъ безыменнаго же болота, и теряется тутъ же между тростниками. На низменной просѣкѣ Черточенскаго уступа, на гребнѣ зеленого косогора, надъ озеромъ и болотомъ, стоитъ дѣдушкинъ домикъ. Онъ стоитъ тутъ уже съ давнихъ поръ... Видъ съ косогора на воду, перебившуюся кучковатыми плѣсами, по которымъ, едва пробѣжить вѣтеръ, стелется лилово-сизый отливъ, и на сочную зелень болота, въ рамѣ тростниковъ и густолистныхъ кустарниковъ, — хорошъ особенно лѣтомъ. Какая странная и причудливая растительность! Какъ перевиты эти сучковатые деревья дикимъ хмелемъ! По окраинамъ озера стелются ползучія травы, называемыя бабымъ неводомъ. Чемерка, лопухи, козій-листикъ и заячья-капустка, былина и рясноголовая кульбаба, волошки и сочныя козельки, такъ любимыя собирательницами грибовъ и лѣсныхъ ягодъ, козельки всѣхъ родовъ и свойствъ, — и бѣлоголовый, дрябчатый смодвь, и сизый молочай, и голубая колючка, и рогозъ, и, наконецъ, сладкіе шипаки: чего только нѣтъ въ этомъ лѣсу! А какъ настанетъ весною прилетѣть птицъ, — и запоетъ, застонетъ кудрявый лѣсъ. По влажному, остывшему илу, какъ на конькахъ, скользятъ и бѣгаютъ пестрыя курочки, и сѣрая поверхность усеивается крестиками пурпурныхъ ножекъ, какъ старинная рукопись старинными словами. Каждый кустъ, каждая вѣтка одѣты своею благоуханною атмосферою. А носатый дѣгарь, точно клокъ красного сукна, перебрасывается съ дерева на дерево, бѣгаетъ и тихо вытаскиваетъ изъ влажной земли сладкіе корешки, бѣлыя поросли камыша и прошлогоднихъ букашекъ, или же, беззаботно набѣгавшись, стоитъ себѣ на одной ножкѣ, зажмуривъ глаза по сторонамъ поднятаго носика и дремлетъ подъ полусонное жужжаніе кузнечиковъ и мошекъ, и медленно качаются вокругъ него широкіе, сквозящіе лопухи и махровыя ленты хмеля, и тихо застилаетъ его прохлада подступающаго вечера, и проносятся надъ нимъ, какъ бродячія пѣвчія струны, рогатыя жукалки и трепетныя, сумеречныя бабочки. Но вотъ, заливаются голубымъ и краснымъ потокомъ цвѣтущія нѣкоси. Трепещутъ и сохнутъ, отнесенный весеннею водою, буреломъ и разное

мелкое ухвостье. Въ камышахъ пробираются облинялыя, безкрылыя утки. Гнѣзда свиты, начинается безконечная, громкая, роскошная лѣсная свадьба. Вотъ она идетъ и подступаетъ... На тихой утренней зарѣ, когда по темнымъ деревьямъ только-что мелькнули желто-пурпурныя пятна и туманъ свился и плыветъ надъ болотомъ, — въ недосыгаемой вышины берутъ верхъ и идутъ какіе-то чудные звуки: точно торжественный, таинственный благовѣстъ раздается подъ небесами и падаетъ на землю. И вотъ — все слышнѣе и слышнѣе, все ближе и ближе. Несутся воздушныя полки воздушныхъ армій... На лѣсъ проливается цѣлое море звуковъ. Черканіе болотныхъ веретенниковъ, сонное курруканье горлинокъ, звонъ травниковъ, какъ теньканье крохотныхъ стекляныхъ колокольчиковъ, рѣзкое чоканье дроздовъ и дребезжащій смѣхъ пустынной хохоты, какъ ауканье спрятаннаго въ кустахъ лѣснаго, долетающій откуда-то чуть слышный бой перепела, трескъ куличка и печальныя перезваниванья иволги, — сколько странныхъ, сколько причудливыхъ голосовъ и звуковъ! Но и въ тихое осеннее время, когда матери перестали уже печально скликать разбѣжавшихся и разлетѣвшихся дѣтей; когда въ травѣ не слышатъ умиротворительныя куличата, и гусыня не переноситъ уже съ плѣса на плѣсо за шейку крохотныхъ гусенковъ; когда бѣлоствольная береза ярко отдѣляется и сверкаетъ на матовомъ багрянцѣ вязовъ и сквозящаго, лапчатого клена; когда, наконецъ, голубое сукно васильковъ уже не застилаетъ ни болотной кутемы, ни пеструшки: и въ тихое осеннее время — теплинскій лѣсъ имѣетъ много торжественно-таинственнаго. Потѣнышъ, какъ тѣнь, скользитъ въ сумерки по темной, ползучей шмарѣ; неугомонный дятель долбитъ и вьется вокругъ дупла столѣтняго; увѣшаннаго вороньими гнѣздами береста, и звучно падаетъ въ пустынной тиши иссохшій листь, считая обнаженные сучки и вѣтви, и звучно уносится умирающая, до новой весны, пѣвучая лѣсная жизнь!..

Дѣдушка былъ не промахъ, когда построилъ свой домикъ на такомъ выгодномъ мѣстѣ. Домикъ представляетъ любопытное зрѣлище. Онъ старъ и покачнулся на бокъ. Соломенная крыша его завихрилась и поднялась отъ вѣтра, какъ панцырь у ежа. Бревна его исчерчены іероглифами червей, а крыльцо, какъ остовъ павшаго въ степи коня, проросло крапивою. Небольшой ребенокъ даже и не взойдетъ на него;

онъ взойдетъ на него только при помощи опрокинутаго ведра или колоды, на которой дѣдушка куетъ проволочные крючки для своихъ удочекъ. Зато въ теплую погоду, отъ весны до осени, окна домика раскрыты настежь, и свободно влетаютъ въ нихъ мошки и сумеречныя бабочки, и свободно влетаютъ въ нихъ лепестки цвѣтущихъ яблонь и молодыя ласточки и синички. Когда подобное обстоятельство случается, родители крохотныхъ птичекъ долго летаютъ и тиликаютъ въ вѣтвяхъ сосѣднихъ деревьевъ, предполагая, что это дѣдушка, хищнымъ набѣгомъ на ихъ владѣнія, похитилъ маленькихъ птичекъ. А дѣдушка ходитъ себѣ въ мерлушковомъ халатѣ, ходитъ и знать ничего не хочетъ. Зеленый картузъ съ гигантскимъ овально-продолговатымъ козырькомъ, весьма напоминающимъ утиный носъ, покоится на его головѣ. И ходитъ себѣ дѣдушка, заглядывая подлѣ кусты и деревья, колируя и подпиливая засохшіе сучки. И весело дѣдушка посматриваетъ съ зеленого косогора... А тишина въ старомъ домикѣ невозмутимая. Дѣдушка однажды сознался, что въ какое-то особенно бурное лѣто птичка, именуемая овсянкою, залетѣла въ окно его спальни, на глазахъ его свила въ углу, въ развѣшанныхъ моткахъ пряжи, гнѣздышко, выкормила дѣтей и съ новорожденною семьею снова улетѣла изъ спальни. Какъ не послѣдній мечтатель, дѣдушка далъ этому событію такое значеніе: «Придетъ время, и вотъ онъ самъ явится въ домикъ съ маленькою, своею собственною птичкою». Впрочемъ, это было еще давно-давно, въ годы прошедшей юности. Черточешенскій уступъ видѣлъ дѣдушку и ребенкомъ, у котораго щеки походили на спѣлыя яблоки, а голова на репейникъ, и школяромъ, улетѣвшимъ изъ сосѣдняго городка на каникулы съ новоизобрѣтенными хлопьями и незатянувшимся синякомъ подлѣ глазомъ, и офицеромъ въ мундирѣ съ желтымъ воротникомъ, на который заглядывались сосѣднія хуторянки, владѣтельницы пары черныхъ бровей, полной груди, звонкаго дѣвическаго смѣха и нѣсколькихъ десятинъ зеленыхъ, грунтовыхъ садиновъ; не видѣлъ только родимый лѣсъ дѣдушки счастливымъ... Но что же это за дѣдушка? Каково его начало и происхожденіе? Исторія дѣдушки есть исторія его домика, и потому расскажемъ обстоятельно послѣднюю.

И, во-первыхъ, исторія древняя.

Съ давнихъ давнѣй и старинной старины, территория

теплинскаго лѣса принадлежала предкамъ дѣдушки. Зажиточные предки, считавшіе свои земли не клочками болотъ и озеръ, а десятками тысячъ десятинъ нетронутой плугомъ, пустынной нѣвы, по которой рыскала татарыя—жили въ высокомъ, просторномъ домѣ, срубленномъ изъ столѣтнихъ дубовъ. Двойной частоколъ окружалъ домъ; на столбѣ, среди двора, качался сторожевой колоколъ и звучалъ цѣпью привязанный къ столбу медвѣжонокъ. Старые дѣды жили весело, родились и умирали, не выѣзжая далѣе сосѣдняго цовѣтоваго городка. Въ темныя осеннія ночи, когда волки были за озеромъ, подъ проливнымъ дождемъ, у воротъ оставался путникъ, колоколъ звучалъ надъ озеромъ и селомъ съ низенькою церковью, раскинутымъ у подношвы холма, и рычалъ на цѣпи косматый сторожевой медвѣжонокъ. Столѣтній, слѣпой садовникъ, отыскивая дорогу палкой, съ фонаремъ, вводилъ путника въ просторный домъ. Тутъ было тепло и отрадно, среди развѣшанной и разставленной утвари. Хозяинъ, съ кубкомъ вина на серебряномъ блюдѣ, встрѣчалъ гости, а въ высокую, рѣзную дверь входила стройная панночка, въ парчевомъ платьѣ и съ корабликомъ на головѣ, панночка, у которой полный стагъ не перетягивался рюмочкой и густыя брови были, какъ на шнурочкѣ. Гость съ хозяиномъ заводилъ рѣчи объ иностранныхъ земляхъ и народахъ, о далекихъ штурмахъ и бояхъ. Говорилъ гость, и долго, по его отъѣздѣ, чудились панночкѣ и ея сѣдоусому отцу битвы и пожары, пышныя убранства и громы музыки, турниры и чужеземныя красавицы, и тихая, сладкая рѣчь гостя, котораго, наконецъ, догоняла, вдали отъ нихъ, въ чужомъ краю, вражья пуля. Тихо старѣлся и разрушался величественный дубовый замокъ предковъ. Иногда, во время домашнихъ праздниковъ и цировъ, при громогласныхъ «ура!» и выстрѣлахъ пушекъ, стоявшихъ у воротъ частокола, не малое количество штукатурки падало съ потолка на подносы, уставленные кубками, и стѣны дома многозначительно побрякивали на шумные заздравные тосты. Когда дѣдушка принялъ настѣдство и вышелъ въ отставку, родовое село его, за разныя забавы и увеселенія предковъ, неожиданно продали и перевели куда-то за рѣку. Не спасли дѣдушку ни желтый офицерскій воротникъ, ни дипломъ шляхетнаго корпуса, гдѣ онъ кончилъ свое воспитаніе. Дѣдушка скинулъ сюртукъ, сказалъ: «Ну, что же?

не взяла!» подумать, подумалъ — и сломалъ свой старый, большой домъ. Въ видахъ улучшенія печальныхъ обстоятельствъ, на первый разъ изъ обломковъ дома былъ выстроенъ овчарный загонъ, причемъ самъ владѣлецъ поселился подъ косогоромъ, въ орѣшникѣ, въ куренѣ старой пасѣки. Вслѣдствіе этого, всякъ, кто проѣзжалъ по лѣсу торною, обозною дорогою, не мало изумлялся при видѣ обширнаго овечьяго загона съ рѣзными окнами и — игольчатыми на углахъ уплывавшей крыши. Но въ одну безснѣжную зиму пали всѣ овцы дѣдушки, и планы на улучшеніе печальныхъ обстоятельствъ рушились. Дѣдушка скинулъ и щегольской хуторянской бешметъ, синій съ вышивками, какъ мундиръ у сотника, надѣлъ мерлушковый халатъ и изъ овчарнаго загона выстроилъ маленькій домикъ. Онъ выстроилъ его на пепелищѣ стараго дома, выстроилъ у подножія высокаго, развѣсистаго дуба, какъ подъ сѣнью мирнаго священнаго преданія. Этотъ дубъ выросъ изъ жолудя, посаженнаго передъ крыльцомъ стараго, большого дома въ тотъ самый достопамятный день, какъ дѣдушка дѣдушки впервые ввелъ въ него свою молодую, стройную жену и, по тогдашней польской модѣ, торжественно поцѣловалъ ее передъ толпою собравшейся челяди. Жолудь, черезъ много лѣтъ, превратился въ громадный зеленый дубъ, который на тридцать шаговъ протянулъ кругомъ свои тяжелыя, плодоносныя вѣтви, и подъ этими вѣтвями, какъ былинка у подножія одряхлѣвшаго, павшаго дерева, выросъ скромный преемникъ пространныхъ дѣдовскихъ палатъ, низенькій домикъ, съ двумя окошечками на озеро... Въ древней исторіи домика есть еще одинъ довольно замѣчательный эпизодъ: именно, происхожденіе воздушнаго моста къ домику, у подножія холма... Воздушный мостъ произошелъ такъ. Устроивши свое гнѣздо, дѣдушка пустился мечтать о присоединеніи новаго лица къ своему уголку, которое бы согрѣло и освѣтило его жизнь, — задумалъ жениться. Вслѣдствіе этого, онъ частенько сталъ переѣзжать узкую плотину, отдѣлявшую часть озера и болота отъ холма, и появляться въ тихихъ домикахъ сосѣднихъ хуторянъ. Сосѣдніе хуторяне также нерѣдко стали заворачивать къ обладателю Черточешенскаго уступа. Какъ вдругъ, въ одну дождливую весну, потоки съ ближнихъ мѣловыхъ пригорковъ хлынули на болото и перерѣзали, глубокою водомоиною, плотину подъ холмомъ. Дѣдушка очу-

тился въ засадѣ, отрѣзаннымъ отъ остальнаго міра. Однакоже онъ не потерялся и задумалъ выстроить черезъ провалье мостъ. Съ этою цѣлю онъ приказалъ единственному слугѣ и плотнику рубить по сосѣдству удобныя деревья. Удобнѣйшимъ оказался на первый случай высокій вязъ, росшій у самой водомоины, и плотникъ началъ съ него. Переправился черезъ оврагъ, привязалъ къ вершинѣ дерева веревку, къ веревкѣ коня и сталъ рубить дерево. Громадный вязъ затрепалъ, рухнулъ, но вмѣсто того, чтобы упасть на сторону, гдѣ стоялъ плотникъ, упалъ на другой край провалья и своею страшною силою перекинулъ черезъ провалье лошаденку. Дѣдушка въ это время сидѣлъ у озера, въ орѣшникѣ, колируя какую-то дикую щепу. Когда конь перелетѣлъ черезъ оврагъ, онъ медленно поправилъ на головѣ картузь съ утинымъ козырькомъ и замѣтилъ: «Какой это бѣсовъ сынъ тамъ лошадьми кидается?» А растерянный плотникъ, стоя на другой сторонѣ провалья, ударилъ объ полы руками и замѣтилъ: «Что бѣ было и воловъ привязаты!» — Это событіе далеко обошло словоохотливый окологъ. Вязъ сдѣлался съ той поры мостомъ, черезъ который весною, когда вода съ шумомъ бѣжитъ по дну оврага, посѣтители переходятъ безопасно, придерживаясь за суковатыя вѣтви, а дѣдушка, котораго посѣщать стало такъ же легко, какъ брать пристуномъ крѣпости, получилъ прозвище Черточешенскаго кулика, и это прозвище, при помощи дѣдушкинаго козырька и халата, навсегда за нимъ осталось...

Теперь средняя исторія дѣдушкинаго домика. Средняя исторія дѣдушкинаго домика обнимаетъ только одно важное событіе: именно—смерть той особы, которая долженствовала сдѣлаться его подругою, долженствовала согрѣть и освѣтить его жизнь. Это трогательное событіе излагается въ туземныхъ преданіяхъ съ малѣйшими подробностями. Дѣдушка посватался за дочку повѣтоваго комиссара, табуны котораго до сихъ поръ расхаживаютъ по окрестной степи. Гордый предстоящимъ счастьемъ и родствомъ, за нѣсколько дней до свадьбы, по старинному обычаю, поѣхалъ дѣдушка съ своею невѣстою на богомолье въ сосѣднюю златоверхую пустынь. Дорогою неописанное горе постигло его: простудившись подъ грозою, невѣста его заболѣла и умерла, въ виду златоверхой пустыни! Дѣдушка похоронилъ ее и вернулся домой одинъ, безъ своей молодой невѣсты, вернулся одинъ,

съ маленькою мѣстною иконою изъ монастыря. Толпа сосѣдей и родныхъ весело поджидала его возвращенія. Выйдя изъ брички, дѣдушка подошелъ къ будущему своему тестю, который, съ пѣнковою трубкою, стоялъ впереди всѣхъ, и, подавая ему икону, сказалъ: «Вотъ теперь моя невѣста!» — сказалъ и тихо пошелъ въ домикъ. И когда онъ опять вошелъ въ домикъ, когда старыя стѣны опять увидѣли его холостякомъ и сиротою, когда вспомнилъ дѣдушка овсянку, — голосъ его задрожалъ, точно оборванная струна, и онъ замѣтилъ: «Ну, что же? опять не взяла!» — сказалъ и сталъ довольно храбро утѣшать родныхъ. Безъ гостей, однакоже, онъ слегъ въ постель, раздались его глухія рыданія, и никогда уже, съ той поры, онъ не могъ найти прежней беззаботной мечты о счастьѣ и о супружествѣ. Дѣдушка сдержалъ слово и навѣки остался холостякомъ. Никогда болѣе не заводилъ онъ рѣчи о прошломъ, и одно только обстоятельство напоминало знающимъ его о невозвратной потерѣ. На погостѣ хутора, гдѣ опущена въ землю дорогая особа, дѣдушка взялъ на память нѣсколько отростковъ яблонь и посадилъ ихъ возлѣ своего домика. Яблони поднялись и разрослись и скоро верхушками своими стали заслонять отъ глазъ дѣдушкинъ домикъ такъ, что теперь его уже и не примѣтишь изъ-за ихъ зеленолистой стѣны! На чугунномъ же памятникѣ кладбища дѣдушка изобразилъ слѣдующую многозначительную надпись: «Покойся, моя бѣдная!» и внизу: «Боже! не отринь ее отъ лица Твоего!» — Тихо тосковалъ съ тѣхъ поръ дѣдушка. Бывало, чуть вечеръ, онъ уже сходитъ къ озеру, садится на берегу, на обломкѣ жернова, и закидываетъ въ озеро удочку. Онъ сидитъ и смотритъ въ свѣтлую воду, смотреть и дожидается, когда колыхнется поплавокъ. Вода недвижна, и небо, какъ раскаленная по краямъ яхонтовая чаша, опрокинулось надъ лѣсомъ. Что же это рыба такъ лѣниво ловится? Что же это она не играетъ и не плещется? Но вотъ стекло воды дрогнуло. Туманъ разстилается, и тѣни бѣгутъ и уходятъ на темное дно... Дѣдушка смотритъ: дѣдушкинъ образъ, какъ въ живомъ зеркалѣ, измѣняется, яснѣетъ; — темные волосы змѣются вокругъ лица, молодые глаза блещутъ жизнью, и смутный румянецъ сгоняетъ суровыя морщины... Дѣдушка уже не въ мерлушковомъ халатѣ, а въ военномъ сюртукѣ, молодецъ-молодцомъ и красавецъ-красавцемъ. А вотъ и еще какое-то лицо вы-

шло и колыхнется, и блещетъ перебѣгающею тѣнью!.. Что жъ съ тобою, добрый дѣдушка? Слезы текутъ и застилаютъ глаза твои, одинокое сердце сжимается тоской, ты вспомнилъ свѣтлое, старое время!

О, добрый дѣдушка! Не вернуть тебѣ свѣтлаго, старого времени, не вернуть тебѣ улетѣвшей молодости, не воскресить сокровенной страстишки твоего сердца. Спать твоя красавица въ могилѣ, спать въ бѣломъ платьѣ и въ полевыхъ цвѣтахъ, спать, — и пустынный вѣтеръ гуляетъ надъ ея могилою. Задумался дѣдушка и не видитъ, что рыбка давно уже дергаетъ поплавокъ, крутая волна расходится кругами, и удочка скользитъ изъ ослабѣвшихъ рукъ. — «Что это съ вами, баринъ?» — спрашиваетъ старика работникъ, тотъ самый, который построилъ воздушный мостъ. — «Э, врагъ бы забралъ ту канальскую рыбу!» — отвѣчаетъ суровымъ голосомъ старикъ, пряча взволнованное лицо свое: — всѣ удочки обрвала канальская рыба, а толку — ни на лысаго дѣда!»

Теперь, читатель, новѣйшая исторія дѣдушкинаго домика... Но что сказать объ этой новѣйшей исторіи? Что сказать о ней? — Сказать ли, какъ дѣдушка ежедневно встаетъ, выходитъ на ветхое, поросшее крапивою крыльцо и любитъ видомъ владѣнія, которое все, какъ на ладони, открывается съ холма. Сказать ли о томъ, какъ дѣдушка любитъ свое зелено-водное болото и сладко вѣрить въ его постоянство и красоту? И не говорите старику о другихъ событіяхъ; не говорите ему о счастья свѣта за чертою его лѣсного уголка! Не указывайте ему синѣющую полосу большой проѣзжей дороги, какъ горизонтъ иной жизни и иного міра, видной съ вершины косогора, — дороги, по которой несется пылъ бѣгуниихъ и пропадающихъ вдали экипажей, летятъ и затихаютъ звуки колокольчиковъ, и уносятся чуть слышныя пѣсни идущихъ съ поля слобожанъ, беззаботныя пѣсни, веселыя и радостныя пѣсни. Дѣдушка махнетъ рукою и горько усмѣхнется. Не нужно ему вашихъ дорогъ и экипажей, не нужно ему вашихъ колокольчиковъ и пѣсень. Есть у него другого рода пѣсни, есть у него свой неумолкаемый, причудливый оркестръ. Что за пѣсни, что за звуки!.. Чуть заря и день переклонился къ закату, — зеленое болото, пышное болото уже заводитъ строй своихъ разнообразныхъ инструментовъ. Въ высокому тростникъ то тамъ, то сямъ начи-

наютъ позвякивать въ разладъ, какъ смычки несмѣлыхъ еще школьниковъ. Имъ, робко и также въ разладъ, вторятъ колокольчики травниковъ и рога далекой утиной стаи, гдѣ-то пролетающей на ранній ночлегъ. Но вотъ, пронеслось черканье коростеля; волторна филина огласила холмы и перелѣски, кваканье миллионовъ лягушекъ встало и поднялось въ болотѣ, и окрестность потонула въ морѣ вечерней музыки, потонула до поры, когда ясная пѣсня одинокаго соловья-ночника раздастся, смѣнить все и воцарится до разсвѣта. Среди неумолкаемой музыки птицъ и лягушекъ, въ виду зеленого болота, дѣдушка создалъ еще особый міръ друзей. У него подъ-стать болоту былъ, напри-мѣръ, недавно фаворитъ-пѣтухъ. Иногда, рано поутру, дѣдушка, бывало, выйдетъ на крыльцо, переклонится черезъ заборъ садика противъ солнца, которое начинаетъ тихо вырѣзываться изъ-за лѣса, притягивая лучи къ бѣлой, махровой маковинѣ и осыпая ее пурпурными брызгами, а пѣтухъ то и дѣло кричить съ холма на озеро. Онъ кричитъ и прислушивается, кричитъ до того, что охрипнетъ и произведетъ такой странный звукъ, что самъ отшатнется въ сторону и долго высматриваетъ, наставивъ голову такъ, что одинъ глазъ его смотритъ въ землю, а другой на крышу домика, кто это такъ странно крикнулъ. — Дѣдушка на это тоже, бывало, слушаетъ-слушаетъ, и пойдетъ въ комнаты, тряся головою и повторяя:—«Эка, бѣсъ-птица, какъ кричитъ! Совсѣмъ, какъ будто, и не птица, и точно кричитъ что-нибудь другое!» — Этотъ пѣтухъ жилъ очень долго и пропалъ неожиданно безъ вѣсти; всѣ старанія въ поискахъ его остались безъ успѣха. У дѣдушки было появился тоже еще другой слуга, кромѣ упомянутаго выше плотника, какой-то бѣлокурый, хорошенькій мальчикъ изъ сосѣдняго села, который пришелъ однажды зимою и нанялся на годъ. Должность его состояла въ хожденіи за коровою и въ топкѣ печей. Но мальчикъ ужился не долго. Одна комната дѣдушки была съ низу до верху увѣшана портретами предковъ. Раскрашенные портреты предковъ стали тревожить маленькаго истопника. Едва разложить онъ огонь и сидеть у печки, едва поднять голову—три ряда фамильныхъ портретовъ, три ряда темныхъ лицъ уже и смотрятъ на него во всѣ глаза! Въ первый разъ отъ непреодолимаго ужаса истопникъ убѣжалъ и не появлялся цѣлыхъ два дня; но потомъ дога-

дался и раскаленною кочергою выжегъ глаза всѣмъ тѣнькамъ, дяденькамъ, бабушкамъ и дѣдушкамъ дѣдушки. Нечего говорить, съ какимъ тріумфомъ былъ изгнанъ новый истопникъ изъ домика дѣдушки. И вотъ, года бѣгутъ и замѣняются годами, дѣдушкинъ домикъ ветшаетъ и разрушается. Нѣтъ передъ его крыльцомъ сторожевого колокола, нѣтъ передъ нимъ медвѣженка на звучной цѣпи, и далекіе путники рѣдко заѣзжаютъ къ нему. Зато въ бурное невзгодье, когда осень разстилается надъ омертвѣлымъ лѣсомъ, когда въ воздухѣ бушуетъ холодная, пронзающая стужа и крупный дождь хлещетъ въ окна домика и сбѣгаетъ по вѣтвямъ столѣтняго дуба,—подъ крышу низенькаго домика собираются сосѣди и друзья дѣдушки... Всѣ тутъ собираются въ теплую, увѣшанную травами и безглазыми портретами, комнатку. Въ вечернемъ, подступающемъ сумракѣ не видно никого; всѣ молчатъ, будто заснули, и только голосъ рассказчика тихо раздается въ комнатѣ. Кто же рассказываетъ? Кому внимаетъ уютный кружокъ слушателей? — Рассказываетъ дѣдушка... «Жили-были старикъ да старуха, — рассказываетъ дѣдушка. — Вотъ и стала говорить старикъ старуха: пойди да и пойди въ лѣсъ по яблоки! — Пошелъ старикъ въ лѣсъ, набралъ яблокъ, а ночь надвинулась со всѣхъ сторонъ такая, что хотъ глазъ выколи, и заночевалъ старикъ въ лѣсу, заночевалъ въ хаткѣ старой лѣсничихи. Лежить старикъ на лавкѣ, лежитъ, а вѣтеръ такъ и воетъ, такъ и воетъ, и деревья бьются вѣтками надъ хаткой. Вотъ и слышитъ старикъ, кто-то подходитъ къ окну и ударилъ.

«А что? — спрашиваетъ лѣсничиха: — что скажешь?» — «Родилось на свѣтѣ столько-то новыхъ людей! — отвѣчаетъ голосъ за окошкомъ: — какова будетъ ихъ доля?» — Лѣсничиха подумала и весело отвѣтила: «Доля будетъ легкая и счастливая!» — Голосъ за окошкомъ затихъ, и опять завылъ по лѣсу вѣтеръ, и деревья опять забились вѣтками надъ хаткой. Не успѣлъ старикъ и глазъ сомкнуть, кто-то опять подходитъ къ окошку и ударилъ. — «Что скажешь?» — спрашиваетъ лѣсничиха. — «Родилось еще на свѣтѣ столько-то новыхъ людей! — отвѣчаетъ голосъ за окошкомъ: — какова будетъ ихъ доля?» — Лѣсничиха опять подумала, подумала и уже печально отвѣтила: — «Доля будетъ тяжкая и несчастная!» — Старикъ чѣмъ-свѣтъ схватился изъ хатки и вышелъ. — «Ну! — подумалъ онъ, — попалъ же я къ лѣсничихѣ, нечего

сказать! переночевать чуть не у самой судьбы въ гостяхъ». — Оглянулся: хатки уже нѣтъ, — вотъ точно ея и не было между деревьями, точно сквозь землю провалилась. Приходить домой, — и того удивительнѣе: около печи колыска, и двое близнецовъ лежатъ подлѣ жены! Ахнулъ старикъ и остановился на порогѣ...» — Да впрочемъ, можетъ быть, такая сказка ужъ страшная, что и рассказывать ее дальше не надо? — спрашиваетъ неожиданно дѣдушка, оглядывая насъ съ улыбкою...

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, дѣдушка! рассказывайте, рассказывайте! — лепечутъ голоса маленькихъ слушателей: — совсѣмъ, дѣдушка, и не страшно!

(А ужъ гдѣ не страшно? Просто, какъ говорится, насъ всѣхъ давно изъ-за плечей хватало, и въ темныхъ окнахъ мерещились косматыя лица).

— Ну, когда не страшно, такъ я буду говорить, — замѣчаетъ дѣдушка: — только вы, впрочемъ, и не бойтесь, дальше оно точно совсѣмъ уже и не страшно, и вы не смотрите на то, что пока оно можетъ быть и страшно! — Табакерка дѣдушки скрипитъ, и кружокъ слушателей стѣсняется къ столу ближе...

— Вотъ, — продолжаетъ дѣдушка: — прошло не мало лѣтъ, сыновья старика подросли и стали уже подмогою въ хозяйствѣ. Только повѣсилъ голову старикъ... Близнецъ постарше, что бы ни дѣлалъ, все дѣлалъ хорошо, и работа кнѣзю у него, какъ у цѣлой артели работниковъ. Но младшему ни что не удавалось. Куда бы ни кидался, за что бы онъ ни брался, — все шло комомъ и все валилось изъ рукъ; а работалъ и бился онъ изъ всѣхъ послѣднихъ силъ. — «Нѣтъ! — подумалъ старикъ, качая головою: — ты родился не вмѣстѣ съ братомъ, ты родился въ то время, какъ судьба назначала людямъ долю тяжку и несчастную!»

И рѣшился старикъ еще разъ попытать судьбу... Послалъ сыновей въ лѣсъ, а самъ положилъ на дорогѣ, на плотинѣ, мѣшокъ съ деньгами и прилегъ подлѣ въ кустахъ, думая, что хоть обманомъ, а найдетъ-таки младшій сынъ деньги, найдетъ и подумаетъ, что онъ самъ ихъ нашелъ и разбогатѣлъ потому, что развѣ уже одинъ слѣпой ихъ тутъ не найдетъ. — Вотъ, смотритъ старикъ, выходитъ, выходитъ изъ лѣсу точно младшій сынъ, выходитъ и идетъ къ плотинѣ, Только что же?.. Дошелъ бѣдняга почти къ самому мѣшку.

оглянулся посмотреть, идетъ ли старшій братъ изъ лѣсу, прилежъ на плотинѣ, прилежъ обождать старшаго брата—и заснулъ... Ну, а уже старшій братъ, разумеется, подоспѣлъ, наткнулся на мѣшокъ и поднялъ его.—Подождать старикъ, какъ ушли сыновья домой, всталъ и тогда только совсѣмъ понять, что доли своей уже никакъ не минуетъ, и что, чего бы только человекъ ни выгадывалъ, чего бы только онъ ни дѣлалъ а уже доли своей никакъ не минуетъ!..—Дѣдушка на минуту смолкаетъ, оглядываетъ слушателей пристальнымъ взоромъ, и снова скрипитъ табакерка дѣдушки, и снова льются его рассказы... Но вотъ, на дворѣ окончательно стемнѣло; слуга, сверстникъ дѣдушки, опять-таки тотъ самый, который построилъ мостъ, вносить свѣчу и бережно, дрожащею рукою, опускаетъ ее на столъ, въ кружокъ слушателей... И когда свѣча, потрескивая и лѣниво вспыхивая, разгорится наконецъ и медленно раздвинетъ по воздуху мерцающій кругъ своего свѣта, въ этотъ кругъ, одно за другимъ, выступаютъ изъ темноты лица гостей. Выступаетъ въ него и литово-бирюзовый носъ сосѣднаго винокура, и черные, черные усы юнкера, дѣдушкинаго крестника, и русая, подобранная подъ золотую булавку, коса дѣдушкиной внучки, склоненной надъ гаруснымъ вязаньемъ, и огромный, въ видѣ малахитовой печати, глазъ сосѣднаго овцеведа, страстнаго охотника послушать и не менѣе страстнаго охотника потомъ рассказать о слышанномъ, и нѣсколько чепцовъ, и нѣсколько вытянутыхъ, при разсказахъ дѣдушки, маленькихъ личекъ. Тутъ же рядомъ, захваченное полосой свѣта, выясняется и молодое, обрамленное бѣлогурою бородою, лицо священника; онъ сидитъ въ коричневой рясѣ, опоясанный резовымъ, вышитымъ поясомъ, и на пальцѣ опущенной вдоль кресла руки его блеститъ золотое кольцо. И ничѣмъ, вплоть до ужина, не нарушаются разсказы дѣдушки. Развѣ неожиданно погаснетъ, среди страшнаго повѣствованія, догорѣвшая свѣчка, и пораженные слушатели, послѣ мгновеннаго остолебнѣнія, громко расхохочутся, да упадутъ съ потолка на столъ сѣмьяки и чирикнетъ проснувшаяся въ клѣткѣ птичка, которой блескъ свѣчи покажется свѣтомъ загорающагося утра. Исторія дѣдушки незадолго передъ этимъ кончилась. Дѣдушка умеръ...

Случилось это очень просто.—За какой-то долгишко клочекъ земли, занимаемой болотомъ, былъ проданъ. Дѣдушка

не унывалъ. «Ну,—думалъ онъ себѣ,—хоть болото теперь и не мое, а все-таки его отсюда видно, и оно точно какъ будто мое болото!»—Дѣло, однакоже, вышло иначе. Новый владѣлецъ купленной земли, какой-то франтъ и мечтатель, напустилъ на болото кучу землероевъ и механиковъ, очистилъ его, осушилъ, вспахалъ и засѣялъ какою-то новоизобрѣтенною нѣмецкою травкою, которую зовутъ травкою-фуфаркою. Травка-фуфарка принялась, а между тѣмъ, болото, въ пространство и красоту котораго дѣдушка слѣпо вѣрилъ, исчезло, и вслѣдъ за нимъ исчезло и озеро, вытекавшее изъ болота. Дѣдушка было попрежнему сталъ храбриться и произнесъ: «Ну, что же? опять-таки не взяла!»—но рѣшительно не перенесъ своей потери. Точно что оборвалось у его сердца! Иногда еще, правда, онъ забывался и выходилъ попрежнему на крыльцо, съ намѣреніемъ взглянуть на водяное зеркало; въ рамѣ камышей разстилавшееся у холма, выходилъ послушать музыку, музыку птицъ и лягушекъ, наполнявшихъ цвѣтущее, зеленое болото... Но онъ тутъ же останавливался и закрывалъ лицо руками; не было болѣе ни воднаго зеркала, ни камышей, ни чудной музыки природы! Тихо тосковалъ и угасалъ дѣдушка, слушая, какъ порою залетный филинъ садился на крышу ветхаго домика и стоналъ, вѣщая смерть. Ворчалъ старикъ и нѣсколько разъ порывался убить изъ ружья докучливую птицу. Но, наконецъ, махнулъ рукою, и филинъ спокойно допѣлъ свою унылую пѣсню, когда дѣдушка, прислушиваясь къ дремотливому лепетанію листковъ своихъ подросшихъ яблонь, тихо покинулъ землю... Въ околоткѣ разнесся недавно слухъ, будто черезъ теплинскій лѣсъ пройдетъ, предназначаемая изъ слобожанскихъ степей къ южному морю, желѣзная дорога. Если это справедливо, то тамъ, гдѣ еще недавно былъ маленький лѣсной домикъ и жилъ дѣдушка, лягутъ желѣзныя, длинныя нити, и огненный паровозъ, гремя и устилая небо дымомъ, полетитъ быстрѣе мысли, полетитъ, неся добро и пользу, и, устлавъ свой путь городами, игольчатыми станціями, садами, мостами, длинными трубами грохочущихъ фабрикъ и сверкающими домами новыхъ селъ, сотретъ тяжельми слѣдами своими послѣднія воспоминанія о бѣдномъ добромъ старикѣ...

IV. ХУТОРЯНКА.

Цареборисово, сотенный городокъ старинной слобожанщины, основанъ выходцами изъ черкасовъ, какъ называли въ былыя времена воинственное племя приднѣпровскихъ островитянъ, живописную и шумную вольницу, огненную рѣкой прошедшихъ по равнинѣ степей запорожцевъ. Этотъ городокъ построенъ при царѣ, давшемъ ему свое живописное въ исторіи вѣка имя, и нѣкогда ознаменовался рядомъ мужественныхъ стычекъ съ татарами, жаловавшими на плодородныя прибрежья Донца. Теперь этотъ городокъ — небольшая вольная слободка, подобно сосѣдямъ своимъ, Салтаву, Балакисѣ, Лиману и Славянцамъ, пережившая блестящую эпоху подвиговъ, во имя родного царя, на родинѣ своихъ полковъ и полковниковъ. Старинная деревянная церковь съ почернѣвшею колокольней, ряды бѣлыхъ мазанокъ, фруктовые садики, тыквы, вьющіяся по заборамъ, съ кружевными лентами дикой миранды, звуки запоздалыхъ на пастбищѣ стадъ, крикъ филина на старомъ зданіи сельскаго правленія, и подъ-вечеръ пѣсня чернобровой дивчины, — вотъ все, что осталось отъ сотеннаго городка. Зато окрестности Цареборисова представляютъ прекрасныя виды. Донецъ, съ нагорной или крымской стороны, усыпанный мѣловыми, сталеобразными утесами, дикими и обнаженными, какъ причудливая развалина древнихъ замковъ, рѣзко отбѣиваетъ свой лѣвый, низменный луговой берегъ, далеко убѣгающій отъ праваго, съ своими вѣсковыми, дубовыми лѣсами, свѣтлыми озерами, болотами, полными дичи, и длинною вереницею селъ, пашенъ, винницъ и водъ.

ныхъ мельницъ, съ грохотомъ вращающихъ свои тяжелые маховики. По этому-то лѣвому берегу, часовъ около двухъ пополудни, пробиралась однажды высокая, пузатая хуторянская бричка, направляясь къ Цареборисовскому перевозу. Недалеко отъ Поплеванковской пустыни, лѣвѣя по окраинѣ лѣсистаго берега, бричка ѣхала-ѣхала, кудахта-кудахта на толчкахъ кочковатаго проселка и вдругъ, совершенно неожиданно, рассыпалась... Кучеръ съ козлами отъѣхалъ впередъ, а сидѣвшій въ бричкѣ господинъ остался съ кузовомъ среди дороги, какъ утлая раковина, выкинутая на берегъ волною. Вышедъ изъ брички, проѣзжій сталъ ходить около кузова, смотрѣлъ-смотрѣлъ и рѣшилъ, что лучше всего оставить бричку въ покоѣ...

— Странная вещь!—замѣтилъ кучеръ, стоя съ заложенными руками около козелъ:—и отчего это она рассыпалась?

— Ничего страннаго нѣтъ, — замѣтилъ съ досадою проѣзжій:—бричка, кажется, была вовсе ненадежная.

Проѣзжій, молодой, бѣлокурый панычъ, въ клѣтчатой фуражкѣ, съ обнаженной шеей и румяными щеками, говорилъ о ненадежности брички напрасно, потому что прежде, нежели сѣсть въ эту бричку, онъ совершилъ надъ нею обычный въ отношеніи всѣхъ хуторянскихъ бричекъ маневръ. Именно, когда на ближней станціи онъ послалъ о себѣ вѣсть старому знакомому пану, и старый знакомый панъ, проживавшій по близости, послалъ эту бричку и приглашеніе заѣхать къ нему,—панычъ взялъ бричку за колесо и за дышло и покачнулъ ее нѣсколько разъ. Бричка издала нѣсколько протяжныхъ звуковъ, точно у нея былъ скрытый музыкальный механизмъ, но оказалась благонадежною. Благонадежною она оказывалась постоянно, и у самого пана, который съ утра до ночи разъѣзжалъ въ ней, гонимый множествомъ хозяйственныхъ и коммерческихъ предпріятій. И въ самомъ дѣлѣ, сегодня подвижной панокъ появлялся въ бричкѣ въ Юшковыхъ буеракахъ, а завтра уже его видѣли въ Елабановкѣ; сегодня онъ занималъ деньги за десять процентовъ въ Пѣвунихѣ, а завтра отдавалъ тѣ же деньги, за три процента, въ Засорихѣ,—и отъ его собственнаго хутора, вплоть до Поплеванковской пустыни, панка всѣ знали и уважали. Въ бричкѣ этой онъ и спалъ, и одѣвался, и брился, и въ карты отъ скуки самъ съ собой игралъ,—и вдругъ эта бричка совершенно неожиданно развалилась! Кучеръ первый вы-

шелъ изъ остоленія. Предложивъ паньчу подъ-вѣрхъ коренного, онъ осѣдлалъ этого коренного армякомъ и объявилъ, что до хутора пана осталось всего семь верстъ и что паньчѣ туда доѣдетъ за-свѣтло, а ему надо остаться сторожить панскую бричку. Нечего дѣлать! Согласился паньчѣ и поѣхалъ. Но не миновалъ паньчѣ и двухъ верстъ, какъ конь остановился и рѣшительно отказался идти дальше. Чего не дѣлалъ паньчѣ, и шпорилъ его, и стегалъ хворостиною, и поощрялъ словами, ничто не помогало! Сидѣлъ-сидѣлъ паньчѣ на косматой лошаденкѣ и рѣшилъ слѣзть. Держась за уздечку, онъ слѣзъ на травѣ и сталъ поджидать, пока коварный звѣрь образумится. Но солнце переклонилось уже на западъ, вѣздухъ остылъ, тѣни отъ кустовъ и деревьевъ вытянулись далеко-далеко, а коварный звѣрь и не думалъ образумливаться. Вотъ изъ ближней, скрытой за холмами, слободки полетѣли мѣрные и громкіе звуки вечерняго благовѣста. Вечеръ близился. Что тутъ было дѣлать? Паньчѣ подумалъ и рѣшился еще попытать судьбы. Вспрыгнулъ снова на коня и далъ ему шпоры. Но каково же было изумленіе паньча, когда, опустивъ глаза, онъ увидѣлъ, что уздечка на конѣ развязалась и, во время его прыжка, свалилась на траву. Паньчѣ обомлѣлъ и ухватился за гриву. Конь замахалъ хвостомъ, подпрыгнулъ раза два и, забирая карьеру, понесся во весь духъ. Ничто не помогало, — ни пинки, ни угрозы! Паньчѣ болтался почти на шеѣ коня и въ ужасѣ видѣлъ, какъ мелькали мимо него кусты и деревья. Ничто не помогало! И вотъ, видѣтъ паньчѣ, конь летитъ уже не прямо, а влѣво, по дорожкѣ на село, гдѣ проживала знакомая ему пани, зазорная и суровая пани, съ цѣлою кучей сыновъ и дочекъ. Что за сцена ожидала его, что за сцена! Вотъ, конь вбѣгаетъ на широкій дворъ, индѣйки кавкаютъ и пѣтухи кричатъ, все это прѣвѣтствуетъ его, дѣти съ шумомъ окружаютъ коня и кричатъ: «А отчего это, дядя, ты держишься за гриву, и картузь у тебя, дядя, слѣхалъ на затылокъ?»

И всѣ окна домика разомъ открываются, и во всѣхъ окнахъ домика разомъ появляются насмѣшливыя лица барышень. О, ужасъ! ужасъ! Спасите, спасите его! И спасеніе приходитъ, — приходитъ совершенно неожиданно. Не успѣлъ паньчѣ и опомниться, какъ злобный звѣрь, летя черезъ поляну ржи, слѣлалъ какой-то особенно отчаянный скачокъ, и паньчѣ

стремглавъ полетѣлъ въ колосья ржи. Оправившись отъ паденія, панычъ взглянулъ вдаль дороги: конь легѣлъ по отдаленному кособогу, преслѣдуемый стаей пастушьихъ собакъ, и вѣтеръ игралъ его хвостомъ и гривой. «Ну, теперь ужъ сосѣди пусть не прогнѣваются! — сказалъ панычъ, отирая землю съ копытъ и рукавовъ: — а я, должно быть, ужъ не попаду къ нему, теперь!» Сказалъ это панычъ и сѣлъ отдохнуть на курганѣ. Вдали, спускаясь къ лѣсистой балкѣ, раздался скрипъ колесъ, и тяжелый слобожанскій возъ показался на дорогѣ.

— Гдѣ тутъ проѣхать на Цареборисово, на Поплеванковскую пустынь? — спросилъ панычъ, сидя на курганѣ, когда возъ съ широкоплечимъ батракомъ поравнялся съ нимъ.

— Не скажу! — замѣтилъ батракъ, лежа на животѣ на кучѣ мѣшковъ.

— Какъ не скажешь? Я тебя спрашиваю, какъ тутъ проѣхать на Цареборисово?

— Не скажу! — снова замѣтилъ батракъ... Панычъ смѣрилъ его глазами.

— Отчего же ты не скажешь? — спросилъ онъ съ неудовольствіемъ.

— Не скажу! — замѣтилъ, зѣвая, батракъ и, не измѣняя своего положенія, отѣхалъ далѣе.

Не долго ждалъ опять панычъ. Вдали, подъ осиновымъ лѣскомъ, поднялось облако пыли, и къ кургану подѣхалъ новенькій тарантасикъ, запряженный четвернею бурыхъ въ мылѣ коней. Изъ тарантасика выглянулъ господинъ пожилыхъ лѣтъ, какъ говорится, узнавшій-таки на своемъ вѣку, что такое порохъ и что такое бури, въ голубой венгерскій, алой ермолкѣ и съ витою трубкою въ зубахъ.

— Съ кѣмъ я имѣю честь говорить? — спросилъ господинъ, кланаясь изъ тарантасика, когда кучеръ сдержалъ лошадей противъ кургана.

Панычъ также приподнялъ картузь и отвѣтилъ: «Владиміръ Авдѣичъ Торба!»

— Не знаю! — замѣтилъ господинъ изъ тарантасика и сталъ набивать трубку. Затянувшись и пустивъ облака дыму, онъ снова обратился къ панычу:

— А вы не курите?

— Нѣтъ.

— Напрасно! это очень хорошо и здорово въ дорогѣ!

— Позвольте узнать,—спросилъ панычъ въ свой чередъ:— гдѣ тутъ проѣхать на Цареборисово?

— А развѣ вы туда ѣдете?—спросилъ проѣзжій, раскуривая трубку и намагывая завязку на кисеть.

— Туда...

— Вѣрно покупать что-нибудь?

— Нѣтъ, въ гости къ одному помѣщику.

— А кто тамъ такой живетъ?

— Одинъ знакомый помѣщикъ, около Поплеванковской пустоши.

— Старикъ помѣщикъ?—спросилъ, усаживаясь въ тарантасикъ, проѣзжій.

— Нѣтъ, не старикъ, а такъ—будетъ среднихъ лѣтъ.

— Жаль... Вы меня простите, только я не знаю этого помѣщика; а если хотите заѣхать къ Тавифѣ Павловнѣ, къ Перепелкиной—Тавифѣ Павловнѣ, такъ она тутъ недалеко и живетъ, и я укажу дорогу.

Панычъ отказался отъ удовольствія заѣхать къ Перепелкиной Тавифѣ Павловнѣ, и тарантасикъ, тронувшись съ мѣста, закурилъ снова пылью и скрылся изъ виду.

— «Этакой народъ,—замѣтилъ панычъ:—спрашиваешь грабли, а онъ тебѣ тычетъ куму!—и прибавилъ печально:—вѣдь этакъ, пожалуй, и заночуешь въ полѣ!» Подумавъ это панычъ и хотѣлъ идти, какъ изъ золотоусой, головатой пшеницы поднялся передъ нимъ, очевидно спавшій до того времени, незнакомецъ, въ отставномъ полувоенномъ сюртукѣ, низенькій, круглый и вообще похожій на боченокъ на двухъ наперсткахъ, господинъ съ такимъ веселымъ и добрымъ лицомъ, съ такими сладкими, заплывшими глазками и мѣдно-цвѣтнымъ носомъ, что когда, ставши передъ панычемъ, онъ произнесъ: «Желаю здравствовать!»—панычъ пожелалъ ему того же и, почувствовавъ къ нему сразу влеченіе, спросилъ, кого онъ имѣетъ счастье видѣть въ такой пустынѣ.

— Ну, душка,—отвѣтилъ, переваливаясь, боченокъ:—тутъ еще нѣтъ большого счастья—видѣть меня въ пустынѣ! А скажу вамъ прямо, что я—отставной брантмейстеръ Кирикъ Андреичъ Дуля... Произнеся послѣднія слова, шутникъ-боченокъ улыбнулся и сдѣлалъ рукою то, что сказалъ. Панычъ не могъ также не улыбнуться и еще болѣе почувствовалъ къ нему влеченія.

— Что же вы смотрите?—спросилъ кубарь:—кругловать?

А это, душенька, очень хорошо на старости; я же надѣюсь, что вы не откажете завернуть ко мнѣ на хуторъ и выпить рюмочку.—Панычъ сказалъ, что рюмочку онъ рѣдко пьетъ, но зайти на хуторъ зайдетъ, потому что страшно усталъ.

— Петръ Петровичъ?—спросилъ дорогою брантмейстеръ.

— Владиміръ Авдѣичъ!—отвѣтилъ панычъ.

— Очень радъ, Владиміръ Авдѣичъ, — замѣтилъ кубарь, переваливаясь:—очень радъ познакомиться съ такимъ пріятнымъ человѣкомъ! — и прибавилъ: — А не былъ ли у васъ дяденька или дѣденька въ пожарной командѣ въ Харьковѣ?

Панычъ отвѣтилъ, что ни дяденьки, ни дѣденьки у него не было въ пожарной командѣ въ Харьковѣ, а былъ одинъ сосѣдъ, еще кривой на лѣвый глазъ, если онъ помнитъ такого сосѣда.

— Хухра!.. Хухра! — подхватилъ толстякъ и покатился со смѣху, производя его тоненькимъ, дребезжащимъ голосомъ:—мы его однажды еще высѣкли на именинахъ.—И кубарь хохоталъ до тѣхъ поръ, пока съ гостемъ втащился на небольшой лѣсистый пригорокъ.

— А гдѣ же вашъ хуторокъ?—спросилъ панычъ.

— Да вотъ онъ, его отсюда только не видно, а его можно просто рукою отсюда достать,—отвѣтилъ Дуля.

— А какъ называется вашъ хуторокъ?

— Кухня!

— Отчего кухня?

— А вотъ, видите ли, отчего кухня,—произнесъ, лукаво улыбаясь, толстякъ: — проживалъ я, скажу вамъ, у одного богатаго помѣщика-магната на полную губу-съ и строилъ ему кухню,—съ разными удобствами и крытыми ходами, и духовыми печами, и всякими затѣями строилъ; ну, и попользовался, знаете (кубарь при этомъ потупился), потому что и при постройкѣ кухни можно такъ повести дѣло, что легко и даже очень выгодно попользоваться; ну, я такимъ образомъ и приобрѣлъ потомъ хуторокъ и назвалъ его въ воспоминаніе кухнею. И вотъ вамъ — и кухня моя! — произнесъ толстякъ, останавливаясь на пригоркѣ и указывая рукою на хуторокъ... Хуторокъ предсталъ глазамъ озадаченнаго паныча. «Вотъ,—подумалъ Торба, разглядывая выступившій хуторокъ: —этотъ господинъ, кажется, совсѣмъ не церемонится!» И точно, онъ впослѣдствіи убѣдился, что Дуля совсѣмъ не церемонится. Хуторокъ выглянулъ изъ-за двухъ

мельницъ, которыя взбрасывали на воздухъ крылья, точно кого-нибудь звали и тщетно размахивали руками. Дуля и Торба стали спускаться съ пригорка къ хуторянскому маленькому домику, и панычъ невольно останавливался при видѣ этого тихаго, маленькаго домика. Домикъ брантмейстера, съ камышевою крышею, подъ сѣнію столѣтнихъ раkitъ и буковъ, напоминалъ собою гнѣздо малиновки, въ расщелинѣ дупла громаднаго дерева, между колеблемыхъ вѣтромъ, стрѣльчатыхъ травъ и широкихъ порослей: тоненькія вѣточки маленькаго гнѣздышка переплетены жилками корней, внутренность его чисто - начисто выглажена и устлана пухомъ, и лучъ солнца, пробиваясь сквозь листья травъ и лопуховъ, нависшихъ надъ гнѣздомъ, колеблеть въ своей полосѣ золотыя блестящія мошки и цвѣточной пыли, колеблеть и обливаетъ золотомъ пару маленькихъ пестрыхъ яичекъ гнѣздышка. Таковъ былъ хуторянской домикъ. — Дуля и панычъ вступили во дворъ. — «Я уже пообедалъ и выспался, — замѣтилъ хозяинъ: — а дворня моя еще и до сихъ поръ спитъ!» Это, впрочемъ, Дуля говорилъ напрасно: гость и безъ его словъ это уже зналъ. Изъ крапивы подъ погребомъ, чрезъ весь дворъ неслись присвистыванія въ ность, сѣнникъ оглашался рѣзкимъ басомъ; изъ каретнаго сарая летѣлъ дребезжащій храпъ, и повидимому храпъ не въ одинъ голосъ, а въ два, точно два человека условились и исполняли вмѣстѣ дуо. — «Ну, теперь мы отдохнемъ, закусимъ и освѣжимся наливочкой!» — сказалъ хозяинъ, ступая черезъ порогъ домика въ сѣни, усыпанныя зеленою травою. Новые знакомцы, распорядившись закускою, отправились въ садъ, подъ кудрявую, столѣтнюю грушу и улеглись среди пироговъ и бутылокъ съ наливками, на ковригѣ, передъ панорамною степей, луговъ и извивовъ Донца.

Панычъ сталъ излагать хозяину исторію своего приключенія съ бричкой. — Но скажемъ прежде, кто такой былъ хозяинъ и кто такой былъ его гость. — Хозяинъ, какъ уже извѣстно, отставной брантмейстеръ Дуля, нѣкогда построившій очень выгодно у одного помѣщика кухню, былъ изъ породы степняковъ, — нѣсколько скупыхъ и въ то же время падкихъ на сластолюбіе, упрямыхъ и неподвижныхъ, лѣнивыхъ и въ то же время готовыхъ ежеминутно хохотать и веселиться, лѣнивыхъ до-нельзя и готовыхъ въ то же время надуть всякаго встрѣчнаго и поперечнаго, — и считался въ

околоткѣ умнѣйшимъ и добрѣйшимъ человѣкомъ. Пухленькія ручки его не сходились на животѣ, а широкій затылокъ и гусиные, чуть видныя глазки изобличали особу, для которой покой былъ дороже всякой золотой сумятицы. Еще въ отрочествѣ, когда въ приходской школѣ рыжій дыякъ сбѣкъ его безъ милосердія каждую субботу, и ходилъ онъ съ толпою школяровъ пѣть пѣсни пищунровъ и собирать подъ окнами пироги и колбасы, онъ рѣшилъ, что возиться со службою, требующею движенія и трудовъ — то же, что изъ топора борщъ варить, пріискалъ гдѣ-то, въ далекой крѣпости за Кубанью, мѣстечко эконома и сталъ поживать припѣваючи. Молодость иногда брала свое, и однажды расчетливый кулакъ-тихоня, какъ его звали товарищи, чуть не женился. Случилось это бурное событіе въ жизни Дули такъ. Жилъ онъ, какъ сказано, въ закубанской крѣпости экономомъ, и жилъ въ ней безъ малаго восемь лѣтъ. А въ крѣпости не было ни одной женщины, обыватели сами и рубахи мыли, и карпетки штопали, и доили коровъ. Новый Робинзонъ Крузе въ военные, тревожные дни еще не замѣчалъ своего одиночества; но въ мирное время сердце искало сердца, молодость стремилась къ молодости, и приходилось новому Робинзону Крузе такъ жутко, что хоть въ воду! Ходить, бывало, по крѣпостному валу, голова въ туманѣ, глаза въ туманѣ, вернется домой, возьметъ письмо, которое за часъ передъ тѣмъ написалъ къ сослуживцу за горы, и остолбенеетъ: точно не онъ писалъ, ничего не помнитъ! Бывало, тоже, сидитъ у окна и смотритъ: вотъ, подходитъ вахмистръ. — «Смотри, — говоритъ, — комендантскій, и васъ велѣно тоже звать!» Одѣвается Дуля наскоро, шпаженку пристегиваетъ къ боку, бѣжитъ на площадь, а жара такая, что подошвы горятъ. Что-жь? на площади — ни души. Онъ къ вахмистру: «Ты звалъ меня?» — Нѣтъ, — говоритъ, — и не думалъ; это вѣрно вамъ представилось такъ! — И сталъ Дуля такіа чудеса отпускать, что начальство только плечами пожимало; подумало начальство и намекнуло стороною, что не мѣшало бы Дулю другого гдѣ мѣста пріискать! Закручинился Дуля еще пуще прежняго. Сидитъ однажды, по своему обычаю, подъ окномъ, такой скучный, и трубку курить; входитъ поручикъ и рекомендуетъ ему молодого раненаго корнетика, только что прибывшаго изъ Анапы. «Вотъ, — говоритъ, — къ вамъ присланъ на постой!» Поселился корнетикъ у Дули, и сталъ

новые знакомцы жить, да поживать. Корнетикъ оказался музыкантомъ и Дулю выучилъ тоже на скрипкѣ играть. И такъ они жили долго, пока постоялецъ не проговорился, что въ Анапѣ съ одною дамою былъ знакомъ, что дама эта тоже музыкантша, и сталъ корнетикъ говорить, что милая дама и такая-то, и этакая, и густоволосая, и полновидная, и ручки пухленькія, и губы алыя, и что богата она и недавно овдовѣла. Раззадорился Дуля, кровь въ одиночествѣ закипѣла. «Напишите, да и напишите,—говорить,—обо мнѣ къ этой дамѣ!» Корнетикъ расхохотался. «Какое у васъ смѣшное лицо,—говорить,—стало! а впрочемъ,—говорить,—извольте, напишу!» Сказалъ и написалъ. — Дама изъ Анапы, черезъ мѣсяцъ, и отвѣтъ прислала: «Я, молъ, говорить, тоже не прочь и очень рада!» — Кирикъ Андреичъ какъ прочелъ письмо, сталъ бѣлѣ мѣлу, ходилъ-ходилъ по комнатѣ, тайно выхлопоталъ у коменданта отпускъ, осѣдлалъ костляваго обознаго драбанта, взялъ у солдата пику и ружье, взялъ у кого-то старенькій чемоданчикъ и поѣхалъ, въ видѣ Донъ-Кихота, какъ самъ послѣ рассказывалъ, прямо въ Анапу. Приѣзжаетъ, отыскалъ домъ вдовы, домъ ветхенькій, старенькій, съ обвалившеюся трубою, и дѣвка на крыльцѣ бѣлье мыла; велѣлъ доложить, что такой-то, извѣстный уже Дуля приѣхалъ. Черезъ полчаса зовутъ въ гостиную. Выходитъ дамочка, въ видѣ свѣжепросольнаго огурчика, полненькая и точно съ алыми губками. Дуля къ ручкѣ, а она его въ щеку поцѣловала и проситъ садиться. Вотъ, слово за слово, онъ объясненіе, та говоритъ: «Что-же, хорошо, только родныхъ надо повѣстить!» И дѣло пошло сразу на ладъ. Дуля фертикомъ подѣхалъ насчетъ красоты, вечеромъ пуншику съ ромомъ попросилъ, за пуншикомъ попросилъ настоечки и селедочки—и пошелъ куролесить. «Ахъ, душечка,—говорить,—позвольте уже и въ губки поцѣловать!» Такимъ образомъ дня три онъ куролесилъ-куролесилъ, къ невѣстѣ ужъ и на домъ переѣхалъ, и въ халатѣ сталъ ходить, да вдругъ и одумался. «Эге-ге!—говорить—шалишь, за двѣ-то мельницы, да за домъ старенькій, нечего губить себя!» Подумалъ-подумалъ, выбралъ опять темную ночь, сѣлъ на своего драбанта, взялъ пику и чемоданчикъ, да и поѣхалъ опять въ видѣ Донъ-Кихота, тайно отъ вдовы, въ крѣпость. И такъ онъ и избавился,—сколько потомъ вдова ни писала къ нему, даже въ стихахъ, и даже уже тогда, какъ Кирикъ

Андрейч женился на Улитѣ Романовнѣ, дочери помѣщика, по сосѣдству Харькова. Женился же онъ на Улитѣ Романовнѣ, теперь уже покойницѣ, тоже любопытнымъ образомъ. Пустилъ тестю пылъ въ глаза тѣмъ, что у него гдѣ-то есть богатая тетка, тетка Марфа Николаевна Иванова, пріѣхалъ свататься въ чужомъ новомъ мундирѣ, на чужой тройкѣ и даже съ чужимъ лакеемъ. Обманъ открылся на другой же день послѣ свадьбы, когда лакей пришелъ къ нему и потребовалъ назадъ барское имущество; но Дуля уже былъ женатъ и торжествовалъ. Съ той поры, до ловкаго пріобрѣтенія Кухни, у брантмейстера постоянно былъ и сытный обѣдъ, и чистая рубашечка, и теплая шинелька, и на зиму теплые на волкѣ сапожки, и хотя плохенькая, а все-таки была и таратаечка съ четвернею приземистыхъ лошадокъ. Пріобрѣтеніе Кухни положило полное окончаніе еще недавнему странствію желудка и чемодана Дули по знакомымъ, и онъ предался любимому постоянному занятію своему, именно — лежанію въ полѣ, въ пшеницѣ, или въ саду, на коврикѣ, подъ грушей; и сталъ попивать Дуля наливочки да водяночки, которыя не переводились въ его погребахъ, и такъ было весело ему, что и сказать нельзя! Таковъ былъ толстенѣйшій обладатель хутора Кухни. — Теперь его гость...

Гость обладателя хутора Кухни, Владимірѣ Авдѣичѣ Торба, былъ сынъ зажиточнаго слобожанскаго помѣщика, за годъ передъ тѣмъ отошедшаго къ дѣдамъ отъ неумѣреннаго употребленія маринованныхъ въ уксусѣ перепеловъ. Сынъ былъ вызванъ изъ городка, гдѣ служилъ по желанію отца писцомъ въ судѣ, писалъ и отписывался, ѣздилъ въ городъ, ѣздилъ изъ города, возилъ гостинцы Петру Семенычу, возилъ гостинцы Семену Петровичу и былъ, наконецъ, введенъ во владѣніе нѣсколькими стами душъ и нѣсколькими тысячами десятинъ земли. Родныхъ у молодого Торбы почти не было, и потому, внявъ совѣту одного изъ сосѣдей, франта и нѣкогда столичнаго жителя, онъ собралъ, что успѣлъ, денегъ и рѣшился ѣхать въ Петербургъ на службу. Деревни своей, родимой деревни Упоиловки, онъ почти не зналъ, деревенская скука въ нѣсколько мѣсяцевъ успѣла овладѣть имъ, и, недолго думая, промѣнялъ ее Торба на зовущую, далекую, чудную даль. И какъ было не ѣхать Торбѣ изъ степей въ столицу! Денегъ теперь предстояло ему вдоволь, сосѣди и сосѣдки наперерывъ завидовали ему и говорили: «Ахъ, Вла-

димиръ Авдѣичъ! Вотъ теперь-то вы поѣдете въ Петербургъ! Вотъ теперь-то вы заживете!» А пальцы уже успѣли забрызгаться чернилами въ маленькомъ уѣздномъ городкѣ. Да и друга не припасъ себѣ Торба въ родимой школѣ, молодого сосѣда-друга съ тройкою чертей, а не коней, съ тройкою въ наметахъ и бубенахъ; друга разбитного, съ длиннымъ черешневымъ чубкомъ и хоромъ домашнихъ пѣсѣнниковъ; друга, который бы его подмигнулъ на какую-нибудь чернобровую Катрю или русокосую Мотрю, угостилъ бы его травлею съ ауканьемъ и попойкою подъ курганомъ въ сѣренькую осень и сказалъ бы: «Эхъ, душа моя, Володя, оставайся, душа, въ Упоиловкѣ, и доживемъ мы съ тобой весело до сѣдыхъ волосъ и до веселой тихой старости!» Не припасъ себѣ такого друга въ школѣ Торба, потому что не могъ припасти въ школѣ никакого друга. Въ школѣ Володю занимали другіе интересы и другія цѣли. Былъ въ школѣ мальчикъ Володя лучшимъ изъ всѣхъ лучшихъ мальчиковъ и по поведенію, и по ученію. Не зналъ въ школѣ хорошенькій мальчикъ Володя ни рѣзвыхъ игръ, ни затѣй, ни трескучей перепалки на морозѣ мячами и кулаками, ни келейнаго куренія трубки въ печку, ни невыучиванія всѣмъ классомъ уроковъ изъ скучной математики. Вышелъ Торба изъ школы съ похвальнымъ листомъ, вышелъ первымъ и заслужилъ отъ старика-отца, носившаго усы по грудь, въ награду старый бешметъ на зайцахъ и штуценрейтерское ружье; и одно только горе было Торбѣ, что никто на прощаньи изъ дѣвятиевъ-товарищей, какъ нарочно, не кинулся къ нему на шею, не обнялъ его жаркими юношескими объятіями и не сказалъ: «Ну, Торба, чтобъ меня взяли сто чертей, если ты не славный малый и если я тебя когда-нибудь забуду!» Всѣ чинно простились съ Торбою и разѣхались... Отчужденность Торбы замѣчена была еще и на послѣднемъ урокѣ учителя русской словесности. Этотъ учитель, страстный и пылкій труженикъ науки, всегда курившій отличныя сигары, всегда чисто, со вкусомъ и даже нѣсколько франтовски одѣтый, завитой и раздушенный, вслѣдствіе чего его особенно любили во всѣхъ женскихъ школахъ, гдѣ онъ преподавалъ, — передъ выпускомъ, на прощальной лекціи, собравъ свои тетрадки, сошелъ съ кафедры и шутя сталъ предсказывать питомцамъ каждому подходящее будущее. Одному, на вопросъ: «Неронъ Петровичъ, а я чѣмъ

буду?» говорить: «ты, братъ, Ѳеодоръ Никандрычъ, будешь чиновникомъ!» Другому, на тотъ же вопросъ, отвѣчалъ: «Ты, Ваня, гусары!» Третьему: «Ты—бандуристъ, не измелчайся только, а ты будешь молодецъ!»—«А я что буду?»—спросилъ съ первой лавки, забытый на прощальной переключкѣ, Торба.—«Ты?»—произнесъ, неожиданно впавшій изъ веселаго, безпечнаго въ грустный и суровый тонъ, учитель: «ты будешь...»—прибавилъ, онъ и губы его задрожали:—«ты будешь... эхъ, жаль мнѣ тебя, Володя, мало тебя сѣкли, и не хотѣлось бы мнѣ, чтобы ты былъ тѣмъ, чѣмъ ты будешь непременно!..» Учитель не кончилъ, и классъ въ безмолвіи разошелся отъ прогремѣвшаго въ коридорѣ звонка. Что такое хотѣлъ сказать учитель, никто не зналъ. Но послѣдствія оправдали слова его для одного Торбы, и Торба не разъ, вспоминая прошлые дни, качалъ головою и жалѣлъ, что его мало сѣкли. Въ судъ товарищи-сослуживцы, чернильные бѣдняки, сморкавшіеся въ руку, но, тѣмъ не менѣе, зараженные сатирическими наклонностями, прозвали его кислятиной; и точно: и его улыбка при чемъ-нибудь нѣсколько свободномъ выраженіи была тѣмъ, что говорили сослуживцы, и его деликатно протянутые при встрѣчѣ со знакомымъ два пальца руки, никогда не пожимавшей дружескимъ, мужественнымъ пожатіемъ, были тѣмъ же самымъ, и шуртукъ его, и картузь, и всѣ слова его осторожной рѣчи были тѣмъ же, что говорили сослуживцы... И опредѣлился ясно въ представленіи всѣхъ богатый наслѣдникъ Торба, за которымъ, какъ говорится, не водилось ни сучка, ни задоринки, кромѣ одного, впрочемъ, счастливаго волокитства гдѣ-то въ домикѣ бѣдной вдовы-торговки, и всѣ говорили о паньчѣ Торбѣ: «Вѣдь вотъ—хорошій, кажется, человекъ, и тихій, и добрый, и сплетней не переноситъ; а вѣдь порядочная, однакоже, кислятина!» Послѣднее имя, наконецъ, пришло на умъ и толстенькому Дулѣ, когда онъ, переваливаясь бо-чечкомъ на двухъ наперсткахъ, пришелъ въ садъ и улегся съ нимъ на коврикъ подъ грушей... День сталъ прохладнѣе. Гость подкрѣпился пирогомъ съ яблоками и добрымъ кор-цемъ наливки. Окинувъ глазомъ панораму сада и окрестностей, открывшихся съ пригорка въ легкомъ туманѣ подступавшаго вечера, онъ не раскаялся, что завернулъ на хуторокъ Дули. И точно, видъ невольно бросался въ глаза. Садъ былъ вторично въ цвѣту въ одно лѣто. Почти всѣ деревья

и кусты его обдѣла, обсыпанные медвяными лепестками, точно столбы молочной пѣны били изъ зелени травъ, а пчелы и мохнатые шмели то и дѣло сновали и роились надъ ними. По длинному стволу репейника, который, какъ косарь въ алой шапкѣ, стоялъ и покачивался отъ вѣтра, висся и бѣгалъ чубатый удѣдъ и сверкалъ, и отливался золотомъ, какъ перебрасываемый на солнцѣ клочекъ двухцвѣтнаго, металлическаго бархата, и было кругомъ то знакомое слобожанамъ благоуханье травъ и цвѣтовъ, въ которое стѣбитъ только опуститься — и въ мигъ уже весь пропитаешься тонкою, опьяняющею степною амброю, пропитается и шапка, и руки, и волосы, и все платье...

— Славная сливяночка, очень хорошая сливяночка, Кирикъ Андреичъ!—говорилъ Торба, почмакивая губами и потягивая изъ корчика.

— Пейте сливяночку, Владиміръ Авдѣичъ! пейте!—говорилъ Дуля, тоже почмакивая и потягивая изъ корчика:—она очень хорошая сливяночка, и вашъ папенька, кажется, ее очень любилъ.

— А вы ее только и пьете, Кирикъ Андреичъ? — спрашивалъ Торба, почмакивая и прислушиваясь, точно, вкусъ его производилъ звуки.

— Нѣтъ, душечка, я не ее только пью! — отвѣчалъ съ улыбкою Дуля:—я и другое пью, только не такъ пью другое.

— А какъ же вы пьете другое, Кирикъ Андреичъ?—спрашивалъ Торба, не выпуская бутыли.

— Вотъ какъ пью, Владиміръ Авдѣичъ!—отвѣчалъ Дуля, приподнимаясь на коврикъ:—терновочку я пью по утрамъ, чуть-чуть заря, и пью въ сухоматку, такъ, чтобы росинки до той поры не побывало во рту. Послѣ чаю клубниковку, и пью клубниковку съ пыжами, какъ заряжаютъ ружье: выпью рюмочку и заѣмъ коржемъ, выпью рюмочку и заѣмъ коржемъ. А уже передъ обѣдомъ я иду въ комору, а комора моя подъ замкомъ, и тамъ у меня есть одна настоечка на кишницѣ, гвоздичкѣ, полыни и перчикѣ; эту настоечку я зову красными угольками и запираюсь, когда пью, потому что (такъ говорить и нашъ отецъ Никита, если знаете) когда ее выпьешь, все равно, точно проглотилъ кошку и потомъ сталъ тянуть ее назадъ за хвостъ. Впрочемъ,—заключилъ Дуля:—человѣкъ не звѣрь, и больше ведра не выпьетъ. — Торба нѣсколько усомнился въ томъ,

что человекъ не звѣрь и больше ведра не выпьетъ,—потому что Дуля скоро очистилъ такую пугзатую сулею сливянки, что мало чѣмъ не превзошелъ ведра. Толстякъ распоясався и опустился опять на коврикъ.

— А вы, маточка,—сказалъ онъ гостю:—распояштесь тоже и полежите тутъ, или въ травѣ гдѣ-нибудь! Когда же не хотите, такъ ступайте на рѣчку; тамъ дѣвки полотно моютъ,—и вы послушаете пѣсенъ! Что? не хотите? Ну, какъ хотите! Да вы постойте, откуда вы теперь?—спросилъ, уже зѣвая, растянувшійся толстякъ:—я и забылъ васъ спросить!—Торба удовлетворилъ любопытство хозяина.

— Ну, конечно, душечка, ничего! — замѣтилъ толстякъ, переворачиваясь пузыремъ съ боку на бокъ:—я вамъ дамъ лошадокъ до станціи, а теперь погуляйте по саду, тамъ и баба моя гуляетъ.

Съ этими словами Дуля заснулъ, какъ убитый, а Торба всталъ, оправился, поглядѣлъ съ пригорка и пошелъ по первой попавшейся дорожкѣ сада — смотрѣть, какая это баба гуляетъ.

Торба спускался къ концу сада, какъ изъ-за плетня, поднявшись на перелазѣ съ корзиною сливъ на головѣ, выступила передъ нимъ красавица-дѣвушка. Изъ-за плетня неслись пѣсни, какъ бы тамъ ходилъ хороводъ. Красавица-дѣвушка, остановившись на ступенькѣ перелаза за оградой, освѣщенная розовымъ отблескомъ утасающаго вечера, точно внезапно зажглась вся, вмѣстѣ съ небомъ, на которомъ рѣзко отдѣлился ея граціозный очеркъ; точно зажглись и ея обнаженная ручка, и носикъ съ пережабинкой, и алый спенсеръ, обхватывающій полную грудь, и фіолетовыя сливы на головѣ, которыя вдругъ покачнулись и брызнули дождемъ на алый спенсеръ, полную грудь и мшистый заборъ сада. Торба стоялъ между тѣмъ въ смущеніи и припоминая что-то далекое, далекое, сладко-обаятельное, и вдругъ вскрикнулъ, бросившись къ забору: «Груша! Грушенька! вы ли это?» Пылающій въ воздухѣ очеркъ красавицы-дѣвушки былъ неподвиженъ и смотрѣлъ сверху, въ то время, какъ улыбка уже пробѣгала по его лицу. Красавица, наконецъ, также радостно вскрикнула: «Володя!»—хотѣла переступить черезъ плетень и не переступила. Не Володя, Владиміръ Авдѣичъ, и не Груша, Аграфена Кировна, стояли теперь другъ передъ другомъ! И не дѣти, не далекія маленькія дѣти въ

тихомъ далекомъ городкѣ, въ шумной школѣ—были они, а помѣщикъ Торба и панночка Дуля, владѣтель богатой слободы Упоиловки и хуторянка, наслѣдница маленькаго хутора Кухни! И помѣщикъ, и панночка не имѣли силъ ступить другъ къ другу; и помѣщикъ, и панночка стояли и смотрѣли,—смотрѣли, точно съ порога далекаго, невозвратнаго времени, точно боясь за ступеньками перелеза встрѣтиться и не узнать другъ друга. Пѣсни за плетнемъ грянули сильнѣе, пѣсни огласили окрестность, и красавица-дѣвушка первая очнулась. Она медленно переступила черезъ плетень и подошла къ гостю... — «Володя, Володечка! — сказала она съ замирающимъ отъ радости сердцемъ, въ то время, какъ улыбка все еще трепетала на ея устахъ: -- какъ это вы очутились у насъ, въ нашемъ саду?» Торба разсказалъ наскоро обо всемъ, случившемся послѣ разлуки съ Грушенькой, воспитывавшейся съ нимъ вмѣстѣ, въ семьѣ содержателя школы, друга ея матери. Волненіе мало-по-малу прошло въ слушательницѣ, она поставила корзину на землю, оправила на густой пепельной косѣ, положенной широкимъ вѣнцомъ надъ головою, другой вѣнецъ изъ ярко-голубыхъ свѣжихъ васильковъ, сѣла съ гостемъ на лавку и, сложя руки на-крестъ на колѣняхъ, стала опять улыбаться и слушать. И опять раздались и понеслись за плетнемъ громкія хуторянскія пѣсни...

— А помните ли, Грушенька,—началь Торба:—помните ли вы, какъ мы учились?—И онъ остановился.

— О! помню, помню! — подхватила весело красавица-дѣвушка: — я такъ рада, такъ рада вамъ, что не хотѣла бы опять разставаться съ вами!

— Бѣда наша!—замѣтилъ печально Торба:—таковъ удѣлъ мужчины—вѣчно отрываться отъ родимой почвы, вѣчно блуждать и странствовать!

— О! — подхватила Грушенька: — на мѣстѣ мужчинъ я просто бросила бы все, стала бы жить вотъ такъ, какъ теперь живу.

— А слышали ли вы что-нибудь, Грушенька, о долгѣ обществу, о трудахъ на пользу свѣта? Если не слышали, такъ я вамъ скажу, что какъ бы ни хотѣлось мнѣ теперь жить въблизи знакомыхъ мѣстъ, въблизи васъ, я не могу отстать отъ жизни сверстниковъ. — Таковъ удѣлъ мужчины! Да что вы думаете, наконецъ, Аграфена Кировна, — спро-

силъ Торба уже нѣсколько суровѣе: — если я наслѣдовалъ теперь богатое имѣніе, гдѣ старѣлись отцы и дѣды мои, такъ сейчасъ и втесать себя въ сѣтели пшеницы и разводители пеньки и мериносовъ?

Грушенька слушала молча, сложа руки на-крестъ и все такъ же освѣщенная отблескомъ зари, освѣщенная вся, съ своимъ алымъ спенсеромъ, ярко-голубымъ васильковымъ вѣнкомъ и густою пепельною косою, оплетенною вокругъ головы.

— Нѣтъ! — сказала она, когда Торба кончилъ: — я одно все-таки твержу: бросила бы я все на мѣстѣ мужчинъ — и заботы о свѣтѣ, и вѣсъ въ обществѣ, и стала бы жить въ деревнѣ, особенно въ вашей деревнѣ, Владиміръ Авдѣичъ, съ лѣсами и озерами, въ деревнѣ, о которой такъ заботился при жизни вашъ папенька и о которой вы сами когда-то такъ много рассказывали...

— Да какъ же, — подхватилъ тономъ разсудительнаго чело-вѣка Торба: — да вѣдь послѣдній бѣднякъ, сосѣдъ мой, былъ въ свѣтѣ и видѣлъ свѣтъ. Вѣдь этакъ сразу и назовутъ меня грѣшкосѣмъ!

— Не назовутъ грѣшкосѣмъ, Владиміръ Авдѣичъ, не назовутъ, клянусь вамъ! — произнесла, строго и какъ бы взвѣшивая каждое слово, дѣвушка: — они вдали родины и были потому, что бѣдняки, и потому, что бѣднякамъ нужно служить вдали и честно снискивать себѣ пропитаніе. Вы же богаты, вы же чиновникомъ не сумѣете быть, и хочется вамъ видѣть театры, гулянья, балы, а не служить обществу! Вотъ (кстати, что мы встрѣтились съ вами) я слѣдила постоянно за каждымъ вашимъ шагомъ по выходѣ изъ школы, и помните мои слова, — завертить васъ эта жизнь, Владиміръ Авдѣичъ, и сами вы потомъ себя не узнаете!..

Владиміръ Авдѣичъ въ изумленіи слушалъ и недоумѣвалъ, какъ это можетъ такъ разсуждать простушка-дѣвушка, взрослая на хуторѣ Кухнѣ, и еще болѣе недоумѣвалъ, какъ это завертить его новая жизнь и онъ самъ потомъ себя не узнаетъ...

— Откуда вы всего этого слышались? — спросилъ онъ, не выдержавъ и даже нѣсколько неделикатно.

— О! отъ многихъ слышалась! — отвѣтила Грушенька съ улыбкой и продолжала, не обращая вниманія на его изумленіе: — помните ли вы наше школьное время, нашихъ

мальчиковъ и дѣвочекъ; помните ли вы, какъ мы строили планы о будущемъ? Вы... я вамъ напомню, — и это меня постоянно потомъ интересовало, — вы хотѣли, выйдя изъ училища, поселиться въ деревнѣ, оживить въ своемъ быту старинные дѣдовскіе обычаи, воскресить въ своемъ дому прошедшіе золотые нравы старины, старинныя убранства и столъ, прислугу и тихую, старую жизнь, и помните ли, какъ вы жадно читали тогда каждую строчку, каждую замѣтку объ этой старинѣ?

Дѣвушка замолчала. Слушатель ея тоже молчалъ.

— Ай, ай, ай, Владиміръ Авдѣичъ! Такъ скоро измѣниться! Ну, не грѣшно ли вамъ? Ну, на что вамъ другая жизнь?

— Вотъ, видите ли, — началъ Торба, едва различая въ сумеркахъ лицо Грушеньки: — вотъ, вы только поймите меня, я вѣдь только говорю на первое время, а потомъ я приѣду и точно заведу въ домѣ обычаи предковъ, старинныя убранства, столъ, прислугу и тихую, старую жизнь.

Грушенька помолчала и ласково улыbnулась.

— Нѣтъ, Владиміръ Авдѣичъ, нѣтъ! не обманывайте себя! Не уважаете вы, я вижу, быта старыхъ нашихъ помѣщиковъ, мирныхъ нашихъ хозяевъ, веселыхъ сосѣдей и помощниковъ въ каждомъ добромъ дѣлѣ родного околотка, и не быть вамъ среди насъ добрымъ, величественнымъ магнатомъ, которымъ назначили вамъ быть судьба и происхождение ваше и у котораго бы, какъ говоритъ одна книга, было бы все наше добро и всѣ наши сердца! Нѣтъ, Владиміръ Авдѣичъ, откажитесь лучше совсѣмъ отъ превосходныхъ плановъ прошлаго, милаго дѣтства. Вѣдь вы уже не ребенокъ, вѣдь вы уже взрослый мужчина, — не правда ли? — прибавила весело Грушенька...

Владиміръ Авдѣичъ, котораго сильно заинтересовали и смутили слова Грушеньки, недоумѣвалъ попрежнему, откуда она набрала такихъ сужденій, и еще болѣе попрежнему недоумѣвалъ, какъ это можетъ его завертѣть новая жизнь и какъ онъ самъ потомъ себя не узнаетъ. Вѣдь все въ жизни такъ легко казалось ему! Вотъ, онъ нѣсколько послужить, черезъ каждые два года станетъ завертывать въ Упоиловку, а тамъ устанетъ, и совсѣмъ поселится на покой. Кто же его удержитъ? Кто же заставитъ его измѣнить свои планы? Не зная Торба, что такое жизнь въ свѣтѣ, — жизнь, гдѣ

должны были забыться выученные школьные уроки и школьные планы, и все молодое и первобытное должно было забыться, и гдѣ суждено торжествовать одному холодному, всепоглощающему, безжалостному и безсовѣстному эгоизму. Не зналъ еще этого Торба и удивлялся... Впослѣдствіи же онъ узналъ все и не удивлялся никогда!

— Барышня, довольно сливы рвать?—раздался серебристый голосокъ въ темнотѣ. Крестьянская дѣвочка, съ длинными, нависшими волосами, стояла чуть видная вблизи на заборѣ.

— Довольно!—отвѣтила тихо Грушенька. Дѣвушка откинула за уши падающіе на лобъ волосы и опять спросила:

— А вы, барышня, не придете?

— Приду!—отвѣтила Грушенька.

Дѣвушка утонула въ темнотѣ, и вслѣдъ затѣмъ послышался бѣгъ по травѣ, за плетнемъ, ея быстрыхъ, босыхъ ножекъ.

— Вы пойдете, можетъ-быть, къ папенькѣ?—спросила тихо Грушенька:— а я только отпущу дѣвочекъ.

Торба молча поклонился и пошелъ искать старика Дулю. Старикъ Дуля, вставшій между тѣмъ и сидѣвшій на коврикѣ подъ деревомъ, былъ печаленъ и суровъ; это впрочемъ случилось съ нимъ всегда спросонья, навѣяннаго сливянкою или другою наливкою.

— Чортъ знаетъ, что такое лѣзло въ голову!—началъ Дуля, сидя на коврикѣ въ одной рубашкѣ, и плюнулъ:— приснилось, будто меня похоронили съ ящерицею, зеленою и такую толстою, какъ кошка!— и онъ опять сплюнулъ.

Торба улыбнулся.

— Чортъ знаетъ,—подхватилъ опять съ досадою Дуля:— и это часто теперь уже стало сниться мнѣ! И вы не повѣрите! Недавно приснилось, будто покойная моя Улита Романовна, въ самый день поминокъ, когда кутья съ медомъ стоитъ въ залѣ, ночью спустилась мухой на кутью и стала пить! Я крикнулъ на нее, а она сказала: «Муръ, муръ! и гы, свистунъ, не отвертись!» Сказала и улетѣла опять въ окошко!

Торба засмѣялся.

— Да что же тутъ смѣшного?—спросилъ серьезно Дуля и не могъ понять, какъ это можно смѣяться, когда чело-вѣку снится мертвецъ.

И весь тотъ вечеръ Дуля ходилъ, охая, изъ угла въ уголъ, и былъ скученъ. Развеселился Дуля опять только за ужиномъ, когда на открытомъ воздухѣ въ саду, подъ тою же столбѣною грушей, пламя свѣчей стояло, не колыхнувшись, и въ чудной тишинѣ слобожанской ночи только слышался по деревьямъ шелестъ кисейно-крылыхъ мошекъ, да жужжаніе золото-панцирныхъ коровокъ, которыя сыпались и падали на бѣлую скатерть, уставленную соусниками съ разными дымящимися соусами, жаркими, супами, лѣнивыми и всякими другими варениками. За ужиномъ Торба и Грушенька сидѣли молча и молча разошлись по своимъ комнатамъ... И всю ночь, разметавшись подъ пологомъ сумрака, въ безсонницѣ, красавица-Грушенька думала, слѣдя глазами проходящія въ темнотѣ картины далекаго, туманнаго дѣтства: «Такъ ли она предполагала встрѣтиться съ хорошенькимъ Володею, своимъ будущимъ сосѣдомъ по имѣнію, съ Володею, который нѣкогда забѣгалъ къ директору, чтобъ только наговориться съ нею?»—И всю ночь Торба, прижавъ горячую щекою къ подушкѣ, вышитой руками Грушеньки, думалъ: — «И какъ это можетъ завертѣть его новая шумная жизнь, такъ завертѣть, что онъ потомъ и самъ себя не узнаетъ?»

Еще Дуля слегка всхрапывалъ въ комнаткѣ, завѣшанной отъ мухъ одѣялами; еще спалъ около него, на другой кровати, и гость его, которому при пробужденіи показалось, что гигантская розовая тыква лежитъ передъ нимъ въ перинахъ: а уже Грушенька, свѣженькая и веселая, умывшись рано-рано холодною криничною водою, успѣла побывать и на пасѣкѣ, и на току, гдѣ молотили горохъ, и на бакшѣ, и въ роцѣ съ гурьбою дѣвочекъ, отряженныхъ собирать выглянувшіе послѣ дождя красновики, и въ бондарнѣ, гдѣ выдѣлывались новыя колеса на плуги и телѣги; побывала вездѣ, безъ зонтика, въ сѣренькомъ ситцевомъ платьицѣ, и шла уже домой готовить чай и будить отца и гостя. За нею по двору, къ тополиамъ, шель безъ шапки высокій, подпоясанный зеленымъ поясомъ, атаманъ, перебирая пучекъ сорваннаго, зеленого еще овса. «Да мы, барышня, вотъ что!—говорилъ атаманъ, кивая пятами: — мы, барышня, сегодня подъ ярину отрядимъ Евѣя, а подъ озимь Евсѣя: Евѣй, барышня, крестилъ сегодня дочку и легче управится съ яриною, а Евсѣй не крестилъ дочку и управится легче съ

озимью!» — «Нѣтъ, — отвѣтила на неудачный каламбуръ барышня: — ты уже, Ничипоръ, не разсуждай, я тебя уже знаю! Евсѣй и Евгѣй пойдутъ у меня на токъ горохъ молотить; горохъ покупаютъ цареборисовскіе поставщики, и его нужно вымолотить поскорѣе». Ничипоръ зналъ уже свою барышню и потому, почесываясь, молча отходилъ назадъ и удалялся отъ тополей безъ замѣчаній... Когда Торба одѣлся и вышелъ съ трубочкою на крыльцо, Грушенька стояла у перилъ, перегнувшись за балюстраду и наставивъ руку зонтикомъ надъ глазами.

— Что вы смотрите, Аграфена Кировна? — спросилъ Торба, здороваясь съ нею.

— Не даромъ папенька пошелъ на сторожевую клуню глядѣть! — замѣтила Грушенька: — вонъ, посмотрите, Пошлеванковскіе панки ѣдутъ къ намъ.

Не успѣлъ Торба взглянуть въ сторону сада, — за рѣкою уже закурилась пыль, и довольно грузный экипажъ сталъ спускаться къ греблѣ. Скоро странная картина представилась глазамъ Торбы. Громадный зеленый рыдванъ, какъ слонъ, вооруженный бойницами, пиками и флагами, сталъ съѣзжать съ крутого побережья, запряженный шестерикомъ круторогихъ воловъ. Кучеръ въ слобожанской свиткѣ, сиди на козлахъ, размахивая хворостиною, правя ею, какъ индѣйскій слоноукротитель пикою. Двое господъ, еще толстѣйшихъ самого Дули, въ желтыхъ сюртукахъ и такихъ же фуражкахъ, сидѣли въ рыдванѣ и, чуть съѣхали къ рѣкѣ, начали махать платками, очевидно разглядѣвъ на сторожевой клунѣ Дулю. Новые гости, предводимые хозяиномъ, скоро вошли въ комнаты, гдѣ тотчасъ имъ былъ представленъ Торба. Оглядѣвшись, Торба замѣтилъ, что гостей около него было уже не двое, а что еще третій, миниатюрный, какъ безперый цыпленокъ, выпорхнулъ изъ-за ихъ желтыхъ сюртуковъ и сталъ, шаркая, возиться у его ногъ.

— Это нашъ помѣщикъ Непейводы! — сказалъ хозяинъ, указывая на одного изъ толстяковъ въ желтомъ сюртукѣ: — а это помѣщикъ Непейквасу! — прибавилъ хозяинъ, указывая на другого толстяка: — а вотъ это — милый Паль Палычъ Павленко, или иначе — Пейводочку, какъ мы зовемъ его кстати!..

Торба улыбнулся и услышалъ звонъ капельнаго колокольчика, какой привязывается на шею дѣтскимъ деревяннымъ

конькамъ; онъ поднять глаза и увидѣть, что это маленкій третій гость хохоталъ, обрадованный обычною выходкой Дули. Пока подавалась закуска, грибки и огурчики, рыбка и водочка, пока раскуривались пѣнковыя трубки и пошли наконецъ всѣ за столъ, уставленный блюдами и тарелками, — Торба успѣлъ поймать въ коридорѣ Грушеньку, которая среди хлопотъ была въ большомъ духѣ, и она весело разболтала ему всю подноготную о прѣхавшихъ панкахъ. Одинъ изъ этихъ панковъ, именно панокъ Непейквасу, купивши съ публичнаго торгу клочекъ земли умершаго безъ роду и племени половиннаго владѣльца Поплеванковской пустоши, ѣхалъ поселиться на новомъ жилищѣ и на сосѣдней станціи столкнулся съ другимъ владѣльцемъ пустоши, который съ ближней ярмарки спѣшилъ туда же. — «Какъ ваша фамилія?» — спросилъ Непейквасу, рекомендуясь новому знакомцу. — «Непейводы!» — отвѣчалъ новый знакомецъ. — «Какъ-съ? я не разслышалъ, кажется!» — Новый знакомецъ повторилъ свои слова и прибавилъ: — «А ваша какъ?» — Непейквасу отвѣчалъ: «Непейквасу!» Сначала панки приняли отвѣтъ другъ друга за скрытую иронию; но потомъ, взглянувъ на полныя животики каждого, расхохотались, весело усѣлись въ одинъ экипажъ и скоро убѣдились совершенно, что иронія далека отъ ихъ мыслей. О встрѣчѣ Непейводъ съ Непейквасомъ любили еще нѣсколько времени поболтать словоохотливыя сосѣднія пани; но потомъ и словоохотливыя пани замолчали, и Поплеванковскіе друзья зажили привольно и весело. Одинъ изъ нихъ, именно Непейводы, былъ очень добрый человѣкъ, но тянулся, во что бы то ни стало, сыграть роль богача. Домъ его представлялъ подобіе городского, — совершенно городского дома! Непейводы выгналъ его въ три этажа, покрылъ желѣзомъ, вывелъ залы подъ лакъ и стѣны подъ мраморъ, — залы съ хорами и паркетными полами, и это все на сто только своихъ душъ; въ три зимы сжегъ на этотъ домъ чуть не весь свой лѣсъ, для убранства заложилъ и перезаложилъ имѣніице и пришелъ-таки къ тому, что домъ по-нынѣ до половины стоитъ безъ стульевъ и креселъ, важныхъ гостей по сосѣдству вовсе и не знаетъ, мраморные подоконники его просверлены, и зимою сквозь нихъ, въ подвѣшенныя пустыя бутылки, стекаетъ вода со стеколъ, а самъ хозяинъ лѣжится въ какой-то маленькой бильярдной. И еще какъ лѣжится! Такъ не лѣжатся и неимѣющіе городскихъ

домовъ! Среди лѣта, тоже какъ-то ночью, со двора у Непейводы свезли возъ сѣна, и никто изъ дворни до утра этого и не замѣтилъ. Говорятъ, что при этомъ затѣйливые воры еще на мѣстѣ стога воткнули палку съ слѣдующею юмористическою запискою на веревочкѣ: «Пришли Иванъ да Данила, наложили сѣна на вилы; а чортъ же тебя просилъ, что ты для нихъ косилъ!» Другой панѣкъ, именно Непейквасу, былъ тоже очень добрый человѣкъ, но ѣздилъ не иначе, какъ на волахъ, объѣдался, какъ журавль, былъ лѣнивъ до того, что, получивъ гдѣ-то наслѣдство, собирался ѣхать за нимъ болѣе десяти лѣтъ и кончилъ тѣмъ, что наслѣдство его перешло къ другимъ, а онъ только спивалъ весь околотокъ. Былъ у него одинъ напитокъ, состоявшій изъ спирту и какихъ-то ягодъ, такой крѣпкій, что упомянутая настойка Дуля,—настойка, которую выпить значило то же, какъ выржажался Дуля, что проглотить кошку и потомъ ее тянуть за хвостъ, — была передъ этимъ напиткомъ прѣсною водичкою. Этому напитку, словно настоенному на огнѣ и на гвоздяхъ, имя было спотыкачь, и одна рюмка его заставляла спотыкаться самаго крѣпкаго уничтожителя настоекъ. Владѣтель этого напитка любилъ обыкновенно говорить, нѣсколько въ пику своему строителю-сосѣду: — «Что мнѣ ваши мраморы, да паркеты! Вы, вотъ, попробуйте, милостивый государь, этой водички, тогда и говорите, нужны ли мраморы и паркеты!» Вслѣдъ за этимъ, кто ни пробовалъ водички, дѣйствительно, соглашался, что мраморы и паркеты были вовсе не нужны! А самъ хозяинъ, посѣщавшій сосѣдей, у которыхъ не водилось спотыкача, заливалъ жажду чѣмъ ни попало. Однажды не засталъ онъ дома кумы своей, пани Цындри, жившей въ слободкѣ подъ Камышевахой, нащупалъ вечеромъ въ шкапу у нея бутылку настойки на шпанскихъ мушкахъ и выпилъ ее до капли! Насилу потомъ откачали его и отпустили.

— Да вы, господа, почти ничего не ѣдите! — замѣтилъ Дуля въ то время, какъ двѣ дѣвки разносили чуть не восьмое блюдо.

— Мы сыты! — отвѣчали на это гости: — и васъ, Кирикъ Андреичъ, благодаримъ! а вотъ, рюмочку мы — такъ выпьемъ!

Кирикъ Андреичъ наливалъ гостямъ рюмочку, и гости весело выпивали.

— Боже мой! — сказала, вырвавшись послѣ стола въ садъ, Грушенька: — что это они только дѣлаютъ!

Лицо Грушеньки было блѣдно, и на глазахъ дрожали слезы...

— И неужто они постоянно такъ проводятъ время? — спросилъ Торба. Грушенька закрыла лицо руками и ничего не отвѣчала. — «Вотъ она, деревня-то!» — подумалъ Торба и тоже замолчать. Во весь обѣдъ онъ не сводилъ глазъ съ лица чудной дѣвушки; во весь обѣдъ жадно ловилъ онъ каждый взглядъ, каждое движеніе, каждое слово ея, и теперь, кажется, навѣки ложились въ воображеніи его и это печальное раздумье Грушеньки, и этотъ долетающій изъ комнатъ звонъ ножей и тарелокъ, и веселыя рѣчи веселыхъ стариковъ - собесѣдниковъ, и маленькій домикъ, гдѣ прикована была судьбою подруга его дѣтства. Мысль, неожиданная мысль, какъ звонъ зовущей трубы, раздалась въ воображеніи Торбы: онъ былъ влюбленъ въ Грушеньку! — «На колѣни, къ ногамъ этой рѣдкой дѣвушки! — шептало ему неокамѣнѣлое еще юношеское сердце: — посмотри на эти косы, посмотри на этотъ бюстъ, на это доброе, кроткое созданье!» А голосъ другой, непонятный еще голосъ говорилъ ему: «Погоди! подобные шаги въ жизни не дѣлаются такъ опрометчиво!» И Торба, въ смущеніи глядя на Грушеньку, молчалъ, молчалъ и самъ не могъ дать себѣ отчета, что дѣлалось внутри его. Кажется, впрочемъ, ничего не дѣлалось важнаго, какъ это подтвердили потомъ и послѣдствія...

— Котикъ, поди сюда! — кричалъ между тѣмъ нѣжнымъ голоскомъ раскраснѣвшійся Дуля, появляясь съ двумя остальными толстяками на балконѣ: — поди сюда, потанцуй, котикъ! Паль Палычъ будетъ намъ на скрипочкѣ играть!

— Паленька, я не могу танцовать! у меня голова болитъ! — отвѣтила Грушенька и молча пошла на другое крыльцо въ свою комнату.

— Ну, какъ знаешь, котикъ! — произнесъ Дуля, становясь подъ руку съ двумя другими толстяками въ позы танцующихъ грацій: — а мы уже будемъ непременно танцовать!

И вслѣдъ затѣмъ раздались въ комнатѣ звуки скрипочки, и толстыя граціи, отплясывая журавля, пустились въ приядку...

Покачиваемый въ подушкахъ легкой крытой таратаечки, которая вдругъ пошла по кочковатой луговинѣ, какъ бы свернула со столбовой дороги на проселокъ, Торба очнулся и сталъ припоминать, что съ нимъ произошло въ два или

три послѣдніе дня. Звонъ ножей и тарелокъ, тиликанье скрипочки и громъ веселаго журавля, слезы и чья-то тихая, тихая рѣчь въ саду — все это мѣшалось въ его мысляхъ. Но вотъ, набѣжала въ ночной темнотѣ дождевая тучка, пыль прибило, и въ воздухѣ посвѣжѣло. Таратаечка пошла лѣсомъ, поминутно цѣпляясь за вѣтви, и Торба сталъ припоминать прошлое яснѣе... Очевидно, онъ до того времени дремалъ, покачиваясь въ подушкахъ таратаечки. — «Поѣзжайте, поѣзжайте, Владиміръ Авдѣичъ, — говорила Грушенька, подъ общій шумокъ выпроваживая его черезъ садъ изъ хутора: — поѣзжайте, а то вамъ долго еще отсюда не уѣхать!» Вслѣдъ за этимъ Торба помнитъ ея ласковыя напутствія и ласковыя желанія, помнитъ и свои горячія, горячія, невольно вырвавшіяся слезы... «Ахъ, Грушенька, — говорилъ взволнованный Торба: — такъ тяжело мнѣ, такъ тяжело съ вами разставаться!» — Сердце шептало ему еще сказать слово, слово послѣднее, окончательное; но Торба замолчалъ — и не сказалъ этого слова... «Вамъ не здѣсь, — говорилъ онъ взаимнъ этого слова: — вамъ въ столицѣ суждено блистать яркою жемужиной! И я вѣрю, я надѣюсь, вы будете блистать въ столицѣ!» — «Э, Владиміръ Авдѣичъ! гдѣ намъ до жемчужинъ! Останемся и при своихъ хуторскихъ садикахъ да домикахъ!» — «Нѣтъ, Аграфена Кировна, — продолжалъ Торба: — клянусь вамъ, не пройдетъ и года, я вернусь сюда, только получу мѣсто, вернусь и тогда...» Онъ не договорилъ. «И тогда?» — спросила Грушенька съ комическою улыбкою: — и тогда Грушенька будетъ имѣть честь представить вамъ новую пасѣку, которую тебѣ строятъ въ ливадѣ!» Торба опомнился, медленно поцѣловалъ ей руку, перелѣзъ черезъ тотъ самый плетень, на которомъ встрѣтилъ въ блескѣ и огнѣ вечера Грушеньку, и когда таратаечка отѣхала отъ сада, онъ увидѣлъ, какъ красавица-Грушенька обернулась и тихо пошла къ домику по дорожкѣ, плыви, какъ пава, и склонивъ въ раздумьи хорошенькую головку. «Рѣшено, рѣшено!» — думалъ Торба, катаясь снова по гладкой стемнѣвшей луговинѣ въ то время, какъ звѣзды одна за другою уже глянули на небѣ и издали летѣла ему навстрѣчу освѣщенная мѣсяцемъ березовая роща. «Рѣшено: я только обзаведусь хорошимъ мѣстомъ, возьму отпускъ, прикачу сюда и женюсь на Грушенькѣ, женюсь и вырву изъ душнаго круга милое, доброе созданье, эту свѣтлую, первобытную душу!»

И погружаясь снова въ золотую паутину сладкихъ мечтаний, Торба мысленно повторялъ: «Эту свѣтлую, первобытную душу!»

— Прикажете на станцію? — произнесъ голосъ незримаго въ налетѣвшей темнотѣ на козлахъ кучера.

— На станцію! — отвѣтилъ восторженнѣйшійся Торба и сталъ жадно глотать понесшійся ему въ глаза свѣжій воздухъ ночи.

Выйдя изъ таратаечки и отпустивъ кучера Дули домой съ тысячею поклоновъ барышнѣ, Торба остановился передъ старымъ слугою, который три дня его тщетно прождалъ на станціи, и, освѣщенный какою-то мыслию, спросилъ его: «А что, братъ Павладій, не остаться ли намъ еще тутъ?» Братъ Павладій на это горько усмѣхнулся и отвѣтилъ: «Гдѣ тутъ оставаться! хуражу совсѣмъ нѣтъ!» Торба подумалъ, махнулъ рукою, упалъ на постель и заснулъ, какъ убитый. Болѣе часу на другое утро будиль и толкалъ его старый Павладій, объявляя, что чай уже на столѣ и что пора уже ѣхать. «А? что?» — вскрикнулъ, наконецъ, Торба и сталъ одѣваться. Пока Павладій возился съ погребцомъ, крендельками и бубликами, въ сосѣдней комнатѣ слышались шаги и чей-то свѣжій мягкій теноръ, звавшій лакея. Заглянувъ въ дверь, Торба ничего не увидѣлъ. Не увидѣлъ ничего и подошедшій въ это время къ двери компаньонъ тенора, сухой и длинный, длинный и сухой человекъ, какъ циркуль, поставленный на циркуль, и, какъ сорока, весь состоявшій изъ костей и перьевъ! Этотъ сухарь, украшенный длиннѣйшими рыжими усами и въ дѣтской курточкѣ, держалъ арапникъ и поминутно кашлялъ. «Ты, Петя, тутъ?» — спросилъ онъ, кашляя и не видя въ сосѣдней комнатѣ ничего, кромѣ дыму. — «Тутъ!» — отвѣчалъ изъ дыму пріятный теноръ Пети. — «Экъ, ты, Петя, напустилъ сколько! — замѣтилъ, кашляя, сухарь, точно билъ по лопнувшему барабану заревую дробь, и прибавилъ: — не пора ли, Петя, запрагать?» Петя на это произнесъ: «Ахъ, душа, позволь еще погадать!» и вслѣдъ за этимъ изъ дыму выставилось свѣжее, красивое лицо темноволосаго мужчины, лѣтъ тридцати, въ синей бешкетѣ, какую носятъ небогатые стѣнные поставщики хлѣба и сѣна и вообще всякіе туземные кулаки: онъ былъ сутюловатъ и румянтъ, какъ майское утро, слегка улыбался и пускалъ кольца легкаго сѣренькаго дыма изъ янтарнаго

мундштука, закутанного, какъ старушонка-попрошайка, во фланелевую душегрѣйку; въ рукахъ темноволосаго пускателя колечекъ былъ старый экземпляръ любимой книжки слобожанскихъ холостяковъ «Новый Гадатель». Показавшись на порогѣ, пускатель колечекъ, равно какъ и сухарь, поклонились Торбѣ и тотчасъ вошли съ нимъ въ разговоръ. Торба, ознакомившись съ видомъ перваго, подумалъ про себя, что это изъ породы тѣхъ, которыхъ армейскіе офицеры называютъ: «эдакой здоровенный камертонъ»; армейскихъ же офицеровъ, въ свой чередъ, изъ породы такихъ камертоновъ, зовутъ уже не камертонами, а «брандеба съ гвоздикой и счастливая этакая мордемондія!» Ознакомившись и со вторымъ, Торба, кромѣ сухаря, ничего болѣе еще не подумалъ...

— Изволите въ гвардію ѣхать опредѣляться? — спросилъ камертонъ, разложивъ уже не въ прежней комнатѣ, а въ той, гдѣ сидѣлъ Торба, размалёваннаго «Гадателя», который былъ подаренъ ему однимъ панкомъ изъ веселой общины сосѣднихъ холостяковъ, столько извѣстной въ окружности, и бросая на его роковыя клѣтки пшеничное зерно.

— Нѣтъ, — отвѣтилъ Торба: — я еще не знаю, но думаю служить по министерству... по министерству... гм!.. если примутъ! — Камертонъ пріятнымъ голосомъ изъявилъ надежду, что примутъ, потому что теперь нуждаются въ людяхъ образованныхъ и знающихъ языки. «Ну, — подумалъ при этомъ Торба, — что касается до знанія языковъ, то я пасъ!» Камертонъ еще что-то сталъ говорить, но произносилъ уже эти слова одними отрывистыми, невнятными звуками, потому что въ это время совершенно углубился въ «Гадателя», а растрепанный мальчишка, лѣтъ восемнадцати, въ засаленномъ сюртукѣ, безъ брюкъ, однакоже въ военныхъ сапогахъ со шпорами, Богъ-вѣсть откуда къ нему попавшими, поднесъ барину двѣ трубки. Баринъ взялъ сначала одну трубку и вытянулъ ее залпомъ, потомъ взялъ другую и также вытянулъ ее залпомъ, и когда онъ вытянулъ залпомъ другую трубку, столъ, диванъ, стулья, печь и косяки двери утонули въ дыму, и остались видны только шпоры на сапогахъ мальчишки, да усы сухаря. Заинтересованный гаданьемъ новаго знакольца, Торба уже собирался-было спросить его: «А позвольте узнать, на что вы это гадаете?» — какъ сухарь снова забилъ барабанную дробь, крутилъ, кру-

тилъ усы, ходилъ, ходилъ по комнатѣ, наконецъ, взялся подъ бока дѣтской курточки и произнесъ: «Послушай, Петя, ты, по-моему, совершенно заслуживаешь названіе той дамской вещи, которую нельзя и назвать!» — «Отчего же заслуживаю названіе той дамской вещи, которую нельзя и назвать?» — спросилъ съ улыбкою Петя, бросая на клѣтки «Гадателя» пшеничное зерно. — «Оттого, — отвѣтилъ циркуль, шагая по комнатѣ, — что ты боишься посвататься за индикову-дочку!» — «Помилуй, какъ боюсь! — произнесъ гадающій: — да нельзя потому, что это дѣло важное, и сразу рѣшиться нельзя! А впрочемъ, — заключилъ онъ, — вотъ посмотри, что теперь вышло!» Сухарь взялъ въ руки книжку и сталъ читать: «Бысть нѣкогда человекъ и позва его мати, и положи законъ въ своемъ наслѣдствѣ — быти ему благопревознесенну въ мірѣ!» Каммертонъ не помнилъ себя отъ радости, опять принявъ отъ мальчишки двѣ трубки, задымилъ ихъ, какъ винокурня зимою, и громко приказать закладывать...

— А позвольте спросить, — замѣтилъ Торба, когда новые знакомцы его сѣли уже на тѣлѣгу: — вы изволили назвать индикову-дочку; кто это такая индикова-дочка?

Каммертонъ, сія, какъ лѣтнее утро на пестромъ коврѣ тѣлѣжки, поклонился и отвѣтилъ:

— Это, милостивый государь, сосѣдка моя, единственная дочка помѣщика Дули, Кирика Андреевича Дули, если знаете!..

О чемъ мечталось и думалось Торбѣ, когда онъ снова очутился на большой дорогѣ и когда пошли мимо него, по обычаю всѣхъ большихъ дорогъ, проноситься и исчезать въ туманной панорамѣ версты, трактиры, станции, мосты, лѣса, поля, города и селы? Что навѣвали ему впечатлѣнія нѣсколькихъ счастливыхъ дней, прожитыхъ въ маленькомъ хуторѣ? Много сладко-томительнаго навѣвали ему эти впечатлѣнія! Качаясь въ мягкихъ подушкахъ, онъ дремалъ, дремалъ и видѣлъ картину жизни въ высокомъ, незнакомомъ старомъ домѣ. Въ этомъ домѣ онъ учить дѣтей; тутъ еще живетъ гувернантка, и гувернантка эта никто иная, какъ Грушенька. Старый вдовецъ-хозяинъ скучаетъ, его утѣшаютъ старыя сестры, безобразныя старыя дѣвки. И вотъ, зоркія сестры открываютъ, что молодой, бѣдный учитель влюбленъ въ ихъ гувернантку; молодому, бѣдному учителю

и гувернантъ отказываютъ отъ дома. Дѣвушка въ горячкѣ; молодой, бѣдный учитель беретъ ее къ себѣ на квартиру, ухаживаетъ за нею, ухаживаетъ и еще болѣе влюбляется, влюбляется и воскрешаетъ Грушеньку; и вотъ, идетъ и подступаетъ новая картина, и движется туманный рядъ сладкихъ грѣзъ и сладкихъ мечтаній, мучительно-сладкихъ сценъ счастливой любви!.. «Баринъ, а мы уже въ Москвѣ!»—замѣчаетъ голосъ Павладія, и, выходя изъ экипажа, Торба радуется, что на дворѣ уже ночь и что сонъ его снова начнетъ и непрерывно будетъ ткать свои обаятельныя ткани вплоть до Петербурга... Что же еще сказать о сладкихъ радужныхъ впечатлѣнїяхъ? Что же еще сказать? Въ одно сѣренькое, туманное утро Торба проснулся въ Петербургѣ, и наемный камердинеръ, въ лаковыхъ сапогахъ и перчаткахъ, принесъ ему новый, шитый золотомъ мундиръ. Торба былъ уже генераломъ, статскимъ генераломъ, съ почтеннымъ брюшкомъ, лысый, какъ колѣно, въ парикъ и съ порядочными морщинами. Нѣсколько просителей — кто съ рекомендательнымъ письмомъ, кто съ памятною запискою по предстоящему аппеляціонному дѣлу, а кто съ просьбою о денежномъ пособіи—ожидали его появленія, потому что Торба занималъ мѣсто, съ которымъ еще соединялась должность по одному изъ челоуѣколюбивыхъ обществъ. Когда онъ вышелъ въ прїемную и спросилъ ласково у одного, а потомъ и у другого просителя: «Вы откуда?» просители отвѣтили, что изъ Малороссіи. Добрый старикъ, потому что Торба успѣлъ уже состариться, отъ души обрадовался землякамъ, сдѣлалъ нужныя распоряженія, отправилъ потомъ секретаря за билетомъ во французскій театръ, сѣлъ въ двуколесный кабриолетъ, взялъ вожжи и жокейскій бичъ, махнулъ на рысака въ шорахъ и покатился по торцевой мостовой на дачу—пользоваться весеннимъ днемъ. Весенній день, впрочемъ, оказался, чѣмъ-то въ родѣ табачно-бурого пейзажа старой фламандской школы, съ примѣсью неожиданной ванны изъ мелкаго дождя. Торба въ досадѣ заходилъ по кабинету легко-стрѣлчатой и много-оконной лѣтней дачи. Ходилъ, ходилъ Торба по кабинету, взялъ изъ рукъ секретаря привезенный билетъ, нѣжно заговорилъ съ нимъ о его родныхъ и будущности, узналъ, черезъ шесть лѣтъ его службы, что онъ тоже изъ Малороссіи, обласкалъ его, подарилъ ему дублетъ какой-то заморской сигарочницы, — причемъ секретарь по

могъ надивиться, откуда взялась доброта у такого затянутаго и расфранченнаго старикашки, — и въ тотъ же день рѣшился ѣхать въ отпускъ, ѣхать въ отпускъ на родину, которой онъ не видалъ чуть не двадцать пять лѣтъ, мелькнувшихъ среди полезныхъ и тяжкихъ занятій. Черезъ полторы недѣли быстрой ѣзды на почтовыхъ, въ двумѣстной легкой кареткѣ, Торба миновалъ военно-поселенную дорогу, съ полуверстными столбами въ видѣ горящихъ на синемъ небосклонѣ бѣленыхъ, кирпичныхъ пирамидокъ, сталъ спускаться къ Донцу и уже былъ въ нѣсколькихъ десяткахъ верстъ отъ Упойловки, гдѣ съ трепетомъ и страхомъ ожидалъ его извѣстный уже Павладій, состарѣвшійся въ качествѣ приказчика, — когда, проѣхавъ мимо одного кургана, вспомнилъ что-то зарonnenное и давно забытое въ далекихъ юношескихъ воспоминаніяхъ! Ямщикъ своротилъ на проселокъ, и когда каретка пошла по узенькой Поплеванковской межѣ, смутныя юношескія воспоминанія встали и заколыхались передъ глазами Торбы. Вспомнилъ Торба неожиданно, какъ во снѣ, и рассыпавшуюся бричку, и хуторокъ, по имени Кухня, и теплый, всеобливающийъ пурпурнымъ блескомъ вечеръ, и красавицу-дѣвушку на перелазѣ плетня, и громкія пѣсни за садомъ, и тихія рѣчи, и кроткую улыбку, трепетавшую на милыхъ устахъ. Вспомнилъ это Торба и въ смущеніи смотрѣлъ, какъ выходилъ ему навстрѣчу старый городокъ-слободка Цареборисово съ деревянною, почернѣлою колокольнею, рядами бѣленькихъ домиковъ, фруктовыхъ зеленыхъ садиловъ и плетней, увитыхъ ползучими тыквами, выходилъ, словно воскресшее дѣтство, дѣтство, съ его невозвратными, первыми забавами и съ его первыми, невозвратными радостями. Нужно было взять вольныхъ лошадей и ѣхать далѣе, мимо Поплеванковской пустоши и маленькаго хутора Кухни, въ Упойловку. Торба вышелъ изъ каретки и разговорился съ старикомъ, отставнымъ солдатомъ, который содержалъ въ Цареборисовѣ постоянный дворъ. Съ первыхъ же словъ солдата Торба не помнилъ уже себя отъ радости: семейство Дули жило въ Цареборисовѣ, въ концѣ улицы, тамъ, гдѣ колодезь и сады сливаются съ рощею! Одѣвшись наскоро, Торба кинулся по улицѣ и скоро увидѣлъ указанный домикъ. Хозяева были въ саду, около амшенника. Торба пошелъ въ садъ и скоро завидѣлъ высокій, старый амшенникъ, изъ-за котораго летѣли ему на-

встрѣчу хохоть и дѣтскіе крики. Семейная картина представлялась глазамъ Торбы... Мужъ хозяйки, въ которомъ Торба легко узналъ знакомаго на станціи, нѣкогда гадавшего на «Новаго Гадателя», былъ тотъ же веселый и румяный степнякъ, только нѣсколько посѣдѣвшій; онъ помѣщался на опрокинутомъ ульѣ и сѣкъ на колѣняхъ березовымъ пучкомъ какое-то подобіе розоваго, полуобнаженнаго купидона, какъ Венера на одной картинѣ сѣчетъ розою амура. Жена, стройная барыня, съ пышными плечами и пышными, пепельными волосами, нѣсколько блѣдная, но все та же прежняя Грушенька, стояла въ сторонѣ и хохотала до упаду. Теплѣнко и его жена (такъ теперь называлась Грушенька) узнали сразу дорогаго гостя и съ радостными криками бросилась ему навстрѣчу. — «Какъ! какими судьбами?» — понеслись вопросы, и при этомъ купидонъ освобождился. — Владиміръ Авдѣичъ, почтенный Владиміръ Авдѣичъ былъ введенъ въ комнаты. Въ комнатахъ, кромѣ купидона, уже оправившаго свою курточку и другія, скинутыя до того принадлежности, встрѣтили Торбу еще три дѣвицы — сестры хозяина дома. Дѣвицы-сестры, внеся въ гостиную полныя воланы своихъ бѣлыхъ платьевъ, усѣлись по кресламъ въ живописныхъ позахъ. Пока Грушенька хлопотала съ ужиномъ, а хозяинъ раздавалъ приказанія о приготовленіи лошадей и экипажа владѣтелю. Упойловки, старшая изъ дѣвицъ, поддерживая разговоръ съ гостемъ, успѣла изъяснить, какъ онѣ скучаютъ, очень скучаютъ въ Цареборисовѣ. Въ это время высѣченный, но опять веселый купидонъ сѣлъ передъ самымъ носомъ Торбы и, покачиваясь, замѣтилъ: «А тетя Маша все вреть, дядя! Онѣ совсѣмъ и не скучаютъ; а онѣ ѣздили къ Цѣптяновымъ, одного улана смотрѣть ѣздили, и мнѣ уланъ давалъ конфетовъ, чтобы я не говорилъ, какъ онъ будетъ свататься за тетку!» — Дѣвица покраснѣла, какъ клубника, и вмѣстѣ съ другими сестрами готова была сквозь землю провалиться...

— «Ты, душенька, не мѣшай!» — замѣтилъ разбитному мальчишкѣ Торба и, посадивъ его къ себѣ на колѣни, увидѣлъ, какъ онъ тотчасъ же завладѣлъ его часовой цѣпочкою и печатками. Разсказчица переглянулась съ сестрами и стала снова излагать, какъ никто, рѣшительно никто къ нимъ не заѣзжаетъ. — «А тетя Маша опять вреть! — замѣтилъ мальчикъ: — Семенъ Семенычъ изъ суда заѣзжалъ и

играть съ ними въ карты, а меня тетя въ дѣтскую тогда запирала!»—«Ну, послушай, мой другъ!—произнесъ Торба:—если ты будешь мѣшать тетенькѣ, я тебя разлюблю, разлюблю рѣшительно!» Мальчикъ притихъ; но во время новаго разговора, когда и маменька, и папенька его уже сидѣли въ гостиной, вдругъ спросилъ: «А отчего это, дядя, у тебя такіе волосы на головѣ, будто чужіе, и столько морщинъ?» Тепленко поблѣднѣлъ, стиснулъ зубы, ухватилъ опять купидона за поясъ и, какъ котенка, понесъ его на новую раздѣлку... «Хи, хи!»—смѣялся гость въ смущеніи, управляясь передъ дамами и стараясь придать своему лицу беззаботную мину:—«Какой веселый ребенокъ!» Грушенька, для ободренія гостя, завела рѣчь о Петербургѣ, о балахъ, о театрахъ, объ оперѣ, о городскихъ новостяхъ и даже о службѣ, которую, по словамъ ея, она любила и за которую постоянно слѣдила,—и Торба, оживленный своею сферою и любезностью хозяйки, чуть не таялъ передъ пышною степнячкою, хотя невольно, при взглядѣ на нее! и на себя, думалъ: «Какая же это еще роскошная и свѣжая женщина!.. И какой ты, братъ, уже истертый и измятый колпакъ!»—«А ты, дядя, какой смѣшной!»—крикнулъ неожиданно розовый купидонъ, ворвавшись опять въ гостиную, очевидно въ отмщеніе новой, совершенной надъ нимъ расправы, и увлекъ въ погоню за собой и раздосадованнаго папеньку, и всѣхъ негодующихъ тѣтенокъ...

Нечего говорить болѣе о встрѣчѣ Торбы съ Грушенькой. Торба боялся завести рѣчь о прошломъ, о планахъ дѣтства, о предположеніяхъ жить въ деревнѣ и воскресить въ домашнемъ быту преданія старины и обычаи тихихъ, мудрыхъ дѣдовъ. Грушенька это видѣла и также молчала. Послѣ веселаго, оживленнаго перекрестнымъ разговоромъ, ужина, хозяйка дома ушла въ маленькую гостиную и за полночь засидѣлась тамъ съ гостемъ. Когда гость вышелъ оттуда и, ласково раскланявшись, оставилъ хозяевъ съ любезностію добраго, милаго и почтеннаго старичка, Грушенька склонилась на плечо мужа, и мужъ замѣтилъ, что она была блѣднѣе обыкновеннаго и слезы дрожали въ ея глазахъ...

Еще два слова. За ужиномъ Торба разговаривалъ съ хозяиномъ, превозносившимъ успѣхи своихъ трудовъ по имѣнію жены, и узналъ, что старичекъ-тесть его недавно передъ тѣмъ скончался. Тепленко выхлопоталъ ему мѣстечко

въ канцеляріи сосѣдняго дворянскаго Депутатскаго Собранія; Дуля бросилъ рюмочку, наполнился, что нерѣдко у насъ случается на старости лѣтъ, охотою труда и дѣятельности, болѣе семи лѣтъ служилъ честно и благородно, и, вмѣстѣ съ прежними годами, былъ награжденъ за усердіе пряжкой «за XXV лѣтъ службы». Старикъ чутъ съ ума не сошелъ отъ радости, сталъ показывать всѣмъ встрѣчнымъ и поперечнымъ полученную пряжку, говоря: «Вотъ, посмотрите, какая у меня пряжка!»—сталъ рисковать и разстегиваться на морозѣ отъ радости, простудился—и умеръ. На похоронахъ его были всѣ прежніе, старые друзья, и, между прочимъ, были извѣстные уже сосѣди по Поплеванковской пустоши—Непейводы и Непейквасу, донинѣ проживающіе весело, какъ истые мелкопомѣстные панки, веселы и въ здоровьи,—кромѣ, впрочемъ, Непейквасу, у котораго недавно, отъ частыхъ возліаній сцотыкача, проявилось непроизвольное шатаніе и мотаніе тѣла вправо и влѣво, сопровождаемое еще трепетаньемъ десницы, а иногда и шуйцы, почему сосѣди дали ему тотчасъ прозвище деревяннаго пильщика, какой иногда продается на ярмаркахъ, покачиваемый собственною тяжестью на жерди ярмарочныхъ палатокъ...

V. ПЕЛЬТЕТЕПИНСКІЕ ПАНКИ *).

— Что это такое?

— «Панъ на всю губу!»

Въ слободской Малороссіи, благодаря полному отсутствію мудрыхъ правилъ майората и совершенному незнанію того, что въ другихъ мѣстахъ называется золотой жизнью холо-
стяковъ, существуетъ искони одинъ родъ любопытныхъ обывателей, средина между великорусскими однодворцами и ка-
зачествомъ старой Гетманщины, которыхъ по уличному, въ народѣ, называютъ панкѣми, полупанкѣми и подпанкѣми. Эти любопытные обыватели съ недавнихъ поръ стали нѣ-
сколько исчезать, убѣгать изъ благодатныхъ степей и пере-
рождаться, появляясь въ отдаленныхъ городахъ и губерні-
яхъ въ видѣ помощниковъ откупщиковъ, помощниковъ ба-
рышниковъ и другихъ разныхъ спекуляторовъ. Но иногда
путникъ наталкивается въ степяхъ на слободку, жилище
такихъ панковъ, слободку странную и причудливую, сло-
бодку любопытную, какъ ветхая, полупонятная рукопись на
языкѣ отошедшаго безъ вѣсти, древняго нарѣчія. Подобная
слободка столько же занимательна, какъ храмы друидовъ,
развалины Ниневін и мексиканскія древности! Такой сло-
бодки даже и не увидишь, проѣзжая степью съ большой
дороги, потому что она всегда пригнѣздится въ глубокомъ
байракѣ, по берегамъ логовища тощей, степной рѣченки,

*) Первоначально «Пельтетепинскіе панки» и «Село Сорокопановка» составляли два отдѣльные разсказа, впослѣдствіи же оба эти разсказа авторомъ были соединены вмѣстѣ подъ общимъ названіемъ: «Село Сорокопановка».

или сидитъ себѣ въ лѣсу, вокругъ природныхъ зеркальныхъ ключей, надъ которыми вьются и стонутъ дикія чайки. Иногда только, рано на зарѣ, съ пустыннаго косогора или края мѣловыхъ холмовъ, примѣтишь, гдѣ-нибудь въ сторону, на окраинѣ степного горизонта, лиловый дымокъ, который рядомъ стройныхъ, несущихся въ воздухѣ столбовъ, поднялся надъ чертою туманной дали, тихо протянулся по небу и, заудрившись на маковкѣ, какъ капитель древней колонны, ступевался и исчезъ въ тихомъ воздухѣ. Эти колонны—дымъ скрытыхъ трубъ скрытой слободки. А подѣзжайте ближе, сотни золотыхъ скирдъ, какъ ряды гвардейскихъ драбантовъ, толпы наймитовъ и наймичекъ, съ громкими пѣснями и сверкающими серпами, и вереница вѣчно махающихъ, точно вѣчно зовущихъ кого-то со степи, мельницъ встрѣтятъ васъ у околицы. Панки живутъ себѣ весело! Панкамъ и нуждочки мало въ томъ, что иной разъ они сами ходятъ за плугомъ, сами доятъ коровъ, сами молотятъ горохъ и смолятъ откормленныхъ кабанчиковъ. Кабанчики вещь очень вкусная, и панки ихъ не промѣняють ни на фраки, ни на модные визиты, ни на кипучее иностранное вино. Зато, разбогатѣй панокъ, — у него является толпа наймитовъ, челядинцы совершаютъ домашнія работы, одѣваютъ, поятъ и кормятъ его, и панокъ ходитъ себѣ, заложивъ руки за спину смурого съ подпалиной бешмета, ходитъ себѣ къ сосѣду Тѣичкѣ, попиваетъ съ сосѣдомъ Тѣичкой наливки и водянки, водянки да запеканки, крестить съ сосѣдомъ Тѣичкой свою пятую дочку, и прочить свою пятую дочку въ жены сыну сосѣда Тѣички, и класть ей на зубокъ старый бабушкинъ шушунъ, шушунъ голубой, подбитый зайцемъ, старый бабушкинъ нарчевой корабликъ и алые бабушкины черевички; и, глядишь, черезъ два десятка быстро мелькнувшихъ лѣтъ, и пируетъ на задуманной свадьбѣ сосѣдей вся тихая слободка, и дивится слободка нарядамъ невѣсты, и никогда не выходятъ эти наряды изъ моды и вкуса незатѣйливыхъ панковъ. — Панки живутъ привольно! Панки такъ живутъ привольно, что болѣзнь — старость, а изъ жизненныхъ неприятностей икота, да чрезмѣрное плодородіе—только и извѣстны между панками. Вслѣдствіе этого, у большей части народонаселенія панковъ загорѣлыя лица походять на волчанскіе, переспѣлые арбузы, руки походять на ихъ собственныя ноги, у пожилыхъ дамъ иногда на

полныхъ губахъ сидятъ усы, а у дочекъ усовъ нѣтъ, зато глаза, носъ и губы рѣшительно тонутъ въ молочныхъ пышкахъ щекъ.—Сынъ зажиточнаго панка, щеголь подпаноки, какой-нибудь Вайлѣнченко, у котораго отецъ былъ, по слобожанскому обычаю, Вайлѣнко, мать — Вайлѣнчиха, дѣдъ — Вайло, а бабуся — Вайлиха, и сынъ котораго долженъ именоваться поэтому Вайлѣня, а дѣти сына его — Вайлѣнята, — надѣваетъ бекешу на лисьемъ мѣху и голубые ситцевые штаны съ портретами, приводящими въ азартъ всѣхъ собакъ слободки, и ходитъ рындикомъ по широкой улицѣ, и подмигиваетъ чернобровымъ панночкамъ и подпаночкамъ, и смотритъ, какъ панночки и подпаночки, среди чистыхъ дворишковъ, варятъ варенье, гонять водку на вишневые косточки, или же, поймавъ хохлатую насѣдку, дѣлають рекогносцировку ея благосостоянія и будущаго ея приплода. Весело живутъ панки, такъ весело и привольно живутъ панки, что самому хотѣлось бы пріютиться на тихой слободкѣ и пожить ихъ жизнью... А были ли вы, господа, когда-нибудь въ Волчанскѣ? Нѣтъ! что я говорю! Разумѣется, что были, потому что Волчанскъ такъ уже хорошъ, что и нельзя уже въ немъ не быть! Нѣтъ: были ли вы, господа, за Волчанскомъ, были ли вы тамъ, гдѣ идетъ дорога на Валки, и гдѣ не идетъ дорога на Зміевъ, потому что врядъ ли и гдѣ-нибудь можетъ идти дорога на этотъ скучный и однообразный Зміевъ. Если были, то навѣрно помните, что тутъ, не-подалеку, съ крутой мѣловой горы, виденъ долгій-долгій лѣсъ, за лѣсомъ — гора, а за горою — рѣчка, и этой рѣчки вы не найдете не только на какой-нибудь картѣ, но даже и въ пяти верстахъ далѣе отъ подошвы горы и отъ ея собственнаго истока. Рѣчка называется Маминька... На этой Маминькѣ, по обѣимъ сторонамъ, если взглянуть на нее съ горы, кучками и въ разсыпку разбросаны все слободки, слободки и слободки... На этихъ слободкахъ кое-гдѣ вы встрѣтите настоящихъ пановъ и паней, бывшихъ въ Харьковѣ и дальше; а на другихъ живутъ одни панки, — панки небогатые и тихіе, милые сердцу панки... Вотъ, напримѣръ, слободка Пельтетѣпинка, или, какъ ее зовутъ завистливые сосѣди, слободка Непересчитовка. Сорокъ-сороковъ окружныхъ панковъ особенно знаютъ, что такое Пельтетѣпинка, знаютъ и посѣщаютъ ее потому, что панки Пельтетѣпинскіе — самый гостепріимный и немудреный народъ въ свѣтѣ. Маминька,

раскинувъ въ этомъ мѣстѣ нѣсколько пространства свои владѣнія и убравшись высокострѣльчатыми тростниками, разделяетъ Пельтетѣпинку на двѣ разныхъ слободки, хотя обѣ эти слободки составляютъ одно цѣлое и никогда, рѣшительно никогда, не считали себя чуждыми другъ другу. Маминька въ Пельтетѣпинкѣ была въ давнія времена украшена мостомъ, который соединялъ оба берега; но какъ-то, въ водополье, мостъ снесло, и его уже болѣе, по заведенному обычаю, не возобновляли... Говоря по правдѣ, и незачѣмъ его было возобновлять. Зимой одна сторона панковъ сообщалась съ другою по льду, а лѣтомъ рѣчка пересыхала. Одна весна только представляла непреодолимую преграду... Да, впрочемъ, тогда каждая сторона предавалась упоенію таинствъ любви и совершенно забывала о своей сосѣдкѣ. Наконецъ, если бы кому нужно было и тогда что-нибудь сказать, такъ стоило только стать на берегу Маминьки и крикнуть. Маминька нигдѣ не была шире главной Бахмутской улицы, и потому слова звучно и легко перелетали съ берега на берегъ... Пельтетѣпинскіе панки не то, чтобы были совершенно богатые панки, однакоже нельзя сказать, чтобы они были и бѣдными панками, скудельническою голыдьбой, какъ ихъ называютъ еще въ нѣкоторыхъ сатирическихъ уѣздныхъ городкахъ. Хлѣба у нихъ было достаточно; бараны бешметы и волчьи шапки были у каждого, и ни одна панночка не засиживалась въ дѣвкахъ далѣе пятнадцатаго дня рожденія, празднуемаго подъ звуки трехъ скрипачей и слѣплого цымбалиста, оркестра пельтетѣпинской шибетуны-шинкарки. Напримѣръ, толстенкій, веселый хохотунъ, панъ Шпундикъ,—какъ онъ умѣетъ ловко набить пѣнковую трубочку табакомъ, именуемымъ сампантрѣ, и какъ въ то же время хорошъ алый коврикъ пана, постоянно вывѣшанный на крыльцѣ, рядомъ съ однимъ голубымъ костюмомъ пана, похожимъ на раскрытыя ножницы! Потомъ—панъ Макитра, этотъ хлопотунъ и живчикъ, который при каждомъ веселомъ словѣ, своемъ или чужомъ, прыгаетъ и шевелится, какъ картонная кукла съ контробасомъ, подергиваемая спрятанною сзади ниткою. А хоть бы и этотъ важный, молчаливый и всегда угрюмый панъ Холодный, съ животомъ, раздвигающимъ толпу, какъ крѣпостной, стѣнобитный таранъ,—панъ Холодный, у котораго куча дѣтей, какъ куча круглыхъ картофелинъ, поставленныхъ на картофелину, и у жены кото-

раго лицо до того полное и странное, что однажды, въ жмурки, рука незрячаго приняла его не за лицо, а совсѣмъ за другое... Но ни панъ Шпундикъ, ни панъ Макитра, ни панъ Холодный не сравнятся съ Антонъ Миннычемъ Мѳрквой, у котораго на нижней губѣ сидитъ наростъ, величиною съ игольникъ, вотъ такъ, какъ будто бы у Антонъ Минныча всегда во рту недокуренная сигарка, и у котораго всѣ сосѣди, начиная съ испражника, окружнаго, акцизнаго и судьи, до отца протопопа, матери протопопицы и двухъ сосѣднихъ арендаторовъ, объѣдаются до того, что послѣ объѣда не могутъ пошевелить ни языкомъ, ни пальцемъ, и тотчасъ прибѣгаютъ къ нѣкоторымъ облегчительнымъ медикаментамъ; съ Антонъ Миннычемъ Мѳрквой, у котораго, наконецъ, однажды ужинтъ, на его собственныхъ именинахъ, состоятъ, какъ увѣряютъ, изъ двадцати двухъ блюда! Нѣтъ спора, между обществомъ Пельтетепинскимъ есть, напримѣръ, такіе панки, какъ панъ Дудочка, который лжетъ на каждомъ шагу, какъ жидъ на бердичевской ярмаркѣ, лжетъ и всегда прибавляетъ: «Ну, ей-ей же, правда!» или: «Ну, чтобъ же у меня ротъ передѣрнуло, если это не такъ!» — и потомъ, какъ, напримѣръ, сынъ бывшаго гуртовщика, Пуныка, который икаетъ такъ неожиданно и такъ непристойно, что съ нѣкоторыхъ поръ его стали избѣгать въ оцѣнѣ многихъ домахъ, гдѣ бываетъ дамское общество... Пельтетепинскіе панки еще большіе искусники на разныя издѣлія и пріятныя, домашнія занятія. Панъ Шпундикъ, напримѣръ, очень недурно рисуетъ узоры для шитья и играетъ на флейтѣ; панъ Макитра весьма недурно шьетъ по тамбуру; панъ Холодный всѣмъ дѣтямъ своимъ дѣлаетъ куклы, но при этомъ, какъ говорятъ, собственноручно же и сѣчетъ ихъ каждую субботу. Панъ Дудочка — бобыль-бобылемъ и дѣлаетъ однѣ только непріятности своимъ знакомымъ; панъ Пуныка тоже дѣлаетъ непріятности и еще болѣе пана Дудочки, о чемъ изложено выше; но зато его подбородокъ всегда такъ выбрить, что ему говорятъ обыкновенно: «А знаете ли, Салъ Салычъ, за такого бритаго, какъ вы, двухъ небритыхъ дадутъ!» — Наконецъ, всѣми любимый Антонъ Миннычъ Мѳркава. Антонъ Миннычъ — угоститель и упоитель, хотя и не рисуетъ узоровъ, хотя и не шьетъ по тамбуру, не играетъ на флейтѣ и не дѣлаетъ куколъ; зато вы всегда увидите, какъ Антонъ Миннычъ, иногда въ шлафрокъ, а иногда и просто, отъ

жары, въ платьѣ Евы, сидитъ у себя въ садикѣ передъ кадочкой и дѣлаетъ загибеньки и простыя колбасы, такія вкусныя, что если вамъ дать онъ попробовать и тутъ же, закрывъ вамъ рукою глаза, спроситъ: «А что это такое?»— а вы и не скажете, что это такое! —И, Боже мой! сколько достойныхъ и прекрасныхъ людей, съ талантами, не менѣе достойными и пріятными, обитаетъ въ этой Пельтетѣпинкѣ, въ кругу этихъ Пельтетѣпинскихъ панковъ!.. Но чьи это два дворика стали на берегу съ двухъ сторонъ рѣчки Маминьки, стали и смотреть, какъ двѣ молодицы, пришедшія съ ярмарки, двѣ щебетухи, въ новыхъ платкахъ, лентахъ и дукатахъ,—смотреть и какъ будто сами говорятъ: «Вотъ, посмотрите на насъ, добрые люди: вотъ мы такъ заслуживаемъ того, чтобы на насъ посмотрѣли!» Чьи это два чистенькихъ и кокетливыхъ дворика?—Дворики принадлежатъ двумъ Пельтетѣпинскимъ дамамъ,—двумъ достойнѣйшимъ дамамъ слободки: Дарьѣ Адамовнѣ Передерій, съ лѣвой стороны, и Дарьѣ Адамовнѣ, тоже Передерій, съ правой стороны Маминьки... Какъ ни страненъ случай, но должно прибавить, что сосѣдки, жившія другъ противъ дружки черезъ рѣчку, точно носили одинакія имена и фамиліи, хотя никогда не были родня другъ другу и не имѣли рѣшительно ничего схожаго. Потомство Передерій искони существовало и по лѣвую сторону Маминьки; потомство Передерій искони существовало и по правую сторону Маминьки. — Дѣло въ томъ, что скопидомки-хозяйницы обѣ были еще и совершенно разнаго характера. Дарья Адамовна съ лѣвой стороны была подвижная и румяная, съ носомъ, глядѣвшимъ вверхъ, или, иначе, съ носомъ, подающимъ большія надежды,—затѣйница подтрунить на чужой счетъ, затѣйница устроить свадьбу, устроить шумную катавасію въ посторонней семьѣ и потомъ весело и беззаботно обо всемъ посплетничать. Дарья же Адамовна съ правой стороны, хотя была также ни чуть не прочь и подтрунить, и устроить свадьбу, и устроить катавасію, и потомъ обо всемъ посплетничать,—но зато почти никогда не улыбалась, никогда не вертѣлась и не двигалась такъ, какъ ея сосѣдка, все дѣлала, напротивъ, молча и сурово, безъ смѣха и прибаутокъ, безъ вѣтренной веселости и шума, и даже была нѣсколько падка къ меланхоліи. Иначе, Дарья Адамовна съ лѣвой стороны была, если можно такъ сказать,

Дарья Адамовна — Комедія; а Дарья Адамовна съ правой стороны была, если можно такъ сказать, Дарья Адамовна—Трагедія; характеръ обѣихъ проявлялся во всемъ, до чего онѣ ни касались, и потому ихъ ни въ какомъ случаѣ нельзя было смѣшать. И такъ какъ до этихъ двухъ сосѣдокъ главнымъ образомъ будетъ относиться вся наша исторія, мы скажемъ, какъ жили пани Передѣринхи, чѣмъ занимались пани Передѣринхи и въ какихъ отношеніяхъ были другъ къ другу и къ остальному обществу Пельтетѣпинки... Въ то время, какъ сосѣди двухъ сосѣдокъ, съ обѣихъ сторонъ рѣки, — (а сосѣди были: налѣво, подъ гору — панъ Кислый; за нимъ — Юнаші, за Юнашами — Билики, — далѣе пасѣчникъ Горобецъ, у котораго на головѣ не было ни единого волоска, зато борода была, какъ фартукъ, такая бѣлая и всегда расчесанная; съ правой стороны, подъ ольховою рощицей — панъ Бубырь, далѣе панокъ бѣдненькій и тихенькій — Цуцыня, за нимъ — ломатель жидовскихъ спинъ, весь заросшій усами и бакенбардами, панъ Чухрай-Перечухренко, возлѣ него — панъ Дешевый, рядомъ съ нимъ — панъ Дорогой; а тамъ и пошли Сморгеньки, Скубенки, Віенки, Павлѣнки, Пупѣнки, Савченки, Минѣнки, и всякіе ёнки, пока, наконецъ, у самаго входа въ слободку, не вышлся домъ винокура, пана Ивана Побейшею), — въ то время, говорю, какъ упомянутые сосѣди двухъ сосѣдокъ занимались хлѣбопашествомъ, сами ходили за бороною и плугомъ, сами ковали лошадей и дергали шерсть съ козъ, — сосѣдки предоставляли свое хозяйство двумъ задорнымъ и зубастымъ наймичкамъ, хуторянкамъ изъ-подъ Волчяго-Яру, а сами только солили огурчики, валили грибки и вишенъки, вышивали кошельки милымъ сердцу панычамъ, — панычамъ, пожирателямъ дѣвичьихъ спокойствій, или, какъ говорятъ о нихъ, ненасытецкимъ сердцеѣдамъ и безпардоннымъ стумасводамъ, — и проводили время въ пріятныхъ разговорахъ... Въ то время, когда Маминька замерзала или пересыхала, онѣ посылали по вечерамъ просить друга дружку на свѣчку, то-есть, какъ это у насъ водится, посидѣть, поболтать и поработать вмѣстѣ, не вводя себя въ лишній изъяснъ по освѣщенію. Когда же Маминька пышно стремилась воды свои по лону зеленыхъ береговъ, онѣ выходили, черезъ огороды, на берегъ и переговаривались другъ съ другомъ черезъ рѣчку...

— Ну, такъ какъ же тамъ у васъ все идетъ? — начинала Дарья Адамовна съ правой стороны, или Дарья Адамовна-Трагедія, поглядывая черезъ рѣчку и шевеля спицами шерстяного чулка.

— Да ничего, тётенька, очень хорошо идетъ! — отвѣчала Дарья Адамовна-Комедія веселымъ и почтительнымъ тономъ, что означало и прибавленное имя тетенки, также шевеля спицами шерстяного чулка.

— Ну, да какъ же это хорошо? — допрашивала суровая сосѣдка, прищуривая глаза черезъ оловянные очки, осѣдлавшіе ея носъ.

— Да, такъ-таки, тётенька, очень хорошо! — подхватывала веселая сосѣдка, выставляя на показъ свои румяныя и свѣжія щеки.

— И терновку перелили въ бутылки?

— И терновку перелила въ бутылки!

— И кобелька приобрѣли отъ городничаго?

— И кобелька приобрѣла отъ городничаго!

— Ну, и солодь уварили, Дарья Адамовна?

— И солодь уварила, Дарья Адамовна!

— Скажите! вотъ-какъ!.. Такъ, значитъ, и борова посадили въ сажъ къ розговѣнамъ?

— И борова посадила!

— Вотъ какъ! скажите пожалуйста!.. Это очень, скажу вамъ, любопытно, Дарья Адамовна! — произносила угрюмая сосѣдка, то блѣднѣя, то краснѣя отъ злости...

— Да-съ, очень любопытно! — подхватывала, сверкая румяными щеками, сосѣдка веселонравная: — а вамъ-то что, завидно, что ли, тётенька?

— Ну, матушка, завидно не завидно, а скажу вамъ по правдѣ, что сегодня вашъ селезень переплылъ ко мнѣ въ огородъ!

— Ну, такъ что же, что селезень мой переплылъ къ вамъ въ огородъ?

— А то же, матушка, что каналья я буду, если не сверну ему головы! — произнесла при этомъ Дарья Адамовна-Трагедія, превращаясь въ полотно и едва шевеля отъ волненія спицами чулка.

— Ну, матушка, говорите это поповой кобылѣ, а не мнѣ! Да я еще и посмотрю, какъ вы свернете селезню голову!

— А что развѣ?

— Да то же, что каналья и я буду, если и вамъ тогда не сверну головы!

— Мнѣ? — подхватывала мрачная сосѣдка, улыбаясь и задыхаясь отъ бѣшенства.

— Вамъ, именно вамъ!..

— Ну, тогда уже позвольте вамъ послать дүлю! — произносила запальчивая Дарья Адамовна-Трагедія, свертывая пальцы въ шипъ и протягивая ихъ въ направленіи къ лѣвой сторонѣ...

— А ужъ позвольте ихъ при этой вѣрной оказіи послать вамъ цѣлыхъ двѣ! — замѣчала Дарья Адамовна-Комедія и тутъ же посылала черезъ рѣчку обѣщанное... Дарья Адамовна-Трагедія на это совершенно терялась и, помолчавъ, изъясляла убѣжденіе, что съ такою злодѣйкой, какъ Дарья Адамовна (не она, а другая Дарья Адамовна!), надо говорить, наѣвшись гороху. На это Дарья Адамовна веселоправная, въ свой чередъ, заливалась дребезжащимъ хохотомъ, который далеко разносился по рѣкѣ, и говорила:

— Да вы, Дарья Адамовна, мерзавка!..

— И, матушка! — отвѣчала на это сосѣдка суровая: — мерзавка не мерзавка, только всѣмъ извѣстно, что у васъ эти клубники губы пухнуть!

— Какъ пухнуть? — спрашивала озадаченная Комедія: — этого быть не можетъ, этого никогда я не замѣчала!

— Очень можетъ быть, и замѣчала это я, я, я! — прибавляла съ ожесточеніемъ Трагедія.

— Ну, когда пухнуть губы, такъ я же вамъ доложу, что вы въ шкапу, въ спальнѣ, держите водку на сосновыхъ шишечкахъ и пьете ее каждый день по пяти, а иногда по шести рюмокъ, и отъ того у васъ носъ краснаго цвѣта — отливается и наливается, какъ термометръ, и глаза не свои!

— «Тѣфу!» — плевала на это негодующая пани съ правой стороны, и, сказавъ: — вотъ же вамъ за это что! — уходила домой переволнованная и сконфуженная до-нельзя...

Иногда такая бесѣда кончалась неожиданнымъ миромъ, и каждая пани, сказавъ: — «Ну, матушка, вы себѣ, если хотите, гуляйте, а мнѣ пора чай пить!» — расходились по домамъ. Но въ другое время, вслѣдъ за дулями и громкою личною перебранкой, утомленные пани высылали на рѣку своихъ наймичекъ, и зубастыя наймички звонкими, разди-

рающими дискантами оглашали окрестность и перестрѣливались не хуже запальчивыхъ героевъ Илиады. — «Да ты уже замолчи! — кричала одна наймишка другой, стоя на плетнѣ огорода: — ты уже замолчи, потому что я уже знаю, какая ты!» — «А какая же я?» — подхватывала противница, также стоя на плетнѣ. — «Да такая же, какъ и твоя мать!» — «А какая же моя мать, сякая ты, такая?» — «Да такая же, какъ и ты!» — «А я какая, сякая ты, такая?» — «Такая же, какъ и твоя мать!» И этотъ речитативъ тянулся нескончаемо, при сбѣжавшихся съ обѣихъ сторонъ Маминьки зрителей, разжигаемый еще поощрительными криками самихъ хозяекъ... Наконецъ и этого еще было мало: хозяйки расходились по домамъ и, въ пику дружка дружкѣ, каждая именвала свою свинью или слѣпую кобылу *Дарьей Адамовной*, и слобodka долго волновалась, раздѣлившись на два враждебныхъ лагеря, ратующіе каждый за свою обывательницу и незнающіе пощады и снисхожденія... Но такова судьба человѣческаго сердца! Подходили чьи-нибудь именины или крестины, и обѣ сосѣдки, если былъ случай переправиться черезъ рѣчку, встрѣчались снова друзьями и, ухватившись за руки, чмокали дружка дружку въ губы, произнося: — «Ахъ, это вы, душечка!» — и получая отвѣтъ: — «Да, душечка, это я!»

Однажды (случилась эта исторія въ самую засуху, когда Маминька не дѣлила Пельтетѣпинки на двѣ разныхъ слободки) тотчасъ послѣ обѣда Дарья Адамовна-Комедія прибѣжала, запыхавшись, къ Дарьѣ Адамовнѣ Трагедіи, залилась слезами и упала ей на грудь... — «Что съ вами, душечка?» — спросила хозяйка. — «Ахъ, и не спрашивайте, милашка, я такъ взволнована, такъ взволнована!» — отвѣтила гостья и снова залилась слезами. — «Да что тамъ такое?» — спросила хозяйка, оставляя чулокъ и снимая очки. Гостья на это достала платокъ, отерла глазки, отерла щеки и, вынувъ изъ-подъ лифа письмо, сказала: — «Вотъ, послушайте, душечка! вотъ какой со мной сдѣлался неожиданный случай!» — сказала и прочла вынудое письмо...

...«Милостивая государыня и если смѣю такъ назвать другъ не только мой, но и всего человѣчества! Успѣхи дружбы вашей ко мнѣ заставляютъ сдѣлать открытіе, я влюбленъ голову совсѣмъ потерялъ! разумѣется вотъ вамъ участь блаженство посланное а моя чѣмъ же я виноватъ

хоть въ рѣчку! сна не имѣю, цѣлую ваши ручки, если же когда вы обратите взоръ меня то прошу не откажите подарить меня вашею рукой вы меня знаете теперь же пришлите мнѣ нитокъ на коврижки всего одинъ мотокъ и не забывайте дрожащаго

Ивана... (фамилію гостя прикрыла пальцемъ) а также и шерсти только той которую купили въ городѣ а не вашей а письмо держите въ секретѣ!»

Гостя кончила, но не могла произнести отъ волненія ни слова и сидѣла, потупясь, какъ пойманная съ папирской пансіонерка...

— Ну, что же, шерчикъ, очень рада! — возразила суровая хозяйка: — женихъ найденъ, не надо упускать! вотъ и все!

— Ахъ! — воскликнула гостя и снова повисла на шеѣ хозяйки, и снова зачастили по щекамъ ея радостныя слезы...

Вслѣдъ за этимъ сосѣдки стали шушукаться, шушукаться, и шушукались до тѣхъ поръ, какъ вечеръ наконецъ засталъ окна темнотою, и собесѣдницы совершенно потонули въ сумракѣ маленькой гостиной. Такъ шушукались сосѣдки и на другой день, и на третій день, и цѣлую недѣлю, и положили, наконецъ, увѣдомивъ милаго жениха, начать дѣлать приданое... Черезъ недѣлю послѣ этого рѣшенія, сосѣдка, получившая письмо, сидѣла также дома и также сидѣла послѣ обѣда, какъ вдругъ дверь отворилась, и въ ея гостиную вошла Дарья Адамовна-Трагедія. Дарья Адамовна-Трагедія вошла молча, молча поклонилась, молча и таинственно сѣла на диванъ... На рукѣ ея, на шнуркѣ, висѣлъ походный чемоданъ (такъ называли въ слободкѣ ридикюль гостя); она раскрыла стальную часть чемодана и стала оттуда вынимать на столъ разныя вещи. Вышелъ оттуда клубокъ голубой шерсти и двѣ огромныя деревянные спицы съ начатымъ чулкомъ; вышелъ оттуда бронзовый наперстокъ въ видѣ волчьей головы; вышли изъ чемодана и другія походныя арматуры гостя: тамбурная иглка, оловянные очки, рогулька для лентъ, костяная палочка для ковырянья въ ушахъ, пузырекъ съ нюхательнымъ табакомъ, два хлопка корпіи изъ морского каната для затыканья ушей отъ простуды, стальной игольничекъ, въ видѣ флейты, ножницы и кирпичъ, обернутый въ вышитый гарсомъ чехолъ, для припиливанія работы. Суровая гостя

разложила все это въ большой симметріи на столѣ, поковыряла въ ушахъ ухверткою, заткнула ихъ новыми хлопками изъ морского каната, надѣла нитяныя перчатки безъ пальцевъ, осѣдлала носъ очками и, вооружась спицами, произнесла:

— Ну, матушка, а я къ вамъ тоже съ новостью!

— Съ какою новостью?—спросила хозяйка, настороживъ уши, какъ моська, въ то время какъ, перележавъ всѣ бока у ногъ мечтающей хозяйки, она неожиданно услышнить: «Жю-жжю!» или: «Фиддель, ты филасѣфствуешь?» и подниметь къ хозяйкѣ оскаленную мордочку... Гостья покинула спицы, взглянула черезъ очки, покачала головою, причемъ заколыхался на ней накрахмаленный, огромный чепецъ, распущенный, какъ перья на шлемѣ древняго рыцаря, и сказала:—«Ну, пропала и я, душечка!»—и, сказавъ: «Ну, пропала и я, душечка!»—вынула изъ ридикюля письмо и стала его читать:

...Милостивая государыня и если смѣю такъ назвать другъ не только мой но и всего человѣчества Дарья Адамовна! Не терзайте меня а я готовъ сейчасъ жениться на васъ! У меня наслѣдство семь десятинъ и пасѣка около Катышевахъ — жду отвѣта не мучьте потому что мучить можно муху или что-нибудь другое но не мучьте меня нѣжный другъ душечка! Слова ваши льются какъ алмазы изъ вашей фортуны, когда васъ слушаю и притомъ у васъ чисто русское сердце.

Иванъ... (фамилію гостья прикрыла также пальцемъ).

«Милостив... Сіятельство... Проба пера...»

— Нѣтъ!—прибавила гостья, перевернувъ письмо:—эти слова попали сюда нечаянно, они находятся уже на другой сторонѣ письма!..

Хозяйка замерла отъ удивленія, думая про себя: «И въ такую старуху, и въ такую нюню — и влюбляются!» — и произнесла, кусая губы: — «Что же, Дарья Адамовна? счастье! Поздравляю отъ всей души! Не надо упускать такого счастья!» — Гостья при этомъ словѣ стала опять смотрѣть черезъ очки, медленно сложила письмо, закачала перьями шлема и заключила хозяйку въ объятія...

Гостья и хозяйка стали снова шушукаться, шушукались-шушукались, положили также шить приданое, и посѣтительница, нагрузивъ снова извѣстный уже чемоданъ, покинула

тѣвую сторону Маминьки не прежде, какъ ночь сошла на дремлющую землю и въ рѣкѣ заколыхался живоподвижный свертокъ червонцевъ, брошенный съ неба полнымъ, яркимъ мѣсяцемъ... Вотъ, пришелъ сороковой день рожденія Антона Миныча Морквы, у котораго, какъ уже также извѣстно, во рту была всегда недокуренная сигарка и однажды ужинъ состоялъ изъ двадцати двухъ блюдъ,—пришелъ день рожденія Антона Миныча, и Антонъ Минычъ увидѣлъ вдругъ весь домъ свой полнымъ, какъ тарелка съ пшеницею, отобранною для пробы на посѣвъ. Скрипачи, съ слѣпымъ цымбалистомъ, напивали за завтракомъ и обѣдомъ; за десертомъ предстала на столѣ вавилонская башня изъ леденца и тѣста, изъ которой выскочила потомъ живая курица и много напугала и насмѣшила дамское общество.—Послѣ обѣда, увидѣвшаго гибель двухъ или трехъ дюжинокъ бутылокъ старой, неподслащенной сливки, когда двѣ рослыя дѣвки, наймички Антонъ Миныча, въ пучкахъ и тяжинныхъ юбкахъ, внесли въ залъ дымящуюся чашу варенихи,—послѣ обѣда общество засѣло — частью играть въ шашки, а частью въ карты, въ любимую игру носки...

— Да помиуйте, да что же вы дѣлаете, да этакъ вы лишите меня носа! — вскрикивалъ панъ Макитра, тотъ самый, который походилъ на картоннаго музыканта, подергиваемаго спрятанною сзади ниткою, подставивъ пану Холодному раскраснѣвшійся носъ; а панъ Холодный не слушалъ его и, прищурившись, съ свирѣпою радостью хлопалъ его по носу картами, какъ кузнецъ по раскаленной шинѣ, хлопалъ и еще злобно приговаривалъ... Слезы давно бѣжали по щекамъ пана Макитры, панъ Макитра уже чувствовалъ ознобъ въ поясницѣ и шеѣ, который чувствуютъ всѣ подвергаемые хлопанью по носу картами, какъ вдругъ въ дальнемъ углу комнаты, въ густомъ дыму сампантрѣ, голосокъ пана Дудочки произнесъ: — «А вы, господа, не знаете, а у насъ теперь двѣ новыя невѣсты!» — Какъ мужчины Целтепинскіе ни считали лугономъ пана Дудочку, какъ они надъ нимъ ни трунили и ни потѣшались, но тутъ рѣшительно не вытерпѣли и подступили къ нему съ разспросами, позабывъ и о картахъ, и о носѣ пана Макитры...

— Да кто же это такія невѣсты? да вы о комъ говорите? — допрашивали Дудочку любопытные панки, тѣсясь къ нему со всѣхъ сторонъ. Дудочка сдѣлалъ изъ своего

лица лицо торжественное и мѣрнымъ шопотомъ произнесъ: — «А это, господа, наши пани; это — Дарья Адамовна Передерій и ея сосѣдка, тоже Дарья Адамовна Передерій!» — «Да ты, братъ, врешь?» — замѣтилъ прямо панъ Холодный, дѣлавшій дѣтямъ своимъ, какъ уже извѣстно, собственно-ручно куклы и въ то же время, также собственноручно, сѣкшій ихъ каждую субботу. — «Ну, ей-ей же, это правда! Ну, чтобъ же у меня ротъ передернуло, если это не такъ! — произнесъ панъ Дудочка обычное свое утвердительное слово: — а онѣ даже и приданое уже стали шить!» — Панъ Холодный на это уставилъ лобъ въ землю, а общество единогласно рѣшило, идти къ хозяину дома и объявить ему услышанную новость. — Хозяинъ дома былъ найденъ обществомъ въ гостиной, гдѣ онъ стоялъ на колѣняхъ, на коврѣ, въ кругу обступившихъ его дамъ, и объяснялъ, едва ворочая языкомъ, что это не день его рожденія, а день его сердца, потому что столько милыхъ особъ сошлось привѣтствовать его сердце.

— Сердце, братъ, сердцемъ! — произнесъ на это, входя въ гостиную, съ разбитымъ носомъ, панъ Макитра: — а дѣло, братъ, въ томъ, что наши пани Передеріихи обѣ, съ недавняго времени, невѣсты!

Пани Передеріихи на это вскрикнули: — «Ахъ!» — хотѣли было бѣжать, но тутъ же и остались и взволнованнымъ голосомъ, по требованію собранія, объявили, что точно онѣ невѣсты и что каждой изъ нихъ сдѣлано предложеніе со стороны достойныхъ людей, извѣстныхъ обществу. Хозяинъ, совладавъ не безъ трудностей съ сигаркою, которая, при настоящемъ безсиліи языка, рѣшительно мѣшала ему говорить, пригласилъ взглядомъ собраніе сѣсть и спросилъ у двухъ переконфуженныхъ дамъ имя жениха каждой изъ нихъ... Гулъ и крики поднялись въ гостиной, едва дамы исполнили желаніе хозяина. Онѣ обѣ, и въ одно и то же время, произнесли требуемыя имена, и эти имена у обѣихъ оказались именемъ фельдшера сосѣдней слободки, который незадолго передъ тѣмъ гостилъ въ Пельтетеппикѣ и лѣчилъ открывшуюся тутъ болѣзнь овецъ... Въ гостиной прозвучало имя — Ивана, Андреева сына, Напрѣва.

— «Извергъ, варваръ, душегубъ, мерзкій волокита! да его надо отправить туда, гдѣ козамъ рога правятъ!» — кричали гости, намекая на сосѣдній уѣздный городъ, мѣсто право-

судія:—да чтобы надъ нимъ свѣтъ не свѣталъ и праведное солнце во вѣки не восходило!»—Пошли толки, соображенія и выводы.—Но, сколько гости ни толковали, сколько ни соображали и ни выводили, сколько ни утѣшали Дарью Адамовну съ правой стороны и Дарью Адамовну съ лѣвой стороны, никто ничего не придумалъ для поправленія печальнаго дѣла. Одинъ изъ гостей, именно какой-то заѣзжій нѣмчикъ, Густавъ Густавичъ,—котораго сосѣдніе панки звали Остапъ Остапычъ и прозвище которому припечатали Мадаменко, по тому случаю, что онъ былъ сынъ гдѣ-то проживавшей гувернантки мадамы,—изъяснилъ, что надо на него подать жалобу въ уѣздный судъ; другой, именно поклонникъ французскаго языка, панъ Чубченко, съ флюсомъ, почему у него лѣвая щека была въ видѣ огромнаго яблока, говорилъ, что жалобы подавать не надо, а надо его оттащить за виски и взъерепенить ему хорошенько марфѹтку (этимъ намекалось на бока фельдшера); остальные, наконецъ, говорили, что не надо его ни таскать за виски, ни взъерепенивать ему марфѹтки, а надо съѣздить къ какому-то Силентію Викентьичу Шюколо, который хотя былъ такъ себѣ,—Богъ съ нимъ!—но все-таки былъ хорошій человекъ, курилъ не корешки, а цѣльный роменскій табакъ, и зналъ уже, какъ учить такихъ молодцовъ, какъ фельдшеръ. Посыпались новыя догадки и предположенія, догадки и предположенія смѣшались, наконецъ, въ неясный гулъ, и все въ этомъ гулѣ потонуло, какъ вдругъ въ дверяхъ гостиной показалась высокоумная и высокоуважаемая пани, пани Сенклетъя Повсѣкакьевна Дратва, которую хозяинъ позавылъ пригласить на свой праздникъ и которая, между тѣмъ, какъ позабытая на крестинахъ сказочная фея, сама явилась на этотъ праздникъ. Пока Антонъ Миннычъ стоялъ передъ нею и, заикаясь, излагалъ свои извиненія, гордая и рѣшительная пани выслушала наскоро рассказъ о происшедшей исторіи и, громко потребовать трубку, усѣлась на диванъ, затянулась, какъ любой гусаръ, пустила рядъ колецъ, пронизала эти кольца особою струйкой дыма и, подбоченясь, произнесла:

— А пани Передеріихи лучше всего сдѣлаютъ, если сей же часъ сядутъ въ мою бричку и поѣдутъ со мною къ этому подлецу!

Собраніе единодушно одобрило мысль пани Дратвы и про-

водило изъ оконъ глазами скрывшуюся въ концѣ слободки бричку... И покатила эта бричка прямо къ коварному фельдшеру; но куда бричка ѣдетъ къ коварному фельдшеру, скажемъ, кто была пани Дратва и кто былъ самъ коварный фельдшеръ...

Сенклетія Повсѣкакьевна Дратва представляла весьма интересныя черты. Она была необыкновенная хозяйка, сама молотила рожь, сама дергала за усы пьянаго работника, сама стряпала на кухнѣ и была грозой всей Пельтетепинки. Ее боялись и слушались, какъ мы, школьники, во время оно, боялись и слушались нѣкоего бѣглаго прусскаго фельдфебеля, бывшаго у насъ учителемъ географіи и литературы, — фельдфебеля, откладывавшаго изъ жалованья постоянно часть для платы пени сторожамъ, лишеннымъ къ каждому первому числу нѣсколькихъ зубовъ на верхней или на нижней челюсти. Однажды съ пани Дратвой былъ любопытный случай. Она пригласила къ себѣ исправника, и по этому случаю ея единственный слуга и косарь Микита, былъ взять съ поля, одѣтъ въ суконную куртку и набойчатые шаровары и введенъ въ буфетъ. — «Ну, Микита, — говорила пани Дратва, вручая ему огромный подносъ съ чашками: — вотъ это тебѣ чашки! Смотри же, прежде всего подавай исправничихъ: она такая полная, и ты, какъ войдешь, сейчасъ ее увидишь!» — Микита бережно вступилъ въ гостиную, окинулъ взоромъ полукругъ гостей и потерялся, потому что, въ двухъ или трехъ мѣстахъ полукруга, увидѣлъ одинаково полныхъ паней: пани исправничиху, пани протопопицу и пани винокуршу! Онъ кашлянулъ и ступилъ къ протопопицѣ. — «Не туда, Микита!» — шепнула съ досадою хозяйка, дергая его за поясъ. Микита повернулся и потерялъ присутствіе духа; онъ захлопалъ глазами и въ туманѣ направился къ какому-то невзрачному паньчу. — «Не туда, Микита!» — шепнула хозяйка, опять дергая его за поясъ. И Микита ступалъ то вправо, то влево, до той поры, а пани Дратва, говоря: — «Не туда, Микита! Не сюда, Микита!» — также до той поры дергала его за поясъ, что поясъ, наконецъ, развязался и Микита очутился среди комнаты превращенный, какъ переодѣтая въ секунду танцовщица въ балетѣ. — «Вотъ такъ, пани матко! — сказалъ Микита, стоя съ подносомъ среди ошеломленныхъ гостей: — додергались до того, что теперь уже Микита совсѣмъ ни туда, ни сюда!» Это проис-

шествiе обошло далеко околотокъ, несмотря на всю любовь къ пани Дратвъ.— Что касается до фельдшера, то послѣднiй былъ еще замѣчательнѣе пани Дратвы.— Онъ былъ то, что называютъ бѣлый арабъ: съ крупными губами и бурчавыми русыми волосами. Ходилъ онъ тихо, говорилъ тихо, чихалъ тихо, смѣялся тихо, даже обычные слова: «Какъ ваше здоровье?» или: «А что, какова теперь погода?»—говорилъ на ухо и шопотомъ, точно сообщалъ какія-нибудь соблазнительныя неприличности. Тѣмъ не менѣе, однако, онъ былъ большой хитрецъ и исподтишка иногда достигалъ осуществленiя такихъ плановъ, о которыхъ не смѣли подумать и болѣе смѣлыя души...

Когда онъ былъ еще въ ближнемъ городкѣ и учился медицинѣ у одного доктора, весельчака, азартнаго игрока въ банкъ и общаго друга и свата, онъ обыкновенно уходилъ рано по-утру на рынокъ играть съ мясниками въ шашки и всегда возвращался домой съ бараньимъ бокомъ, связкою загибенекъ или филейкою, частью говядины для жаркого. Поселившись на слободкѣ, у какой-то троюродной тетki, Напрѣвъ сдѣлался любимцемъ всѣхъ сосѣднихъ маменекъ. Ему, на масляную, нерѣдко навязывали сюрпризомъ на ногу деревянную колодку, провозвѣстницу свадьбы, и заставляли отъ нея выкупаться... Напрѣвъ не выкупался, потому что былъ страшно скупъ и не любилъ терять даромъ гривенниковъ и полтинниковъ; колодкамъ же былъ очень радъ и не упускалъ случая поволочиться за смазливými хуторянками. Иногда въ кадрили онъ вдругъ говорилъ своей дамѣ:— «Позвольте, сударыня, поцѣловать вашу ручку?»— На это дама отвѣчала:— Ахъ! какъ это можно! у васъ есть своя!»— «Своя дѣло другое, а ваша лучше и можетъ меня осчастливить!»— замѣчалъ козенно фельдшеръ, намекая на весьма понятный голосъ сердца, и былъ, словомъ, любезнѣйшiй и милѣйшiй въ околоткѣ молодой человекъ.

Однажды чуть даже не устроилъ онъ свадьбы; но дѣло неожиданно разошлось, и разошлось по весьма странной причинѣ. Невѣста Напрѣва оказалась совершенно чуждою познанiя многихъ общественныхъ словъ. Прiѣхавъ однажды къ матери невѣсты и не заставъ ея дома, Напрѣвъ чмокнулъ невѣсту въ губы и произнесъ:— «Скажите, душечка, мамашѣ, что я былъ съ визитомъ!»— «Съ визитомъ?»—спросила простушка, а время тогда было зимою:—отчего же вы

не попросите его въ комнату? еще какъ бы не замерзъ!» Въ другое время, возстановляя здоровье невѣсты, нарушенное коликою отъ гречневыхъ блиновъ съ постнымъ масломъ, фельдшеръ сказалъ: — «Кушайте и борщикъ, душечка, съ аппетитомъ, и уточку кушайте, и варенички кушайте, съ аппетитомъ!» — «Да я посылала уже за аппетитомъ, — отвѣчала простушка-невѣста: — да только его совсѣмъ не нашли на базарѣ!» Напрѣвъ закусилъ губы, ловко отказался отъ обѣщанной руки, и, когда аккуратная маменька невѣсты намекнула ему о долгѣ, о занятыхъ у нея двадцати пяти рубляхъ, Напрѣвъ также ловко составилъ къ ней объяснительное письмо и въ концѣ этого письма замѣтилъ: — «А что касается, сударыня, до приведеннаго здѣсь долга, то я одинъ лишь долгъ чувствую — именно долгъ совершеннаго почтенія и преданности, съ коими имѣю честь быть навсегда и во вѣки такой-то!» — Къ такому-то коварному челоуку подкатила, наконецъ, бричка съ тремя пельтетепинскими дамами. Но къ чему описывать, къ чему изображать, какое печальное и тягостное окончаніе имѣла эта затѣянная поѣздка? Къ чему это изображать? Краска выступаетъ на лицѣ автора, и если бы онъ могъ очутиться въ эту минуту въ своей книгѣ, очутиться въ видѣ какой-нибудь буквы, среди изображаемыхъ имъ строчекъ, онъ увидѣлъ бы, вѣроятно, краску и на щекахъ читателя! Секлетѣя Повсѣкаевна вошла къ фельдшеру, стала передъ обманщикомъ, держа за руки трепещущія жертвы, и произнесла: — «А ну-ка, голубчикъ, говори, какая изъ этихъ двухъ дамъ избрана тобою? Говори! Письма-то ты писалъ къ нимъ обѣимъ!» — Напрѣвъ, въ положеніи, которое можно сравнить съ положеніемъ пуделя, застигнутаго въ кухнѣ надъ приготовленными къ столу котлетами, сталь-было запыраться, къ ужасу обѣихъ жертвъ; но пани Дратва нагнала на него такого холоду, что коварный волокита закрылъ лицо руками, опустилъ къ ногамъ дамъ и чуть слышнымъ отъ страха и смущенія голосомъ пролепеталъ: — «Это я, Дарья Адамовна, нарочно... это я не влюбленъ... это я... боровъ... я хотѣлъ выпросить у васъ борова на заводъ и сказать вамъ!..»

Предоставляю читателю вообразить все негодованіе и весь ужасъ Пельтетепинскихъ дамъ, быстро покинувшихъ жилище коварнаго волокиты, и замѣчу только, что все недоумѣніе произошло вслѣдствіе того, что посланный фельдшера отдалъ

письма, наведенный въ ошибку по случаю одинакихъ именъ сосѣдокъ, не одной, которой онѣ адресовались, а обѣимъ вмѣстѣ, и что фельдшеръ, дѣйствительно, замысливъ выманить у Дарьи Адамсѣны съ лѣвой стороны для завода бобра, рѣшился достигнуть этого сердечнымъ путемъ... Призваніе фельдшера было въ тотъ же вечеръ у Антонъ Миньча Морквы сообщено всему Пельтетепинскому обществу, и Пельтетепинское общество повело противъ безсовѣстнаго волокиты такіа мины, что не прошло и году, какъ этотъ волокита покинулъ ближнюю слободку и, подъ видомъ *будущаго*, прописаннаго въ подорожной одного проѣзжаго офицера, уѣхалъ и съ той поры пропалъ безъ вѣсти... Сосѣдки скоро успокоились и попрежнему теперь снова выходятъ на берегъ Маминьки; выходятъ переговариваться, ссорятся и мирятся, мирятся и ссорятся, и служатъ знаменемъ дружбы или раздора для двухъ сторонъ слободки Пельтетепинки, и служатъ украшеніемъ обѣихъ сторонъ общества милыхъ и достойныхъ панковъ слободки Пельтетепинки...

1854 г.

~~~~~

# Оглавление.

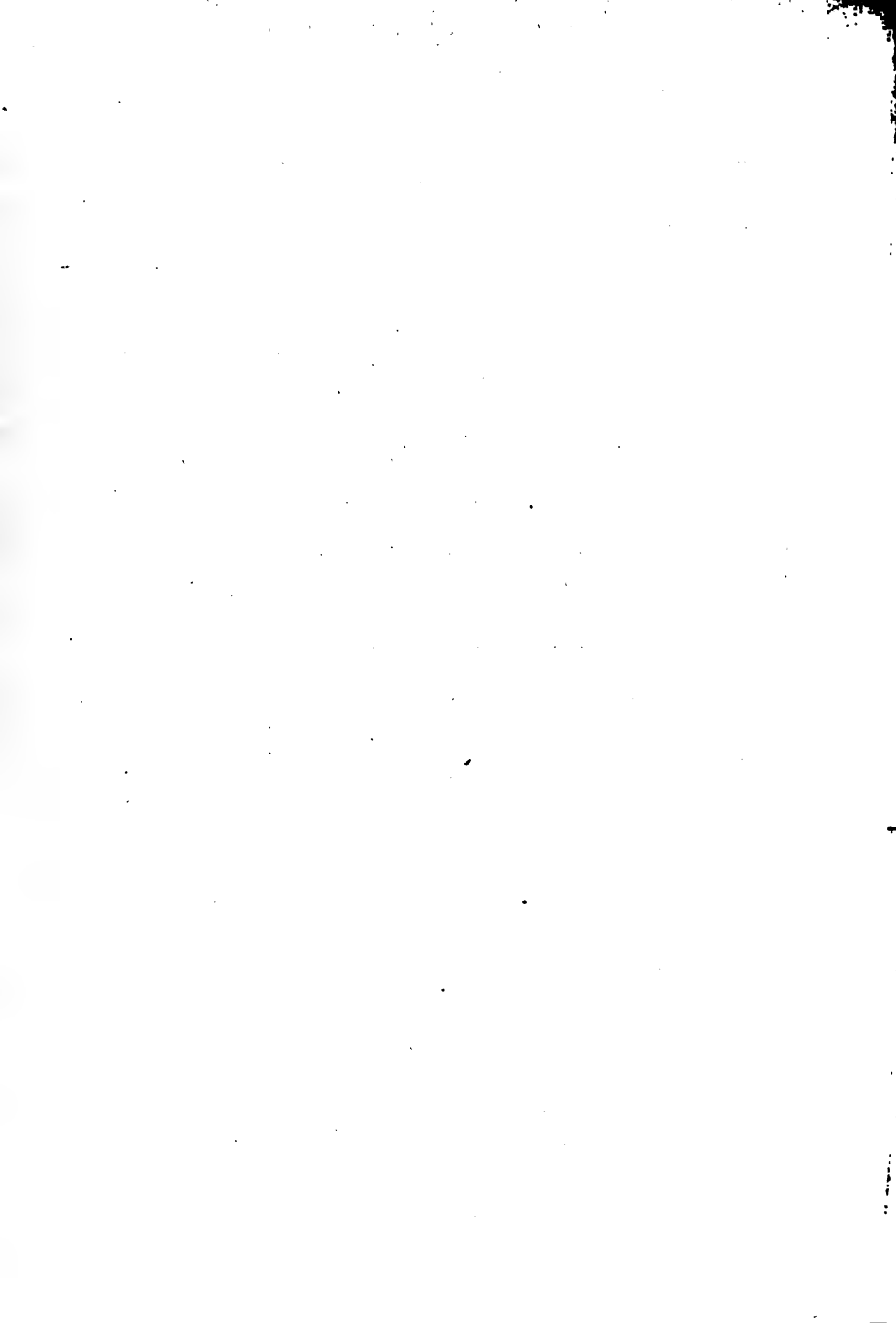
## ХVII ТОМА.

|                                   | СТР. |
|-----------------------------------|------|
| Бѣсъ на вечерницахъ. . . . .      | 3    |
| Пенсильванцы и каролинцы. . . . . | 25   |
| Былое и новое. . . . .            | 56   |
| Вечеръ въ черешняхъ. . . . .      | 66   |

### Слобожане. Малороссійскіе рассказы.

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Введеніе. . . . .                | 77  |
| I. Степной городокъ. . . . .     | 86  |
| II. Слободка. . . . .            | 110 |
| III. Дѣдушкинъ домикъ. . . . .   | 126 |
| IV. Хуторянка. . . . .           | 140 |
| V. Пельтетеинскіе панки. . . . . | 172 |





**СОЧИНЕНІЯ**  
**Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.**

---

**ТОМЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.**

---

**ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,**  
**ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,**  
**СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.**

---

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

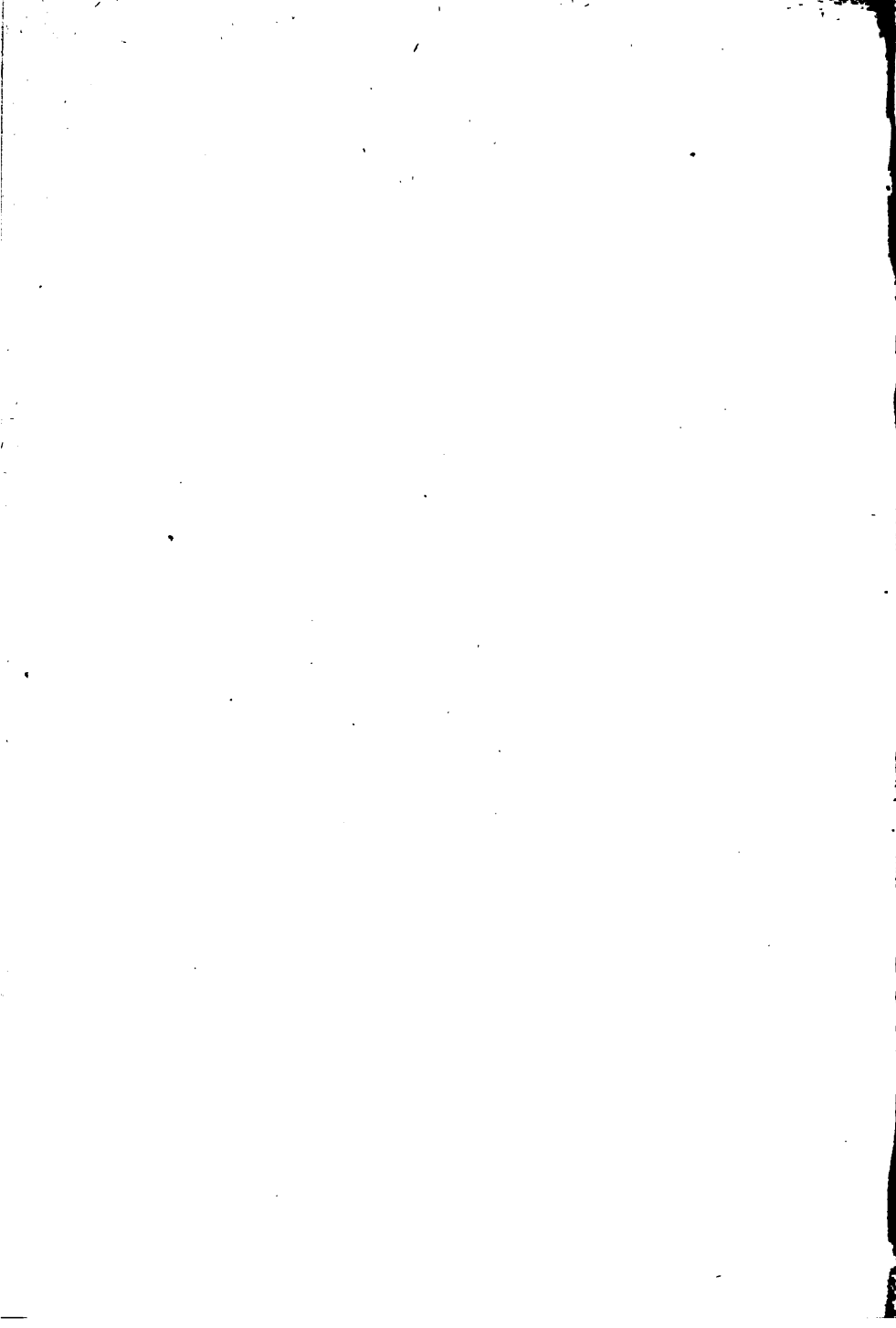
**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.**  
**Изданіе А. Ф. МАРКСА.**  
**1901.**





Типографія А. Ф. Шариса, Измайл. пр., № 29.

# РАЗСКАЗЫ.



# ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ НА ДНѢПРѢ.

(1787 г.)

РАЗСКАЗЪ.

«Я, матушка, прошу воззрѣть на здѣшнее мѣсто, какъ на такое, гдѣ слава твоя — оригинальная, и гдѣ ты не дѣлишься ею съ твоими предшественниками; тутъ ты не слѣдуешь по стезямъ другаго».

(Письмо Потемкина къ Екатеринѣ.)

Императрица Екатерина пожелала увидѣть «свое маленькое хозяйство» — вновь прибрѣтенную Новороссію. Она выѣхала изъ Петербурга 7-го января 1787 г. въ кругу отборныхъ лицъ двора, въ сопровожденіи пословъ французскаго, австрійскаго и англійскаго, поджидая на дорогѣ встрѣтить двухъ вѣнценосныхъ гостей — польскаго короля, Станислава Августа, и австрійскаго императора, Иосифа Второго. Императрица совершала путь въ раззолоченной каретѣ; четырнадцать другихъ каретъ везли ея свиту и дворъ. Въ экипажи впрягалось по восьми лошадей. До шестисотъ лошадей заготовлялось на каждой станціи.

Современникамъ это странствіе Екатерины казалось шествіемъ божества по землѣ; лица, окружавшія ее, казались геніями, намѣстники въ вышитыхъ золотомъ кафтанахъ — королями. Придворнымъ лакеямъ кланялись, принимая ихъ за генераловъ. Свѣтлѣйшій Потемкинъ, прозванный запорожцами *Грицкомъ Нечесой*, ничего не падалъ, чтобы путешествіе Екатерины сдѣлать по-истинѣ волшебнымъ.

Цѣлые дворцы были построены для ея ночлега. Цѣлые

лѣса были сожжены на освѣщеніе пути для ея каретъ. По сторонамъ дороги горѣли костры и сотни смоляныхъ бочекъ. Цѣлые рынки всякой живности уничтожались на перевалахъ для насыщенія желудковъ царственнаго поѣзда. Встрѣтился ветхій хуторъ, невзрачная деревенька—долой все старое и ветхое. Подгнившія избушки снесены, и на мѣсто ихъ выстроены новыя, съ «веселыми перспективами» и «романическими перестілями». Кое-гдѣ возведены триумфальныя ворота, съ амурами и стихотворными надписями. На опустѣлыя поля согнаны огромныя стада овецъ и табуны лошадей. Наступила весна. Пастухи одѣты въ красивые мѣстные наряды и на свирѣляхъ привѣтствовали свою царицу. Цѣлый городъ Алешки, на Днѣпрѣ, противъ Херсона, былъ выстроенъ въ теченіе одной зимы. Гдѣ не было вовсе деревень, были нарисованы ихъ красивыя декораціи, съ барскими домами, церквами, садами и бесѣдками. Царица остановится на ночлегѣ, а той порой декораціи соберутъ и перевезутъ далѣе. Какъ было не плѣниться этими видами въ мѣстахъ, гдѣ еще недавно рыскали поляки и носилась дикая татарва. Пріятные маленькіе обманы были во вкусѣ вѣка. О нихъ, быть-можетъ, подъ рукою и знали, но они отраднo щекотали самолюбіе.

Потянулись безлюдныя за-днѣпровскія степи. На нихъ встаетъ клубами пыль, несутся ряды всадниковъ. Стрѣляютъ изъ винтовокъ, вѣютъ знамена, гремятъ барабаны, штыки блестятъ на солнцѣ. Это—новая украинская армія, отряды пикинеровъ и гусарь, въ «удобныхъ и нарядныхъ мундирахъ», придуманныхъ самимъ свѣтлѣйшимъ. И тутъ же ближе, глядя на эволюціи щегольской конницы, ходятъ хоровами поселяне и поселанки. Крики вивать и украинскіе напѣвы несутся съ берега. На сухомъ пути знатное шлехтство, т. е. дворянство, сановники свѣтскіе и духовные, привѣтствуютъ царицу пышно-лѣстивыми рѣчами. Въ Мстиславѣ могилевскій архіепископъ Георгій Конніскій началъ привѣтственную рѣчь словами: «Оставимъ астрономамъ доказывать, что земля около солнца обращается; наше солнце вокругъ насъ ходитъ». Первослушанный въ Херсонѣ для черноморскаго флота корабль названъ именемъ «Слава Екатерины». Въ Каневѣ на Днѣпрѣ императрицу встрѣтилъ король Станиславъ-Августъ, въ ожиданіи великой гостыи Малороссіи, пожертвовавшій здѣсь, по словамъ тогдашнихъ

французскихъ газетъ, «тримя мѣсяцами времени и тремя милліонами денегъ, за три часа свиданія съ императрицею русскою!»

Въѣздъ въ Кіевъ былъ совершенъ зимой, при ста тридцати одномъ выстрѣлѣ изъ пушекъ и сдачѣ ключей комендантомъ крѣпости. Сотни купчихъ и мѣщанокъ, въ малороссійскихъ одеждахъ, провожали карету императрицы. Она явилась мѣстному дворянству на городскомъ балѣ, веселая, милостивая, любезная, въ атласномъ зеленомъ молдаванѣ и въ шитыхъ золотомъ башмакахъ, проиграла до десяти часовъ въ карты и удалилась въ свои покои, повергнувъ всѣхъ въ очарованіе и восторгъ.

Объ этомъ въѣздѣ въ Кіевъ Екатерина такъ писала наутро къ генераль-поручику и сенатору Еропкину въ Москву:

«Петръ Дмитріевичъ! Вчерашній день, въ пять часовъ за полдень, я сюда благополучно и здорова пріѣхала. Я думала найти въ сихъ полуденныхъ мѣстахъ и подъ сорокъ девятымъ градусомъ воздухъ теплый, а напротивъ того. Мы въѣхали въ сей городъ съ двадцати-градуснымъ морозомъ, который и въ Петербургѣ рѣдкость. Однако, воздухъ здѣсь имѣетъ менѣе суровости; понеже, при величайшемъ людствѣ и встрѣчѣ, непримѣтно было, чтобъ кто отморозилъ уши или носъ, что бы на сѣверѣ, конечно, воспомядывало. Здѣсь пріѣзжихъ тьма, но, кромѣ гетмана Браницкаго, прочихъ еще не успѣла узнать. 30-го января 1787 г.»—И въ другихъ письмахъ къ Еропкину, удивляясь, что въ Малороссіи «на сто-тридцати верстахъ разстоянія дубоваго и сосноваго лѣсу столько, какъ сроду не случалось видѣть въ одинъ день»;—она, между прочимъ, писала о Кіевѣ: «Здѣсь великое множество поляковъ наѣхало и всякій день еще прибываетъ. Прошедшее воскресенье у меня былъ балъ, на которомъ персонъ до пятисотъ было обоого пола.—Здѣсь третій день какъ не мерзнетъ, и погода весенняя. Мы всѣ здоровы, въ ожиданіи вскрытія Днѣпра, который въ устьѣ у Херсона и выше пороговъ уже вскрылся, а здѣсь еще продержитъ легкими морозами при солнечномъ сіяніи во весь день».

Два съ половиною мѣсяца, съ января до половины апрѣля, Днѣпръ задержалъ Екатерину въ Кіевѣ. Отъ 23-го марта она писала Еропкину: «Сегодня Днѣпръ тронулся, и уже въ лодкахъ оный переѣзжаютъ; однако, еще холодновато. Я надѣюсь, еще Богъ изволитъ, въ половинѣ будущаго

апрѣля отселѣ на галерахъ пуститься далѣе». Въ письмѣ къ королевско-великобританскому надворному совѣтнику и лейбъ-медику Циммерману, передъ отбѣздомъ изъ Кіева, Екатерина писала: «Завтра отправляюсь въ путь и поѣду внизъ по Днѣпру до Херсона. Кіевъ своимъ положеніемъ есть мѣсто совершенно живописное. Четыре части города весьма обширны, но очень худо застроены. Однакожъ, давно уже сей городъ не имѣлъ столь большой нужды въ хорошихъ квартирахъ, какъ во время трехъ-мѣсячнаго моего въ немъ пребыванія. Число разныхъ прѣѣзжихъ народовъ было весьма велико. Трудно отгадать, что ихъ привлекло въ Кіевъ, ибо нельзя полагать, чтобъ всѣ они обмануты были нѣкоторыми газетами, которыя изо всей силы повѣщали будущее мое коронованіе въ Тавридѣ, или здѣсь, о чемъ никогда и не думано».

22-го апрѣля императрица и дворъ со свитою сѣли на галеры, раззолоченныя и убранныя флагами. На каждой помѣстился хоръ музыки. Галера «Днѣпръ» выкинула адмиралтейскій флагъ. На ней ѣхала императрица. По сигналу всѣ сходились обѣдать на галеру «Десну». Время шло быстро. Черезъ недѣлю прибыли въ Кременчугъ. Это было 30-го апрѣля. Императрица вышла рано утромъ на палубу изъ каюты, гдѣ постоянно еще топили каминъ, и изумилась. Украинская весна была во всемъ блескѣ...

Тогда уже во всей красѣ пышно цвѣли, въ прибрежныхъ садахъ и лѣсахъ, черешни, дикія яблони и груши. Берега устилались коймами цвѣтовъ; голубые прѣлѣски цѣплялись по отвѣсамъ скалъ. Алый воронѣцъ поднималъ свою голову среди моря первой сочной зелени. Лиловые ирисы и желтые дикіе тюльпаны мелькали по луговинамъ, а кусты и деревья стонали отъ криковъ птицъ. У мутныхъ еще водъ Днѣпра, надъ камышами, перепархивали желтогрудыя иволги и краснощекие дятлы. Съ кормы галеръ нѣкоторые изъ свиты забрасывали удки. Между старыхъ пней по берегамъ порой мелькали золоторогія змѣйки. Рои насѣкомыхъ роились въ вѣшнихъ лучахъ. Баба-птица едва успѣвала въ исполинскій зобъ проглатывать мелкую, глотаемую у береговъ рыбу. Небо было сине и безъ единой тучки. Близость юга была слышна на каждомъ шагѣ. По вечерамъ, на зарѣ, гребцы, чубатые и усатые хохлы, затыгивали пѣсни, и, подъ мѣрный плескъ веселъ, слышались напѣвы *Долы, Журавля* и веселыхъ

тогдашнихъ *Вербунокъ*, подъ которыя набирались изъ слободскихъ и запорожскихъ казаковъ новые полки гусаръ.

Такъ подвигалось шествіе водою до 6-го мая, когда галеры были въ пятидесяти верстахъ отъ прибрежнаго мѣстечка Новыхъ Кайдакъ.

День открывался туалетомъ императрицы, при разнесеніи кофе. Вскрывались пакеты, доставленные съ гонцами сухимъ путемъ изъ Петербурга, Москвы и чужихъ краевъ. Время до обѣда шло въ разговорахъ. Императрица, въ плавучей залѣ, работала со своими секретарями и письмоводителями. Тутъ же были и аудіенціи высшимъ сановникамъ. Обѣдали за общимъ столомъ. Одушевленные рѣчи пересыпались французскимъ остроуміемъ. Принцъ де-Линь, какъ знали нѣкоторые изъ собесѣдниковъ, велъ путевыя записки. Послѣ обѣда читали французскія и нѣмецкія комедіи, писали шуточные русскія и французскія анаграммы, буримѣ, загадки, сатирическіе куплеты, играли въ фанты, шахматы и въ карты. Кто-то изъ свиты красками снималъ виды скалъ и береговъ Днѣпра.

Императрица каждое утро, въ пудромантелѣ, чепцѣ и въ кофтѣ усаживалась къ столу своей каюты, открывала занавѣску у окна, выходившаго на рѣку, замыкала дверь и на листахъ переплетенной въ зеленый атласъ тетрадки упражнялась писаніемъ стиховъ. Придворные сгорали нетерпѣніемъ услышать новое произведеніе царственнаго автора. Впослѣдствіи открылось, что это была комическая опера: «Храбрый и смѣлый витязь Архидѣичъ», игранная потомъ въ Петербургѣ.

Въ куплетахъ оперетки отражалось собственное, пріятное въ тѣ минуты, настроеніе души императрицы. Екатерина писала:

«Днесъ шумять потоки, тихи вѣтры вѣютъ.  
И ключи изъ горокъ воду бѣютъ;  
Прешироки рѣки водъ плескать не смѣютъ,  
А струи водъ свѣжихъ въ поле льютъ,  
Сладко напоая землю растворенну,  
Естество прекрасно обновятъ,  
Обольщенны очи, зрящи на вселенну,  
Нѣжны чувства тѣмъ увеселятъ...»

«Я куда ни погляжу,  
Тамъ утѣхи нахожу;  
Тамъ покоятъ соловьи,  
Множа радости мои...»



Литературныя занятія Екатерины были въ одно утро неожиданно прерваны легкимъ стукомъ въ двери. Она спросила: «*Wer ist dort?*»—Веселый и звонкій голосокъ дежурной камеристки Пехтеревой торопливо отвѣтилъ: — «*Da ist Jemand von dem Fürst!*»—Императрица велѣла ввести пришедшаго. То былъ посланный отъ князя Потемкина, графъ Михаилъ Петровичъ Румянцевъ. Онъ прискакалъ отъ фельдмаршала изъ Кайдакъ съ извѣстіемъ, что императоръ австрійскій Іосифъ II, подъ именемъ графа Фалькенштейна, около 6-го мая пріѣхалъ въ Миргородъ и 8-го вѣхалъ въ Кайдаки, въ сопровожденіи Потемкина, собираясь посѣтить Екатерину на галерахъ. Императрица сейчасъ же приказала кинуть якоря и вышла на берегъ, гдѣ, рядомъ съ галерами, по сухому пути, вѣхали ея придворные экипажи. Тамъ она пересѣла въ карету и, въ сопровожденіи Пехтеревой, графа Румянцева и графа Безбородко, поспѣшила отъ Днѣпра навстрѣчу къ графу Фалькенштейну.

— Ну, скорѣе, друзья, скорѣе! — сказала она ямщикамъ изъ мѣстныхъ жителей, усѣвшись въ раззолоченный рыдванъ и жадно впивая въ круглое, съ рѣзбою, окно душистый свѣжій воздухъ весенняго утра.

Главный ямщикъ бойкаго, поджараго обывательскаго восьмерика повернулся и, скинувъ шапку, при чемъ свѣсился за его ухо чернѣйшій чубъ, отвѣчалъ, указывая на карету:

— Коли бѣ не вотъ эта золотая бричка, матинко, такъ мы бѣ тебя такъ подхватили, что ажъ колеса бѣ горѣли...

Императрица улыбнулась и разговаривалась съ графомъ Безбородко. Карета медленно взобралась на крутой, возвышенный, правый берегъ Днѣпра и быстро покатиалась по узенькому проселку. Было шесть часовъ утра.

Слѣва мелькали поемные луга, покрытые туманомъ и поросшіе камышами. Справа тянулись холмы, пересѣкаемые зеленѣющими «логами», сѣнокосы и пахоти кайдацкихъ обывателей. Въ одномъ мѣстѣ, въ воздухѣ, надъ головами какъ бы прозвенѣли трубы. Екатерина выглянула изъ кареты: тремя косяками отъ Крыма за Днѣпръ тянулись по небу стаи журавлей. Форейторы скакали въ пыли и съ криками погоняли лошадей.

— Я зачинаю походить приключеніями моего вѣка на Петра Великаго,—начала Екатерина, глядя на безпрестанно мѣнявшіися вокругъ кареты картины видовъ:—но что Богъ

ни дать, а по примѣру дѣдушки — унывать не стану. Принцесса Ангальтъ-Цербстская стала Русскою Императрицею, и два вѣнценосца ей ѣдутъ навстрѣчу...

— Однако, ваше величество,—перебилъ ее графъ Безбородко: — что будетъ, если императоръ Іосифъ теперь сидитъ гдѣ-нибудь съ обломанною осью и безъ лошадей? По этой дорогѣ не слишкомъ разлетишься...

Въ самомъ дѣлѣ, толчки дороги давно давали себя чувствовать. Карета круто свернула вправо, потомъ опять влѣво и пошла по берегу невзрачной рѣчонки. Густой лѣсъ тянулся по другую ея сторону; болотистый берегъ былъ усыянъ кочками, и лошади между ними едва бѣжали рысью. Вдругъ передовой фореиторъ замахалъ шапкою и закричалъ: «кто-то ѣдетъ!»

И въ то же время, изъ-за угла лѣса, въ полуверстѣ, навстрѣчу каретѣ показалась рессорная дорожная коляска, также запряженная восьмерикомъ. Лошади коляски встали въ карьеръ. Это былъ Іосифъ, бросившій свою свиту и ѣхавшій съ однимъ Потемкинымъ. Встрѣча Екатерины и Фалькенштейна не замедлила совершиться. Экипажи съѣхались среди поля, въ долину, у кучки вербъ, подъ которыми была корчма сосѣдняго казацкаго хутора. Дымясь отъ пара, остановились лошади обоихъ экипажей.

Императоръ выскочилъ первый и подоспѣлъ къ откинутымъ подножкамъ кареты, изъ которой выходила императрица. Оне нѣсколько минутъ провели въ обычныхъ привѣтствіяхъ. Завидя бѣлую мазанку корчмы и чтобы дать лошадямъ вздохнуть, Екатерина предложила нѣсколько минутъ переждать. Предложеніе было принято. Екатерина и Іосифъ пошли впередъ, свита немного поодаль. Потемкинъ указывалъ дорогу.

«И что это за корчма? И чортъ бѣ ее побралъ!—шептали свѣтлѣйшій, между тѣмъ, не зная самъ, куда идетъ и куда ведетъ двухъ вѣнценосныхъ странниковъ.—Ну, ожидалъ ли я, что они тутъ встрѣтятся? Строилъ города, рылъ горы, крестилъ татаръ, завоевывалъ царства, чтобы прославить Екатерину, совершилъ чудеса, чтобы въ безлюдномъ краѣ она царственно проѣхала и увидѣла многолюдство, короли польскаго заставилъ выѣхать ей навстрѣчу въ Каневъ, дождался, что и австрійскій императоръ выѣхалъ ее встрѣтить... все устроилось отлично, и вдругъ они встрѣтятся

въ гнилой корчмѣ, гдѣ попадется какой-нибудь жидъ, или хохоль, или пьяный шляхтичъ. Наговорятъ ей, наврутъ... безпорядокъ!..»

— Ваше величество, пожалуйста!—сказалъ свѣтлѣйшій, отворяя передъ императрицей дверь корчмы, точно давно знакомый и съ этимъ мѣстомъ, и съ самой корчмой, между тѣмъ, какъ глаза его напряженно и не безъ волненія слѣдили изъ-за спины гостей за внутренностью комнаты, куда они вошли.

Первыя впечатлѣнія свѣтлѣйшаго были пріятны. Чистыя лавки шли вдоль стѣнъ комнаты. Образа въ главномъ углу были утыканы сухими цвѣтами. Лампада теплилась передъ иконою Николая Чудотворца, праздникъ котораго 9-го мая былъ черезъ два дня. Двухлѣтній ребенокъ сидѣлъ у порога комнаты на полу и ложкою каши потчивалъ подслѣповатаго котѣнка, котораго успѣлъ поймать и придержать между ногъ. Бѣлая курочка выныла изъ-подъ печки, причемъ на только-что подметенномъ и усыпанномъ пескомъ полу оставила рядъ крестиковъ отъ своихъ осторожныхъ лапокъ и клевала на лавкѣ изъ миски, покрытой полотенцемъ, какую-то стряпню, припасенную на ужинъ. Не видя хозяевъ, Екатерина обратилась къ Потемкину:

— Вѣроятно, здѣшняя хозяйка ушла въ поле на работу или на базаръ?—и, обращаясь къ Іосифу, прибавила по-французски:—не могу не замѣтить вамъ, графъ, удивительный здѣсь народъ. Простота изумительная. Вотъ тутъ, на примѣръ, весь домъ оставленъ на руки двухъ или трехъ-лѣтняго ребенка!

— Это корчма, — замѣтилъ почтительно Безбородко:—корчма, гдѣ продается вино. Вотъ и бочка. А вѣдь никто и не тронетъ.

— Вѣроятно, потому, ваше величество, — отнесся къ Екатеринѣ графъ Фалькенштейнъ:—что все здѣшнее народонаселеніе ушло въ надеждѣ увидѣть у Днѣпра свою императрицу...

Императрица ласково протянула руку Іосифу, который ее поцѣловалъ, и съ улыбкою попросила его сѣсть. Потемкинъ, Румянцевъ, Безбородко, Шуваловъ и прочіе изъ свиты Екатерины и Іосифа почтительно стали у дверей.

— Чѣмъ далѣе, ваше величество, — сказалъ Іосифъ:—тѣмъ болѣе я изумляюсь... Я думалъ встрѣтить пустыни, а увидѣлъ населенныя богатые мѣста...

— Да, — подхватила весело Екатерина, взглядывая на

Потемкина:—я рада, что сама увидѣла эти страны своими глазами. Враги князя все употребляли, чтобы очернить его передо мною и передъ свѣтомъ. Намъ сказали, что насъ встрѣтятъ жары, несносныя человѣчеству, а насъ встрѣтилъ воздухъ если не Италіи, то родной вашему величеству Венгріи. Степь, правда, безлѣсная и почиталась безводною, а мы, однако, видѣли повсюду ручьи и рѣки, при которыхъ поселеній уже не въ маломъ числѣ. Пользы государственныхъ заведеній не всегда вначалѣ открыты понятію множества. Такъ, санктпетербургская губернія нынѣ даетъ восьмую часть доходовъ всей имперіи; она же существуетъ всего восемьдесятъ четыре года. А сколько было говорено противъ этого города Петра! Посмотримъ, какъ доходны будутъ здѣшніе порты черезъ короткое время...

— Ваше величество,—возразилъ графъ Фалькенштейнъ:—у князя Потемкина много враговъ, но еще болѣе друзей.

Екатерина продолжала:

— Кричали противъ климата, пугали и отсовѣтывали! Обозрѣвъ самолично, сюда пріѣхавши, ищу причины такого безразсуднаго предубѣжденія,—и не нахожу. Съ пріобрѣтеніемъ этихъ благословенныхъ странъ исчезнетъ страхъ отъ татаръ, которыхъ наши Бахмутъ, Украйны и Елисаветградъ такъ еще живо помнятъ... Да, графъ, я теперь съ немалымъ утѣшеніемъ ежедневно ложусь спать, видя своими глазами, что я не причинила вреда, но принесла и принесу величайшую пользу своей имперіи...

Вслѣдъ затѣмъ разговоръ перешелъ къ иностранной политикѣ и къ туркамъ. Живое любопытство предмета и обмѣнъ глазъ-на-глазъ сокровенныхъ мыслей увлекли обоихъ вѣнценосцевъ. Потемкинъ мигнулъ придворнымъ; тѣ оставили Екатерину наединѣ съ Іосифомъ. Императрица вскорѣ позвала Потемкина и стала продолжать свой разговоръ съ Іосифомъ втроемъ. Былъ уже часъ пополудни. Императрица не замѣтила, какъ прошло болѣе двухъ съ половиною часовъ. Желудки путешниковъ начали себя напоминать. Первый нашелся Безбородко. Войдя въ комнату, онъ шепнулъ два слова Потемкину. Князь смѣшался и закусилъ губу. Екатерина угадала его мысли.

— Графъ,—обратилась она къ Фалькенштейну:—передъ возвращеніемъ къ моимъ галерамъ, не закусить ли намъ чего-нибудь?

— Какъ угодно! Еще Данте сказалъ, что можетъ родиться племя, которому не суждено умирать. Это прямо относится къ вамъ и къ вашему безсмертному странствованію...

— Но есть ли у насъ что съ собою? — спросила Екатерина.

Кинулись къ экипажамъ. Оказалось, что впопыхахъ забыли взять съ собою придворную кухню императрицы. Въ коляскѣ же графа Фалькенштейна, кухня котораго также отстала, нашли только нераскупоренную бутылку стараго венгерскаго, кусокъ сыру да краюшку сухого крестьянскаго хлѣба, которымъ графъ, охотникъ до лошадей, на станціяхъ изъ своихъ рукъ кормилъ обывательскихъ скакуновъ.

— А далеко ли до Днѣпра? сколько мы отъѣхали? — спросила Екатерина.

— Верстъ тридцать, ваше величество. Кажется, не меньше будетъ, — отвѣтилъ Потемкинъ: — ѣхать тяжело, и лошади устали; но не худо бы сейчасъ же и продолжать путь...

Иосифъ молчалъ. Ему, очевидно, хотѣлось хоть чѣмъ-нибудь перекусить и заморить начинавшійся голодъ.

— Да неужели тутъ нѣтъ чего-нибудь, хоть самаго простого? — начала Екатерина. — Ну, масла, куръ, яицъ, сметаны?..

— Трудно достать, — отвѣтилъ Шуваловъ: — мѣсто глухое, и всѣ теперь въ полѣ, на работѣ. Да верстъ на десять тутъ и поселка не найдешь... Вѣдь это, ваше величество, уже почти Запорожье...

Безбородко нашелся.

— А що, ваше сіятельство, — сказалъ онъ по-малоросійски Потемкину: — неужели мы не нагодумъ царицы и ея гостя?

И, подвязавъ подъ-мышки, въ видѣ фартука, носовой платокъ, онъ открылъ трубу, наложилъ въ печку щепокъ, вздулъ огонь, поставилъ на треногъ сковородку; очень ловко угадалъ, что подъ лавкою, въ чистомъ горшкѣ съ золою, должны быть куриныя яйца, выпустилъ ихъ съ дюжину на сковородку, и яичница вскорѣ зашипѣла. Румянцевъ и Шуваловъ отъ него не отставали: нашли въ сѣняхъ, въ подпольѣ, крынку масла, съ чердака станили привѣшанный въ дымникъ окорокъ, въ темной кладовой отыскали кувшинъ молока и все это устали на столъ. Этотъ примѣръ увлекъ

остальныхъ. Фрейлины чистили и на вертелѣ, импровизированномъ изъ деревянныхъ щепочекъ, поджаривали часть окорока. Иосифъ съ молока снималъ въ стаканъ сливки. Самъ Потемкинъ, въ душѣ посылая къ чорту всякія неповинныя дорожныя приключенія, въ чулкахъ и въ башмакахъ, закинувъ за спину полы шитаго золотомъ кафтана, не отставалъ отъ этихъ самоучекъ-поваровъ истряпухъ: онъ засучилъ рукава, закинулъ подъ нихъ блондовыя маншеты и весьма усердно перемывалъ и перетиралъ для царскаго завтрака глиняныя миски и деревянныя тарелки корчмаря. — «Ну, какъ вы себѣ тамъ не радуйтесь этому — думалъ онъ, — однакожь, желудокъ всегда игралъ великую роль въ дипломатіи! И какъ бы Иосифъ безъ этой яичницы не прибралъ насъ къ рукамъ въ начинаемомъ нашемъ новомъ дѣлѣ съ турками...»

Между тѣмъ, пока готовился завтракъ, въ открытыхъ дверяхъ корчмы показался старикашка, согнутый, съ краснымъ носомъ и съ жиденькимъ бѣлымъ пухомъ на головѣ, бородѣ и около ушей. Онъ остановился на порогѣ и въ изумленіи сталъ глядѣть по комнатамъ. Завидя его, собесѣдники замолчали и, въ разныхъ положеніяхъ, съ любопытствомъ устремили на него глаза.

— А что, панове молодціи, — началъ старичокъ, очевидно бывший навеселѣ: — ходилъ я на парицу подывиться! Да ба! Ничего не видѣлъ... Нѣту уже. Еще вчера проѣхала!

Разбитныя движенія и шамкающій голосъ старичка были по-истинѣ забавны.

— Ты хозяинъ? — спросила Екатерина.

— Хозяинъ, пани-матко, корчмарь. А вы изъ Мирной, чи зъ Кременчука?

— Изъ Кременчуга, — улыбнулась Екатерина, втайнѣ радуясь, что ее не узнали.

Глаза свѣтлѣйшаго впились въ красноватые, веселые глазки старика.

— А что, давно ли ты здѣсь торгуешь? — спросила императрица.

— Да еще какъ Пугача ловили, то я внука на войну снарядилъ, а самъ тутъ сѣлъ. Вотъ съ какого году, считайте сами...

Имя Пугачова нѣсколько смутило слушателей.

Потемкинъ началъ опять кусать то губы, то ногти.

— Сынъ у тебя есть?—продолжала Екатерина.

— Былъ, да ужъ три года какъ умеръ.

— Который же, дѣдушка, тебѣ годъ.

— Какой годъ? а вотъ какой. Девяносто-восьмой годъ, говорятъ. Я еще и шведа не забылъ, какъ подъ Полтавою бился, да и самого царя Петра Алексѣевича видѣлъ...

Имя Петра Великаго оживило присутствовавшихъ. Всѣ тѣсно сдвинулись къ старику. Потемкинъ подошелъ къ нему и ободрительно-благодарно потрепалъ его по плечу.

— Говори, говори, старикъ! Какъ тебя звать?—подхватила Екатерина.

Старикъ кашлянулъ, вынулъ изъ-за пазухи клѣтчатый платокъ и утерся.

— Постоите, пани-матко! что-то утомился! сяду немного. Ходилъ пѣшкомъ до самаго Днѣпра на царицу посмотришь, какая тамъ она есть, да прозѣваль... Гайда—уже проѣхала. А царя Петра такъ я точно видѣлъ и даже говорилъ съ нимъ, какъ шведа погнали до Переволочной и мы панихиду на могилѣ служили. Зовутъ меня Галайда. Стойте, добродѣи. Выпить хочется... То нѣтъ ли у васъ, господа, горѣлки? Моя Феська гдѣ-то запропастилась, а ключъ у нея и мнѣ она горѣлки не даетъ, хоть горѣлка и моя,—бо какъ начну съ радости, то упьюся...

— Кто же это Феська?—спросила Екатерина.

— А моя наймичка, — прошамкалъ старикъ: — она про-даетъ горѣлку, да меня доглядаетъ; а я уже не осилю; только кашу ѣмъ, да Богу молюся. Хорошая дѣвка, да шкодлива: отъ москалей не отобьешься...

Старика усадили.

— Такъ какъ же, какъ?—допрашивала его Екатерина: — ты, дѣдушка, дѣйствительно видѣлъ царя Петра?

Беззубый Галайда выпилъ водки, замѣтилъ, что Шува-ловъ изъ-за спины другихъ нюхаетъ табакъ, попросилъ и себѣ табакерку, понюхалъ, крикнулъ и началъ. Графъ Безбородко переводилъ его слова.

— Былъ я, пани-матко, и вы, панове молодцы, былъ-я, голубочко, краля ты моя, тогда казакомъ и служилъ у Мазепы въ войскѣ, только ему не передавался, чтобъ ему пусто было! и царю не измѣнялъ, хоть и былъ еще совсѣмъ молодой... Какъ наступалъ на насъ шведъ, а меня поставили съ алебардою и пищаль въ руки дали. Только туда-

сюда, глядь, анъ велятъ уже бить не шведовъ, а москалей и шведу передаться. Не передались мы и пошли гурьбой до лагеря. Тутъ палать изъ пушекъ, а мы хлѣба съ солью поѣли, да и сами давай палить. Послѣ насъ перевели на гору за Ворсклу, черезъ Лыкоцнѣ-бродъ. А тутъ вблизи уже царь стоитъ лагеремъ. Какъ стали стрѣлять изъ царскаго отряда, смотримъ, шведы и побѣжали. Вотъ такъ стоялъ царь, да въ трубу смотрѣлъ, а такъ редутъ стоялъ, а тутъ палатки... Ну, и побили же шведовъ, да въ Первоначальной перетопили. Слышимъ, зоветь на панихиду. Пришли мы, а трупъ навалено — и Боже упаси! Чугунъ, ядра да кони. А тутъ опять и самъ царь стоитъ: такой на немъ. зеленый кафтанъ, высокіе сапоги съ раструбами и шпага. Попы поютъ канонъ, крестъ высокій такой на могилѣ ставить, а царь поднялъ икону, что шведъ-антихристъ на поруганіе расписалъ въ шашечную доску и въ лагерѣ своемъ въ шашки на ней игралъ. Прослезился царь и при всемъ народѣ поцѣловалъ ту икону, а послѣ ее на освященіе отдалъ. Какъ сошелъ царь съ могилы, генералы окружили его, а онъ къ намъ. Обходить ряды. То съ тѣмъ, то съ другимъ изъ насъ поговорить. А мы, казаки, уже такъ и ждемъ, что станутъ насъ перебирать. О Мазепѣ сталъ говорить. Онъ, говорить, въ турецкую землю побѣжалъ; но мы, говорить, его оттуда вызволимъ. Сталъ наискосокъ такъ противъ меня, да какъ глянеть на меня, — я обомлѣлъ. — «Ты», — говоритъ, — «красавецъ, откуда?» — А я, панове, былъ какъ макъ румяный, да рослый, да сильный. — «Изъ Кайдаковъ», — говорю, — «ваше царское величество!» — «Убилъ же ты хоть одного шведа?» — спрашиваетъ. — «Семерыхъ, — говорю, — убилъ, только упалъ одинъ, скурвинъ-сынъ, — говорю, — безъ сабли былъ, свалилъ меня обманомъ сзади, да платокъ съ хлѣбомъ вынулъ и удралъ опять. Такъ, дрянной народъ! Только бабъ нашихъ забираетъ!» — Усмѣхнулся царь, постоялъ и говорить тому генералу, что выше да толще другихъ былъ и ближе къ нему стоялъ: — «Вотъ этотъ», — говоритъ, — «красавецъ и правду сказалъ, что шведы дрянной народъ. Мы же баталію хорошую одержали». — А тутъ уже, послѣ панихиды, насъ и распустили по домамъ: кто куда хотѣлъ, туда и шелъ. И долго мы поминали царя...

Этимъ разсказомъ не кончилось. Императрица задала старику не одинъ еще вопросъ о видѣнномъ имъ.



Въ умѣ Потемкина, между тѣмъ, зрѣла счастливая мысль. Онъ не хотѣлъ даромъ пропустить и этой случайной встрѣчи въ степи съ живою скрижалю временъ петровскихъ. Обратясь къ императрицѣ, онъ сказалъ:

— Ваше величество! на обратномъ пути изъ Крыма, въ Полтавѣ, я намѣренъ устроить вамъ зрѣлище, матери отечества и мудрыя царицы достойное: именно маневры воинскіе, гдѣ бы два разные лагеря представили на дѣлѣ примѣрно полный бой блаженной памяти императора Петра Великаго съ королемъ Карломъ XII, и, для вящей вѣрности въ расположеніи войскъ и хода боя, возьму въ руководители этого старика. Ему совершенно можно повѣрить, и онъ все отлично расскажетъ по памяти.

Сказано и сдѣлано.

Старику, наконецъ, сказали, кто передъ нимъ былъ. Онъ нѣсколько мгновеній остался въ совершенномъ столбнякѣ, потомъ упалъ на колѣни и вскрикнулъ: «мамо, царица, помилуй!»

Императрица милостиво подняла его, снова обласкала, сядя въ карету, поручила его графу Безбородко, и видя, какъ онъ занялъ ея гостей и въ особенности Іосифа II, спросила у старика:

— Ну, дѣдушка, скажи же ты мнѣ, чего ты желаешь? Все, что скажешь, исполню. Говори. Не робѣй...

Старикъ взглянулъ на пышныхъ странниковъ, на придворныхъ, которые суетились вокругъ кареты, и задумался. Хмель его прошелъ.

— Ваше царское величество!—сказалъ онъ:—коли просить, такъ вотъ чего я попрошу. Дайте мнѣ денегъ рублей двадцать, коли ваша милость... Есть у меня племянникъ—полюбилъ одну дѣвку и посватался за нее, а батько ея не отдаетъ, за тѣмъ, что бѣдный онъ. Ну, онъ и проданъ въ рекруты, нанялся за одного мѣщанина за двадцать карбованцевъ—ну, и гуляетъ теперь! Такъ коли бы его спасти отъ солдатчины, пропитыя деньги мѣщанину воротить, а его женить! Вотъ бы мнѣ подмога и была... Да и жаль его: малюетъ, вотъ какъ малюетъ всякія картины, что поискать! Въ Борисовкѣ учился и совсѣмъ вышелъ маляръ, и въ Переяславлѣ въ ученѣ, въ бурсѣ былъ! Грамотный и совсѣмъ хорошій человекъ...

— Гдѣ же твой племянникъ?—спросила Екатерина.—И не поздно ли? Можетъ быть, ему уже и лобъ забили?

— Ни, мамо,—отвѣчалъ Галайда:—срокъ еще до завтра! а онъ въ Мирномъ! тутъ неподалеку, на ярмаркѣ, гуляетъ со своимъ наемщикомъ...

Императрица обратилась снова къ графу Безбородко, поручила ему устроить судьбу племянника старика, назначила сумму на выкупъ его изъ рекрутъ и на его свадьбу, и уѣхала снова на Днѣпръ, къ своимъ галерамъ, съ графомъ Фалькенштейномъ и съ остальною свитой.

Старый Галайда, котораго уже теперь и Потемкинъ не желалъ упустить изъ виду, очутился въ раззолоченной каретѣ и съ графомъ Безбородко понесся на ярмарку въ Мирное. Графъ, пользуясь тѣмъ, что Екатерина должна была переждать нѣсколько въ мѣстечкѣ Кайдакахъ и потомъ спуститься ниже, для заложенія города Екатеринослава, и, чтобы угодить императрицѣ, поѣхалъ лично устроить судьбу племянника Галайды.

Невыразимо было впечатлѣніе ярмарочнаго люда, когда царская золотая карета вѣхала на торгъ и изъ кареты вышли важный панъ, въ шелку и въ бархатѣ, и старый дѣдъ, въ онучахъ и въ свиткѣ. Кинулись искать рекрута. Онъ явился къ каретѣ, какъ былъ, съ музыкантами и съ толпою гулявшаго съ нимъ народа.

Новому рекруту оставалось докупивать еще одинъ день, и онъ кутилъ «во всѣ заставки». По мѣстному обычаю, сохраненному и донынѣ, Боровиковскій (такъ звали племянника стараго Галайды) еще съ утра обвѣшался лентами и платками, взялъ музыкантовъ, выговоренныхъ у своего нанимателя, и пошелъ на торгъ. Наниматель, толстый мѣщанинъ, въ долгополой свиткѣ, съ трепетомъ слѣдилъ и по уговору исполнять малѣйшее желаніе своего рекрута. По уговору было положено: ему, Боровиковскому, казаку и ремесломъ маляру, идти волею въ рекруты за мѣщанина, а мѣщанину за это дать ему двадцать рублей денегъ да горьки вдоволь и цѣлую недѣлю быть въ его распоряженіи. И вымѣщалъ же за это Боровиковскій, и всякій продававшійся въ рекруты, на его мѣстѣ, за потерю свободы! Чего только онъ ни придумывалъ, въ своей простотѣ, въ эту буйную и роковую недѣлю! Напримѣръ, въ первый же день онъ напивался до омертвѣнія, ложился среди улицы, приказывалъ прикатить боченокъ водки и собравшейся толпѣ кричалъ: «пейте, всѣ пейте!» Всѣ пили, и наниматель не смѣлъ отказать въ этомъ.

Воспользовавшись ярмаркой, Боровиковскій водилъ гурьбу народа за собой. Подплясывая подъ музыку, онъ хваталъ съ купеческихъ прилавковъ шелковые платки, серьги, ленты и гранаты, кричалъ: «на-те, это вамъ, люди добрые! берите!» и швырялъ забираемое въ народъ, а мѣщанинъ молча расплачивался. Остановясь передъ бочкой съ дегтемъ онъ кричалъ мѣщанину: «*мажь встѣмъ!*» Всѣ подставляли ноги. Купецъ мазалъ кому сапоги, кому черевки, и мѣщанинъ снова безмолвно за все расплачивался. А попробуй онъ не заплатить! Продающійся въ такомъ случаѣ имѣлъ право тотчасъ отказаться идти за него въ рекруты, и всѣ угощенія и данная сумма терялись безвозвратно. Подойдя къ торгу, Безбородко, остановился противъ любопытной гурьбы съ рекрутомъ.

— Ты наемщикъ въ рекруты? ты Боровиковскій?—спросилъ онъ, вглядываясь въ забудыгу, который уже не могъ какъ слѣдуетъ танцевать, но все еще подъ хоръ музыки переминался на мѣстѣ и подплясывалъ.

— Я... а вамъ что, пане-добродію?

— Ну, Боровиковскій, готовься же: меня послала сама царица. Бросай своего нанIMATEЛЯ... Вотъ деньги за тебя и за все, что ты растратилъ.

Мѣщанинъ вытаращилъ глаза и, дрожа, лепеталъ:

— За что же, помилуйте, не погубите!

— А за тебя,—сказалъ Безбородко съ улыбкой:—я попрошу государыню,—она, милостивая, проститъ тебя за противный законамъ подкупъ. Только, чтобы загладить вину противъ царицы, за нехотѣніе служить, ты долженъ сейчасъ же поступить на службу. Вотъ твои деньги.

Мѣщанинъ взялъ сто рублей и, довольный тѣмъ, что получилъ впятеро болѣе, чѣмъ задолжалъ ему его рекрутъ, на другой же день самъ охотно сдался въ солдаты.

Боровиковскій проспался и не вѣрилъ глазамъ. Онъ уже былъ дома. Дѣдъ Галайда зажегъ свѣчку у образовъ, закурилъ ладанъ въ ручной полиминой курильницѣ и молился. Феська, стоя у дверей, плакала. Дѣдъ досталъ изъ сундука завязанные въ холстъ деньги. Царица дала на свадьбу Боровиковскому особо сто рублей. Нечего говорить, что это въ тѣ годы была почти баснословная сумма для простолюдина на Украинѣ, да и вездѣ. Молодой маляръ, еще вчера рекрутъ, не выдержалъ, упалъ на колѣни передъ дѣдомъ и

залился слезами, цѣлуя царскія деньги. «Господи Боже! за что такая милость! Спаси и помилуй царицу! А тебѣ, дядю, вотъ какое спасибо!»—И онъ трижды поклонился ему въ землю. Старикъ и маляръ было велѣно немедленно снаряжаться и ѣхать на царской подводѣ въ Полтаву.

Въ Бахчисараѣ Екатерина написала стихи Потемкину:

«Лежала я вѣчоръ въ бесѣдкѣ ханской  
Въ срединѣ бусурманъ и вѣры мусульманской.  
«О, божьи чудеса! изъ предковъ кто монхъ  
«Спокоенъ почивалъ отъ ордъ и хановъ ихъ?»

О Крымѣ, гдѣ императрица изъ оконъ дворца въ Инкерманѣ любовалась юнымъ севастопольскимъ флотомъ, Екатерина выразилась: «Пріобрѣтеніе сіе важно; предки дорого заплатили бы за него».

На возвратномъ пути изъ Крыма, подѣ Полтавою, императрица смотрѣла неслыханные и невиданные дотолѣ маневры, гдѣ былъ искусно представленъ примѣрный бой русскихъ и шведовъ. И эти маневры были устроены по указаніямъ стараго Галайды. Конечно, онъ не могъ помнить въ частностяхъ подробнаго расположенія частей войскъ и хода боя. Зато съ невыразимою ясностью онъ помнилъ главныя черты побоища и — самое важное — могъ указать, гдѣ стоялъ, въ такое-то время, гдѣ скакалъ и гдѣ распоряжался самъ царь. — «Вотъ тутъ онъ глядѣлъ на шведовъ! А тутъ понесся къ пушкамъ! А тамъ и вовсе погналъ врага съ поля! И мы всѣ за ними гнались»...

Боровиковскій отличился на другомъ поприщѣ.

Полтавское дворянство, въ самомъ городѣ, выстроило залу для встрѣчи императрицы. Его маршалу кто-то шепнулъ о происшествіи близъ Кайдакъ и о любопытной судьбѣ племянника Галайды, руководившаго приготовленіями къ царскимъ маневрамъ. Маршалъ призвалъ маляра.

— Можешь ли ты расписать царскую залу? — спросилъ онъ.

— Могу.

— А какъ брешешь?

— Ни, убей Богъ, не брешу!

— Ну, смотри же! Вотъ тебѣ краски и кисти, что остались отъ новаго иконостаса въ соборѣ. Малой, да берегись! Испакостишь дѣло, дамъ тебѣ двѣсти батоговъ въ спину...

Боровиковскій принялся за работу и изумилъ всѣхъ.

Когда императрица вѣхала въ Полтаву и вошла въ изукрашенную дворянскую залу, четыре картины на четырехъ стѣнахъ представились ея глазамъ.

На одной былъ изображенъ, во весь ростъ, Петръ Великій, въ видѣ плугатаря, пахавшаго тяжелымъ плугомъ пустынную, заросшую терніемъ и бурьянами почву Россіи.

На противоположной стѣнѣ была изображена Екатерина Вторая, въ видѣ сѣятельницы, бросавшей изъ лукошка на плечѣ сѣмяна въ эту разрыхленную уже почву.

На третьей стѣнѣ изображалась опять Екатерина, съ перомъ въ рукѣ и со вдохновенно-откинутой головой, за работой надъ знаменитымъ Наказомъ о составленіи проекта новаго уложенія.

На четвертой были изображены семь греческихъ мудрецовъ, удивлявшихся и ломавшихъ голову надъ этимъ мудрымъ Наказомъ.

Дальнѣйшая судьба Галайды неизвѣстна. Боровиковскій же получилъ ходъ и въ послѣдствіи прославился въ Петербургѣ своими работами по церковной и портретной живописи.

## I.

# ЦАРЬ АЛЕКСѢИ, СЪ СОКОЛОМЪ.

Было весеннее время.

Выѣхалъ восемнадцатилѣтній царь Алексѣй Михайловичъ изъ села Измайлова, вдоль береговъ Москвы-рѣки, на любимую потѣху, на охоту съ соколами и кречетами.

Это былъ еще второй годъ его царствованія. Государствомъ правилъ царскій дядька, Борисъ Ивановичъ Морозовъ, и радъ былъ, что государь тѣшится. Охота выѣзжала, какъ слѣдуетъ: всѣ верхами, кто на буланомъ, кто на гнѣдомъ, съ соколами на правой рукавицѣ. На головѣ каждой изъ ловчихъ птицъ былъ алый, бархатный клобучокъ, съ золотою оторочкою; на ногахъ сукожные «ногавки», родъ чулочекъ, съ тесменными «опутинками»; а въ хвостѣ, чтобъ слышать, гдѣ соколъ сидитъ, серебряный колокольчикъ. Тутъ были всѣ любимые царскіе охотники, и за каждымъ его «поддатень». За всадниками ѣхалъ обозъ, со слугами, царскою кухнею и палатками. Стража изъ стрѣльцовъ замыкала шествіе. Сокольники были въ цвѣтныхъ кафтанахъ, въ горностаевыхъ и лисьихъ шапкахъ и въ сафьянныхъ сапогахъ. У cadaго на боку висѣлъ серебряный рогъ. Птицы были также въ большихъ выѣздныхъ нарядахъ. Самъ царь ѣхалъ безъ сокола. Онъ ожидалъ къ сборному мѣсту изъ Москвы, отъ главнаго ловчаго, Аванасія Ивановича Матюшкина, — гонца съ нововыношеннымъ соколомъ, птицей, какъ увѣдомлялъ Матюшкинъ, неслыханнаго лета и силы. Самъ же царскій любимецъ Матюшкинъ лежалъ въ Москвѣ въ лихорадкѣ и не могъ присутствовать на этой забавѣ. И каждый соколь-

никъ, помня урядъ по уставу, вдѣвалъ рукавицу «тихо и стройно», принималъ сокола и кречета, перекрестясь, «красновато, премудровато и молодцовато» и выносилъ его по уставу: «бережно, явно, смѣло, подправительно, подъявительно, къ вѣдѣнію человѣческому и къ красотѣ соколей».

Было еще рано. Туманный, сѣроватый денекъ общалъ птицъ рѣзвую и нестомчивую гоньбу. Царь, ожидая посла отъ Матюшкина, то и дѣло оглядывался къ проселку, откуда долженъ былъ показаться гонецъ. Съ косогора, поросшаго мелкимъ ивѣякомъ и березками, выѣхали на широкое, низменное поле, устѣянное озерками, кочками и кустарниками. Нигдѣ, въ свои разѣзды по московскимъ окрестностямъ, ни близъ селъ Тайнинскаго, Сущева и Воробьева, ни близъ Преображенскаго и Напруднова, царь не находилъ столько дичи, какъ здѣсь, по болотнымъ «прыскамъ» Москвы-рѣки. Здѣсь кишмя-кишѣли безчисленные стаи утокъ, гусей, чаекъ, гуликовъ, цаплей и всякой дикой птицы.

Спустившись мимо капустныхъ огородовъ чьей-то подгородней земли, царь остановилъ коня. Изъ-подъ его ногъ черезъ болото взлетѣлъ гусиный выводокъ. Царь указалъ рукою.

— Знать, гонецъ-то отъ Аѳанасія Ивановича не скоро выѣдетъ!—сказалъ онъ, вглядываясь, какъ гуси полетѣли и плавно спустились на ближнее озеро.

Всадники стали готовиться къ охотѣ.

Первый выпустилъ птицъ Парѣентій Табалинъ. Его кречеты, Анпрасъ и Арбасъ, были изъ породы «дѣрбниковъ», то-есть брали, какъ соколъ, падая съ высоты, и, какъ ястребъ, ловя птицу въ угонъ. Взлетѣла чайка. Кречеты брошены съ рукъ и стали всходить кругами, одинъ выше, другой пониже, такъ что чайка вскорѣ очутилась между ними и кинулась къ землѣ. Нижній кречеть помчался полемъ, плыви какъ ласточка и чуть не задѣвая земли крыломъ. Вмигъ онъ подбилъ чайку кверху. Она взвилась. Верхній кречеть кинулся внизъ на нее. Чайка взмыла въ сторону и промахнулась. Оба кречета, почти разомъ, вцѣпились въ нее и вмѣстѣ съ нею, звеня бубенчиками, упали въ траву. Табалинъ поскакалъ принимать добычу.

За нимъ пускали птицъ Комчатый, Хомяковъ и Лабунтинъ. Кречеть Комчатаго, Бумаръ, между двухъ лѣсковъ кинулся на молодого гуся и, послѣ двухъ угоновъ, сшибъ

его въ траву. Вѣжливая птица даже не сѣла на добычу, а опустилась возлѣ, къ сторонкѣ, и, поводя разгорѣвшимися отъ злости глазами, стала охорашиваться, чистя клювомъ перья и кивая алою шапочною. Затравили еще двухъ куликовъ и утку. Царь все поджидалъ гонца и почти не принималъ участія въ охотѣ. Стоя на пригородкѣ, подѣ деревомъ, онъ смотрѣлъ вдаль и изрѣдка переговаривался съ Хомяковымъ. Пестрые «вѣршники» то разсыпались по лугамъ, то скакали кучами въ догонку за соколами. Царскій стремянной затрубилъ въ рогъ сборъ къ мѣсту. Всѣ сокольники съѣхались къ царской палаткѣ. Пошли толки о добычѣ, о соколиныхъ ставкахъ. Какъ ни строгъ былъ дворцовый урядъ, между сокольниками, все почти сверстниками царя, то тамъ, то здѣсь слышались шутки или веселый смѣхъ.

— Ну, знать, доподлинно Аѳанасій-то Ивановичъ позамѣшкался. Сытый голоднаго не разумѣетъ! Давайте вѣсть! — сказалъ царь. Слуги разостлали у палатки шелковый коврикъ. Все мѣсто отдыха обнесли подвижными рогатками и поставили у входовъ стражу. Царь велѣлъ, безъ чиновъ, сокольникамъ садиться по ковру, а самъ помѣстился у входа въ палатку.

Не успѣлъ царь съ охотниками закусить, на лугу послышался звукъ рога. Всѣ повели глазами съ косогора. Изъ-за кучки березъ показался гонецъ отъ Матюшкина и съ нимъ нѣсколько сокольниковъ. Посланный подѣхалъ, спѣшился у рогатокъ и поднесъ царю вновь обученнаго сокола. Царь взглянулъ на птицу, и охотническое сердце его запырало. Такой красоты онъ еще и не видывалъ...

Что за птица! Взять онъ былъ не съ гнѣзда отъ матери, а выношенъ уже «слѣткомъ». Дикости и смѣлости онъ былъ удивительной. Весь бѣлый, какъ серебро, только ножки красныя. Сидѣлъ онъ степенно и гордо. Головка была маленькая, спина широкая, грудь крѣпкая, крылья и хвостъ перо къ перу, а глаза такъ и горѣли, ярко-желтые, «наигранные» и сверкавшіе смѣлою, дикою ясностью...

— Хороша птица! Какъ-то ловить? — сказалъ царь, осматривъ сокола съ полнымъ вниманіемъ цѣнителя и знатока.

Палатку собрали; всадники сѣли на коней. Обозъ тронулся впередъ. Царь указалъ охотѣ ѣхать къ Коломенскому. Подвели царскаго коня. Царь ухватился за холку,



прыгнулъ въ сѣдло и протянулъ за соколомъ руку. Рука его дрожала, грудь порывисто поднималась. Неровнымъ взоромъ онъ окинулъ сокольниковъ, повелъ поводомъ. Тяжелый, коренастый конь тронулся рысью по бочковатому полю. Бубенчикъ зазвенѣлъ въ хвостѣ сокола.

Молча ѣхали сокольники, минуя то озерко, то мелкій кустарникъ, то бѣгущій въ сторону узенькій проселокъ. Всадники забились въ лѣсистые луга, съ которыхъ еще не сошли весенніе водные застои. Сокольникій Лабутичъ первый завидѣлъ въ сторонѣ между длинныхъ прошлогоднихъ камышей выводокъ нырковъ. Онъ подаль знаеъ. Всѣ остановились и замерли въ ожиданіи царскаго приказа. Царь укоротилъ поводья, взглянулъ, медленно поднявъ правую руку и бросилъ сокола съ рукавицы въ воздухъ. Шнурокъ развязался, соколъ взмылъ и кругами сталъ всходить вверхъ... все выше и выше, такъ что скоро чуть стало его видно, и когда показалось, что вотъ онъ исчезнетъ въ облакахъ, вдругъ, расправивши хвостъ, онъ сдѣлалъ ставку и, склоня голову, зорко посмотрѣлъ внизъ... Утокъ сонали.

Не успѣлъ царь прищипорить коня, какъ соколъ свернулся въ комокъ, ринулся сверху, виѣвился въ добычу и вмѣстѣ съ нею упалъ въ ближніе кусты.

Всѣ бросились туда. Чины позабыты. Охотники толпятся, чтобъ только взглянуть, какъ взята птица: жива ли она, изранена, или убита до смерти? Только не видно сокола въ кустахъ. Разсыпались охотники по всему перелѣску, по ближнимъ пригоркамъ, стали спускаться въ овраги, прислушиваться къ бубенчику; нѣтъ да и нѣтъ. Или соколъ спустилъ утку и, невиданный за кустами, съ другой стороны пошелъ въ угонъ за иною какою птицей; или не выпускалъ ее и, на полномъ раздольѣ, ѣлъ ее гдѣ-нибудь въ гушнѣхъ деревень. Наконецъ, могъ оборваться бубенчикъ, а онъ тутъ же, въ кустахъ, гдѣ-нибудь сидѣлъ, охорашиваясь и чистя перья. Что за диво!

— Ищите, ребята!—сказалъ царь, снуя на конѣ по травѣ и между кустовъ: — кто изловитъ мнѣ сокола, дамъ тому пару соболей!

Пропажа сокола, особенно въ первый уловъ, была не рѣдкость. Часто соколовъ уносило вѣтромъ, а еще чаще они отбивались и дичали въ сосѣднихъ лѣсахъ.

Сокольники, для лучшихъ поисковъ, спѣшили; коней

привязали къ кустамъ, а сами, съ новымъ рвеніемъ, кинулись по лугамъ и по сосѣднимъ оврагамъ. То тамъ затрубить рогъ, то здѣсь отзовется. Желтые, голубые и красные кафтаны мелькаютъ между деревьямъ. На сосѣдней пашиѣ мужикъ пахалъ сохою подъ озимъ. Остановился, оперся на присошникъ и дивуется, что это за бояре охотятся: не Борисъ ли Ивановичъ Морозовъ выѣхалъ поразмяться, или дворскіе травятъ птицу на государеву кухню; а можетъ-быть, и самъ царь тутъ же, недалече, гдѣ-нибудь между ними?..

Затрубили опять государь. Собрались къ нему охотники уже въ другомъ мѣстѣ, на какой-то лѣсистой лошинкѣ, у берега небольшого ручья, впадавшаго въ Москву-рѣку.

— А что, ребята, не нашли сокола?

— Нѣтъ, государь, не нашли!

— Что за притча!

Государь очень досадовалъ, что пропалъ еще неиспытанный соколъ.

Охотники выѣхали въ другомъ мѣстѣ на крутой берегъ ручья и увидѣли сокола въ травѣ: утка билась у него въ когтяхъ. И въ то же время, на ясной поверхности воды, между склоненными съ берега камышами, показалась передъ охотниками рѣдкой величины, вся бѣлая, какъ лунь, цапля. Она бережно шла неглубокой водою, поглядывая издали на всадниковъ и вынимая изъ воды то одну ногу, то другую. Царь принялъ утку, снова сѣлъ на коня, спугнулъ цаплю и указалъ ее соколу. Цапля взмахнула крыльями, медленно поднялась надъ водой и полетѣла въ сторону. Соколъ кинулся за нею не прямо, а сталъ забирать вверхъ, забрался въ недосыгаемую высоту и оттуда полетѣлъ вровень надъ цаплею...

Царь далъ коню шпоры и поскакалъ, слѣдя за соколомъ. Сокольники не отставали отъ царя. Такъ мчались они долго по лугамъ и просохнувшимъ полямъ, черезъ рвы и кочки, мосты и гати. Цапля была сильная, и, — ноги назадъ, а грудь впередъ, — на огромныхъ крыльяхъ плыла, какъ бѣлопарусная ладья, по вѣтру. Соколъ не отставалъ отъ нея и забирался выше и выше. Цапля его видѣла. Всадники выскочили на возвышенную, гладкую поляну. Вдали мелькали крылья мельницы и огородъ какого-то селенія; вправо шелъ проселокъ въ лѣсъ, глядѣвшій изъ-за косогора. Вдругъ цапля, отъ усталости, или съ особою хитростью, замедлила

полетѣть и стала забирать вѣтвь, какъ бы желая опуститься въ лѣсъ. Въ тотъ же мигъ соколъ всею силою полетѣлъ внизъ на нее. Онъ былъ уже близко; оставался послѣдній ударъ, какъ цапля обернулась хвостомъ къ землѣ и отбила его толчкомъ длинныхъ ногъ и огромнаго носа. Соколъ сдвинулся, пошелъ книзу, но, не долетая до земли, опять собрался съ силами и еще быстрѣе сталъ забирать надъ цаплей. Царь оглянулся: за нимъ скакалъ одинъ Хомяковъ. Другіе охотники чуть виднѣлись въ-разсыпку, далеко назади, гдѣ одинъ, а гдѣ два и три вмѣстѣ. «Ну, Семенычъ, не отставай!» — крикнулъ разгорѣвшійся царь и, стегнувъ коня, еще быстрѣе поскакалъ за соколомъ.

Незамѣтно миновали опять какую-то пашню, со свѣжими зеленѣющими всходами. Съ грохотомъ пронеслись кони чрезъ старый распатанный мостъ, надъ узенькимъ ручьемъ какой-то усадьбишки. Путь начиналъ идти въ гору, къ лѣсу. Замелькали березы. Показался песокъ. Овраги зачернѣли чаще. «Не отставай, Семенычъ, не отставай! Еще пробѣжимъ, и возьмемъ сокола!» — кричалъ царь, то и дѣло устраниаясь отъ вѣтвей. Конь подъ Хомяковымъ задѣлъ копытомъ за пену и грохнулся съ фздокомъ о-земь. Чуть успѣлъ оглянуться царь, какъ соколъ, надъ опушкою лѣса, сдѣлалъ полукругъ, ударилъ грудью въ цаплю и, вмѣстѣ съ нею перевалившись за деревья, пошелъ оврагомъ далѣе. Царскій конь изобразился на гору и съ послѣднимъ усиліемъ, вмѣстѣ съ нимъ, влетѣлъ въ просѣку лѣса вдоль оврага. Не проскакалъ онъ и ста шаговъ, какъ остановился на всемъ размахѣ. Царь глянулъ: конь, фыркая, уперся ногами въ обрывъ...

За обрывомъ шла рѣка. За рѣкою, по зеленому откосу берега, разсыпавшись бревенчатыми избами, клѣтками, журавлями колодцевъ и овинами, располагалась у рѣки деревня. Деревянная, почернѣлая церковь стояла въ сторонѣ, на крутомъ пригоркѣ. А прямо за рѣкой въ гору шелъ обширный садъ. Надъ нимъ чернѣли вышки боярскаго терема, съ пристройками, крылечками и голубятней. Но не село, не садъ и не теремъ заняли царя. Остановившись на всемъ скаку и ухватясь рукою за гриву коня, онъ повелъ глаза вслѣдъ за цаплей и остоленѣлъ. Прямо противъ обрыва, надъ которымъ онъ сталъ, между безлистныхъ еще деревьевъ сада, возносились рѣзныя, расцвѣченныя качели. А на качеляхъ, лицомъ къ рѣкѣ, сидѣла и качалась, въ

зеленой душегрѣйкѣ, въ красномъ монистѣ, въ желтыхъ башмачкахъ и въ золотомъ съ травами сарафанѣ, боярышня, очевидно, дочка хозяина. Сѣнныя дѣвушки толпою, съ пѣснями и смѣхомъ, раскачивали качели. Долго не могъ опомниться царь. Дѣвушки увидѣли его, взлетѣвшаго на пригорокъ съ конемъ; передъ ними обрисовались его растегнутый на скаку опашень, высокая соболя шапка, цвѣтная перевязь на груди. Онѣ вскрикнули, побѣжали отъ качелей къ дому...

Хомяковъ, прихрамывая, привязалъ къ дереву коня и въ беспокойствѣ побѣжалъ къ обрыву, надъ которымъ, вырвавшись изъ-за деревъ, стоялъ и слѣдилъ за уходящими дѣвушками царь. Глаза Алексѣя Михайловича, казалось, все еще видѣли передъ собою высоко взлетавшія качели, красные башмачки, бѣлое лицо, черныя брови и прыгавшее на груди монисто боярышни. Царь уже не думалъ о соколѣ. Онъ самъ въ этотъ мигъ походилъ на сокола, вперяющего взоръ въ красную и славную добычу.

— Что, Семенычъ?—сказалъ въ волненіи царь, завидѣвъ Хомякова:—а вѣдь соколъ-то нашъ съ цаплемъ, кажись, свалился вотъ въ этотъ садъ.

Хомяковъ, протирая ушибленную ногу, не показавъ виду, что замѣтилъ волненіе царя, и отвѣтилъ: «какъ знаешь, государь; тебѣ виднѣе. Ты сюда прежде подоспѣлъ!»—И оба охотника, пока остальные всадники доскакали до лѣсу, спустились къ рѣкѣ, отыскивали мостокъ и стали подниматься, мимо сада, къ боярскимъ воротамъ. Ворота были заперты. Хомяковъ затрубилъ. Конюхи выскочили изъ людской. Черезъ дворъ къ воротамъ, переваливаясь, спѣшила грузная боярская домоправительница, въ бархатной кичкѣ и въ мѣховой душегрѣйкѣ.

Ворота растворили. Домоправительница, пугливо разглядывая посѣтителей, отвѣсила низкій поклонъ.

— Мы охотились тутъ,—сказалъ царь:—нашъ соколъ съ добычею уналъ, должно статся, въ вашъ огородъ или садъ. Не видали ли?

— Охъ, батюшки, охъ, кормильцы мои! Точно уналъ вашъ соколъ: видѣли, какъ и опустился, у самой той вонъ горенки. Тамъ и щиплетъ дичину! А вы кто такіе?

Царь молча переглянулся съ Хомяковымъ и отвѣтилъ:

— Дворскіе, царскіе охотники. А вашъ бояринъ дома?

— Нѣту-ти бояринъ! Въ свою Касимовскую вотчину отлучился съ боярынею.

— Чѣ же это село и чьи хоромы?—спросилъ царь, радуясь, что его не узнали.

— Рафа Родіоновича Всеволожскаго.

— Ну, коли вамъ запрета нѣтъ,—сказалъ царь:—мы заѣдемъ, на отсутствіи боярина вашего, отдохнуть и коней напоить. Мы московскіе, далече отъ своихъ отбились, а до вечера еще путь великъ.

— Милости просимъ, кормильцы! Чай, бояринъ-то васъ, али вы его знаете?—сказала старая домоправительница и, суетливо переваливаясь, пошла къ терему. Теремъ былъ красиво выстроенъ. Бояринъ Всеволожскій не былъ близокъ ко двору. Онъ еще съ конца предыдущаго царствованія удалился изъ Москвы, безвыѣдно проводилъ время въ своихъ деревняхъ и только изрѣдка служилъ пищею для толковъ о своихъ затѣяхъ: всѣмъ была извѣстна его страсть къ садамъ и цвѣтоводству.

У крыльца всадники спѣшились. Боярскіе конюхи повели ихъ лошадей къ конюшнѣ.

— Вотъ вашъ соколъ, вотъ! — говорила домоправительница, вводя гостей въ особую загородку сада. Хомяковъ принять цаплю, царь взялъ сокола. Дворян толпилась у камитки, желая поглядѣть и на нарядныхъ охотниковъ и на птицъ.

— Ну, спасибо же вамъ,—сказалъ царь, осмотрѣвъ сокола и отдавая его Хомякову:—только нѣтъ ли у васъ водички испить? устали съ погони за птицей.

— Квасъ, кормилецъ, есть, хорошій, яблочный, съ инбиремъ и грушевый. Прикажешь подать?—Царь попросилъ.— Ну, Проня! — обратилась старуха къ одному изъ слугъ:— вотъ ключи: бѣги самъ да нацѣди стопу. А мы тѣмъ временемъ садъ покажемъ. Хотите ли, гости милостивые?

Царю понравилось это приглашеніе.

— Покажи, матушка, покажи. Мы дворскіе и очень хотѣли бы поглядѣть на ваше сельское домостроительство. Вѣдь, чай, изъ семьи-то боярской... никого тутъ не осталось?

— Боярышня, родимый, осталась, боярышня,—отвѣтила, какъ-то съ разстановкой, старуха и медленно пошла по главной дорожкѣ сада.

Царь молча пошелъ за нею. Сердце его сильно билось.

Сперва вошли въ дикій садъ. Дорожки стали перекрепчиваться и ввели въ хитро-извернутое между кустовъ «*путище*», родъ лабиринта. За путищемъ начался разсадникъ грушъ, вишенъ, сливъ и яблонь, а дальше вереница ягодныхъ кустовъ. Среди послѣднихъ возвышался подъ «*шатрикомъ*», или бесѣдкою, на четырехъ столбахъ колодезь съ колесомъ и бадьей на веревкѣ.

— А это виноградный садъ нашей боярышни, — замѣтила домоправительница, провожая гостей вправо. — Щеки царя вспыхнули.

Открылся прудъ, обнесенный кустами жимолости и березками. На одномъ его концѣ возносилась деревянная остроконечная «*смотрѣльня*», родъ башенки, съ воздушнымъ крыльцомъ. Противъ смотрѣльни, на другомъ берегу пруда, были три размалеванныхъ маленькихъ «*чердачка*», родъ павильоновъ, со стекольчатыми стѣнами. Вокругъ чердачковь хитро извивались «*пути*», дорожки. По бокамъ чердачковь цѣплялись ползучія вѣтви дикаго винограда.

Царь подошелъ къ пруду, на которомъ была устроена рыба сажалка. Въ сторонѣ отъ пруда, между деревъ, открывались «*перспективы*». Это были натянутыя на большія деревянные рамы картины, писанныя красками. На одной изображались гора и рѣка, надъ горою замокъ и висячій мостъ, на мосту поѣздъ всадниковъ, въ шлемахъ и съ распущенными знаменами. На другой «*перспективѣ*» видѣлись море, корабли съ парусами, птицы, а надъ моремъ огненное солнце. На третьей — какой-то чародѣй, а кругомъ его чуда, грифы, кентавры и змѣи. На четвертой — городъ, точно Москва: съ церквами, теремами и башнями.

Царь остановился и со вниманіемъ сталъ разсматривать «*перспективы*».

— Кто это все такъ хорошо и мудро тутъ расписалъ? — спросилъ онъ.

— А вотъ кто — нашъ садовникъ, — отвѣтила домоправительница.

Царь оглянулся. Вправо, сначала незамѣченный за шпалерою кустовъ, показался, въ зеленой курткѣ и въ красной вязаной шапочкѣ, съ лейкой и ножницами, старичокъ-иностранинецъ. Онъ снялъ шапочку, поклонился и продолжалъ поливать цвѣты.

— Откуда онъ? — спросилъ царь.

— Бояринъ нашъ его выписалъ изъ-за моря, какъ садъ строилъ. Никакъ нѣмецъ, али фряжанинъ. Вонъ и помощникъ его—толмаченокъ. Тоже у насъ состоитъ.

Царь ласково подозвалъ садовника и мальчика, его ученика. Между заморскимъ садовникомъ и царемъ начался такой разговоръ:

— Ты кто?

— Гарлемскій садовникъ и аптекарскій ученикъ Индерикъ Бартбусъ, — отвѣчалъ, переводя его слова, мальчикъ толмаченокъ.

— Давно ли ты тутъ?

— Девятый годъ.

— Много ли бояринъ тебѣ даетъ въ годъ оклада?

— За строеніе и урядъ сада пятьдесятъ рублевъ, да толмачу шесть, да одежда и кормъ.

— А ты еще что знаешь?

— Я, сударь, столяръ и огородный стройщикъ; перспективы я тоже ставилъ.

— А кромѣ Нѣмечины былъ ты еще гдѣ-нибудь?

— Былъ у флоренскаго князя, въ италійской землѣ, и много тамъ дивъ видѣлъ: а такимъ дивамъ, сударь, въ Московіи и не бывать!

— Отчего же?

— Больно здѣсь лѣто коротко и зимы студены: надо зимою кусты и деревья, какія понѣжигѣ, обертывать въ войлоки, а не то мерзнуть.

— А какія же ты дива видѣлъ у флоренскаго князя?—спросилъ царь.

— Дива хорошія-то, пожалуй, есть и у насъ на родинѣ, въ Гарлемѣ. Только мѣсто у насъ ужъ больно плоское, а тамъ теплѣе и горы. Какъ тебѣ сказать? Видѣлъ я тамъ въ грунтѣ кедръ и кипарисъ, и лимоны,—плоды по дважды въ годъ зрѣютъ. Видѣлъ на княжемъ дворѣ—вода взведена сажени съ четыре—фонтанъ прозывается,—въ саду вверху бьетъ тоже высоко. А о Крещеніи жары тамъ великія! Яблоки и слива въ тѣхъ краяхъ величествомъ по шапкѣ. А красоты въ садахъ не описать, нѣтъ-де тамъ ни зимы, ни снѣгу ни на одинъ мѣсяцъ. Да еще игръ, органовъ, кимваловъ и музыки много. Такіе люди-кумиры изъ мрамора подѣланы въ садахъ, и иные сами играютъ, а никто ими не движеть. А иного и не описать. Кто не видѣлъ, тому и въ умъ не придеть!

Царь слушалъ со вниманіемъ.

— Лѣто здѣсь больно коротко и зимы студены,—продолжалъ Бартбусъ.— Ничто здѣсь хорошее не дозрѣваетъ: ни виноградъ, ни орѣхъ волоскій, ни яблонь, ни аркатъ, ничего въ прокъ не идетъ. Кабы еще не здѣшнія боярышнія,—ужъ такая-то любительница сада и цвѣтовъ!—не дожилъ бы тутъ и уговоренныхъ годовъ. Такъ бы и ушелъ, не во гнѣвъ будь сказано боярской милости.

У царя чуть не сорвался при этомъ съ языка еще вопросъ, а именно о боярышнѣ. Онъ молча, со вздохомъ, окинулъ взоромъ пріютъ ея дѣвическихъ игръ и прогулокъ, дорожки, чердачки, смотрѣльню, и тамъ, и здѣсь размалеванныя перспективы.

— Благодарствуемъ тебѣ, Индерику Бартбусъ, и тебѣ, хозяйка! Мы люди близкіе къ царю, и скажемъ ему, какія дива тутъ видали. А боярину кланяйтесь! Дворскіе, молъ, кланяются.

Съ этими словами царь пошелъ обратно изъ саду.

— Какъ же, бояринъ, хоть въ боярскіе покои зайдѣ посидѣть,—сказала старуха:—да вотъ и кваску испей, ишь ты, въ погребу-то позамѣшались.

Царь подумалъ: «что же заходить? Вѣдь ее и мелькомъ и невзначай тамъ не увидишь. Забилась она, по обычаю, куда-нибудь въ верхнюю горенку и не сойдетъ оттуда».

— Нѣтъ,—отвѣтилъ онъ:—намъ пора ѣхать. Не осудите, что не заходили. Въ иное время заѣдемъ. А квасу дайте испить.

Отъ погреба показался съ ковшомъ слуга. Царь отпилъ, далъ напитокъ Хомякову, сѣлъ на коня, взялъ сокола и поѣхалъ.

— А коли бояринъ станетъ пытаться, кто былъ, какъ отвѣчать? —спросила еще разъ вслѣдъ ему домоправительница.

— Скажи, матушка, что дворскіе, царевы были. А коли будетъ время, можетъ статься, и не впослѣднее заѣхали...

Старуха, облокотясь о перилы крыльца, долго стѣдила всадниковъ, не сходя по лѣстницѣ. Наконецъ, медленно и охая, взобралась она по ступенькамъ на вышку, въ боярышнину горницу, выслала всѣхъ дѣвушекъ, заперла дверь на ключъ, и, разставивъ руки, сказала боярышнѣ, чуть не задыхаясь отъ волненія: — «ну, свѣтишь ты мой! А вѣдь я его спознала, видѣвши на выходѣ о Казанской: вѣдь это



царь!»—Боярышня вскрикнула и кинулась глядѣть къ окну.

Царь, между тѣмъ, спустился околицей къ мосту, переѣхалъ рѣку и на полянѣ подъ обрывомъ увидѣлъ остальных охотниковъ. Они стояли кучкой, толкуя и недоумѣвая, куда могъ скрыться царь. Хомяковъ разсказалъ имъ, какъ соколъ окончательно взялъ цаплю и какъ его нашли въ саду. Всѣ поѣхали обратно къ Измайлову.

Царь былъ замѣтно не въ духѣ.

Начинало уже вечерѣть, когда поѣздъ подѣхалъ къ первымъ березамъ заповѣдной измайловской рощи.

Никто не зналъ остальныхъ подробностей охоты. Догадывался одинъ Хомяковъ. Бояринъ Всеволожскій, воротаясь изъ Касимовской вотчины, добился тоже только одного, а именно, что приѣзжали-де какіе-то дворскіе съ охоты, соколъ ихъ упалъ черезъ рѣку въ садъ возлѣ огорода; ходили-де они по саду, дивовались на прудъ, на чердачки и на перспективы дивовались, а заходить въ хоромы не заходили.

Лѣто прошло и Измайлово опустѣло. Царь переѣхалъ въ Москву.

Началась обычная жизнь въ Кремлевскихъ теремахъ: выходы на службу, въ соборы, приемы пословъ, слушаніе и рѣшеніе дѣлъ.

Какъ вдругъ, незадолго до новаго года, въ трескучіе, безконечные холода, когда небо заволокло тучами, а метели, кружась и сыпая вѣроху снѣгу, застилали предъ окнами окрестные дома и храмы, Морозовъ получилъ такой приказъ отъ царя: собрать со всего царства на смотрины дѣвицъ. Царь задумалъ выбрать себѣ жену «красотою и честию великую, тихую и разумную, въ свое царство счастье и въ наслѣдіе своего государскаго рода». Гонцы полетѣли во всѣ стороны. Засуетились и взволновались отдаленныя и близкія семьи. Бояре и окольничьи, думные люди и стольники, стряпчие и приказные, стрѣleckіе старшины и неслужилые дворяне стали готовить своихъ дочерей на показъ и на выборъ царю. Патріархъ съ причтомъ служили молебны. Къ февралю съѣхались въ Москву двѣсти почетнѣйшихъ семействъ.

Назначенъ день смотра и выбора. Послѣ множества смуть и всякаго рода происковъ со стороны родни, дѣвицы свезли въ Кремль и посадили за царскій обѣдъ. Во время стола,

въ числѣ немногихъ изъ приближенныхъ бояръ, царь, не узанный и въ маломъ нарядѣ, вошелъ въ обѣденную палату и осмотрѣлъ дѣвицъ. Изъ двухсотъ указаны сперва шесть. Наконецъ, и послѣдній жребій брошенъ. Царскій выборъ, изъ шести, палъ на Ефимью, дочь дворянина Рафа Родіоновича Всеволожскаго. Роковая вѣсть потрясла весь блестящій сонмъ невѣстъ, всѣ малые и великіе чины двора, Москву и окрестности, и тайкомъ передаваясь изъ устъ въ уста, пошла по всему Русскому царству. А выбранная невѣста обезпамятѣла отъ испуга и отъ неслыханной радости и счастья.

Царя поздравили. Всеволожскіе съ почетомъ пріѣхали въ Москву. Начали готовиться къ царской свадьбѣ. Хомяковъ сталъ явно близокъ къ царю. Царь его и ласкаетъ, и хвалитъ, и жалуетъ. Что ни день, подсокольничій либо съ вѣстью, либо съ привѣтомъ, либо съ государскимъ подаркомъ у царевой невѣсты. На языкѣ у всѣхъ Хомяковъ и Всеволожскій. Значеніе Морозова стало меркнуть, какъ ни хлопоталъ онъ, устранивая и уряжая все къ царскому браку. Запечалился Борисъ Ивановичъ и взялся за умъ крѣпкою опытною думою.

Наступилъ день свадьбы.

И вдругъ, какъ громомъ, всѣхъ поразила другая неожиданная вѣсть. Во время уборки волосъ къ вѣнцу, невѣста упала въ обморокъ. Ее обвинили въ скрытой падучей болѣзни. Иные, правда, тутъ же сказали, что она упала отъ страха и волненія; другіе, что, по непостижимой причинѣ, по недоумѣнію ли, или по какому злобному расчету, одна изъ приставленныхъ къ ней для одѣванія женщинъ сильно стянула ей косу: кровь бросилась въ голову, и боярышня упала безъ чувствъ. Языки тотчасъ затрубили тревогу и осидили сердце царя: рѣшили, что выбранная невѣста испорчена. Свадьба отмѣнена, а Всеволожскаго съ семьей, за чары, косный разводъ и за умыселъ противъ царя, сослали сперва въ Касимовскую вотчину, а потомъ въ Тюмень на воеводство. Тамъ онъ вскорѣ отъ горя и умеръ.

А черезъ годъ царь женился на дочери медынскаго стольника, Ильи Даниловича Милославскаго, на Марьѣ Ильиничнѣ. Морозовъ, черезъ десять дней послѣ царской свадьбы, обвинчался на сестрѣ новой царицы, на Аннѣ Ильиничнѣ.

Москва пиновала на царской свадьбѣ, и толкамъ о государевыхъ пиршествахъ не было конца.

На виду и на почетѣ у всѣхъ стали недосыгаемо вознесенные: царскій тестъ, Илья Даниловичъ Милославскій, и царскій своякъ, Борисъ Ивановичъ Морозовъ.

Свадьба была зимой.

Только не въ прокъ пошла близость къ царю его бывшаго дядьки. Весною Москва взволновалась. Граждане, покорствуя великому царю и безъ шапокъ стоя у Кремля, требовали выдачи головою измѣнника, грабителя и корыстолюбца, боярина Бориса Ивановича Морозова. Онъ былъ удалень.

Прошли года. Многие позабыто. Но часто вспоминала боярышня Всеволожская свое подмосковное село, садовыя качели, рѣку и всадника, взлетѣвшаго на обрывистый берегъ. До конца жизни она осталась безбрачною. Царь впоследствии узналъ о ея невинности, много сѣтовалъ о ея судьбѣ и богато одарилъ ее и ея семейство.

(1856 г.).



## II.

# ВЕЧЕРЪ ВЪ ТЕРЕМЪ ЦАРЯ АЛЕКСѢЯ.

Прошло тридцать лѣтъ. Новыя времена были не за горами. Носились странные слухи.

Молва передавала вѣсти о потѣшныхъ теремахъ въ Кремлѣ и въ селѣ Коломенскомъ. Иноземцы отписывали на родину о присылкѣ къ московскому двору новыхъ заморскихъ игрушекъ «клавикортовъ», «охтавокъ» и «часовъ съ курантами», и выхваляли щедрость и общедоступность царя. Гонцы боярина Матвѣева чаще сновали отъ государскихъ теремовъ къ посольскому приказу и обратно. Бояринъ, въ тишинѣ своихъ палатъ, изыскивалъ способы къ отпечатанію разумныхъ книжекъ: «Космографіи», «Риторики», «Фундаментовъ» или «Максимовъ фортификаціи». А въ теремномъ саду, гдѣ надъ деревьями, отъ птицъ, были раскинуты мѣдныя сѣтки и въ шелковыхъ клѣткахъ висѣли любимыя царскія птицы, перепѣлки, его же хлопотами были устроены размалеванныя деревянныя горы. Съ нихъ, по праздникамъ, на повозочкахъ катались царевны, сокровенныя еще отъ постороннихъ взоровъ. Въ другомъ углу сада устраивались веселая потѣшная площадка и прудъ для младшаго изъ царевичей, четырехлѣтняго младенца Петра, также стараніями боярина Матвѣева, и старшаго брата царевича, разслабленнаго Теодора. На площадкѣ устанавливались деревянные пушки, на рѣзныхъ лафетахъ, а на прудъ спускался маленький катеръ и шлюбъ.

Что ни вечеръ, съ недавней поры, въ низенькой комнатѣ посольскаго приказа усаживался на залавокъ толстый дьякъ

и съ посольскимъ толмачомъ считывать какія-то бумаги. Передъ дьякомъ, на столнѣ, лежали разбросанные свертки и листы вѣдомостей, гамбургскихъ, гарлемскихъ, венецйскихъ, кѣнигсбергскихъ и амстердамскихъ, получавшихся въ Москвѣ съ той поры, какъ голландецъ Фанъ-Сведенъ устроилъ сюда, отъ нѣмецкой границы, постоянную почту, чрезъ Новгородъ и Псковъ. Понюхивая изъ-подъ полы запретное зелье, табачекъ, дьякъ занимался любопытнымъ дѣломъ: онъ повѣрялъ переводимыя ежедневно, на сонъ грядущій царю, зѣло предивныя выписки изъ курантовъ о заморскихъ дѣлахъ и слухахъ. Въ комнатѣ слышалось: «о Кесарской же землѣ изъ Амстердама паки пишутъ, что Кесарская земля тебѣ, Государь, и всему твоему царству самое невѣрное сосѣдство, и дружба вельми коварственная. А и гдѣ же то вѣрность, коли отъ франкского короля тайно и индѣ чужія войска затыгають и свои даютъ, и съ туркомъ водится, и бусурману, и султану кланяется, и всей Московіи искони невѣрность и гибель сулитъ. И, аки рыба левіаѳанъ глаголемал, своихъ ближнихъ поѣдаетъ»...

Куранты занимали царя. Но, будучи вещью хорошею, почта въ то же время пускалась и на лихія продѣлки. Нѣмецъ Мерселисъ, содержатель ея и преемникъ Фанъ-Сведена, былъ торжественно уличенъ въ томъ, что прежде лицъ, къ кому писались письма, распечатывалъ ихъ и тайкомъ вычитывалъ изъ нихъ разныя новости. Вышло множество ссоръ и пересудовъ.

Но ничто такъ не волновало умовъ, какъ недавно возникшія забавы царя въ потѣшныхъ теремахъ. Иные, побывавшіе въ чужихъ краяхъ, или въ сосѣдней Польшѣ, говорили, что это просто театръ, гдѣ играетъ музыка и комедіанты пляшутъ. Другіе, посмѣясь, или изъ партій недозвольныхъ, утверждали, что царь, съ приближенными и съ бояриномъ Матвѣевымъ, переодѣвается тамъ въ заморскія платья, читаетъ нѣмецкія книжки и готовится поворотить Россію въ бусурманы.

Вездѣ, и за прилавками въ гостиномъ ряду, гдѣ, развѣсивъ бухарскіе ковры и мѣха и щелкающіе орѣхи, толковали и перебрасывались шутками молодые сидѣльцы, и въ боярскихъ палатахъ, вездѣ шли рѣчи о новыхъ царскихъ забавахъ. Въ хоромахъ боярина Мосальскаго, заванный отъ ранней обѣдни набожною боярыней, сидѣлъ, въ обтертой

скуфейкѣ и босикомъ, разстрига-дьяконъ и, повода косыми глазами, поминутно вздыхалъ и крестился. «Что тебѣ, Касьянычъ?»—допрашивала заботливая боярыня, доставая гостю изъ стекольчатаго поставца графинчикъ и серебряную чарку. «Мірѣ, матушка, къ концу клонится, міръ!»—отвѣчалъ онъ. А въ углу той же горенки молодой князь Пехтеревъ, изъ хозяйскихъ племянниковъ, уже обвѣянный новымъ духомъ, рвавшимся сюда сквозь заборы и стѣны, сидѣлъ у рѣшетчатаго окна и полушопотомъ, наскоро, пересказывалъ двоюроднымъ сестрамъ, какъ онъ былъ въ Коломенскомъ и какъ увидѣлъ въ щелку двери, что такое потѣшные терема и что тамъ дѣлается. — «Мишенька, голубчикъ! Что же тамъ такое, говори?»—допытывались двоюродныя сестры. «Дѣйства, миленькія, дѣйства!»—«Какія дѣйства?»—«А вотъ какія!»—И онъ рассказывалъ, подъ набожную бесѣду тетюшки съ Касьянычемъ: — «намедни играли о томъ, какъ Алаферну голову отсѣкли; а тамъ другое: какъ Артаксерксъ велѣлъ повѣсить Амана, по царицыну челобитью и по Мардохеину наученью! И такъ-то все это мудрено, сестрицы, такъ мудрено! Это выходитъ, сперва всѣ чинно усядутся, вотъ хоть бы какъ и мы; царь съ царевичами по одну сторону, а царевны съ няньками по другую. Дворскіе и гости сядутъ чинно сзади, поодаль. Тутъ виситъ такая занавѣсочка шелковая и свѣчки разныхъ цвѣтовъ горятъ. Проиграютъ на гусляхъ да на трубахъ. А бояринъ Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ выйдетъ, ударить въ ладоши, занавѣсь и задернется. Тутъ явится палата, и часовые стоятъ, и цвѣты, и звѣрь кентавръ, и городъ заморскій, а потомъ и выйдетъ человѣкъ. А на немъ всего наверхено, наверхено! Разведетъ руками и станетъ говорить скоро, али виршу. А тамъ выдернетъ мечъ, другой человѣкъ тоже выскочитъ. Вотъ, ходятъ они, ходятъ, говорятъ виршу. Занавѣсь и задернется. Тутъ опять въ гусли да въ трубы заиграютъ. Дѣйство и кончено. Тогда уже бояринъ Артамонъ Сергѣевичъ только подойдетъ къ царю, въ поясъ поклонится. А царь такъ милостиво говоритъ съ нимъ, али съ царевичами шутитъ, забавляется. А то еще было такое, говорятъ, дѣло, что какъ отдернули разъ занавѣсь, а тамъ стоятъ человѣкъ десять, одинъ на другомъ. Выходитъ, пирамидъ дѣлали. Балансеръ тоже, скоморохъ, изъ Марселіи града, съ имперскими полами прѣзжалъ. Натянуть это канатъ передъ царемъ, да

и ходить по немъ; вотъ какъ по мосточку, да все качается, да царю красными платочками машеть, и такой-то нарядно одѣтый. Эхъ, вѣдь какъ мило-то! Не вышелъ бы оттогъ! А наши бояре еще ершатся, кобенятся!»—«А что?»—«Да то, сестрицы, что царю они непокорны! Нынче уже не охотю токто, а всѣмъ и нарочито велеть .быть при дѣйствахъ: кто неидеть, за тѣмъ посылають, силою берутъ и велеть идти! Самъ напередъ видѣлъ, какъ Горюшкина Илью, да Лыкова Алексашку тащили по Басманной, такъ-таки царскіе вершники, какъ застали ихъ въ дядевыхъ хоромахъ, и тянули къ дѣйствамъ. Инда со смѣху помирали всѣ!»

На святки царскія забавы увеличились. Къ нимъ, заботами главы посольскаго приказа, допускались и заморскіе послы. Царь не разумѣлъ чужеземныхъ языковъ, послы тоже не понимали по-русски. Но посредствомъ переводчиковъ дѣло улаживалось, и заморскіе гости возвращались домой, не нахвалиаясь царскими ласками и царскими угощеніями.

Однажды, незадолго передъ вечеромъ, постельничій Парамоновъ вошелъ въ покои посольскаго приказа и объявилъ, что царь на завтра приглашаетъ голландскаго чрезвычайнаго посла Фанъ-Кленка, имперскихъ пословъ, Франциска де-Баттони и Карла Тирлингера-де-Гусмана, на свои царскія забавы и на вечернее кушанье. Заморскихъ гостей повѣстили и въ раззолоченныхъ колымагахъ привезли въ Коломенское къ царскому терему. Они шли, предводимые переводчикомъ, рядомъ невысокихъ жилыхъ царскихъ покоевъ, гдѣ носился легкій запахъ ладана отъ близости теремныхъ молельнь, въ которыхъ еще недавно было на молитвѣ царское семейство. Передъ дверью на половину царевичей и царевенъ послы увидѣли на часахъ стрѣльцовъ. Стоя на маленькомъ коврикѣ, стрѣльцы перешептывались между собою. Ихъ разноцвѣтные кафтаны, золоченныя винтовки и обтянутыя по древкамъ краснымъ бархатомъ алебарды ярко отсвѣчивались въ отблескѣ вечерней зари, проливавшей радужные огни сквозь разностекольные, рѣшетчатые окна терема. Послы вошли въ обширную комнату, съ изразцовою зеленою печью и съ желтыми, въ золотыхъ травахъ кожными обоями. Тутъ послы увидѣли самого царя...

Царь Алексѣй Михайловичъ, окруженный боярами, сидѣлъ за небольшимъ столикомъ. Онъ доигрывалъ съ княземъ Ромодановскимъ игру въ шахматы и, оспаривая у против-

ника побѣду, едва замѣтилъ вошедшихъ иностранцевъ. Почти пятидесятилѣтній царь Алексѣй былъ дородень, съ просьбью, но свѣжъ. Нарядъ его ослѣплялъ обиліемъ золота и драгоценныхъ камней. Смѣлые каріе глаза, смотрѣвшіе нѣсколько исподлобья, и важное, горделивое лицо оправдывали народное прозванье: царь-соколъ. Онъ сидѣлъ на рѣзной высокой скамеечкѣ, облокотясь бѣлой полной рукой о шахматную доску. На головѣ его была золотая шапочка съ лисьимъ мѣхомъ, утыканная жемчугомъ и изумрудами. На немъ былъ шелковый зеленого цвѣта опашень; на груди — наперсный, усыпанный алмазами, крестъ. А возлѣ, по бокамъ царя, неотлучно стояли два рында, съ нѣжными, отроческими лицами, въ бѣлыхъ серебристыхъ одеждахъ до земли. Одинъ держалъ царскій посохъ, изъ чернаго индійскаго дерева, а другой — царское полотенце.

Одна изъ дверей комнаты была занавѣшена легкимъ парчевымъ пологомъ. Онъ поминутно колыхался, точно нетерпѣливая и вмѣстѣ робкая рука его отдергивала. Пока царь доигрывалъ игру, пологъ отодвинулся. Изъ-за него вошли двѣ тучныя мамы, въ бархатныхъ кичкахъ и въ шелковыхъ душегрѣйкахъ. Съ одною обѣ руку вошла бѣлокурая дѣвочка, старшая царская дочка, царевна Софія Алексѣевна, въ алой, подбитой горностаемъ шубкѣ и въ мѣховой шапочкѣ. Она усѣлась поодаль, съ неотлучною своей забавницей, съ маленькой, сморщенной служкой — карлицей, столѣтней царицой дуркой — шутихой. Вслѣдъ за нею явился и тотчасъ занялъ иностранцевъ черноглазый и чернокудрый мальчикъ, тотъ самый четырехлѣтній царевичъ Петръ Алексѣевичъ, для котораго стараніями старшаго брата устраивались стрѣльцовая площадка и потѣшный прудъ. Стоя возлѣ полной и статной мамы, онъ быстрыми глазками слѣдилъ за движеніями заѣзжаго рыжаго нѣмчина. Помѣстившись на скамеечкѣ у печи, нѣмчинъ заводилъ и устраивалъ заморскій органъ, только-что привезенный изъ чужихъ краевъ и подаренный бояриномъ Матвѣевымъ больному царевичу Теодору, вмѣстѣ съ голландскими клавикордами и венеційскими охтѣвками. Полная мама, восклицая: «ахъ ты, соколъ мой, ахъ ты, батюшка-непосѣда!», то и дѣло останавливала быстрые порывы царевича, который размахивалъ ручками и, потягиваясь къ нѣмчину, допрашивалъ у него едва внятыми дѣтскими рѣчами:



гдѣ дѣлають такіе органы, и далеко ли живутъ нѣмцы, хорошо ли у нихъ и ѣздятъ ли тамъ на корабляхъ и стрѣляютъ ли изъ пушекъ?..

Никто не зналъ навѣрное, чѣмъ угостить теперь царя на своей вечеринкѣ: придетъ ли балансиръ, и станетъ съ помощниками «пирамидъ» дѣлать; будутъ ли только играть на органѣ, да обносить сладкими; дѣйства ли покажутъ? Ничего не знали.

Царь кончилъ игру. «Ну, бояринъ,—сказалъ онъ, вставая:—ты враговъ лучше бьешь, чѣмъ берешь коней да ферязей!» Царь выигралъ и былъ, очевидно, въ духѣ. Завидѣвъ послѣдствіе, онъ тутъ же ласково кивнулъ имъ головою; поручилъ черезъ переводчика сказать имъ, что по случаю новаго года позвалъ ихъ къ себѣ на веселье; спросилъ, довольны ли они содержаніемъ и обхожденіемъ окружающихъ и, обратившись къ голландцу Фанъ-Кленку, сказалъ ему: «*Минъ-геръ*, поди сюда!» Минъ-геръ подошелъ и нѣсколькими словами съ царемъ возбудилъ зависть не очень-то довольныхъ недавнимъ объясненіемъ царя съ смѣлыми моряками и торговцами-голландцами. А между тѣмъ, нѣмчинъ, по данному знаку, завертѣлъ ручку органа, сначала невпопадъ, но потомъ оправился, и веселыя извивистыя варьяціи тирольской плясовой мелодіи наполнили комнату...

Царь уже не въ первый разъ говорилъ съ голландскимъ посломъ. Онъ говорилъ съ нимъ о торговлѣ и о чужихъ странахъ, о наукѣ и о морскомъ дѣлѣ; расспрашивалъ его о дворѣ франкскаго короля, у котораго Фанъ-Кленкъ былъ незадолго передъ тѣмъ; перешелъ потомъ къ своей особѣ, говорилъ, что намѣренъ улучшить у себя воинское и судное дѣло; жаловался на то, что пропалъ его любимый соколъ, и что онъ самъ ужъ какъ-то старѣетъ и охлаждаетъ къ этой охотѣ; спрашивалъ у Фанъ-Кленка, какъ бы ему завести настоящій театръ, съ комедіянтами, такой, какъ, по слухамъ, заведенъ у польскаго короля.

Въ это время вошелъ бояринъ Матвѣевъ и что-то сказалъ царю, склонившись передъ нимъ. Царь отвѣтилъ ему легкимъ мановеніемъ головы и, вслѣдъ затѣмъ, обратившись къ Фанъ-Кленку, сказалъ: «передай своимъ товарищамъ, что сегодня придется услышать вамъ у меня захожаго изъ вятскихъ лѣсовъ русскаго сказочника. Вамъ это, чай, въ диковинку?» И дѣйствительно, царь Алексѣй Михайловичъ

хоть и любилъ заморскія игры и забавы, но, по его собственнымъ словамъ, не было для него ничего слаще, какъ слушать, въ часы отдыха, разнообразныя и поучительныя повѣствованія странниковъ. «Въ ихъ рѣчахъ о старинѣ,— говорилъ онъ:—складные уроки для новаго времени; а въ рассказахъ о новомъ времени познаешь то, чего не увидѣть своими глазами!» Еще не далѣе, какъ мѣсяцъ назадъ *передъ тѣмъ*, царь оплакалъ и, какъ друга проводилъ до могилы лучшаго изъ своихъ дворскихъ повѣствователей, Венедикта Тимофѣева. Послѣдній по-истинѣ былъ скрижалю лѣтъ давно минувшихъ и услаждалъ царскіе досуги рассказами о кievскихъ и новгородскихъ князьяхъ и о татарщинѣ.

Бояринъ Матвѣевъ снова вошелъ въ комнату и, въ поясъ поклонившись царю, сказалъ: «по твоей по волѣ, государь, привели ко двору твоему вѣрнаго раба и слугу твоего, прохожаго бахаря-сказочника. А зовутъ его Устиномъ, а называется онъ сказки и пѣсни изъ дѣтства, и идетъ изъ далека. Былъ въ Кіевѣ, на Волгѣ и за Ураломъ. Прикажешь его звать?» Царь сказалъ: «зови!» Вошли два покоевыхъ стражника и стали у двери. За ними на дорогѣ показался сказочникъ, мало чѣмъ выше среднего роста, лѣтъ подъ шестьдесятъ, невзрачный, въ старомъ потертомъ кафтаникѣ, съ рѣдкою бородою клиномъ и стриженный въ скобку. Онъ низко поклонился и сперва было оробѣлъ и смѣшался. «Здравствуй!» сказалъ звучнымъ голосомъ царь. Сказочникъ устремилъ несмѣлый взоръ на царя. «Не робѣй!» продолжалъ царь: «ты гость нашъ и нашихъ гостей. Откуда ты идешь и гдѣ живъ?» Устинъ, Иволга по прозванію, оправился, глянулъ на бояръ и на прочихъ гостей, стоявшихъ вокругъ царя, ступилъ отъ двери и отвѣтилъ: «иду я нонѣ, царь-батюшка, изъ далекой Украины, изъ даурской, зауральской стороны, мѣховой да золотой твоей земли. Въ Сибири руду копалъ. Много тамъ у насъ, по заводамъ да раздольямъ, гудочниковъ да пѣсенниковъ. Холодно жить, и людишки все переходятъ. Ну, да весело жить, и милостью твоею сыты и вскормлены!» «Ну, выпей же чарку вина да повѣдай намъ, Устинъ, сказку или притчу какую, повесели насъ, да и семью нашу. Вотъ и господа послы заморскіе, хоть не поймутъ тебя, да послушаютъ».

Царь сѣлъ. За нимъ сѣли и всѣ присутствующіе. Сказочнику внесли его гусли, и онъ сѣлъ ихъ ладить. Дворскіе

слуги тѣмъ временемъ пошли между скамьями, съ кубками романей, мальвазіи и ренскаго. Царскимъ дѣтямъ, и кому хотѣлось, подавались леденцы, шептала, обсахаренныя дынные корки и индійскія сласти, мускатъ и инбирь въ меду. Царь спросилъ: «а гдѣ же князь Ѳеодоръ?» Дверь растворилась, и старшій сынъ царя, разслабленный царевичъ Ѳеодоръ, появился въ носилкахъ изъ чернаго дерева. Взоры присутствующихъ съ жалостію обратились къ нему. Тутъ царскіе гусельники и скрипѣтки проиграли родъ взводной музыки. Бояринъ Матвѣевъ вышелъ передъ царя и произнесъ: *«повѣсть по преподобному Нестору зело предивна о князѣ Владиміръ и о томъ, какъ парень Янъ побѣдилъ Печенѣжина!..»*

Сказочнику поднесли романей. Онъ выпилъ, утерся и сталъ, изрѣдка поигрывая на гусяхъ, нараспѣвъ сказывать:

\* \* \*

То не въ небѣ разыграло двѣ радуги,  
Въ княжемъ теремѣ стало двѣ радости.  
А и первая радость великая—  
У него ли, у свѣтъ у Владиміра,  
У кіевскаго Краснаго Солнышка:  
Побивалъ свѣтелъ князь силу вражію,  
Покорялъ поморянъ-поберѣжниковъ;  
И вторая-то радость не малая—  
На воскресной зарѣ, на утренней,  
Только стали звонить, свѣтъ княгинюшка  
Даровала ему сына-первенца...  
Собирались во дворъ няньки-мамушки,  
Во злату во купель клали княжича;  
И купали его, припѣваячи,  
Во злату пелену пеленаючи.  
Князь въ тайницы сходилъ заповѣдныя,  
Отпиралъ погреба съ медомъ, брагою.  
И скликали гонцы Русь со всѣхъ сторонъ  
Славить князя и княжаго первенца...

Надъ быстрымъ Днѣпромъ, по взгорію,  
Словно по полю кинуты цвѣтики,  
Все стоятъ терема княженѣцкіе,  
Со рѣшетками, бѣлыми крыльцами,

Съ пѣтушками на вышкахъ, съ перильцами:  
Вдоль по горенкамъ стѣны тесовыя  
Узорчѣями всѣ изувѣшены;  
А въ углу, гдѣ кивоть златокованный,  
Княженѣцкое знамя поставлено,  
Парчевое, древно кипарисное;  
На томъ знамени шелкомъ вытканы—  
Чуденъ Спасъ, со своею Пречистою,  
Гавріиль и Михайло Архангелы,  
Еще всѣ ли тутъ силы небесныя.  
Въ княжемъ теремѣ окна растворены;  
Смотрить въ нихъ со двора чернь служивая.  
По десную жъ и лѣвую сторону  
Вокругъ князя сидятъ други вѣрные,  
Вся дружина его богатырская.  
И на каждомъ шапка бѣлая,  
По краямъ чернымъ соболемъ браная;  
На ногахъ семицвѣтныя лапотки.  
А кафтанъ распашной, онъ камки дорогой,  
Не камка дорогая, узоръ хитеръ:  
Словно по небу звѣзды разметаны.  
Изъ окошекъ летятъ во всѣ стороны,  
Будто гусли поютъ златострунныя,  
Рѣчь и гулъ со стола княженѣцкаго...

Выходилъ свѣтелъ князь изъ-за трапезы,  
И вставали за нимъ, Солнцемъ Краснымъ,  
Сотрапезники, рать богатырская.  
Они вышли, съ тесоваго глянули—  
Шапки вверхъ надъ толпой заматалися.  
Началось угощенье на мѣрѣ, народѣ.

Князь идетъ, таково смотреть весело:  
На лоткахъ стоятъ жареныя лебеди,  
Кабаны, пѣтухи, рыба всякая;  
Виночерпѣи черпаютъ чарочки,  
Хлѣбодары подносятъ всѣмъ прянички,  
Тутъ, когда пили всѣ, потѣшались,  
Приворотники игрища зачали...  
Они зачали свайкою тѣшиться.  
И самъ князь, ласковъ князь, выступаючи,

Парчевой кушачекъ оправляючи,  
Свайку бралъ, шурилъ глазъ и кидаль  
Онъ гвоздемъ во кольцо золочёное...  
Вдоль по выгону дѣти посадскія  
Межъ собой стали тѣшиться бабками.  
Подходилъ свѣтель князь со дружиною,  
Въ бѣлы руки бралъ битку свинчатую,  
Въ костяной городокъ съ ходу цѣлился,  
И съ носка разбивалъ чстокольчатый.  
А и было веселье великое,  
Въ славу князя и княжого первенца.

\* \* \*

А тѣмъ часомъ гроза подымалася,  
Подъ горою труба откликалася...  
Разступается людъ на двѣ стороны,  
Подбѣгаетъ ко князю Владиміру  
Въ рысей шапкѣ гонецъ, самъ запыхался,  
Таково говоритъ, въ поясъ кланяясь:  
— «Свѣтель князь, выводѣ свои полчища!  
«Подступаетъ къ твоему граду Кіеву  
«Сила велія, рать печенѣжская.  
«Самъ Каганъ съ ней идетъ, сталъ окопами,  
«А тебѣ шлетъ привѣтъ, слово ханское:  
«Я не даромъ-де шелъ и не попусту—  
«Я пришелъ покорить князь-Владиміра;  
«А и полно войсками намъ тѣшиться,  
«Изберемъ отъ себя поединщиковъ.  
«Покорить твой маво—я отправлюся  
«И три года въ войнѣ жить закаюся;  
«Если жъ мой побѣдитъ—не прогнѣвайся...  
«Въ Кіевъ-градъ я къ тебѣ—ханъ—пожалую,  
«Златоверхую сѣнь выжгу, вырублю,  
«Богатырскую рать возмю въ конюхи,  
«А тебя самого, со княгинею,  
«Въ кандалы закую—уведу въ полонъ».  
Усмѣхнулся тутъ князь, слово вымолвилъ:  
— «У меня ли, у князь-Владиміра,  
«Не найтись на врага супротивника.  
«Коль дружина моя богатырская,  
«Не побита никѣмъ, вся кругомъ стоитъ:

«Щелканъ богатырь, сынъ Дудентьевичъ,  
«Самсонъ богатырь, Колывановичъ,  
«Полканъ богатырь, сынъ Ивановичъ,  
«Свѣтогоръ богатырь, и Полканъ другой,  
«И Суханъ богатырь, съ богатырской семьей,  
«Да и онъ ли Добрыня Никитьевичъ?  
«Ты бѣги, скороходъ, къ хану грозному,  
«Отвѣчай ты псу печенѣжину:  
«А и день не зайдетъ, въ путь я выступлю—  
«И отыщемъ ему поединщика.  
«Не силачь богатырь, пойдетъ всячина;  
«Да и нѣтъ той души во поднѣбесной,  
«Чтобъ сломила когда силу русскую!»  
Скороходъ побѣждалъ по дорогѣ вспять,  
Только пыль по слѣдамъ закурилася..  
А народъ загудѣлъ и задвигался,  
Будто лѣсъ загудѣлъ въ бурю-нѣпогодъ.  
И со всѣхъ-то сторонъ бойцы-соколы  
На борьбу выходить выкликались.

\*  
\* \*

Не сизы орлы, не кречеты  
Ко Дитѣру слетались, къ широкому—  
Свѣтель князь выступалъ со дружиною;  
И стѣной становились, какъ встрѣтились,  
Печенѣжская рать противъ княжеской.  
Возсѣдалъ тутъ Каганъ на сѣдалищѣ,  
Ставилъ боги, изъ камени сѣчены,  
Возжигалъ противъ нихъ жертвы цѣнныя.  
Солнце-князь становился подъ яворомъ,  
Вкругъ него его вои, приспѣшники,  
А надъ нимъ поднимали съ молитвами  
Княжецкое знамя походное,  
Парчевое, древко кипарисное...

Ой, не слонъ во чистомъ полѣ слонится,  
Не сырой дубъ во полѣ качается,  
То качается, слонится чудище,  
Человѣкъ-Печенѣгъ, сила крѣпкая.  
Онъ идетъ, не идетъ, озирается.  
Охомъ сирѣ-человѣкъ подпирается.  
А на немъ-то броня трехпудовая,

Шапка рысія, очи крысія;  
Черепъ голъ, какъ котель, самъ собака хитерь:  
Что куда онъ пёсь ни повернется,  
Тутъ въ народѣ и вольныя улицы—  
Плакуны ревунамъ громко плачутся,  
Бѣгуны скакуновъ гонять взапуски.  
Да какъ сталъ-то силачъ, пріосанился,  
Онъ на весь народъ и расхвастался:  
— «Выходи, говоритъ, Русь запечная,  
«Не робѣй, а узнай, каковы-де мы!  
«Ужъ и нѣтъ на землѣ нашихъ супротивъ:  
«Кистенемъ мы метнемъ—караванъ въ плѣнъ возьмемъ;  
«Выходите на битву, не бойтесь...  
«Я не всѣхъ положу въ пищу воронамъ—  
«Сохраню человѣка на сѣмены!»

Да не долго орда потѣшалася.  
Разступается людъ на двѣ стороны.  
Къ князю старецъ выходитъ засѣльщина,  
Слово молвить ему деревенщина:  
— «Сударь князь, не казни, слово выслушай!  
«У меня на селѣ есть дѣтинушка,  
«Парень Янъ, Усмошвѣць по прозванію.  
«Его силъ, осударь, я не вѣдаю,  
«Только съ дѣтства никто съ нимъ не игрывалъ,  
«Шутки съ нимъ въ забавахъ не шучивалъ,  
«Было разъ, мнѣ онъ кожи на торжищѣ,  
«На меня, старика, младъ разгнѣвался  
«И порвалъ пополамъ кожи крѣпкія,  
«Сыромятные, вдвое полѣжены!  
«Не обидь ты его, сударь-батюшка,  
«Прикажи съ супостатомъ помѣряться!»  
Говорилъ свѣтель князь:— «Старець, честный мужъ!  
«Гдѣ же сына тваво намъ отыскивать?  
«Врагъ не ждетъ, да и время намъ спѣшное»...  
— «Во кружалѣ искать парня надобно...  
«Со голыдьбою тамъ со кабацкою  
«Младъ-дѣтина любить забавиться,  
«Хороводы водить, въ волю бражничать,  
«Свѣто-русскую душеньку тѣшити!»  
Посылалъ князь гонцовъ во всѣ стороны,

Ждалъ-пождалъ, оглядалъ свои полчища;  
А тѣмъ часомъ къ ставкѣ княжеской  
Привели парня Яна посыльные.  
Свѣтлорусъ шель дѣтина, приземистый,  
Бородагъ, да плечистъ, лапти драные;  
Набивные порты, въ бѣломъ тѣльникѣ.  
И пытали его силу крѣпкую—  
Выпускали быка разъярённаго,  
И какъ быкъ побѣждалъ вдоль по выгону,  
Ухватилъ его Янъ, не шелохнувшись  
И ногою на пядень не сдвинувшись:  
Какъ заялъ пятернёй грудь рогатаго,  
Такъ и вырвалъ kloкъ мяса, съ кожею.

Вышли въ поле тутъ княжьи глашатаи,  
Вольный конь по уставу размѣряли.  
Становились на конь поединщики;  
Вѣстовая труба откликалася,  
Борьба смертная начиналася...

Поглядѣлъ на бойца малорослаго,  
Сталъ смѣяться силачъ надъ дѣтиною:  
— «Ужъ и гдѣ же бывало то видано,  
«Чтобъ такой мелкотой битву красили? .  
«А остался бы лучше ты съ бабами,  
«Веретѣна бѣ строгаля, спалъ безъ просыпу»!...  
Выходилъ парень Янъ на противника,  
Словно вдругъ заробѣлъ, не умѣючи,  
На врага-то и глянуть не смѣючи...

И схватились бойцы, крѣпко обнялись,  
Будто братья родимые, кровные...  
Они такъ ужъ и такъ изловчались,  
Какъ съ невѣстой женихъ цѣловались.

Тутъ и дрогнули рати дозорныя,  
Громкій кличъ пролетѣлъ надъ Дрѣпромъ-рѣкой...  
Парень Янъ подхватилъ Печенѣжина,  
Подхватилъ онъ его, поприжалъ къ груди;  
Да потомъ, какъ отвелъ руки крѣпкія,  
И съ размаха ударилъ имъ въ землю—



Индо вольная степь перекликнулася...  
Поломать ему сразу всё кости онъ,  
Всё суставы, всё рёбра и голени...  
Тутъ смерть ему приключилася.  
Оробѣла орда, заметалася,  
Во всё стороны вдругъ разбѣгалася.  
А покаместъ бойцы свѣто-рускіе  
Выходили въ погоню за ворогомъ,  
Свѣтелъ князь созывалъ слугъ-приспѣшниковъ,  
Нарекать тѣ мѣста Переяславомъ—  
Переялъ-де онъ тамъ славу вражію...  
И опять пили всё, прохлаждалися,  
На честномъ пиру потѣшались.  
Они славили князя съ княгинею,  
Первороднаго княжаго первенца,  
Кіевъ-градъ, и весь свѣтъ, и веселіе...  
На пиру тутъ сидѣли старѣйшины  
И сложили такое вѣщаніе:  
— «Не удачей возьметъ, не уловкою,  
«Не мудреной какою сноровкою—  
«Своей силой возьметъ Русь-кормилица:  
«Передъ ней же ничто не схордонится...  
«Какъ пойдетъ, все на свѣтъ сторонится!»

Разсказчикъ замолкъ. Одобрительный говоръ пошелъ между слушателями. Переводчики передавали иностранцамъ содержаніе сказки. «Ну, спасибо тебѣ, Устинъ! И тебѣ спасибо, Артамонъ Сергѣевичъ!» сказалъ царь. Матвѣевъ далъ знакъ. Царскій кравчій поднесъ Устину на серебряномъ блюдѣ кубокъ ренскаго. И кубокъ, и блюдо царь пожаловалъ сказочнику. «Ну, Устинъ,—продолжалъ царь:—не полно ли тебѣ шататься по свѣту? Оставайся-ка у насъ на Москвѣ. Ты замѣнишь намъ Венедихта Тимофѣева...» «Прости, государь,—возразилъ сказочникъ:—смилуйся и не прогнѣвайся! Канарейка-птица хорошо поетъ въ клѣткѣ, а супротивъ словъ въ лѣсу ей не справиться! Тѣсно мнѣ будетъ въ твоёмъ теремѣ, да и платья-то золоченаго носить не сумѣю. Отпусти, царь-батюшка. Довольны мы твоею государскою милостью. И внукамъ, и правнучкамъ о ней скажемъ». Царь не настаивалъ и отпустилъ его съ миромъ.

Когда иностранцы разошлись, два стрѣльца внесли и

поставили на столъ передъ царемъ невысокій желѣзный ящикъ, съ ликами святыхъ угодниковъ по сторонамъ и съ скважиною въ крышкѣ. Ящикъ былъ запертъ на замокъ, ключъ отъ котораго висѣлъ у царя за поясомъ. Его вносили, такимъ же порядкомъ, каждый вечеръ въ царскіе покои. Этого ящикъ прикрѣплялся къ столбу, у оконъ, для всѣхъ проходящихъ.—«А! челобитныя! Это по твоей части, Фролъ Демьяновичъ!» сказалъ царь, обращаясь къ низенькому сѣдому старичку, правившему судными дѣлами, и подавая Демьянычу для прочтенія челобитныя, опущенныя въ ящикъ съ утра того дня. Старикъ читалъ: — «Челобитная на Степанка, да на Иванка, да на Алексѣйку Карнаухова, да на Микитку Груздева; бьютъ тебѣ, великому царю и государю всея Русіи, сироты твои хресьяне, Ортемка, да Лука, да Костя Суздальскіе. А намъ, господине, жалоба на нихъ, что взяли они у насъ и оттягали прудъ и меленку; а гуси ихъ огорода наши, и сады, и градки портятъ. Смилуйся, батюшка, и защити!» — «Отпиши, Демьянычъ, къ воеводѣ, чтобъ собралъ и выслушалъ челобитчиковъ, и дѣло бы рѣшилъ, и намъ бы отписалъ». — «Челобитная Ѳедьки Чемеря, — продолжалъ старикъ: — на Аѳанасія Периннова! Доношу, осударь отецъ, что онъ, лихой человекъ, Аѳонька Перинновъ изъ пограничной крѣпости, изъ Тора на Донцѣ бѣжалъ, и съ Туркомъ не дрался, и въ бой не шелъ. А у меня, Ѳедьки Чемеря, укралъ шубу баранью, да пять алтынъ денегъ, да новую ширинку». — Царь улыбнулся. — «Запиши, Демьянычъ: сдѣлать обыскъ, и коли вернется Аѳонька изъ побѣгу, за воровство бить батоги нещадно, и отдать Ѳедькѣ Чемерю взятое, шубу, деньги и ширинку». — Старикъ продолжалъ: «Челобитная тебѣ, великому царю и многомилостивцу, сирыхъ защитнику и правды поборнику, на ярославскаго воеводу, на грабителя и губителя. Заграбилъ онъ у насъ, сиротъ, и у немощныхъ, и убогихъ, всякое состояніе и гонить всѣхъ, и губить. А у Андрея Шестипалова дочь огнאלъ и держать... Донесеніе смиреннаго раба и богомольца твоего, инока Евстигнея». — Долго царь не произносилъ рѣшенія. Напослѣдокъ онъ сказалъ: «нарядить сейчасъ гонца за воеводою, везти его сюда неуклонно. Давно я считаю за нимъ грѣхи и добираюсь до него. Инока же Евстигнея подѣ стражу взять и держать до конца дѣла. Правъ будетъ,

дать ему мѣсто архимандрита, али вотчину изъ воеводскихъ, а нѣтъ — такъ батоги! Смотри, Демьянычъ, не покривить душою! Гляди, чтобъ судьи судили по истинѣ, правили бы дѣло по правдѣ и отнюдь бы не стыдились лица сильныхъ!» — Старикъ читалъ далѣе: «Батюшка, царь, берегись! Тебя извести хотятъ! Ондрейко Лодіевъ, да Сухоня Василій, да поповичъ Серёжка, на торгу, на Москвѣ-рѣкѣ, она-медни ходили и хвалились извести тебя, и всякія зелья собирали, и злобныя словеса говорили, и тебя и твоихъ бояръ корили, и царское твое имя поносили!..» — Царь не дослушалъ. — «Брось, Демьянычъ, эту ябеду, да и самъ не читай, кто писалъ! Мало ли чтò языки мелютъ! Одни корятъ и хулятъ, другіе хвалятъ. Коли смотрѣть на собаку, что лаеъ, такъ еще подумаетъ, что и на льва похожа...» — Демьянычъ прочелъ еще двѣ незначительныя челобитныя. Въ одной погорѣлые зарайскіе крестьяне просили помощи, а въ другой жена жаловалась на мужа. Царь велѣлъ про-извести слѣдствіе, пожаловать погорѣлыхъ крестьянъ, а обвиняемаго мужа, коли окажется виноватымъ, постращать хорошенько, чтобъ жить въ мирѣ и согласіи съ женою...

Царь снова заперъ челобитный ящикъ, отдалъ его Фролу Демьянычу и пошелъ въ опочивальню. Тамъ онъ зажегъ лампадку у образа Казанской Богородицы и долго молился. Царь заснулъ, когда занималась заря и въ донскомъ монастырѣ раздался благовѣстъ къ заутренней.

(1856 г.)

~~~~~

ШАРИКЪ.

Жилъ въ Москвѣ бѣдный портной, еврей Айзикъ Шмуль. Трудюбивый и выносливый, онъ проводилъ съ семьей цѣлые дни впроголодь, копаясь, отъ ранняго утра до поздней ночи, въ подвальной конурѣ, надъ разнымъ носильнымъ хламомъ, который бралъ отъ рыночниковъ и небогатыхъ людей въ починку, передѣлку и перелицовку.

Работалъ онъ безъ вывѣски. Исполняя заказы, ходилъ съ конца въ конецъ Москвы за деньгами, въ одномъ и томъ же, сильно поношенномъ сюртучишкѣ безъ нѣсколькихъ пуговицъ, въ пестрыхъ, узкихъ брюкахъ и въ помятомъ цилиндрѣ, похожемъ болѣе на воронье гнѣздо, чѣмъ на шляпу. Отъ одежды Шмуля постоянно почему-то отдавало страннымъ запахомъ, напоминавшимъ запахъ жаренаго рябчика. «А, рябчикъ уже тутъ!» говорили себѣ заказчики, заслыша въ передней робкое переступаніе худыхъ ногъ портного, обутыхъ въ истоптанныя, съ искривленными каблуками, ботинки.

Большіе, черные, постоянно унылые и какъ бы заплаканные глаза Шмуля съ жаднымъ вниманіемъ устремлялись на руки входящаго заказчика, а длинный, мясистый носъ и толстыя, безусыя губы, при видѣ вынутыхъ денегъ, освѣщались блаженною улыбкой, и весь онъ, съ принесенною въ черномъ чехлѣ работой, отвѣшивая низкіе поклоны, какъ-то судорожно дергался сверху внизъ, точно у него силой отнимали эту работу, а онъ боролся, увертываясь и не выпуская ея изъ рукъ.

— Отчего, Шмуль, у тебя постоянно такіе унылые глаза?—спрашивали портного заказчики.

— У бѣднаго еврея печаль, — отвѣчалъ онъ со вздохомъ: — чего ему радоваться и веселиться?

— Но почему же?

— Еврей иначе не можетъ смотрѣть на свѣтъ, за неправду, какъ съ печалью, презрѣніемъ и скорбью.

— А почему отъ тебя рябчикомъ пахнетъ?

Шмуль краснѣлъ, какъ ракъ.

— Баринъ шутитъ, — отвѣчалъ онъ съ гордымъ недоумѣніемъ, оглядываясь на свою одежду: — бѣдный еврей, можетъ, давно не только рябчика въ глаза не видѣлъ, но и ничего не ѣлъ.

Въ окраинахъ Москвы свирѣпствовала повальная оспа. Заболѣли жена и двое дѣтей Шмуля. Жена умерла; дѣти-близнецы, сынъ Юська и дочь Ривка, выздоровѣли, но ихъ лица до того были разрисованы оспой, что казались тѣрками, на которыхъ трутъ рѣдку и хвѣтъ. Сильно горевалъ и убивался портной, схоронивъ жену. Жить стало еще тяжелѣе. Дѣтямъ шель пятый годъ. Надо было ходить за ними, обшивать ихъ, чесать ихъ всклокоченныя, курчавыя головы, варить имъ лапшу на молокѣ, и въ то же время не разгибать спины надъ заказами. Работа валилась изъ его рукъ. Голодалъ еще болѣе Шмуль съ дѣтьми. Голодалъ и выкормленный покойною Суррой, вихрастый, съ кривыми лапами, песъ Шарикъ.

Эту собаку жена портного, однажды осенью, нашла подъ Москвой на огородѣ, куда ходила съ корзиной за покупкой дешевыхъ остатковъ капусты и картофеля. Услыша тихіе, жалобные стоны изъ канавы, поросшей травой, Сурра подошла и увидѣла въ травѣ свернувшуюся въ жалкій комокъ и дрожавшую отъ холода, голода и увѣчій собачонку. «Злые люди били тебя, видно, на-смерть, — подумала Сурра, — и бросили сюда издыхать, но ты еще жива и будешь жить!» Она подняла собаку. Та еле двигала искалѣченными ногами; съ боковъ клочьями висѣла шерсть. Взявъ собаку въ корзину, портниха принесла ее домой, накормила, а вечеромъ, когда купала дѣтей, сварила щелокъ и для собаки, бережно вымыла ее и уложила въ подвальный чуланъ, прикрывъ ее старыми рогожами.

Долго Сурра носила въ чуланъ собакъ, тайно отъ мужа, ѣсть и пить. Шмуль не любилъ собакъ, говоря, что отъ нихъ, обжоръ, кромѣ блохъ, никакого нѣтъ толку. Портниха

размышляла: «Выздоровѣть бѣдный песъ, наберется съ силами, тогда выпущу его на волю; кто-нибудь сжалятся надъ нимъ и возьметъ его себѣ... Бываютъ красивыя и изъ уличныхъ: можетъ-быть, и это такая». Собака понемногу оправилась, вылѣзла изъ-подъ рогожъ и, въ отсутствіи портного, была выпущена—размяться и побродить на дворѣ. Сурра взглянула на нее и увидѣла, что о красотѣ найденной собаки нечего было и думать. Острая, съ торчавшими ушами, морда и кривыя, крѣпкія лапы ея съ перваго взгляда напоминали какъ бы нѣчто, похожее на таксу. Но неуклюжія, съ глупою закорючкой, хвостъ, а вмѣсто черныхъ глазъ и гладкой, черной, съ желтыми подпалинами, шерсти таксъ, длинныя лохмотья какой-то буро-лиловой шерсти и разномастные—сѣрый и голубой—глаза найденной собаки прямо указывали на ея происхожденіе отъ простой и самой заурядной дворняжки.

Оправясь отъ увѣчій, собака, впрочемъ, оказалась весьма веселой и рѣзвой. Она стрѣлой носилась за Суррой и волчкомъ вилась у ея ногъ, когда та ходила въ лавочку или во дворѣ развѣшивала бѣлье. За эту веселость и рѣзвость портниха назвала его Шарикомъ. Какъ-то Сурра обронила на улицѣ свертокъ съ покупкой. Шарикъ поднялъ его и принесъ въ зубахъ за хозяйкой.

— Что это? откуда уродина?—спросилъ Шмуль, увидѣвъ впервые эту собаку, беззаботно прыгавшую за Суррой.

— Шарикъ,—отвѣтила, смутясь, жена.

— Шарикъ,—ну, и пусть Шарикъ,—а откуда онъ и зачѣмъ?—настаивалъ Шмуль.

Портниха объяснила, какъ, гдѣ и въ какомъ видѣ она нашла его.

— Онъ, представь, и поноску носить,—прибавила Сурра, стараясь такъ или иначе смягчить мужа.

— Поноску? вотъ что!—сказалъ Шмуль, недовѣрчиво разглядывая собаку, которая, въ свой чередъ, пристально глядѣла ему въ глаза.

— А—ну!—произнесъ портной, бросая черезъ рѣшетку въ садъ свою шапку:—пиль!

Шарикъ кинулся кубаремъ въ калитку и притащилъ изъ сада шапку. За шапкой были туда брошены платокъ, хлѣбный сухарь и говяжья кость. Все это Шарикъ также пашель и принесъ.

— Держи его, закрой ему глаза,—сказаль портной женѣ. Онѣ вынулъ изъ кармана копейку, поплевалъ на нее, швырнулъ ее въ траву, на конецъ двора, и крикнулъ снова: пиль!

Шарикъ сначала не понялъ, въ чемъ дѣло, и смотрѣлъ, склоняя то одно, то другое ухо, въ разныя стороны. Слыша повторенія приказа и видя, что въ его услугахъ, попрежнему, нуждаются, онѣ, обнюхивая землю, кинулся-было въ садъ, исколесилъ его нѣсколько разъ вдоль и поперекъ, возвратился и, съ высунутымъ языкомъ, недовольный поисками, сѣлъ на заднія лапы.

— Пиль, шельма, пиль!—твердилъ портной.

«А, такъ вотъ что,—какъ бы подумаль Шарикъ,—значить, все-таки, что-то брошено, только не тамъ!» Онѣ шевельнулъ хвостомъ, увидѣлъ, что хозяинъ смотритъ въ конецъ двора, бросился туда, уткнулся носомъ въ траву, росшую подъ заборомъ, прошелъ по ней нѣсколько шаговъ и, съ радостнымъ визгомъ, подбѣжалъ къ Шмулю: въ зубахъ у него была копейка.

Портной, однако, остался не вполне доволенъ собакой. «Поноску, дѣйствительно, она носитъ,—разсуждалъ онѣ,—но зачѣмъ намъ этотъ пестъ? Самимъ тѣсно и голодно, лишній только ротъ...» Сурра замѣтила это недовольство мужа и стала придумывать, чѣмъ бы расположить его въ пользу собаки.

Какъ-то къ обѣду Шмуль долго не возвращался отъ казачиковъ. Проголодалась портниха съ дѣтьми; еще болѣе проголодался и Шарикъ. Сидя, какъ вкопанный, съ подведенными, тощими боками, онѣ давно поглядывалъ на припертую, варистую печь, изъ которой такъ вкусно пахло молочною кашей и щукой съ лукомъ. Шмуль, наконецъ, пришелъ и усѣлся, съ женой и дѣтьми, за обѣдъ. О собакѣ никто не вспоминалъ. Слыша дружное чавканье ртовъ, Шарикъ попрежнему степенно и вѣжливо сидѣлъ вдали отъ стола, изрѣдка только склоняя то на одинъ, то на другой бокъ голову и, точно для развлечения, слѣдя за сонными, вялыми мухами, ползавшими, въ ожиданіи зимней спячки, по нагрѣтому карнизу печи. Сурра, впрочемъ, не покидала мысли о собакѣ.

Раздумывая, какъ бы окончательно расположить въ ея пользу мужа, она въ концѣ обѣда сказала ему:

— Шарикъ, можетъ-быть, собака не простая.

— Это почему?—спросил портной:—носить поноску; немудрено,—наученъ и еще что дѣлаетъ. Вотъ вздумала! И кто такую паршивую барбоску станетъ учить? на что она, кому?

— Ну, не говори,—можетъ, онъ былъ у фокусниковъ, а тѣ научили его и не такимъ штукамъ, да обѣднѣли и бросили его, либо потеряли,—говорила Сурра, подкладывая мужу лакомые куски.

— Попробуй, попытай,—отвѣтилъ, съ усмѣшкой, Шмуль:—ты его нашла, ты съ нимъ и возись.

— Самъ попробуй,—развѣ я что знаю въ такихъ дѣлахъ, или ходила съ фокусниками?

Портной былъ въ духѣ въ тотъ день отъ полученныхъ заказовъ и еще болѣе отъ фаршированной съ лукомъ шuki. Онъ оглянулся на Шарика, который, въ прежнемъ ожиданіи подачи, сидѣлъ неподвижно, не спуская глазъ съ хозяйскаго стола. «Осрамлю ее,—подумалъ о женѣ Шмуль,—такъ и быть, испытаю собаку; только она, разумѣется, не отличится». Не вставая со скамьи, портной кольцомъ сложилъ руки, наставилъ ихъ противъ собаки и едва сказалъ: «аванц!»—Шарикъ слегка пригнулся и мгновенно проскочилъ черезъ руки Шмуля, какъ сквозь обручъ. Присѣвшая къ столу, Сурра ахнула отъ восхищенія. «Что время терять!»—подумалъ, между тѣмъ, Шарикъ. Видя, что озадаченный его подвигомъ хозяинъ, нагнувшись, недовѣрчиво разсматривалъ его лапы, точно удивляясь, какъ такой невзрачный пестъ, и на такихъ кривуляхъ, могъ произвести подобный прыжокъ,—Шарикъ шевельнулъ хвостомъ, еще ниже пригнулся, вскочилъ на скамью и легче мухи перелетѣлъ черезъ спину самого Шмуля. Сурра, покотившись со смѣху, припала къ столу; а Шарикъ, недолго думая, опять прыгнулъ на скамью и перемахнулъ черезъ спину хозяйки.

— Да, собака изъ ученыхъ,—невольно согласился съ женою Шмуль:—и кто могъ ожидать? съ виду—плюгавый шавка: а за такую, пожалуй, охотникъ дастъ не меньше синей, а то пожалуй и красную.

Съ той поры Шарикъ водворился на жительство у портного, дѣля съ хозяевами сытые и голодные, веселые и горестные дни, служа имъ въ видѣ забавы за столомъ, срывая съ прохожихъ шапки и расхаживая, въ видѣ солдата, на

заднихъ лапахъ, со вложенной въ переднія лапы палкой, какъ съ ружьемъ. Веселые дни портного, со смертью его жены, окончательно прошли и не возвращались. Овдовѣвшій Шмуль впалъ въ безысходную бѣдность и горе. Онъ выбился вовсе изъ силъ и сталъ роптать: «Богъ Исаака и Иакова, гдѣ Ты? — восклицалъ онъ мысленно, не попадая отъ слезъ ниткой въ иглу: — почему Ты, о Господи, глухъ ко мнѣ? за чтѣ губишь бѣднаго еврея и его неповинныхъ дѣтей? Отчего христіанамъ хорошо? Смотришь, никуда негодный, пьяница завалящій, шарлатанъ, живетъ хорошо, а бѣдному еврею вездѣ неудача и тѣснота! Даже вонъ, русскій песъ Шарикъ — и тотъ счастливъ, такъ весело вѣчно возится съ друзьями своими, собаками сосѣдей».

Былъ жаркій, пыльный и душный день. Портной съ утра ходилъ по заказчикамъ за деньгами и нигдѣ не получилъ ни копейки. Особенно огорчилъ его одинъ мелкій адвокатъ, задолжавшій ему болѣе ста рублей и постоянно говорившій: «приходи завтра, денегъ нѣтъ». Отмахалъ Шмуль съ Прѣсни за Покровку, въ Плетешки, и оттуда къ Серпуховской заставѣ, на Замоскворѣчье. Усталъ и проголодался онъ до невозможности, и пить ему сильно хотѣлось. Пирожники кричали: «вотъ горячіе, съ пылу!» На лоткахъ красовались горы моченыхъ грушъ, всякихъ ягодъ и квасъ, а въ карманѣ было пусто. Къ вечеру доплелся онъ на Садовую и присѣлъ въ ближнемъ переулкѣ, на столбикѣ, у какихъ-то воротъ. Черезъ каменный заборъ изъ сада, возлѣ котораго онъ сидѣлъ, повѣяло прохладой. Послышалось тихое, стройное пѣніе. Шмуль оглянулся.

Невдали, въ глубинѣ переулка, сквозь вечернюю мглу, онъ увидѣлъ деревья, за чугунною оградой, а за ними ярко освѣщенныя окна церкви. На паперти, полулежа, дремало нѣсколько нищихъ. Дорога Шмулю была мимо этой церкви. Отдохнувъ, онъ всталъ, пошелъ далѣе, поровнялся съ церковною оградой и повернулъ къ паперти. «Дай, посмотрю, — подумалъ онъ, — какъ молятся христіане; никогда не былъ въ ихъ храмѣ». Дверь въ церковь была отворена. На портного, въ сумеркахъ, никто не обратилъ вниманія. Онъ вошелъ въ церковь.

Былъ канунъ приходскаго праздника. Убранный особенно торжественно, со множествомъ горящихъ передъ иконами свѣчей, позолоченный алтарь, въ кадильномъ дыму, точно

плавать на воздухѣ по облакамъ. Въ его раскрытыхъ вратахъ стоялъ, въ бѣлой, изъ серебрянаго глазета, ризѣ, съ сѣдою; длинною бородой, священникъ. Онъ тихо возглашалъ моленіе. Хоръ любителей, изъ кушцовъ этого прихода, вторилъ ему, съ незримаго за колоннами клироса, переливками нѣжныхъ, на диво спѣвшихся голосовъ, среди которыхъ, какъ отъ звука дальняго грома, изрѣдка и въ мѣру слышалось гудѣніе мощнаго баса. Шмуль почувствовалъ, какъ бы нѣчто вдругъ подхватило его и стало уносить куда-то вверхъ, далеко-далеко. Надъ нимъ и вокругъ него звучало и вѣяло что-то волшебное, неземное. «Свѣте тихій», слышалось отъ клироса. Волосы шевельнулись на головѣ Шмуля, и весь онъ стоялъ, охваченный мучительнымъ и сладкимъ трепетомъ. Церковь опустѣла, служба кончилась. Вслѣдъ за прочими богомольцами, вышелъ на улицу и портной.

Долго ли онъ пробылъ въ церкви и какъ добрелъ до своего подвала, раздѣлся и легъ спать, онъ мало впослѣдствіи помнилъ. Ясно сознавалъ онъ одно, что усталость и голодъ въ то время мгновенно оставили его. Онъ почувствовалъ себя бодрымъ, спокойнымъ и готовымъ на новую работу. Должникъ-адвокатъ выигралъ безнадежное уголовное дѣло и неожиданно расплатился съ нимъ. Прочіе заказчики, точно условясь, также въ непродолжительномъ времени уплатили свои долги. Одни прислали деньги черезъ прислугу; другіе для расплаты сами явились къ Шмулю на квартиру, да еще съ извиненіями за просрочку. «Что за диво!—изумлялся портной, — не только рыночники, капитанша-ростовщица, даже сквалыга участковый приставъ не только расплатился до копейки, а еще заказалъ другое платьѣ и, чего не бывало прежде, на матеріалъ далъ впередъ деньги». Новые заказы посыпались въ то же время такъ, что портной взялъ къ себѣ въ помощь подмастерья, вскорѣ затѣмъ другого, а спустя полгода перебрался изъ подвала въ просторную и теплую комнату, о двухъ окнахъ, на антресоляхъ двухъ-этажнаго деревяннаго дома, въ переулкѣ на Плющихѣ. Дѣтямъ онъ купилъ по полдюжинѣ бѣлья, новые сапоги и шубейки, и себя не забылъ: справилъ себѣ, вмѣсто помятаго цилиндра, еще малоподержанную, поярковую шляпу котелкомъ и — съ чьего-то плеча — теплое, длинное пальто съ барашковымъ воротникомъ. Дѣти по двору стали бѣгать сытыя, пузатыя, такъ какъ постная лапша съ лукомъ у Шмуля смѣнилась

теперь бараниной, клецками и рубцами. Отощавшій до крайности, кривоногій пестъ Шарикъ тоже теперь ходилъ сытый и пузатый, лукаво помахивая закорюченнымъ, наполовину облызымъ, въ голодные дни, хвостомъ, какъ бы говоря: «что взяли? вотъ мы каковы!» Дѣла Шмуля вскорѣ наконецъ пошли такъ хорошо, что онъ сталъ подумывать и о вывѣскѣ. Въ одномъ было препятствіе: домъ, гдѣ онъ жилъ, стоялъ въ глубинѣ грязнаго деревяннаго двора, такъ что вывѣски изъ-за дровъ, съ переулка, пожалуй, не было бы видно.

Кончая теперь заказанную работу, Шмуль весело бралъ ее подъ мышку и съ тросточкой, въ модномъ котелкѣ и новомъ пальто шелъ по улицамъ въ такомъ духѣ, что самъ удивлялся. «Это все за мою правду и честность Богъ послалъ, — разсуждалъ онъ, гордо выступая двойными подошвами по панели: — за то, что я всѣ обряды и правила Израиля соблюдаю, какъ слѣдуетъ».

И дѣйствительно, евреи того и ближнихъ околотковъ знали доподлинно, что Шмуль никогда въ ротъ не бралъ свинины, — не только въ видѣ жирной ветчины, но и самыхъ невинныхъ, тощихъ сосисокъ, а съ пятницы подъ субботу, какъ ни требовали того срочные и спѣшные заказы, сидѣлъ съ дѣтьми въ потемкахъ, не зажигая огня. Что же касается празднованія субботы, онъ соблюдалъ ее до того строго, что не ходилъ въ этотъ день ни къ заказчикамъ, ни въ лавку за припасами, и даже не топилъ печки, заготовляя пищу, какъ установлено Талмудомъ, наканунѣ. Разъ, впрочемъ, встрѣтился великій соблазнъ: приходилось отправиться съ работой за деньгами именно въ субботу. Шмуль и помедлил бы, но выгодный заказчикъ жилъ на другомъ концѣ Москвы и въ тотъ день съ утра покидалъ городъ. Памятуя, что Израилю въ день субботній воспрещены всякія поѣздки, кромѣ морского путешествія, то-есть ѣзды на водѣ, Шмуль сѣлъ въ вагонъ конки, подложивъ подъ себя бутылку съ водой, и спокойно на ней сѣздилъ за деньгами.

«Вотъ, говорятъ, — разсуждалъ онъ: — плохо евреямъ. Оно правда: на улицѣ мальчишки показываютъ тебѣ, свернувъ изъ полы платья, свиное ухо, зовутъ тебя пархатымъ, нечистымъ. А отчего нечистота? Отъ бѣдности. Дай евреямъ волю вездѣ жить, дѣлать честно дѣла, богатѣть, развѣ то будетъ? Не одинъ ли у всѣхъ Богъ? Я тружусь, не пьянствую, забочусь о дѣтяхъ, вотъ Богъ оттого и склонился

ко мнѣ, за правду, оттого и улучшились мои дѣла». — «Оттого-ли, однако? — раздумывалъ иногда Шмуль: — не было ли тутъ другой причины?» Въ голову ему сама собой приходила мысль, что поправка въ его дѣлахъ началась, какъ нарочно, съ того вечера, когда онъ, истомленный ходьбой, голодомъ и жаждой, неожиданно зашелъ въ христіанскій храмъ и постоялъ тамъ какихъ-нибудь полчаса. «Случай, не болѣе! — старался себя увѣрить Шмуль: — вѣдь я вовсе не молился тамъ... фу! развѣ я осмѣлился бы? Ну, и что такое, наконецъ, если я, зайдя въ ту церковь, послушалъ, какъ сѣдой попъ читаетъ тамъ молитвы и какъ поютъ купеческіе пѣвчіе? Впрочемъ, очень хорошо поютъ и столько въ церкви образовъ, такъ пахнетъ въ ней ладаномъ и свѣтло, — не то, что въ нашей темной, бѣдной и всегда печальной синагогѣ».

Дѣла портного становились все лучше. Явились у него заказчики и изъ военныхъ. Нѣкій подполковникъ, получивъ въ командованіе батальонъ, заказалъ ему для себя цѣлую новую обмундировку: лѣтнюю, зимнюю, будничную и парадную. Шмуль нажилъ на этомъ не мало. За командиромъ обратились къ нему съ заказами и офицеры того батальона.

— Отчего ты, любезный, не заведешь вывѣски? — говорили ему офицеры: — шьешь не хуже модныхъ портныхъ, а тебя почти никто не знаетъ...

Шмуль подумалъ и завелъ вывѣску. Дровъ къ началу лѣта во дворѣ стало меньше, и огромная вывѣска: «Портной изъ Варшавы — Августъ Самойловъ. — стала всѣмъ видна съ переулка. Въ числѣ новыхъ давальцевъ къ Шмулю, передъ осенью, явился, съ заказомъ новой суконной рясы, не старый еще сосѣдній протоіерей. Шмуль снялъ съ него мѣрку, сходилъ въ гостинный дворъ, гдѣ забиралъ товаръ, и, зайдя на квартиру протоіерея, выложилъ передъ нимъ штуку тончайшаго, съ заграничной пломбой, сукна. Заказчику очень понравился товаръ.

— Суконце важное... А давно ли мастеришь въ нашихъ краяхъ? — спросилъ священникъ, глядя сукно по ворсу и противъ ворса и приглядываясь къ нему на свѣтъ.

Полщенный похвалою важнаго духовнаго лица, Шмуль сообщилъ ему о своемъ прошломъ и не утерпѣлъ, кстати, рассказать, какъ онъ случайно, годъ назадъ, зашелъ вечеромъ въ церковь и какъ съ той поры совершенно неожиданно поправились его дѣла.

— Крестись, чадо!—отвѣтилъ ему на это священникъ:— перстъ Божій указываетъ тебѣ, какъ и что дѣлать.

Шмуль не нашелся, что отвѣтить на это, и промолчалъ. Выйдя въ нѣкоторомъ смущеніи отъ священника, онъ не смѣло прошелъ нѣсколько шаговъ по улицѣ и тряхнулъ головой.

«Вотъ еще что выдумалъ!—сказалъ онъ себѣ въ неудовольствіи:—точно не всякая вѣра сильна у Бога,—точно ихъ вѣра праведнѣе и сильнѣе! Не мало господъ и прежде,—да какіе,—генералы, графы, богачи,—особенно полковница Ульянова,—два дома у нея, на Стоженкѣ и Мясницкой,—предлагали мнѣ то же... Устоялъ, однако, бѣдный еврейчикъ въ вѣрѣ въ дни всякаго горя,—теперь же и пуще того устою!»

Съ осени Шмуль принималъ, рядомъ съ прежнею своею комнатою, на антресоляхъ, еще другую; въ прежней помѣщался онъ самъ съ дѣтьми, а въ новой работали и спали его подмастерья. Старуха-кухарка нижнихъ жильцовъ,—сапожниковъ, тоже евреевъ,—была договорена варить ему обѣдать и ставить самоваръ. Къ зимѣ дрова опять завалили дворъ. «Надо весной искать другую квартиру,—думалъ портной,—вывѣски не видно съ переулка; впрочемъ, еще мѣсяць-другой такой работы, можно перейти не только на Арбатъ, а хоть и на Тверскую».

Стояла морозная погода. Дѣти Шмуля рѣже стали выбѣгать во дворъ и на улицу и скучали взаперти. Онъ справилъ имъ теплыя шапки, рукавицы и калоши. Рѣзвый сыншкѣ спускался разъ въ новыхъ калошахъ по крутой обледѣлой лѣстницѣ, поскользнулся и со второго этажа скатился по ступенькамъ внизъ.

— Тату, тату!—закричала Ривка, вбѣгая къ отцу:—тамъ Іоська упалъ, лежитъ и не дышитъ.

Шмуль бросился къ сыну, поднялъ его: мальчикъ былъ какъ мертвый. Онъ внесъ его въ комнату, тѣрѣ ему виски, брызгалъ въ лицо водой,—Іоська лежалъ бездыханный.

«Умеръ! а не умеръ, непременно помретъ!» въ ужасѣ думалъ Шмуль, прислушиваясь къ чуть слышному дыханію сына и вглядываясь въ его безжизненное рябое личико. Сбѣжались сосѣди; были приведены знахари и знахарки. Но что они ни дѣлали, что ни предпринимали, мальчикъ не приходилъ въ себя. Такъ онъ, въ безсознательномъ со-

стоянии, пролежалъ нѣсколько дней. Въ длинныя, темныя ночи, просиживая, при свѣтѣ ночника, надъ сыномъ, Шмуль безнадежно ломалъ надъ нимъ руки, билъ себя въ грудь, или, по обычаю единоплеменниковъ, босой, въ разорванномъ бѣльѣ, забивался въ уголъ, посыпалъ себѣ голову золой и, тихо всхлипывая, повторялъ: «Богъ Исаака и Іакова! опять Ты отвернулся отъ меня, жестокий, опять караешь и казнишь неповиннаго! за что, вай-миръ, за что?»

Вьюга гудѣла на дворѣ, снѣгъ ледяными ворохами билъ въ окна. Ночникъ догоралъ, а Шмуль до утра не смыкалъ глазъ, не отходилъ отъ сына. Въ одну изъ такихъ ночей, измученный долгою бессонницей, онъ забылся короткою дремотой и вдругъ, точно ударилъ его кто-нибудь по головѣ, очнулся. Впотѣмахъ надъ нимъ прозвучало странное слово. Онъ явственно разобралъ чей-то тихій, но властный голосъ: «Крестись!» Думая, что это ему приснилось, онъ закрылъ глаза; но опять услышалъ: «Хочешь спасти дитя, крестись!» Вскочивъ съ полсти, на которой онъ прилежъ у кровати сына, Шмуль opravилъ потухшій ночникъ, осмотрѣлся кругомъ. Въ комнатѣ, кромѣ дѣтей, не было никого. Рѣвка мирно спала на лежанкѣ, въ одномъ углу комнаты; въ другомъ, попрежнему, какъ мертвый, лежалъ неподвижно Іоська. Шмуль отошелъ къ окну, вперилъ глаза въ надворье, гдѣ, злобно кружась, гудѣла вьюга, и задумался.

— Крестись! — громче раздался за его плечами тотъ же голосъ.

Ужасъ охватилъ Шмуля.

«Да для чего же?—сказалъ онъ себѣ:—чѣмъ одна вѣра выше другой? сына моего, мертваго Іоську, не спасти теперь никому!» Шмуль оглянулся и замеръ. У кровати сына стояло что-то бѣлое. На слабыхъ, худыхъ ножкахъ, кто-то, шатаясь, шелъ къ нему, протянувъ руки. Портной бросился къ призраку: то былъ его очнувшійся Іоська. Весь домъ утромъ сбѣжался на радостные крики Шмуля, дивясь на мальчика, который столько времени былъ какъ мертвый и ожилъ.

— Это по вѣрѣ моей, по вѣрѣ отцовъ!—всѣмъ твердилъ и объяснялъ Шмуль:—Богъ израиля, владыко нашъ, явилъ мнѣ такую милость!

Въ несказанномъ счастьѣ отъ спасенія сына, Шмуль сталъ обдумывать, чѣмъ бы ознаменовать эту радость, и рѣшилъ пожертвовать въ синагогу цѣнную пелену па свитки свя-

ценныхъ книгъ Торы. Справившись, однако, о ея стоимости, онъ остановился съ исполненіемъ жертвы. «Дорого, не по карману! — разсуждалъ онъ, вспомнивъ жену: — будь жива Сурра, купилъ бы одну матерію, а она вышла бы; теперь лучше пожертвую коврикъ къ каедрѣ, — это будетъ дешевле... Да и коврикъ не подождать ли, пока болѣе соберусь со средствами? Вѣдь тоже не мало обойдется; дешевый неприлично, да и не примутъ. Къ тому же времени и Іоська подрастетъ, станетъ учиться грамотѣ; введу его въ синагогу, да кстати простелю тамъ, при всѣхъ, и коверъ»...

Мысли о возвращенномъ къ жизни сынѣ не выходили изъ головы Шмуля. Онъ думалъ объ его будущности, воображалъ его себѣ красивымъ, стройнымъ отрокомъ, потомъ разумнымъ юношей, на выучкѣ въ хедерѣ, у первыхъ по знаніямъ меламдовъ. Іоська давно вытвердилъ по Сидеру всѣ молитвы, прошелъ Хуменшъ (Пятикнижіе) и изучаетъ Мйшну и Талмудъ. На степеннаго острослова-ученика заглядываются въ синагогѣ первые еврейскіе тузы. Его черныя кудри вьются до плечъ, какъ у Авессалома; рябины на лицѣ съ годами исчезли, а уменъ и находчивъ онъ, какъ его соименникъ, прекрасный Іосифъ, и стихи пишетъ, какъ Давидъ. Наука кончена, Іоська поступилъ въ банкирскую контору, да какія дѣла дѣлаетъ! — Вотъ, изъ тщедушнаго и жалкаго мальчика выйдетъ если не самъ реббе Ротшильдъ или реббе Монтефіоре, то по крайней мѣрѣ баронъ Френкель.

Прошло еще нѣкоторое время. Шмуль выгодно купилъ, по случаю, мягкой мебели, горшковъ съ цвѣтами, ситцевыя занавѣски на окна.

У какого-то закладчика, также случайно и выгодно, онъ купилъ къ дивану и красивый коверъ. Совѣсть шевельнулась у него.

«Какъ же это? — мыслилъ онъ: — я положу коверъ у себя, а общалъ на синагогу? — Ничего! — утѣшалъ онъ себя: — я общалъ новый, а это подержанный, для синагоги не идетъ».

Жилье Шмуля совсѣмъ перестало походить на скудный уголъ убогаго поденщика. Фарфоровая посуда красовалась за стекломъ на горкѣ, по стѣнамъ были развѣшаны хромотографіи, на столѣ передъ диваномъ стояла лампа. Одно смущало его: по комнатамъ ходилъ все тотъ же лохматый и кривоногій, съ закорюченнымъ облѣзлымъ хвостомъ, Ша-

рикъ. Собака съ нѣкотораго времени такъ опротивѣла Шмулю, что онъ сталъ забывать объ ея пищѣ, а когда дѣти кормили ее, ворчалъ и гналъ ее отъ себя. «Надо сбыть эту уродину!—думалъ портной, глядя на Шарика, умильно ластившагося къ нему, — у полковницы Ульяновой отличные бѣлые пуделя, ходятъ наполовину стриженные, задъ безъ шерсти и морда прострижена, такъ что торчатъ только усы да брови, а на шеѣ голубые банты; непременно выпрошу у нея щенка, а этого хотъ отдать прохвостамъ, на живо-дерню,—одно жалъ, покойница Сурра выкормила его. Отвѣлъ бы на толкучку, подѣ Сухареву,—да кто купить?»

Рѣшеніе сбыть Шарика такъ засѣло въ голову Шмуля, что онъ безъ досады уже не могъ видѣть его, а когда тотъ при встрѣчѣ бросался по привычкѣ къ нему, онъ даже угощалъ его пинками.

«Вотъ чортовъ песъ,—отмахиваясь, думалъ Шмуль,—лѣзетъ на грудь, высачкалъ всего грязными лапищами и не думаетъ, гдѣ вскорѣ очутится».

Спивъ на собаку ошейникъ, портной выбралъ бечевку и повелъ Шарика на рынокъ; но собака, всегда охотно слѣдовавшая за портнымъ, тутъ вдругъ почему-то залпыгала, вмѣсто четырехъ, на трехъ ногахъ, поджавъ одну изъ заднихъ,—можетъ быть, вслѣдствіе примерзшаго къ ней комка снѣга.

«Нѣтъ, подожду, — подумалъ Шмуль, — пусть выйдетъ, еще забракують хромую».

Судьба Шарика была отсрочена.

Былъ холодный и темный вечеръ въ концѣ зимы. Порывистый вѣтеръ раскачивалъ безлистые, обледенѣлыя деревья сзади дома, въ которомъ была квартира портного. Жильцы двухъ нижнихъ этажей этого дома давно погасили огни и спали. Дѣти Шмуля, набѣгавшись на дворѣ, также уже улеглись. Спали въ сосѣдней комнатѣ мезонина, побывавъ съ вечера въ банѣ, и оба подмастерья. Шмуль, пока было свѣтло, наскоро выутюжилъ конченную чью-то пару платя и тоже улегся, сердясь на кухарку нижнихъ жильцовъ, которая съ обѣда куда-то отлучилась и во-время не поставила вечерняго самовара, и когда внесла его, онъ такъ сильно дымилъ, что вообще покладистый нравомъ Шмуль раскричался и велѣлъ вынести его на лѣстницу за дверь. Подмастерья, послѣ обычной еженедѣльной бани, показались

ему тоже подозрительными: смѣялись громко, отвѣчали, точно хмельные, невпопадъ, а ложась спать, такъ долго возились за тонкою дощатою стѣной, что Шмуль не выдержалъ и крикнулъ:

— Цыц! шарлатаны! пьяницы! Откуда взяли денегъ, надрызгались? Я васъ!

Наморившись за день на ходьбѣ по заказчикамъ и на работѣ, портной вскорѣ заснулъ. Холодный вѣтеръ продолжалъ еще шумѣть на дворѣ, раскачивая деревья; зато въ комнатѣ было такъ уютно и тепло. Къ полночи вѣтеръ замолкъ. Кругомъ настала тишина. Слышно было въ комнатѣ, гдѣ-то въ углу, только позвякиванье сверчка, да Шарикъ, переходя отъ жарко натопленной печи на болѣе прохладную средину комнаты и опять возвращаясь къ печи, то мирно дремалъ, то вдругъ поднималъ голову и тревожно, съ протосонья, наострялъ уши, точно обнюхивалъ темный воздухъ.

Шмулю приснился дивный и радостный сонъ. Онъ увидѣлъ себя вдругъ въ раззолоченной какой-то комнатѣ, въ компаніи пышныхъ богачей. На каждомъ были дорогія платья и каждый съ похвалой говорилъ, что это работа Шмуля. Среди хвалившихъ и славившихъ его богачей, портной разглядѣлъ и своего Иоську; но это уже былъ не Иоська и даже не Иосель, а гордый, съ крупными брилліантами на манишкѣ и на перстняхъ, миллионеръ-банкиръ, баронъ Іосифъ Шмуленштейнъ. Всѣ были веселы и шумны, пили дорогія вина и играли въ карты по большой. Одно обстоятельство нѣсколько беспокоило Шмуля, а именно, не совсѣмъ чистый и пріятный воздухъ въ раззолоченной палатѣ. Пахло какъ бы дымомъ или гарью. «Треплетая стряпуха забыла, значить, на лѣстницѣ самоваръ!»—подумалъ Шмуль и самъ невольно улыбнулся во снѣ этой неподходящей мысли.— «Какая глупость!—рѣшилъ онъ, сладко потягиваясь на кровати:— ну, можетъ ли стряпуха Мавра даже попасть въ такой домъ?»

Тѣдкая гарь, однако, усиливалась. Кто-то простоналъ у изголовья портного, кто-то тронулъ его тѣмъ-то теплымъ за руку, потомъ за лицо. «Тыфу! не Шарикъ ли вздумалъ ластиться?—пришло въ голову Шмуля:— и зачѣмъ я этого аспида оставилъ тутъ, не прогналъ на морозъ?» Портной очнулся. На дворѣ была еще ночь, но въ комнатѣ что-то свѣтилось, Шмуль протеръ глаза. У кровати, странно визжа,

дѣйствительно метался Шарикъ. Портной уже собирался вытолкать его за дверь, но остановился. Комната наполовину была полна дымомъ. Очевидно, горѣло гдѣ-то невдали, чуть ли даже не здѣсь, на антресоляхъ. Сквозь щели притворенной двери изъ коридора мерцалъ огонь. Шмуль вскочилъ, отворилъ дверь и вскрикнулъ. Коридоръ былъ полонъ дыма. Онъ поспѣшилъ къ лѣстницѣ. Пламя хлынуло ему навстрѣчу. Огненные языки вились надъ выходомъ и уже касались перегородки, за которою спали подмастерьи. Портной бросился къ дѣтямъ, подхватилъ ихъ сонныхъ на руки и, прикрывъ одѣяломъ, побѣжалъ сквозь удушливый дымъ къ выходу и замеръ въ ужасѣ. Путь на лѣстницу былъ уже прегражденъ. Портной распахнулъ выходную дверь... Лѣстница сверху до низу пылала. Шарикъ съ визгомъ скользнулъ мимо Шмуля и стремглавъ кинулся по ступенямъ въ это пламя.

«Боже Господи! Богъ Единый! — въ смертномъ страхѣ мыслить портной, кинувшись обратно въ комнату и запирая за собой дверь въ коридоръ, — лѣстница въ огнѣ, другого выхода нѣтъ, а дымъ и пламя увеличиваются, скоро вспыхнетъ и это послѣднее убѣжище. Что дѣлать? Что принять?»

Спустивъ на полъ испуганныхъ огнемъ, кричавшихъ и хватавшихся за него дѣтей, Шмуль подошелъ къ окну. Во дворѣ было тихо. Жильцы нижнихъ этажей, очевидно, еще спали, не зная, какая бѣда грозила имъ. Портной выбилъ стекла въ окнахъ, выломалъ рамы, высунулся наружу и сталъ кричать:

— Пожаръ! вай-миръ! гевалтъ! спасайтесь! горимъ!

Отклика не было. Шмуль еще громче повторилъ крики. Въ переулкѣ замелькали тѣни. Кто-то оттуда сталъ ломиться въ запертыя ворота. Верхній этажъ дома, между тѣмъ, разгорался, застывая дворъ дымомъ и освѣщая краснымъ отблескомъ остатки сложенныхъ возлѣ дома дровъ.

«Сгоримъ, сгоримъ, какъ солома! — съ содроганіемъ думалъ портной, — а чѣмъ спасти хоть бы дѣтей?» Онъ упалъ ницъ и сталъ горячо молиться. «Спаси Израиля, Богъ Авраама, Исаака и Иакова! Богъ Единый, помилуй и помоги!.. Не меня, спаси хоть малыхъ дѣтей...» Шмулю вспомнилось, что онъ обѣщалъ жертву на синагогу и не выполнилъ ея. «Не только коверъ, пелену куплю и внесу! —

шепталъ онъ трясущимися отъ страха губами: — все про-
закладую, отдамъ... все!» — И онъ бросился къ кроватямъ,
сорвалъ съ нихъ простыни и одѣяла, связалъ ихъ въ длин-
ный канатъ и сталъ концомъ его обматывать плачущую
дочку. «Она легче, не оборвется и крѣпче стянетъ узлы! —
думалъ онъ, — за нею спунцу и сына».

— Не плачь, Ривка! — говорилъ онъ дочери: — спасу тебя
въ окошко, не бойся, видишь, на этихъ связкахъ, а ты,
какъ только станешь на-земь, развязывайся скорѣй.

Дымъ врывался въ комнату болѣе и болѣе; въ ней ста-
новилось трудно дышать. Огонь, треща за дверью, охватилъ,
очевидно, весь коридоръ. Надъ притолкомъ коридорной двери
уже мелькали огненные змѣйки. Портной быстро спустилъ
изъ окна дѣвочку, вздернулъ канатъ обратно и сталъ обя-
зывать имъ сына. Ворота во дворъ растворились. Подъ
окнами, въ дыму, который валилъ уже изъ остальныхъ эта-
жей, двигались люди. Нижніе жильцы проснулись, выбра-
сывая въ окна, вионыхахъ, разную рухлядь.

— Помогите, держите! — закричалъ Шмуль, бережно спу-
ская изъ окна сына.

Снизу увидѣли его, отстраняясь отъ дыма, протянули
руки и приняли Юську, но при этомъ такъ потянули ка-
натъ, что портной не удержалъ его и выронилъ изъ рукъ.

Шмуль обмеръ въ ужасъ. Онъ понялъ, что спасенія ему
болѣе нѣтъ. Онъ долженъ былъ неминуемо сгорѣть. Удушли-
вый, жгучій дымъ, захватывая дыханіе, летѣлъ къ откры-
тымъ окнамъ, вырываясь сквозь нихъ багрово-темными клу-
бами. Портной высунулся на мгновеніе въ окно, взглянулъ
внизъ и увидѣть, что броситься туда съ трехсаженной вы-
соты — значило разбиться вдребезги. Онъ схватилъ коверъ,
набросилъ его на голову и безпомощно припалъ въ уголъ
подъ окномъ.

«Здѣсь постигнетъ меня послѣдняя участь, — думалъ онъ,
замирая, — хлынетъ пламя, вспыхнетъ одежда, задохнусь,
сгорю...» Ему вспомнился въ этотъ мигъ Шарикъ. «Вѣднй,
вѣрнй песъ! — сказалъ онъ себѣ: — я гналъ его, хотѣлъ
сбыть, а онъ-то и разбудилъ меня, сохранилъ жизнь дѣтямъ
и самъ, какъ бы показывая путь, бросился въ огонь...»

Страшныя секунды летѣли. Шумъ и гулъ пожара увели-
чивались. Пылавшая коридорная дверь съ трескомъ рухнула.

Портной невольно выглянулъ изъ-подъ ковра и обмеръ. Ярко-освѣщенная комната была въ огнѣ; горѣла мебель и занавѣски оконъ. Шмуль сбросилъ съ себя коверъ... Внезапная мысль охватила его.

«Богъ Израиля не далъ мнѣ всей помощи, отвернулся отъ меня!—подумалъ онъ,—неужели же точно есть другой Богъ, милостивѣе и сильнѣе? И неужели оттого только, что я зашелъ въ Его свѣтлый храмъ, вся жизнь моя стала лучше? И я не понялъ Его зова, остался глухъ къ нему... Лучше сразу разбиться, чѣмъ медленно сгорѣть...»

Шмуль вскочилъ на подоконникъ, уцѣпился за него, свѣсилъ ноги наружу и на мгновеніе помедлилъ. Клубы дыма душили его; волосы на головѣ и бородѣ затрещали. Шмуль закрылъ глаза, поднялъ руку и, мысля: «Богъ христіанскій! Исусъ, спаси меня, бѣднаго!» — осянилъ себя крестомъ и бросился изъ окна...

Черезъ недѣлю въ церкви близъ Садовой полковница Ульянова принимала отъ купели новаго христіанина. То былъ портной Айзикъ Шмуль. Въ бѣлой, длинной рубахѣ, съ розовою лентой выѣсто пояса, онъ принялъ крещеніе не одинъ, а съ дѣтьми. Сіяющій и радостный, стоялъ онъ во время обряда, слушая молитвы и думая: «Нѣтъ, не простой случай, не выкинутая изъ нижняго жилища чья-то перина, какъ увѣряли тогда, спасла меня. Едва я сорвался и бросился въ темную, страшную пропасть, точно нѣкія, огненно-голубыя крылья подхватили меня, и на нихъ-то я бережно спустился и невредимъ сталъ на ноги... Святъ Господь Исусъ Христосъ! И нѣтъ выше, радостнѣе вѣры въ Него!»

А у воротъ новой квартиры портного, въ домѣ его крестной, Ульяновой, въ обществѣ бѣлыхъ пуделей хозяйки, сидѣлъ на заднихъ лапахъ, съ виляющимъ хвостомъ, уцѣпѣвшій на пожарѣ Шарикъ. Онъ не былъ выстриженъ, такъ какъ изъ огня выскочилъ совершенно безъ шерсти; но зато былъ чисто вымытъ и въ голубомъ ошейникѣ, какъ и пуделя, поглядывалъ на улицу съ таимъ спокойствіемъ, какъ бы ничего особаго съ нимъ и не было.

1890 г.

ДѢВОЧКА.

(ЛЕБЕДИНАЯ ПѢСНЯ ОБЪ ОДНОЙ ПТАШКѢ.)

Его высокородіе господинъ полицеймейстеръ Сантуринъ вѣнчался съ туземною барышней. Розами устилался путь новобрачныхъ. Будочники стояли въ новыхъ мундирахъ и съ нафабранными усами. Зивитые и распомаженные щеголи выскакивали изъ зала перваго губернскаго парикмахера, мосье Исидора, что на Московской улицѣ (въ какомъ городѣ ихъ у насъ нѣтъ!), и уносились, — кто въ церковь, а кто домой, въ ожиданіи вечера.

Непомѣрно скверенъ былъ только день, мрачно противорѣчившій восторженному настроенію гражданскихъ сердецъ.

Въ ту минуту, какъ среди смолкнувшаго городского шума и горячечной суеты купцовъ, готовившихъ иллюминацію, кончилась брачная церемонія и счастливый *молодой*, носившій въ одномъ ухѣ вату, а въ другомъ волокна морского каната, протянулъ свои губы къ розовымъ губкамъ сочтавшейся съ нимъ барышни, — въ отдаленнѣйшемъ изъ закоулковъ города къ небольшому домику подкатила коляска, вся перепачканная грязью. Въ коляскѣ былъ губернский землемѣръ вообще и краснорѣчивый Жюль Фавръ въ особенности, Щуковичъ, нерезавшій до-нельзя подь октябрьскимъ туманомъ и голодный отъ неустаннаго сидѣнія за планами безконечнаго, тщетнаго полюбовнаго размежеванія туземныхъ аборигеновъ. Онъ радъ былъ, что пара сѣрыхъ рысаковъ наконецъ примчала его къ домашнему порогу, и,

вбѣжавъ въ переднюю, крикнулъ: «обѣдать!» Нанятый слуга его, Михайло, вмѣсто отвѣта, упалъ ему въ ноги...

— Это что такое? Что за китайскія церемоніи?

— Такъ и такъ, ваше высокоблагородіе, смилуйтесь! Защитите и спасите сироту безродную; не оставьте моей племянницы...

— Да что ты за чепуху несешь? Денегъ тебѣ, что ли, на выпивку нужно? Говори прямо!

Михайло опять въ ноги.

— Нѣтъ, не денегъ, а вотъ какая притча...—Съ этими словами онъ выдернулъ за руку изъ своей конурки дѣвочку лѣтъ четырнадцати-пятнадцати, въ платочкѣ на головѣ, съ красными и отъ слезъ припухшими глазами.

— Это-съ моя племянница,—началъ Михайло, всхлипывая: — мы одной деревни; я по пашпорту, извѣстно вашей милости, а она въ бѣлошвейной, въ обученіи, у парикмахера Исидора, на Московской, при магазинѣ отдана. Уже второй годъ она у него... Только французъ этотъ — приударилъ за ней... Ну, извѣстное дѣло; дитя... Что-же-съ? Убивалась она, плакала, плакала,—сбѣжать хотѣла... А вчера съ онъ, окаянный, съ ночи опоилъ ее чѣмъ-то, или такъ задобрилъ,—задарилъ, выходитъ, что ли, лакомствами всякими,—заперъ ее подъ видомъ ареста за лѣность... Ну, а нынче вотъ прибѣжала ко мнѣ... Что ужъ тутъ!.. Какъ его земля носить, окаяннаго!..—продолжалъ Михайло, уже громко рыдая и произнося каждое слово съ усиліемъ.

— Вотъ что! — повторялъ про себя Щуковичъ, качая головою, и спросилъ дѣвочку:—Какъ тебя зовутъ.

— Фрося...

— Правда ли все это, что говоритъ твой дядя?

Слезы закапали изъ глазъ дѣвочки... Круглыя, поблѣвшія отъ страха и отчаянія, полныя губки вздрогнули. Посинѣлое, маленькое личико отклонилось въ сторону. Она стала перебирать конецъ косынки...

— Говори же, не бойся! Правда это?

Дѣвочка опять смолчала. Наконецъ, послѣ долгихъ приставаній Щуковича и Михайлы, чуть слышно отвѣтила:

— Правда...

Кровь кинулась въ голову Щуковича. Онъ былъ грозою мѣстныхъ Донъ-Жуановъ и казнокрадовъ, и тщетно три губернатора сряду, правившіе губерніею, старались сбыть его

съ рукъ. Его спасало собственное начальство. Онъ представлялъ зародыши тѣхъ адвокатовъ, которымъ суждено, вѣроятно, вскорѣ начать новую эпоху въ русскомъ судопроизводствѣ. Онъ могъ ясно, почти осязательно излагать самыя запутанныя дѣла, онъ уже прославился рѣшеніемъ нѣсколькихъ давнишнихъ процессовъ, сжегодно загромождавшихъ мѣстныя присутствія горами бумагъ, и губернія кричала о немъ. Со всѣмъ увлеченіемъ пылкаго юриста, несмотря на свои сорокъ лѣтъ, Щуковичъ бросался на каждое дѣло и велъ его побѣдоносно до конца. Ничѣмъ не пренебрегалъ онъ. Богачи осыпали его за рѣшеніе своихъ тяжбъ огромною платой, подарками каменныхъ домовъ, рысистыхъ лошадей, экипажей и просто золотомъ; съ бѣдняковъ онъ не бралъ ничего. Разводя въ свободное время садъ при маленькомъ домикѣ, въ концѣ города, гдѣ жилъ онъ самъ, Щуковичъ, кромѣ того, страстно слѣдилъ за родною литературой; втихомолку пописывалъ стихи, любилъ декламацию и, читая много медицинскихъ сочиненій, занимался да-ромъ врачебною практикой. Множество бѣдныхъ людей ходили къ нему совѣтоваться, и онъ всѣмъ помогалъ, а сосѣднія мѣщанки, вдовы-солдатки и хуторяне подгородныхъ селъ считали его отцомъ, за нѣсколько счастливыхъ и дѣйствительно поразительныхъ опытовъ лѣченія самоучкой. Вотъ этотъ-то господинъ крикнулъ: «лошадей не отпрягать!» Посадишь съ собою въ коляску Михайлу и дѣвочку и полетѣлъ искать суда на обидчика-француза. Никогда еще задоръ такъ не свладѣвалъ Щуковичемъ, какъ теперь. Но обрѣзая вниманіе на то, что было уже четыре часа пополудни и что голодъ давно уже его мучилъ, онъ хотѣлъ разомъ накрыть преступника, и, разумѣется, въ голову ему не приходило, чтобы тутъ не одержалъ побѣды она, одержавшій столько побѣдъ въ мірѣ юридическомъ.

Коляска подлетѣла къ дому младшаго полицеймейстера. Какъ угорѣлый, влетѣлъ Щуковичъ въ переднюю и въ пріемную.

— Павелъ Николаевичъ! Нужны ваши быстрыя и неотразимыя мѣры! Вы у меня въ долгу: помогите! Дѣло вопіющее. Я привезъ дѣвочку, одну дѣвочку здѣшнюю. Такъ и такъ...

Младшій полицеймейстеръ, въ ожиданіи вечера у своего главы отдыхавшій послѣ жирнаго обѣда у какого-то купца

и разбуженный собственно для Щуковича, выслушалъ его съ измятымъ лицомъ, зѣвнулъ, подошелъ къ зеркалу, взглянулъ на свой языкъ и, глядя бакены отъ ушей къ носу, отвѣтилъ:

— Охъ, ужъ вы мнѣ, адвокаты! Не оберется отъ васъ Россія хлопотъ! Оно, дѣйствительно, — этотъ Исидоръ извѣстный пакостникъ и негодяй! Да что же дѣлать съ нимъ, хоть бы и мнѣ? Не далѣе, какъ вчера, губернаторъ велѣлъ мнѣ подать въ отставку... ну, я и подалъ! Оно, разумѣется, я еще не уволенъ... Да кто же поручится, что мой преемникъ не соблазнится на благодарность со стороны обвиняемаго и не повернетъ слѣдствія въ его сторону? Вѣдь дѣло уголовное, тутъ пахнетъ острогомъ, — и французъ ничего не пожалѣетъ... Знаю я его!.. А кто-съ началъ слѣдствіе-съ? А? Кто началъ? Я-съ, Павелъ Николаевъ, сынъ Троценко! Ну, и уведутъ меня же подъ судъ... Не могу, никакъ не могу принять вашего дѣла, — извините.

— Къ кому же мнѣ обратиться?!

— Коли такой уже задоръ напалъ тягаться съ французомъ, поѣзжайте къ частному приставу. А еще лучше, оставьте... Оставьте это безъ вниманія! Мало ли этихъ дѣвчонокъ шляется по городу, и все съ такими же жалобами. На всякое чиханіе не наздравствуешься! Бросьте! Это мой благой совѣтъ!..

Поѣхалъ Щуковичъ къ частному. Везетъ опять лакея, везетъ и дѣвочку. Уже пять часовъ вечера... Частнаго пристава застаеъ онъ за бумагами, мрачнаго и небритаго... Это былъ дикій, зелено-блѣдный, темный, грязный и несообщительный человѣкъ. Онъ всегда смотрѣлъ внизъ, взятки бралъ, не глядя и молча, и колотилъ будочниковъ собственно-ручно и также въ полномъ безмолвіи.

— Максимъ Ивановичъ! — началъ опять Щуковичъ: — такъ и такъ, окажите содѣйствіе. Надо наказать одного негодяя... Исидора! Ей-Богу, надо! Я привезъ дѣвочку, вотъ она! Такъ и такъ!..

Вмѣсто всякаго замѣчанія, приставъ обратился къ писарю:

— Степанъ! дѣло мѣщанки Саможаренковой! — Писарь уткнулъ носъ въ уголь, повозился тамъ и подалъ пыльную связку бумагъ.

— Вотъ, вотъ, видите? А?! Это дѣло-съ того-же-съ самаго Исидора. Такихъ дѣлъ его у насъ же восемь другихъ!..

Ну? И вы думаете выиграть свое?.. Отложите попечение. Лбомъ стѣны не прошибешь! Такъ-то-съ!

И приставъ началъ опять писать.

— Да я однако же прошу васъ начать слѣдствіе...

— Дудки!.. Вы думаете, что вы на своемъ вѣку кончите это дѣло? Повторяю: у этого Исидора таковыхъ наберется восемь уже, и все у бестія насчетъ седьмой заповѣди... Дѣла эти, разумѣется, идутъ своимъ махомъ, а онъ живетъ въ свое удовольствіе! И какъ живетъ, мы и сами не знаемъ... Отписывается, должно быть, ловко — и все тутъ!

— Это срамъ! У васъ нѣтъ совѣсти, господа, я вижу! Такое вопіющее беззаконіе, и нѣтъ ему расправы.. Я васъ прошу, требую...

Приставъ понюхалъ табаку, потеръ лобъ и вдругъ, оборотаясь всѣмъ тѣломъ къ Щуковичу, отвѣтилъ:

— Милостивый государь, увольте! У меня жена и дѣти... Увольте меня, ради Бога, увольте! У васъ связи и знакомства; вы же и законы хорошо знаете! А у меня дѣлъ гибель... Куда намъ? Избавьте, обратитесь лучше къ младшему полицеймейстеру...

— Да я у него сейчасъ былъ; онъ къ вамъ меня направилъ. Его отставляютъ...

— Ну, и меня отставляютъ! Я и забылъ вамъ передать, — даже съ радостью поспѣшилъ подхватить пристава: — я также подаю уже въ отставку, коли хотите знать! Не приму такого дѣла къ слѣдствію. Не могу...

«Какъ тутъ быть?» — думалъ Щуковичъ, выходя отъ пристава: — одинъ отказывается, другой отказывается! Къ кому же ѣхать? Къ старшему полицеймейстеру? Но онъ теперь наверху счастья, какъ индійскій набобъ, и до горя ли ближняго ему теперь? Женится, жена его станетъ составлять аллегри и всякія лотереи въ пользу бѣдныхъ. Увидитъ ли она, услышитъ ли хоть разъ истинно-бѣднаго и страждущаго? И что такое моя дѣвочка? Соблазненная служанка! Романъ съ горничной! Эка невидаль! Да и мало ли ихъ въ самомъ дѣлѣ! Пируйте, ваше высокоблагородіе! Все въ городѣ обстоитъ благополучно: и права, и обычаи страны, и честь, и совѣсть, и имущество гражданъ...

— Куда прикажете ѣхать? — спросилъ кучеръ, летя безъ цѣли по мостовой.

— Къ Безходанцеву...

Лошади понеслись опять. На дворѣ уже совсѣмъ стемнѣло...

Безходанцевъ былъ прежде полковникъ изъ гвардейцевъ. Въ свѣтѣ щеголь и дамскій угодникъ, онъ отличался отмѣнною чистоплотностью; въ дѣлахъ былъ сухъ и кратокъ, стригся подъ гребенку, носилъ изящные бѣлокурные усики, запускать длинные розовые ногти, душился тонкими духами и тайкомъ дома пѣлъ итальянскія аріи, вѣроятно, въ память своей гвардейской молодости. Его вообще любили, но какъ-то нехотя, скупо и пугливо. Самая исторія въ полку, по которой онъ перешелъ изъ гвардіи въ провинцію, впрочемъ, не набросила на него особенной тѣни. Онъ любилъ книги и стоялъ за молодое поколѣніе. Тѣмъ не менѣе, собственный его казачекъ трепеталъ его, какъ огня... Щуковичъ засталъ его послѣ обѣда, за роялемъ. Казачекъ сейчасъ его ввелъ. Красивый полковникъ принялъ его безъ эполетъ, извинился, далъ ему сигару и, видя волненіе своего знакомаго и гостя, попросилъ его говорить откровенно. Не забывъ опять Щуковичъ и «человѣколюбія», и «вопля поруганной невинности», и «падежа скорбящей добродѣтели», и множества другихъ, трогательныхъ и размягчающихъ душу, выраженій. Щуковичъ кончилъ. Чувствительный полковникъ тотчасъ взялъ перо, провелъ имъ по своимъ щегольскимъ усамъ, помолчалъ, взглянулъ на свои розовые ногти и сталъ писать. Это было письмо къ младшему полицеймейстеру, письмо, — надо отдать ему справедливость, — такого фѣдкаго содержанія, что когда Щуковичъ опять заѣхалъ къ младшему полицеймейстеру, этотъ послѣдній утеръ лобъ, мгновенно орошенный холоднымъ потомъ, и помѣтилъ прошеніе Щуковича словами: «Такого-то года и числа: принять къ слѣдствію».

«Ну, слава Богу!» — думалъ Щуковичъ и поѣхалъ съ помѣченной бумагой въ канцелярію городской полиціи.

— Это, впрочемъ, очень любопытно, если *мы*, губернскому пресловутому адвокату, не удалось до этого часа начать этого дѣла, то каково же было бы начать его самой этой дѣвочкѣ?

Онъ вошелъ въ душную и темную канцелярію. Груды ежечасно растущихъ бумагъ требовали отъ жрецовъ ихъ и вѣчнаго присутствія. Канцеляристы хорошо знали Щуковича; любовались ежедневно его рысачками, передавали другъ другу его юридическія побѣды, встрѣчали его съ поклонами, съ улыбками, и вообще смотрѣли на него дружески.

— Какъ? и вы здѣсь? — спросилъ его одинъ изъ столоначальниковъ, добивавшійся со всѣми быть за панибрата: — и вы въ насъ, грѣшныхъ, имѣете нужду?

— Да, здѣсь! Что же дѣлать!

— А что у васъ за дѣльце? Должокъ, чай, на комъ-нибудь, или свидѣтельство какое отъ полиціи нужно?

— Нѣтъ, а вотъ что-съ...

И Щуковичъ разсказалъ снова свое дѣло. Бумага его, съ помѣткой младшаго полицеймейстера, прочтена.

Канцеляристы окружили адвоката и его сопутниковъ.

— Господа, я васъ прошу скорѣе начать это дѣло...

— Да что же вы торопитесь? Не хотите ли посидѣть? Вотъ папироска: не угодно ли?

— Нѣтъ, нѣтъ, господа, избавьте; я еще не обѣдалъ! Начинайте слѣдствіе, и съ Богомъ...

Любезный столоначальникъ пожалъ плечами.

— Вы торопитесь непременно? — сказалъ онъ: — не понимаю! А, впрочемъ... Дневальный! Позвать сюда Марёу!

— Кто это Марёа? — спросилъ Щуковичъ.

— А это одна солдатка! Она у насъ ходокъ по этой части! Въдѣ такихъ дѣлъ у насъ каждый мѣсяцъ гибель...

— Да помилуйте, — перебилъ Щуковичъ: — тутъ нужна врачебная управа, а не солдатка Марёа!

Столоначальникъ расхохотался во все горло.

— Управа?! Полноте; ну, стоитъ ли созывать для всякой дряни врачебную управу! Мы и такъ обойдемся, полноте...

— Ну, уже нѣтъ, не обойдетесь: взгляните сюда!

Щуковичъ раскрылъ сводъ законовъ, на-скоро перелистывалъ его, указавъ статью, и чиновники, волей-неволей, должны были уступить ему.

Было восемь часовъ вечера, когда Щуковичъ, послѣ первыхъ успѣшныхъ формальностей, поѣхалъ домой. Городъ уже горѣлъ иллюминаціей, экипажи сновали и прыгали по мостовой, а соборная церковь кипѣла свидѣтелями счастливаго событія въ семьѣ главы городской полиціи. Вѣнчаніе совершилось, и гости выходили уже изъ церкви. Хожалые кричали: «карету Мырина!» — «карету Стовбенко!» и просто: — «Иванъ Васильича кѣ-рѣ-тѣ!»

Наконецъ, Щуковичъ сѣлъ за столъ и налилъ тарелку борщу. Тутъ же возлѣ него, на особомъ столикѣ, велѣно

было приготовить обѣдать и виновницѣ поѣздокъ къ центрамъ правосудія.

— Ну, Фрося, много же васъ всѣхъ у француза? — начала Шуковичъ. Фрося не отвѣчала и не трогала пиши.

— Эка, бѣдная ты, точно горѣмъ подавилась! — замѣтилъ Михайло.

Шуковичъ не настаивалъ; кончилъ обѣдъ, выслалъ Михайлу и сталъ разспрашивать Фросю о ея житѣ - бытѣ у француза. Сперва она отмалчивалась, то тупо глядѣла въ полъ, то вертѣла конецъ стараго головного платка, то вдругъ заливалась самыми горькими, быстрыми слезами и, ломая руки, взглядывала то въ окно, откуда будто ей грозила невидимая рука, то на образъ. Ее больше всего убивала мысль: «Что скажетъ ей и что сдѣлаетъ съ нею мать?»

Шуковичъ побоялся, что защититъ ее передъ матерью и у нея, жившей въ сосѣдней губерніи, выпроситъ ей позволеніе воротиться домой въ деревню. «Нѣтъ, не пуститъ меня мать въ деревню! Я уже два года въ обученіи и уже англискимъ шитьемъ стала шить. Не пуститъ! А еще четыре тоже дѣвочки учатся въ швейной у Исидора! Не пуститъ!» Изъ словъ Фроси оказалось, что подъ видомъ родства Исидоръ помѣстилъ, этажомъ выше себя, надъ магазиномъ своимъ, какую-то французенку, *мамзель Пуссенъ*, и выхлопоталъ ей право держать швейную; что эта швейная содержится на сго деньги, а мамзель Пуссенъ только принимаетъ заказы; что въ первыхъ комнатахъ у нея чисто, а во внутреннихъ духота и нечистота; что дѣвочки у нея голодаютъ, а по ночамъ работаютъ на себя, чтобы хоть два раза въ недѣлю на складчину ѣсть мясо; что у нихъ нѣтъ ни бѣлья, ни одѣялъ, ни шубъ; что всѣ спятъ въ-повалку на полу и чередуются зимой, кому спать ближе къ печи, а кому къ двери, откуда иногда надуваетъ на полъ изъ сѣней снѣгу; что мамзель Пуссенъ — старая дѣвка, бьетъ утюжными брусками дѣвочекъ по головѣ до крови и со злости выпинываетъ иногда съ головы имъ волосы, а у одной вырвала въ бѣшенствѣ бровь, за то, что ту всѣ подруги хвалили за хорошенькія соболинныя бровки; что многія бѣлошвейки слѣпнутъ у нея надъ шитьемъ золотомъ; что, наконецъ, «новенькихъ» она всегда ласкаетъ, и какъ только такая явится къ мамзель Пуссенъ, сейчасъ снизу начинается Исидоръ ходить обѣдать, а послѣ пристааетъ къ новенькой съ глупо-

стями, и когда та обратитъ вниманіе на него, то такую всё другія дѣвочки долго зовутъ послѣ того французенкой и аристократкой. А взрослымъ и сама мамзель Пуссенъ говоритъ: «На тебя твои родные шлютъ одежду, да я ее продаю; а теперь ты и сама на возрастъ и можешь себя одѣть!» Ну, и одѣваются онѣ на свой счетъ...

Заварилось дѣло. Начали писать и отписываться.

Щуковичъ лѣзъ изъ кожи, чтобы побѣдить.

Благодѣтели, безъ сомнѣнія, тотчасъ перекинули вѣсточку самому Исидору, что вотъ, молъ, на него поступилъ такой-то и такой-то искъ, и еще не отъ простого какого-нибудь челобитчика, а отъ самого Щуковича. Потерялся-было, не на шутку, съ перваго разу Исидоръ, знавшій таланты Щуковича по слухамъ и брившій лично нѣсколько разъ его благородныя щеки; даже гнусно потерялся, до того, что безъ причины надѣлъ старенькую рыжую шинельку, въ которой впервые явился въ Россію изъ Франціи и которую надѣвалъ только по ночамъ, и въ ней пошелъ ходить по улицамъ. Его просто пришибла неожиданная мысль: «Чѣмъ я куплю мосея Щуковича, чѣмъ я куплю его? Его ничѣмъ не купишь! Да!» — думалъ онъ и, дрожа отъ трусости, чувствовалъ уже, какъ его вели по улицѣ русскіе солдаты и какъ за нимъ со скрипомъ замыкались двери губернскаго острога. Поздно онъ воротился въ тотъ же день домой и двое сутокъ лично не принималъ гостей въ своемъ магазинѣ, гдѣ такъ ловко онъ покручивалъ всегда свои бѣлокурые усики, картавя безъ милосердія и встрѣчному и поперечному рапортуя о своихъ маленькихъ любовныхъ интрижкахъ, причѣмъ, разумѣется, смиренныя личности Фроси и какой-нибудь Маши дерзко замѣнялись фамиліями туземныхъ великосвѣтскихъ барынь и даже барышень. Сильно затосковалъ французъ...

Только черезъ пять дней дѣло его устроилось какъ-то такъ, что печальный Исидоръ неожиданно поднялъ носъ, съ улыбкой появился снова въ магазинѣ и сталъ еще болѣе прежняго развязенъ. Имя Щуковича болѣе не пугало его. Онъ даже самъ затѣялъ дать острастку знаменитому адвокату. Въ видѣ диверсіоннаго отряда былъ для этого посланъ къ нему коммѣ изъ магазина...

Сидѣлъ Щуковичъ дома вечеромъ и пилъ чай. На порогѣ явился развязный незнакомецъ въ обшипанномъ кургузомъ полуфрагѣ съ пуговицами въ ладонь величиною и въ желто-

зеленыхъ крокодиловыхъ брюкахъ. Это былъ подмастерье Исихора, ярославскій мѣщанинъ, съ сѣрыми глазами на выкатѣ, съ румяными щеками и съ лошадиными губами, корчившій изъ себя француза, для чего постоянно кричалъ другимъ мальчишкамъ въ магазинѣ: «мальшійкѣ, шипси!»—или: «мальшійкѣ, мосье паширосъ э-дю-фѣ!»—Войдя къ Щуковичу, офранцуженный Этьенъ, а православный Степка, бойко трихнулъ волосами и отпраповтовалъ: «Мосье Исихоръ поручили вамъ сказать, что если вы переманиваете изъ швейной ихъ сестры дѣвнвыхъ дѣвокъ, то они вамъ и остальныхъ всѣхъ оттуда вышлютъ!»—Щуковичъ вспыхнулъ... «Ахъ ты, мерзавецъ!»—крикнулъ онъ и схватилъ шандаль, въ намѣреніи пустить имъ въ мнимаго француза Этьена. Но консервативная природа взяла верхъ, и Степка выскочилъ невредимъ и цѣлъ изъ квартиры Щуковича. Исихоръ, однакоже, не уговорился и, съ безпримѣрною пошлостью, буквально исполнилъ свою угрозу. Какъ-то опять Щуковичъ воротился поздно изъ присутствія; во дворѣ его встрѣтила толпа изъ семи дѣвочекъ, безъ платковъ на головѣ и босикомъ по морозу. Всѣ дрожали и, заливаясь слезами, объявили, что ихъ прогнали къ нему мамзель Пуссенъ и мосье Исихоръ. Щуковичъ долженъ былъ помѣстить ихъ у себя на хлѣбахъ, пока полиція приметъ свои мѣры.

«Нѣтъ, это уже изъ рукъ вонъ!—подумать Щуковичъ,—это превосходить всякую степень дерзости! Была-не-была!» И онъ поѣхалъ объясниться къ губернатору, лицу дѣйствительно очень доброму и любившему показать, что онъ самостоятеленъ. Губернаторъ принялъ дѣло къ сердцу. Самъ осмотрѣлъ всѣ бумаги по слѣдствію, гдѣ оказались уже и подчистки, и ложныя показанія. Все дѣло поручено переислѣдовать губернаторскому адъютанту. Юноша-адъютантъ принялся за дѣло тѣмъ, что цѣлый вечеръ просидѣлъ у Щуковича, выкурилъ пять отличныхъ сигаръ, много говорилъ о злоупотребленіяхъ всякаго рода въ отечествѣ, признался, что не получаетъ никакихъ журналовъ, но что теперь «подпишется непременно!»—(«и опять вретъ!»—подумалъ на это Щуковичъ), рассказалъ планъ, по которому думалъ начать слѣдствіе, и кончилъ тѣмъ, что на первомъ же балѣ въ городѣ завертѣлся и забылъ обо всемъ сказанномъ.—А въ дѣлѣ явился новый эпизодъ...

Сидѣлъ какъ-то, снова подъ-вечеръ, Щуковичъ дома и

пить чай. Говорятъ ему, что за нимъ присланъ экипажъ отъ госпожи Дымогловой.

— Кто это такая Дымоглова?

— Это по довѣренности матери Фроси!—робко отвѣчаетъ Михайло:—пріѣхала, говорятъ, нарочно изъ своей вотчины и остановилась въ трактирѣ Венеціи...

Поѣхалъ Щуковичъ въ Венецію, мимоходомъ взглянувши, при надѣваніи шубы, за перегородку, въ конурку Михайлы. Фрося, съ тѣмъ же напряженіемъ, молча сидѣла въ углу и шевелила ногой оборку поношеннаго своего, старенькаго платья. Покраснѣвшій кончикъ носа ясно выражалъ, что до нея уже дошелъ слухъ о пріѣздѣ Дымогловой и что она хорошо обдумала встрѣчу съ нею.

Въ указанномъ номерѣ гостиницы Щуковича привѣтствовала довольно суровая и полная барыня, круглая и неповоротливая, какъ кочанъ брюквы, съ короткими руками и въ чепцѣ съ лиловыми лентами. Стоя у стола и судорожно тормоша на груди кашемировый платокъ, она двинулась было впередъ и остановилась, какъ бы совѣстясь...

— Рекомендую—мужъ мой!—сказала она, сунувши руку въ направленіи къ мужчине: средняго роста и заспанной наружности, который тѣмъ временемъ, однако, довольно спокойно мяся у стѣны.—Благодаримъ васъ за хлопоты, что вы приняли на себя труды... такъ сказать... постарались за эту дѣвку!—прибавила пріѣзжая.

— Помилуйте,—подхватилъ Щуковичъ, садясь въ кресло и съ жаромъ обращаясь къ ласковымъ супругамъ:—да это былъ мой долгъ совѣсти, человеколюбія!—Заспанный мужъ, крутя усы, крикнулъ и подступилъ ближе. Это былъ чистѣйшій образецъ отставнаго бурбона, съ вдутыми, толстыми губами, точно пчелы ихъ искусаи, съ широкимъ краснымъ затылкомъ, прикрытымъ галстукомъ съ пряжкой, и мѣдно-цвѣтнымъ, рябоватымъ лицомъ, на щекахъ котораго къ губамъ уздечкой протягивались тоненькіе, рыжеватые бакены.

— Э, милостивый государь! Э, мы вамъ очень-съ благодарны; э, но...—Онъ немного говорилъ въ носъ.

Мужъ и жена приблизились къ столу.

— Что такое?—спросилъ Щуковичъ.

Пріѣзжая госпожа крикнула и судорожно, безъ нужды, стала подтягивать подъ бородою ленты у чепца.

— Э, но,—продолжалъ супругъ:—хоть мы и благодарны вамъ, но просимъ васъ болѣе не вѣшиваться въ это дѣло!

Ноги у Щуковича дрогнули сами собою.

— Какъ-съ не вѣшиваться?

— Да такъ же-съ! — замѣтилъ, подступая уже почти въ упоръ и крутя усы, супругъ:— мы думаемъ идти съ французомъ на мировую...

Щуковичъ улыбнулся.

— На мировую? Да развѣ вы съ нимъ ссорились?

Онъ думалъ не на шутку, что его мистифицируютъ.

— Безъ каламбуровъ, безъ каламбуровъ! Па-акалуйста, прошу васъ!—замѣтилъ еще громче и грезнѣе супругъ Дымогловъ:—мы прѣехали, чтобы покончить это дѣло домашними средствами... Понимаете?! Исидоръ—добрый человѣкъ, и его оклеветали... А мы имѣемъ отъ ея матери полную довѣренность во всемъ!..

Щуковичъ былъ разгромленъ. Онъ рѣшительно не зналъ, что ему дѣлать: смѣяться ли, плакать ли, или, недолго думая, взять да и хлопнуть прямо въ сѣрые, залпывшіе и сонные глаза нецеремоннаго бакенбардиста...

— Да-съ, полную довѣренности! Не хотите ли покурить?—спокойно добавилъ супругъ Дымогловъ и отправился набивать себѣ трубку. У жены глаза такъ и бѣгали, а руки попрежнему возились то у чепца, то у кашемировой шали.

— Но бѣдная дѣвочка? — залепеталъ Щуковичъ:—честь ея? Вѣдь это единственное, единственное достоинство этого существа... все, что она только имѣетъ и что можетъ въ будущемъ принести въ наслѣдство своимъ дѣтямъ...

Дымогловъ опять, плечомъ впередъ, подступилъ къ нему.

— А не угодно ли вамъ, милостивый государь,—сказалъ онъ шопотомъ и держа кулакъ передъ собою:—убираться съ вашими нѣжностями... Мы-съ люди простые-съ, военная косточка... мы смотримъ на вещи прямо, не умствуя...

Щуковичъ всталъ, хотѣлъ что-то сказать и поклонился.

— Мнѣ точно остается только уйти! — сказалъ онъ съ улыбкой, видя, на какихъ людей попалъ:—успокойтесь! Запищайте, по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, Исидора! Не онъ ли и вызвалъ васъ сюда?.. Но знайте, этому дѣлу только два исхода: или дѣвочка останется при своемъ показаніи, и тогда французъ попадетъ въ острогъ; если же она покажетъ, что оболгала его понапрасну и внесетъ бѣду на

другого... въ послѣднемъ случаѣ ее оставить до совершенн-
нолѣтія подѣ присмотрѣмъ полиціи, а потомъ сошлѣмъ...
Какъ-то тогда, сударыня, зашевелится у васъ совѣсть?!

Сударыня, однакоже, пребыла въ полномъ молчаніи, и
спокойны остались торчавшія на ея головѣ ея лиловыя ленты.
А мужъ, куря трубку, просто указалъ Щуковичу двери..

Фрося, между тѣмъ, продолжала жить у дяди за перепо-
родкой, копаясь въ разной рухляди, штопая старое платье,
перетирая посуду и изрѣдка порываясь напѣвать подѣ носѣ
разныя пѣсенки. Она уже успокоилась, и свѣженькая улыбка
не покидала ея прежде убитаго и запуганнаго лица; синень-
кіе глазки смотрѣли ласково, а косы тщательно заплетались
уже и клались вокругъ головы толстенькимъ вѣночкомъ.

Но не даѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, Щуковичъ уже
не узналъ ея болѣе. По утрамъ прежде онъ училъ ее мо-
литвамъ и простому счету, купилъ ей ситцу на платье и
любовался ея дѣтской копотливостью. Тутъ вдругъ она опять
усѣлась въ уголъ, надулась, стала рѣдко отвѣчать на всѣ
вопросы, перестала заботливо чесаться, болѣе не штопала,
выходила уже за ворота, болтала съ прохожими, а одинъ
разъ, какъ-то послѣ обѣда, пріодѣлась и безъ спросу куда-то
ушла тайкомъ, не возвращалась до поздняго вечера и при-
шла тихо за перегородку, но уже не съ пустыми руками,
а съ узелкомъ орѣховъ и въ полѣ-пьяна. Михайло все это
видѣлъ. Замѣтилъ и Щуковичъ...

— Михайло! Это что?! Гдѣ Фрося была?—спросилъ онъ.

Михайло злобно покачалъ головой, вытирая стаканы, гля-
нулъ въ сторону перегородки и прошипѣлъ:

— Таскалась тоже въ Венецію!

— Это какъ?

— Сестру мою, а ея, значить, мать привезли тоже изъ
деревни, съ нарочнымъ...

— Ну?

— Мать-то ее сдуру и выманила отсюда тайкомъ, еще
и вчера за ней на извозчикѣ пріѣзжала; значить, сбиваютъ,
чтобъ отказалась отъ всѣхъ своихъ показаній... Весь вечеръ
уговаривала ее, безстыжая корга, сама... свое дѣтище-то,
на кухнѣ; говорить, даже медомъ потчивали... Ну, и по-
шатнулась, видно, дѣвка! Сама уже и хвастаетъ, что мать-то
ей и серьги купила, и въ театръ общала взять...

— Гдѣ она? гдѣ Фрося? — крикнулъ Шуковичъ, идя за перегородку...

Михайло, передъ тѣмъ уходявшій на кухню, глянулъ за перегородку, откуда былъ другой выходъ въ коридоръ, и ахнулъ.

— Нѣту-съ... Опять, должно быть, ушла туда же, забывши, что вы рано воротились домой; да вѣрно и вовсе убѣжала, такъ какъ и тряпье свое разбросала...

Вошелъ Шуковичъ за перегородку. На тюфякѣ Михайлы лежалъ кусокъ дрянного ситца, а въ платкѣ лежало нѣсколько горстей орѣховъ. Новенькіе козловые, должно быть тоже подаренные, башмаки засунуты были подъ подушку.

— Ахъ, ты, пташка, пташка! И за что себя продала! — крикнулъ Михайло, ударивши себя въ грудь. А Фрося, точно, уже совсѣмъ переселилась въ Венецію. На ней явилось новенькое зеленое съ мушками платье. Въ карманѣ ея завелся полтинникъ, а отъ волея стало нести роеткой. По вечерамъ, когда фонари зажигались на главной улицѣ, у воротъ Венеціи, окруженная поварами и конюхами, Фрося садилась на лавочку и, смѣясь и грызя во весь ротъ орѣхи, рассказывала о своемъ житѣ-бытѣ у француза, отпускала иногда безсмысленныя, на французскій ладъ, фразы, въ родѣ: «Команъ-ву-порте-ву!» или: «Ке-ле-ма-перъ, боку-са-ва!» — и праздная челядь награждала ее взрывами самаго дурацкаго хохота и навязчивыми грубыми ласками.

— Что тутъ, однако, дѣлается? — подумалъ однажды Шуковичъ и рѣшился узнать о ходѣ дѣла у самого губернатора: — здѣсь что-то темно и загадочно! — Онъ поѣхалъ къ губернатору.

Губернаторъ, на первый вопросъ, съ грустною улыбкою подаль Шуковичу бумагу, принятую имъ отъ Дымоглотовой, слѣдующаго содержанія: «Ваше превосходительство! Извѣстныя всѣмъ благодѣянія ваши несчастнымъ и обижаемымъ страдальцамъ побуждаютъ меня на сей разъ прибѣгнуть къ вамъ. Извѣстный кляузникъ и крючокъ, здѣшній адвокатъ Шуковичъ, вмѣшался въ дѣла дочери довѣрительницы моей, по имени Евфросиніи Александровой Индюковой, замаралъ понапрасну доносомъ бывшаго французскаго, а нынѣ русскаго подданнаго, извѣстнаго здѣшняго парикмахера, Исидора Салэ. — Дѣвочка же эта давно замѣчена нами въ порочномъ и безнравственномъ поведеніи и отдана для испра-

вленія въ швейную при модномъ магазинѣ двоюродной сестры Исидора, мамзель Пуссентъ. Она тамъ лѣнилась, не хотѣла учиться и бѣжала къ этому Шуковичу, гдѣ служить ея дядя, Михайло Индюковъ. Тамъ она Шуковичу, а при его содѣйствіи и самой полиціи, дала ложный извѣтъ на Исидора, а нынѣ, при моемъ вразумленіи о пагубѣ своей души, во всемъ чистосердечно раскаялась и созналась на бумагѣ при подписаніи свидѣтелями: отставнымъ квартальнымъ надзирателемъ Бордуновымъ и купеческими сыновьями Сырѣйчиковыми и Добросвѣтовыми. А посему, прося ваше превосходительство о прекращеніи названнаго дѣла по жалобѣ указанной Евфросиніи на парикмахера Исидора и о взысканіи по законамъ съ Шуковича за непрошенное вмѣшательство въ неподлежащія ему и вымышленныя дѣла, пребываю такая-то подпоручица Дарья Аркадьевна дочь Дымоглотова».

— Ну, что-съ?—спросилъ губернаторъ.

— Это верхъ наглости, ваше превосходительство!..

— Что же дѣлать? У нея довѣренность... Но, нѣтъ, разбить ихъ стачку, разбить!—говорилъ съ сердцемъ губернаторъ и велѣлъ своему адъютанту, тому самому, который за танцами одного вечера забылъ вовсе о порученномъ ему дѣлѣ, принять къ этому тотчасъ, немедленно и самыя строжайшія мѣры...

Адъютантъ опять всполошился. Ему совѣстно было передъ Шуковичемъ. Да еще передъ тѣмъ онъ сильно проигрался въ карты и почему-то усердно сталъ работать по службѣ. Кинулся онъ съ Шуковичемъ къ дѣвочкѣ, призвали ее въ полицію; но она уперлась на своемъ: «Обнесла я по злобѣ мосе Исидора!» да и баста. Ничего болѣе отъ нея не узнали.—Кто же... на кого же ты покажешь?..—допрашивали ее въ полиціи.—Нашъ поваръ Никишка, это онъ!—не краснѣя, сказала Фрося. Позвали Никишку. Но отъ этого, ничего уже не добились. Перепуганный зовомъ въ полицію, онъ только молчалъ, глупо смотрѣлъ на всѣхъ сѣрыми, потухшими отъ страха и блуждающими глазами и едва шевелилъ бѣлыми, камъ мѣлъ, губами... Тѣмъ исторія и кончилась.

Шуковичъ, озабоченный кучею другихъ дѣлъ, тоже се бросилъ.

Мосье Исидоръ остался въ томъ же магазинѣ и въ томъ же городѣ.

Фрося, говорятъ, совершенно утѣшилась и живетъ уже на вольной квартирѣ, работая той же мамзель Пуссенъ поштучно. Недавно я видѣлъ ее на извозчикѣ съ толстымъ драгуномъ. Зато, проѣзжая нашъ украинскій городъ, вы можете видѣть на главной его улицѣ рядъ зеркальных оконъ, чугунное крыльцо и рѣзныя двери прелестнѣйшаго парикмахерскаго магазина. Раззолоченныя вывѣски, въ сажень величиною, цѣпляются по всѣмъ стѣнамъ, карнизамъ и даже по крыльцу магазина. А въ окна смотрять кучи блестящихъ тросточекъ, цѣпочекъ, банокъ, стклянокъ, запонокъ, бѣлья, платья, книгъ и галстуконъ. Уже въ самыхъ дверяхъ, при входѣ, встрѣчаетъ васъ запахъ лоделаванда и прижженныхъ волосъ. За дверью же самъ хозяинъ, прелюбезнѣйшій господинъ съ тонкими, нѣжными чертами лица, очаруетъ васъ своею постоянною улыбкой и бѣлокурыми усиками. Подъ предлогомъ завивки волосъ, онъ сбываетъ вамъ голландское бѣлье; подъ предлогомъ стрижки, сбываетъ романы повѣйшей парижской фабрикаціи. И, пересыпая работу свою и своихъ подмастерьевъ анекдотами о своихъ походахъ, онъ тутъ же лепечетъ о Бонапартѣ и объ англійскомъ парламентѣ, о дѣлахъ Китая и о турецкомъ займѣ, вскрикивая: «Voici le dernier numéro de l'Indépendance Belge! Lamartine est hors de Paris! Lamoricière revient... Мальшійкъ, шнѣ шипсѣ!» И православный Степка, въ кургузомъ полуфракѣ и въ желто-зеленыхъ, крокодиловыхъ брюкахъ, передаетъ его приказъ далѣе, тѣмъ же тономъ: «Мальшійкъ, шнѣ шипсѣ!»

На вывѣскѣ магазина красуется та же надпись:

*Isidor de Paris.
Gants-Linges-Frisure.
Perruques.*

*Salon pour la coupe des cheveux.
Bibliothèque de lecture.*

Прохожіе любятъ золотыми словами вывѣски, хлыстками, банками и галстуками. А въ кругу искреннихъ пріятелей, двухъ-трехъ соотечественниковъ-магазинщиковъ изъ мѣстной французской колоніи, мосье Исидоръ даже вовсе не церемонится и говорить, весело отзываясь о заведен-

ныхъ съ нимъ разными матерями дѣлахъ и выпивши ста-
канъ родного шабли, по-русски, какъ любятъ говорить во-
обще подкутившіе иностранцы въ Россіи: «Où я такой ши-
лавѣкъ, такой шилавѣкъ, que lorsque je veux, когда я хочу,
чтобъ никто не кадилъ по моей улицѣ, то никто, personne,
personne, и не будить кадить!»

И пріятелямъ его кажется, что дѣйствительно, если Иси-
доръ захочетъ, то не только человекъ, даже самое солнце,
освѣщающее окрестные смиренные поля и дуга, не по-
смѣетъ заглянуть въ улицу, гдѣ широко раскинулись бле-
стящія вывѣски магазина безцеремоннаго и блаженнаго
французика...

Это, господа, были!..

1859 г.

ПАСЪЧНИКИ.

(РАЗСКАЗЪ ЗЕМЛЕМЪРА.)

Однажды, среди хлопотъ по полюбовному размежеванію, провозился я, въ одной изъ отдаленнѣйшихъ частей *** уѣзда, что-то очень долго. Дѣло шло о поемныхъ лугахъ и о водяной мельницѣ, между старухой помѣщицей и ея сосѣдомъ однодворцемъ. Посредники выходили изъ себя. Нашъ братъ, землемѣръ, въ такія минуты оказывается рѣшительно лишнимъ. Вѣтхіе старички иногда еще коротаютъ время, прохаживаясь, съ астролябіей и вѣхами въ рукахъ, по пустыннымъ окрестностямъ, подготавливая очерки спорныхъ луговинъ, гдѣ-нибудь подъ горою, что въ Пѣстушахъ, или планъ сельца Колокольчикова, что въ Подзозулиной-балкѣ. Но мы, пылкіе юноши, у которыхъ на ногахъ еще не видно мозолей отъ свершенныхъ прогулокъ по свѣту, мы просто не знаемъ, что дѣлать отъ скуки. Изволь бесѣдовать съ отряженными къ тебѣ вѣховщиками, которые, особенно въ теплую погоду, такъ и смотрятъ въ лѣсъ. «Дѣло понятное!—думалъ я, проживая въ старомъ флигелѣ у помѣщицы:—съ такой хозяйкой просто со скуки умрешь!» Въ предчувствіи близкаго пораженія, необузданная барыня питала ко всему нашему сословію ненависть непримиримую. За хозяйскій столъ меня не звали; порція наливки въ рукахъ буфетчика уменьшилась. А на бѣду еще посредники и предводительскій чиновникъ уѣхали, по случаю дворянскаго засѣданія, въ городъ. Къ счастью, я вспомнилъ объ одной сосѣдкѣ, о милой дамочкѣ, съ которой встрѣтился зимою на вечерѣ у предводителя, и рѣшился, отъ нечего дѣлать, завернуть къ

ней на село и, замѣтите, завернуть пѣшкомъ, потому что объ экипажѣ нечего было и намекать разобиженной любовнымъ размежеваніемъ барыни...

Стояла весна.

Сборы были не долги. Село Бѣлобабовка, на рѣкѣ Грунь-сухая, лежало какихъ-нибудь въ семи или восьми верстахъ; пройти ихъ землемѣру было такъ же легко, какъ иному мужику, ворочающему жернова и чугунные берковцы, смолотить лишній десятокъ сноповъ въ день. Я закурилъ трубку, запялся инструментами, въ надеждѣ, если не застану самой помѣщицы дома, позаняться съ ея приказчиками провѣркою ея участковыхъ плановъ; разспросилъ о дорогѣ и пошелъ. — «Идите, этакъ, прямо! — говорилъ мнѣ тоненькою фистулою, ломаясь и важничая, главный поваръ барыни, Доримедонтъ, стоя, съ трубкою въ зубахъ, на крыльцѣ кухни: — спуститесь подъ горку; тутъ вамъ будетъ, такъ сказать, поворотка въ боръ, тамъ ступайте все прямо, прямо, одна дорога и есть; тутъ, около дороги, затѣнка, попросту лѣсная пасѣка, и живетъ на ней пасѣчникъ Гордѣй; окликните его, а онъ уже васъ и доведетъ! — прибавилъ убѣдительно поваръ, сплевывая въ сторону и косясь на мои пятки: — а онъ и доведетъ!»

Я спустился подъ-гору, свернулъ на воротку и не замѣтилъ, какъ охватили меня темные своды бора. На душѣ моей повеселѣло; я забылъ и старую помѣщицу, и хлопоты по любовному размежеванію, и самую цѣль своей прогулки въ село Бѣлобабовку...

Шаги мои робко раздавались по узкой просѣлкѣ. Въ два ряда, по сторонамъ, стояли такія сосны, что взглянуть на нихъ, такъ шапка валилась. Вообще, этотъ боръ принадлежалъ къ рѣдкимъ исключеніямъ безлѣснаго *** уѣзда, составляя въковое достоинство множества мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ отъ рѣки Грунь-тихой вплоть до ея сосѣдки, Грунь-сухой. Любо было даже издали глядѣть на его ровный, сосна къ соснѣ и вершина къ вершинѣ, нетронутый и многолѣтній островъ. Гордо высились даже мелоча, разбѣжавшіяся отъ главнаго клина кудрявыми и веселыми древесными выселками, по легкимъ водомоинамъ и приземистымъ холмамъ гладкой, какъ стрѣла, степи. Въѣзжихъ дорогъ въ этотъ боръ было очень мало. Причиною этому, впрочемъ, была не столько заботливость владѣльцевъ о сохранности его, сколько

обширная, болотистая низменность, лежащая по ту сторону бора, съ извилистыми, влажными тропинками, по которым съ трудомъ пробирались окрестные поселяне, искони знаменитые садовники и пчеловоды. Часто, проѣзжая здѣсь, выстрѣтите большой обозъ съ дровами.

— Откуда, братцы, ѣдете?

— Изъ-подъ Трофимцовъ!—отвѣтить вамъ.

— А какія дрова?

— Груша да яблоня лѣсная!

И вотъ нынѣшняя участь старинныхъ грунтовыхъ садовъ и заповѣдныхъ застѣкъ стараго украинскаго юга.

Боръ неожиданно смѣнился кущами чернаго лѣса. Надо мною затемнѣла и сдвинулась стѣчатая листва берестняка и кленовъ. Въ ея зелено-золотистыхъ просвѣтахъ съ легкимъ свистомъ, шныряли дрозды и тѣ странныя степныя птички «ракши», которыхъ иногда можно встрѣтить у дороги, на копнѣ сѣна или на кочкѣ, и при взлетѣ которыхъ кажется, что зеленый вѣтеръ, брошенный изъ-за угла, раскрылся и летитъ по воздуху. Замелькали свѣтлыя лужайки. Близость воды была очевидна. Въ простѣткѣ мелкихъ орѣшниковъ мелькнула верхушка куреня.. И чѣмъ ближе къ пасѣбѣ, деревья становились свѣжѣй и зеленѣй. Точно пчелы смакивали лучшихъ красавцевъ бора. Всѣ деревья кругомъ стояли, какъ въ праздничныхъ нарядахъ, распространяя то первое, еще не прискучившее весеннее благоуханіе, которое такъ радуетъ живущихъ вблизи лѣсныхъ мѣстъ. Вездѣ стояли столбы нѣжныхъ черемухъ, окунутыхъ медвянодушистымъ цвѣтомъ. Вездѣ покачивались стрѣльчатая лозы, усыпанныя пушистыми, голубоватыми куколками, и гордо красовались кудрявыя дикія яблони, точно одѣтыя въ розовыя и палевыя мантии, съ которыхъ, при легкомъ вѣтрѣ, сыпалась на кусты и на травы душистая метель крылатыхъ бабочекъ...

Я обошелъ маленькій ровъ и вступилъ на пасѣку. Въ куренѣ не было ни души. Я окликнулъ пасѣчника Гордѣя. Отвѣта не было; только эхо, звонко отозвавшись въ нѣсколькихъ мѣстахъ бора, вызвало прежнюю, еще болѣе торжественную тишину...

Будучи не чуждъ хозяйственныхъ соображеній, къ которымъ невольно привыкаешь, живя между нашими помѣщиками, охотниками потолковать о хозяйствѣ, я оглянулъ па-

сѣку, въ которой было мало чѣмъ меньше сотни ульевъ, и тутъ же пожалѣть, что пасѣчникъ, хотя и выбралъ такое удобное мѣсто для первой перекочевки пчелъ, по всей очевидности ходилъ за этимъ дѣломъ спустя рукава. Ульи стояли маленькіе, кривые, наскоро прикрытые черепками и лубками и почернѣвшіе отъ дождей и вѣтра. Другіе, пустые, печально грудой лежали тутъ же, въ сторонѣ, въ ожиданьи близкой поры роенья. Тѣсные домики крапчатыхъ медоносницъ тонули въ густой травѣ, которая такъ вредна для пчелъ, заводя сырость и насѣкомыхъ. А между тѣмъ, повторяю, лучшаго мѣста для пасѣки трудно было выбрать. Тутъ же, внизу площадки, виднѣлось и маленькое озерко. Пчелы въ это время еще не носили меду, а собирали по лугамъ и деревьямъ воскъ для новой «дѣтвы», какъ говорится, «новили» — заново меблировали восчанья клѣточки своихъ домиковъ. Недавно еще слабыя и черезъ силу преодолевающія легкій весенній вѣтеръ, онѣ уже съ мятежнымъ шумомъ вылетали изъ ульевъ за душистымъ, цвѣтовымъ «взяткомъ», и пасѣка издавала пріятное, такъ знакомое пчеловедамъ гудѣнье. Между разною утварью кинулся мнѣ въ глаза неуклюжій, заиндевѣвшій самоварчикъ и какая-то запачканная книжка. Посуда и кое-какое платье были разбросаны тутъ же, по угламъ. Исключеніе составлялъ большой муравленый кувшинъ съ водою, поставленный на полкѣ и заткнутый пучкомъ только-что сорванной, свѣжей клубники. Я опустился въ курень, на солому. Смятое, належаемое мѣсто на ней было такъ уютно, что, казалось, здѣсь больше ничего нельзя было и дѣлать, какъ только лежать и ничего не дѣлать...

Со стороны бора слышались шаги. Кто-то обошелъ деревья, миновалъ ульи и сталъ у куреня, молча, какъ бы случая. Нѣсколько минутъ прошло въ тишинѣ...

«Осторожный человѣкъ!» — подумалъ я и приподнялся на соломѣ. У низенькаго, треугольнаго входа въ курень показались голова съ рыжеватыми усами и рука съ наломанными вѣтками. Это былъ пасѣчникъ Гордѣй, полу-мужикъ и полу-мѣщанинъ, изъ вольноотпущенныхъ.

Назвавъ себя, я вышелъ изъ куреня, причемъ худощавый и длинный пасѣчникъ обрисовался передо мною во весь ростъ, въ зеленомъ замасленномъ картузѣ, долгополомъ сюртукѣ изъ голубой нанки, какую носятъ въ мелкихъ городкахъ мѣщане въ первую пору счастливыхъ барышей, и въ

темныхъ съ цвѣточками брюкахъ, заботливо всунутыхъ въ высокіе сапоги. И не одинъ пасѣчникъ явился передо мною. Рядомъ съ нимъ на веревкѣ стояли еще двѣ огромныя собаки, мохнатыя и полустыпыя отъ нависшей клочками сивой, почти красной шерсти, почему постоянно имъ простригали косые, зеленоватые глаза.

— Не кусаются?—спросилъ я.

— Даже и не лаютъ!—отвѣтилъ отрывисто Гордѣй, бросивъ въ курень вѣтки и картузь и молча отправившись привязывать собакъ къ дальней соснѣ, за ульями.

Собаки Гордѣя, точно, не лаяли. Зато ходили грудью на волка и, кинувшись, безъ всякаго шума, на какую бы то ни было добычу, тутъ же ее и душили на смерть. Въ такихъ собакахъ особенно нуждаются южные поселенцы не храброй руки, которымъ приходится водворяться въ степныхъ слободскихъ и приднѣпровскихъ участкахъ.

— Не можешь ли ты, братецъ, провести меня на Бѣлобабовку?—спросилъ я Гордѣя.

Пасѣчникъ молча оглянулъ меня и сталъ ближе, какъ бы изъ уваженія, но въ то же время съ напряженнымъ любопытствомъ осматривая меня. Погладивъ, на мой вопросъ, голову, онъ только переступилъ съ ноги на ногу и закинулъ руки за спину, причемъ сухощавый станъ его нѣсколько сгорбился. Такъ, сколько замѣтилъ я, обыкновенно держатся дворовые люди не первой молодости и резонерскаго характера, отшедшіе, посредствомъ отпускной, на такое житье, гдѣ можно сразу успокоиться и вдоволь налегаться и выспаться. Гордѣй принадлежалъ къ числу ихъ. Слѣды былой, избалованной и исковерканной на дармоуслугѣ жизни проглядывали у него во всемъ. Впрочемъ, хотя онъ сѣлъ на пасѣку и не прямо отъ плуга, совершенно лѣнливымъ называть его было нельзя. Встрѣчаясь съ нимъ не одинъ разъ вполнѣдствіи, я узналъ, что онъ былъ даже человѣкъ старательный и особенно усердно заботился о своемъ прибыткѣ. «А кого вамъ, смѣю спросить, надо на Бѣлобабовкѣ?—возразилъ Гордѣй.

Я рассказалъ ему свои намѣренія. Осторожный Гордѣй, какъ видно, успокоился (онъ на Бѣлобабовкѣ снималъ участки бора и опасался назойливыхъ соперниковъ), тутъ же разговаривая и объяснилъ, что ему всѣ бѣлобабовцы чуть не кумовья, что онъ тамъ бываетъ почти каждый день, у при-

казчика недавно крестилъ сынишку, на церковь пожертвовалъ новую икону и у помѣщицы снимаетъ уже второй годъ на бору, тутъ же недалеко, еще мѣсто для пасѣки.

— А что? — спросилъ я, закуривъ трубку и заинтересованный Гордѣемъ: — какъ идетъ хозяйство бѣлобабовской помѣщицы?

Гордѣй подумалъ и не отвѣтилъ ни слова.

— А что? плохо идетъ? Да ты, братъ, не бойся: я чело-вѣкъ посторонній и сору изъ избы не вынесу...

Гордѣй, улыбнувшись, сталъ водить рукою по листьямъ орѣшника.

— Странное дѣло! — продолжалъ я, въ то время, какъ каріе, рысы глазки Гордѣя такъ и слѣдили за мною: — вѣдь вотчина этой барыни чего не захватываетъ: отъ Печерковскихъ пустошей и до Пяти-Колодцевъ, — все ея луга да залежи!

— «Да! — замѣтилъ, какъ бы въ раздумьи, Гордѣй: — много угодій... только-съ говорится, велика Оедора...» и, замолчавши, отвернулся; въ подвижномъ лицѣ его играда каждаго жилка...

— Вотъ оно какъ! — подхватилъ я не безъ любопытства: — а поди ты съ нашимъ братомъ землеѣромъ; вѣдь мы, отмѣривая-то каждый день этакія линіи взадъ и впередъ, и Богъ знаетъ, чего не заберемъ въ голову!.. И богатство-то, и раздѣльте-то, и всякое довольство!..

Гордѣй оживился.

— Да, сударь, всякія бываютъ земли; вотъ хоть бы и на долю нашей сосѣдки! Измѣрилъ и я не мало дорогъ и бездорожья на свѣтѣ; цѣну земелькѣ знаю!

— Такъ, стало-быть, мы съ тобой одного болота кулики? — подхватилъ я, желая еще болѣе подзадорить неразговорчиваго собесѣдника.

— Да-съ! — продолжалъ Гордѣй: — такихъ плодородныхъ земель, какъ въ этихъ мѣстахъ, такъ я еще и не видывалъ! Это правда, вотъ хоть бы и въ Бѣлобабовкѣ: рабочихъ рукъ точно мало, за то земли по тридцати, да по сорока десятинъ на душу; три водяныхъ мельницы обѣ осьми жерновахъ; лѣсъ дубовый, весь строевой, а по рѣчкѣ сплавъ, — только подавай: берутъ и на колеса, и на сваи, и на доски; а конскій табунъ такъ еще покойный отецъ наслѣдницы

завель, какъ былъ въ здѣшнихъ мѣстахъ исправникомъ! Нѣтъ-съ, имѣніе хорошее, хорошее! Нечего жаловаться!

— Да отчего же баринъ-то бѣлобабовской тутъ не живется? вѣдь, чай, и теперь въ городѣ?

— Да-съ, въ городѣ! Такъ уже, не живется, видно, да и только!—отвѣтилъ Гордѣй, усмѣхнувшись...

Мы этакъ не мало ходили, бесѣдуя, съ Гордѣемъ по парку, съ площадки которой виднѣлась вся обширная болотистая низменность, отдѣлявшая боръ отъ возвышенности, за которою, въ туманномъ просвѣтѣ синѣющаго далекаго лѣса, очевидно обозначавшемъ логовище большой рѣки, чуть виднѣлась верхушка бѣлобабовской церкви.

Въ это время заворчали собаки. Между сосенъ, въ кустахъ орѣшника, показались два старика, одинъ повыше, другой пониже, оба бѣлые, какъ черемуки въ цвѣту, въ бѣлыхъ шапкахъ и въ бѣлыхъ, широкихъ кафтанахъ до земли. Гордѣй извинился и пошелъ къ нимъ. Нѣсколько минутъ онъ съ жаромъ о чемъ-то говорилъ съ ними, размахивая руками, и вернулся не въ духѣ. Старики еще стояли, поглядѣли на меня и въ своихъ бѣлыхъ кафтанахъ и шапкахъ, колышась, какъ тѣни, медленно удалились къ повороткѣ просѣки.

— Кто это?

— А! — отвѣтилъ, съ неудовольствіемъ и какою-то неприязненностью Гордѣй:—прахъ ихъ побери! Тѣшинскіе богачи, тоже насѣчники; тутъ на бору близъ меня и заведеніе; отецъ съ сыномъ; такъ сюда всѣ и ползутъ, мѣста нѣтъ! Одному сто-пятнадцать, а другому восемьдесятъ лѣтъ! Шутка ли? Деньги лопатами загребаютъ, а туда же попрошайничаютъ: улы, вишь, пондобились,—пчелы роиться стали! У кого что, а у нихъ уже роются!..

Гордѣй плюнулъ; онъ былъ, очевидно, разсерженъ.

— Что же ты, обѣщаешь имъ?

— А съ какой стати я буду обѣщать? ну ихъ! — отвѣтилъ Гордѣй и мочка глянулъ въ ту сторону, гдѣ между кустовъ орѣшника уже едва виднѣлись бѣлыя шапки тѣшинскихъ насѣчниковъ...

Мы походили еще нѣсколько между кураемъ и соснами.

— Ну, а у тебя какъ дѣла идутъ? — спросилъ я, оставившаяся у обрыва площадки и невольно продолжая любоваться зелеными топями.

— Ничего!—отвѣтили Гордѣй:—идуть себѣ, плетутся!

— То-есть какъ же это?

— Да такъ же; плохо идуть, коли хотите знать, да и все тутъ!

— Быть не можетъ! Пчелы идуть плохо? При такой-то веснѣ? Расскажи, пожалуйста! Что-то странно это, когда подумаю, что весь вашъ край только и хвалится, что вашими, да еще волганскими пчеловодами...

Рыжіе усы и каріе глазки Гордѣя задвигались. Видно было, что внутри его опять кипѣло. И немудрено, какъ я узналъ впоследствии: Гордѣй былъ, какъ выражаются о такихъ людяхъ, «придорожное гореванье»...

Я выбралъ мѣстечко у края площадки, сѣлъ на перевернутый улей и занялся вооруженіемъ большой пивковой трубки, которая составляла неизмѣнную утѣху мою во всѣхъ многообразныхъ похожденияхъ «дѣловой практики» уѣзднаго землемѣра. Гордѣй началъ:—«Скажу вамъ, сударь, то-есть, по чистой по правдѣ, что нѣтъ тому на свѣтѣ большаго такого горя, какъ видѣть гоненіе судьбы-сѣ! А опричь того, еще престо непонятныя дѣла!»

Гордѣй на минуту перемолкъ и началъ опять тихимъ, какимъ-то плаксивымъ и будто размякшимъ для большей жалости голосомъ:

— Пришелъ я, сударь, въ эти мѣста изъ крѣпостныхъ, какъ вольную получить. Много на первыхъ-то порахъ, сгоряча, путей и дороженекъ я поиспробовалъ! Глупъ былъ! Кидался и въ наемъ по камердинерамъ, и въ трактирныя, и въ мелкое, какъ есть, торгашество по мостамъ, да на перекресткахъ въ городахъ. Я изъ Великороссіи, сударь; на Окѣ, если изволите знать, и родина моя. Понамаялся! Ну, да этому и давно, лѣтъ уже съ десять, и больше будетъ; ходилъ и въ тонкомъ сукнѣ, и при часахъ, и въ бархатныхъ жилеткахъ; а случалось и такъ, что спозаранку-то, какъ народу еще мало на улицахъ, и милостыню просилъ. Всего было! Глупъ былъ! Опомнился я, однако, во-время; осадилъ меня одинъ, изъ вольноотпущенныхъ тоже, — старикъ уже былъ, безсемеинный и совѣтъ, какъ говорится, прогорѣвшій съ перваго размаху; говорить: «Куражь куражемъ, а о спасеніи души тоже помышляй!» Шла молва въ нашей сторонѣ о здѣшнихъ пасѣчникахъ; меня вотъ такъ и подманило... Мѣста въ лѣсахъ, я думалъ себѣ,

ни по чемъ, да и сбыть хорошій; въ городѣ, по близости, какъ извѣстно и вашей милости, свѣчная восковая фабрика, а медъ и помѣщики, и монастыри, и нашъ братъ, здѣшній поселенецъ, берутъ—только подавай! Ну, я и сѣлъ на пасѣку; да, что,—дѣло совсѣмъ выходитъ пчѣвое! Эти, старыето здѣшніе пчеловоды: точно заворожили всѣ мѣста на бору, хоть брось!

— Что-жъ такъ, однако? Времена дурныя подошли, что ли?

— Нѣтъ, сударь, нѣтъ!—отвѣтилъ Гордѣй мягче и какъ-то грустно-задумчиво: — на время пожаловаться нельзя; травы родятся по колѣно: пчела только носи! Маломедкости въ здѣшнемъ краѣ и не знаютъ. А не идетъ у меня, однако, да и только! Какъ закодвано, другого и не придумаешь. Да вотъ, просто, сударь, вамъ сказать, — продолжалъ Гордѣй, присѣвъ на траву: — видали-ль вы когда; какъ на жнивѣ иной колосъ стоитъ въ ростъ человѣческій; а тутъ же, въ серединкѣ-то, завелась худосочина, отъ земли или и такъ, отъ сѣмени; не родится на ней хлѣба, да и полно! Вотъ такъ и у меня! То вдругъ гнильцовая зараза ударить передъ утренниками, какъ наступятъ первыя росы, то пасѣка съ пасѣкою чужою въ сѣчку ударится, вотъ какъ бы настоящее сраженіе происходить, — ажно страшно становится; и переведется иногда, въ одинъ разъ, полъ-завода. То такъ, видно кто-нибудь дорогу перейдетъ, станутъ вдругъ всѣ пчелы, какъ сонныя, и мрутъ до той поры, что и на рой ничего не останется. Ходилъ я и въ бабамъ; и солдатъ одинъ ворожилъ: ничего не беретъ! А вотъ года съ три, такъ случилась такая оказія. До тысячи колодокъ было; семерыхъ работниковъ держалъ; повѣрите ли, господа съѣзжаться стали смотрѣть; губернаторъ мальчика въ ученье отдалъ! Ну, и перебилъ я зиму; кормилъ пчелу лучшимъ медомъ и еще прикупалъ. Привалила, хоть бы и теперь, весна да запалилъ жаръ, и зароились мои пчелки, — да такъ, что ульевъ въ городѣ на сто цѣлковыхъ подрядилъ. Что же, сударь: въ полъ-лѣта это вдругъ налетѣли жуколки такія, «шершни» здѣсь прозываются; съ хоботкомъ да съ рожками, стали бить и поѣдать пчелу; а тутъ пошли дожди; завелась тля, да такая, что какъ перевернули ульи, а тамъ даже и воску нѣтъ, — одна паутина да гниль! Такъ тутъ, повѣрите ли, хоть въ воду, какъ изъ тысячн-то колодокъ, да осталась вся пасѣка на тридцати! Вотъ оно, какъ

идутъ у меня дѣла, если вы желаете знать! Теперь и другую, особенную пасѣку развожу второе лѣто, тутъ же на бору, — да что?.. Проку нѣтъ, вотъ что! Проку, барышей... нѣтъ...

И Гордѣй, съ усиліемъ проговоривъ послѣднія слова, нагнулся къ землѣ и замолчалъ. Я также молчалъ, смиренно потягивая изъ погасавшей уже и хрипѣвшей трубки.

Въ это время за кустами, внизу площадки, послышалось теньканье колокольчика; раздался быстрый и мягкій стукъ неогованныхъ колесъ, и изъ-за холма, въ сторонѣ кустовъ, показался на телѣжкѣ человекъ пожилыхъ лѣтъ, въ полотняной фуражкѣ и старомодномъ сюртукѣ домашнего покроя.

— Сысойчъ, приказчикъ изъ Тѣшина, — шепнулъ Гордѣй, поспѣшно вскакивая съ травы...

Не успѣвъ онъ приподняться, какъ голубая телѣжка круто повернула вниз, между раkitниками, и подвезла къ обрыву площадки коротенькаго румянаго толстяка, сидѣвшаго среди мѣшечковъ и какихъ-то связокъ. Телѣжка, при помощи краснощекаго и сутуловатаго мальчишки-кучера въ долгополомъ армякѣ, остановилась; только разбитый колокольчикъ на дышлѣ долго еще не могъ успокоиться и неистово заливался, потому что косматыя и, какъ видно, прибрѣтенныя въ разное время лошаденки въ дышлѣ были чуть не полъ-аршина одна выше другой и долго не могли найти точки равновѣсія. Сысойчъ съ усиліемъ повернулся между клажи, позвалъ къ себѣ Гордѣя и спросилъ тихо, однакоже такъ, что я слышалъ: — «А кто это?»

Гордѣй назвалъ меня и, какъ видно, тутъ же, наскоро, выболталъ ему всю подноготную о моихъ намѣреніяхъ идти на бѣлобабовку и повѣрить тамъ запущенные участковые планы помѣщицы. — Слова Гордѣя погрузили тѣшинскаго приказчика въ раздумье, причемъ онъ нѣсколько разъ поднималъ на меня красноватые, заплывшіе жиромъ и весьма глуповатые глазки.

— Ну, миленькій, вотъ же что! — заговорилъ опять шопотомъ Сысойчъ: — сходи, миленькій, въ курень и захвати кувшинчикъ съ водицею; страхъ хочется испытать! Просто, какъ будто вотъ горить что внутри! — И онъ пощупалъ животь. — «А куда изволите?» — спросилъ Гордѣй развязно, косясь на меня и устанавливаясь поближе къ телѣжкѣ, съ

хозяиномъ которой онъ былъ, очевидно, на пріятельской ногѣ, или, по крайней мѣрѣ, хотѣлъ это показать...

— А къ Семеничу, къ винокуру, голубчикъ!—возразить, зѣвнувъ, толстый приказчикъ: — вообрази, звалъ новосѣлой отвѣдать; это на какихъ-то косточкахъ, шельма, настоятъ! Говорить, какъ нальешь, такъ точно маслу, — не льется наливка, а капаетъ; чуточку только послѣ въ носъ попибаешь!

Гордѣй на это лѣстиво замоталъ головою и пошелъ въ глубину площадки.

— Да ужъ и медку, мамочка, захвати кстати!—крикнулъ ему вслѣдъ, пожираемый жаждой, толстый Сысонищъ...

И, не слѣзая съ телѣжки, Сысонищъ снялъ бѣлую фуражку, — причеъъ на полномъ и розовомъ, какъ яблоко, темени его не оказалось ни единого волоска, — и, поклонившись мнѣ, произнесъ:

— Честь имѣю-съ!.. Тѣшинскій управитель изъ разночинцевъ, Ардальонъ Сысонищъ!

Я также отрекомендовался.

— Въ наши мѣста изволили пожаловать?—спросилъ онъ съ деликатною улыбкой.

— Да-съ, есть одно дѣло по сосѣдству по размежеванію; а пока теперь предпринялъ прогулку на село Дарьи Романовны Стебликовой, если знаете?

— Какъ не знать? какъ не знать?—произнесъ Сысонищъ и, вздохнувъ, прибавилъ: — А вотъ, я никакъ, простите, въ толкъ не возьму: отчего это теперешніе господа совсѣмъ не живутъ въ своихъ вотчинахъ, то-то они имъ и не нужны?

Я счелъ долгомъ сослаться на пріятности нынѣшней городской жизни, такъ сманивающей нашихъ деревенскихъ хозяевъ, и пустился развивать мысль объ общественныхъ увеселеніяхъ. Но толстый собесѣдникъ меня не слушалъ. Онъ съ усиленнымъ вниманіемъ глядѣлъ на площадку и вдругъ спросилъ меня:

— А что, изволили вы говорить съ здѣшнимъ пасѣчникомъ?

— Говорилъ, а что?

— Такъ-съ, хорошій человекъ! — замѣтилъ приказчикъ, какъ бы въ раздумьи и продолжая глядѣть въ ту сторону, откуда долженъ былъ появиться хлопотавшій для него Гордѣй.

— Не пьеть, не буянить и всѣмъ пріятенъ! — продолжалъ онъ:—только вотъ бѣда, дѣла-то его какъ-то того, не клеятся! Дѣла-то его...

Я спросилъ о причинѣ, Сысоичъ подмигнулъ.

— Причина очень простая! — скромно замѣтилъ онъ, какъ бы готовясь читать самое отрадное, похвальное слово Гордѣю:—очень простая причина! Есть здѣсь въ степяхъ, въ простонародьи, такое слово, еще испоконъ-вѣку идетъ между здѣшними хозяевами, что дѣло пчельное удается только людямъ *чистымъ*, непорочнымъ, такъ сказать, безъ всякаго изъяну! Это, можно выразиться, оселокъ человѣка!.. Присмотритесь-ка: вѣдь здѣсь, по этой причинѣ, ногой не пустять на пасѣку человѣка, который бы лишнее слово иногда любилъ ввернуть въ разговоръ! Сказано бо есть въ народѣ: «ходи за пчелою, какъ за твоею душою!» Ну, а у Гордѣя безъ изъяну не обойдется; и хорошій онъ человѣкъ, и о прибыткѣ заботится, да и вытерпѣлъ много на своемъ вѣку, а не обойдется! Бывали за нимъ грѣшки, и небольшіе грѣшки, а бывали! Есть за нимъ одна маленькая исторійка, такъ-себѣ, дѣльце прошедшее и почти давно позабытое... а дѣльце нечистое... и я его знаю... Мистическій Ардальонъ Сысоичъ замолчалъ. Въ концѣ площадки, между сосенъ, показался ликующій Гордѣй съ кувшиномъ воды и крынкой меду. Видно было, что онъ особенно старался угодить гостю. Напившись и уложивъ крынку на телѣжку, Сысоичъ сказалъ мнѣ еще два-три слова, лукаво подмигнувъ на Гордѣя и тронулся далѣе. Пасѣчникъ пошелъ съ нимъ рядомъ. — «А что же-съ, — заговорилъ онъ почтительно:—когда же-съ насчетъ прибавки платы тѣшинскимъ плотникамъ? Я уже, сударь, общалъ ихъ артельному!» — Сысоичъ на это съ улыбкою погрозилъ ему пальцемъ, еще разъ кивнулъ мнѣ и поѣхалъ далѣе.

— Очень добрый человѣкъ! — произнесъ отрывисто Гордѣй, возвращаясь ко мнѣ, причемъ, однако, въ лицѣ у него не было ни кровинки:—только нечего ему совсѣмъ дѣлать у насъ при старостѣ, да при конторщикѣ! Въ здѣшнемъ околоткѣ, скажу вамъ, совсѣмъ никакихъ даже происшествій не бываетъ; народъ самый тихій и работающій! Такъ вотъ только, отъ скуки, все ѣздитъ по знакомымъ!—И, засмѣявшись, Гордѣй запахнулъ кафтаномъ.

На дворѣ начинало вечерѣть. Я вспомнилъ о цѣли своей прогулки.

— Ты мнѣ, Гордѣй, сказывалъ, что другую теперь пасѣку разводишь на бору? Не по дорогѣ ли она намъ будетъ? Проведи, братецъ, на Бѣлобабовку, уже время!

— Да куда же вы, сударь? — заговорилъ быстро Гордѣй: — еще успѣете на село; чай, пѣшкомъ-то устали; да и приказчикъ тамошній теперь еще въ полѣ; вечеромъ тоже немного наработаете! Лучше посидите еще, да и медку не пожелаете ли? У меня прошлогодній припасенъ, а то можно и самоварчикъ взогрѣть; а завтра холодкомъ, на зарѣ, и пойдете; и пасѣку мою другую тогда лучше поглядите. Авось, съ легкой руки вашей, и счастье мнѣ привалить!..

«А и въ самомъ дѣлѣ, пережду я у него! — подумалъ я. — торопиться нечего; погода славная, я же и усталъ!»

— Ну, благодарствуй, Гордѣй! — сказалъ я: — быть по твоему, остаюсь у тебя! Угощай гостя!

Гордѣй засуетился; вдулъ сухой дождевикъ, родъ гриба, который постоянно дымился у него на пасѣкѣ, съ подвѣтренной стороны, отгоняя отъ ульевъ комаровъ и мошекъ; и скоро на травѣ у куреня задымился низенькій, пузатый самоварчикъ. Гордѣй повеселѣлъ; суровое и рѣзкое выраженіе его узкихъ и блѣдныхъ губъ, его сухошаваго лица исчезло; острые глазки увлажнились; рыжеватые усы заботливо шевелились. Онъ отъ души хотѣлъ меня угостить; и, несмотря на свое постоянное отвращеніе къ самоварамъ и самоварникамъ, которые такъ не ладятъ съ нашею несложною, степною простотою, я обрадовался, когда налитой стаканчикъ очутился передо мной...

А между тѣмъ стѣны исполинскихъ сосенъ, площадка съ ульями и островерхимъ куренемъ, долина внизу и камыши, все уже подернулось вечернимъ отблескомъ. Солнце скатилось къ окраинѣ горизонта. И на всемъ, — на островерхомъ куренѣ и стволахъ сосенъ, на голубомъ кафтанѣ и брошенномъ поодаль картузѣ Гордѣя, на крышкахъ ульевъ и головахъ страшилищныхъ собакъ, на дальнихъ озерахъ и на концахъ моихъ сапогъ, — вездѣ леги желтопурпурныя, перебѣгающія пятна...

И вотъ, заслышавъ близкія сумерки, слетѣлись первые отряды рабочихъ пчелъ. Бодрыя и радостныя работницы,

какъ бы нехотя, какъ бы желая еще разъ взглянуть на отдаленные луга и перелѣски, гдѣ цѣлый день метались и звонко гомозились онѣ, не опускались еще къ темнымъ отвѣрстіямъ знакомыхъ ульевъ и, забывъ свои пѣсни, медленно плавали вверхъ деревьевъ, надъ нашими головами, и, будто засыпая, золотистыми искорками висѣли въ вечерующихъ потокахъ соннаго воздуха...

Совсѣмъ стемнѣло.

— А кто тебѣ, Гордѣй, обѣдать готовить? — спросилъ я, перевертывая послѣдній стаканъ и развалившись у куреня, на травѣ.

— Кумушка одна, молодка, готовить, на деревнѣ; тутъ недалеко и живетъ!.. — отвѣтилъ развязно Гордѣй, суетясь за собираніемъ посуды.

Стаканы скоро были унесены. Сонъ меня сталъ сильно одолавать. Я перебрался въ курень, упалъ на мягкую соломѣ и скоро заснулъ. Но въ первыя минуты мнѣ все слышался голосъ Гордѣя. Впослѣдствіи я сообразилъ, что Гордѣй въ самомъ дѣлѣ рассказывалъ мнѣ о сосѣдяхъ-старикахъ, тѣшинскихъ пасѣчникахъ, къ которымъ онъ питалъ нерасположеніе, о стопятинадцатилѣтнемъ отцѣ и восьмидесятилѣтнемъ сынѣ.

— Вы не повѣрите, — рассказывалъ насмѣшливо Гордѣй: — что это за сквалыги! Отецъ сталъ ужъ совсѣмъ, какъ не человѣкъ, ничего не понимаетъ; а скупъ, говорятъ, и деньги зарываетъ! Продавъ, съ годъ назадъ, меду и зашилъ два цѣлковыхъ въ голенище; а сынъ-то подмѣтилъ и вырѣзалъ! Вотъ, пришелъ отецъ жаловаться къ исправнику. — Такъ и такъ, говоритъ, уймите сына; шалить, говоритъ, надо посѣчь, батюшка, обворовалъ меня! — Позвать сына! — говоритъ исправникъ: — а какой ему годъ? — Восьмидесятый годокъ пошелъ, батюшка! — Разсмѣлся на это исправникъ и успокоилъ старика. Можетъ, это и неправда, а только говорить, и я въ городѣ слышалъ...

Многое еще говорилъ Гордѣй, сидя у двери куреня, склонивъ голову и обхвативъ колѣни руками; но я скоро почувствовалъ сладкое обаяніе неудержимаго сна; голосъ Гордѣя сталъ мнѣ казаться голосомъ комара, который будто возился гдѣ-то у меня надъ ухомъ; треугольный просвѣтъ куреня превратился въ зеленоватый шаръ, убѣжалъ прочь

и сталъ колыхаться вдали межъ кустами, будто поддразнивая меня. Словомъ, всякая чепуха полѣзла въ голову...

Когда я опять раскрылъ глаза, была уже черная, черная ночь. Я приподнялся. Гордѣй, раскинувшись навзничъ, спалъ у куреня. И онъ измаялся. По лѣсу шли какіе-то глухіе, завывающіе звуки, точно перекликались въ его чащѣ волки. Собаки пасѣчника не лаяли, но слышно было, какъ онѣ иной разъ тревожно метались на длинной привязи, точно высматривали кого въ кустахъ. Я посидѣлъ еще немного и опять упалъ, какъ убитый... Было ясное утро, когда я проснулся. Гордѣй уже исчезъ. Онъ до зари еще снялся и пошелъ съ разными своими снадобьями, въ сопровожденіи собакъ, на другую свою пасѣку, а меня не захотѣлъ разбудить. Онъ, какъ дѣловой человѣкъ, торопился; время роенья было не далеко, барыши его подмывали...

Вмѣсто Гордѣя, у куреня сидѣлъ приземистый, плохенькій, грязенькій и, какъ говорится, пришибленный мужичокъ, въ обдерганной шапкѣ и въ старой свиткѣ съ прорванными локтями. Въ немъ я тотчасъ узналъ савинскаго *Михрютку*, какъ его прозывали въ окрестностяхъ,—одного изъ работниковъ, проживавшихъ въ наймахъ у того самаго однодворца, о которомъ я упомянулъ въ началѣ разсказа.—«А! Михрютка! — закричалъ я, протирая съ полусонныя глаза:—ты здѣсь?»—Михрютка закивалъ головою и что-то забормоталъ, причемъ его подслѣповатые глазки изъясляли уже несказанное удовольствіе при видѣ знакомаго. Онъ сидѣлъ и рылся въ землѣ. Это было его вѣчное ремесло. Куда бы его ни послали, онъ шелъ безъ отговорокъ, на пути заглядывалъ подъ каждое бревно, подъ каждую вѣточку, собирая грибы, общипывая травы и безпрестанно разсуждая съ самимъ собою вслухъ. Прозвище Михрютки было ему дано по случаю неказистой и загнанной его фигурки. Съ боку припека и пятая спица въ колесницѣ во всемъ, онъ, однако, былъ любимъ всѣми. Оно точно: суровый и дубоватый однодворецъ, хозяинъ его, держалъ его, какъ бы не замѣчая, и Михрютка, работая на него, какъ ломовая лошадь, также какъ будто не выражалъ къ своему хозяину ни особой пріязни, ни особаго отвращенія. Но посторонній глазъ могъ примѣтить въ этихъ отношеніяхъ тѣнь затаенной симпатіи. Хозяинъ и работникъ жили, какъ живутъ на свѣтѣ, по выраженію народа: «ложка да миска, петля да пуговка,

топоръ да топорище». Они были нужны другъ другу. Ну-жень оказывался, впрочемъ, Михрютка и не одному угнетенному сосѣдкой однодворцу. Всякой работѣ его у хозяина было свое время; да и немного было работы, съ тѣхъ поръ, какъ сосѣдка-помѣщица вздумала отнять у него поемные луга и мельницу. Онъ сталъ подмога и вѣстовщикъ всѣхъ почти окрестныхъ поселянъ: одному несть въ поле брусокъ для косы, другому забытаго въ хатѣ ребенка, съ третьимъ по цѣлымъ часамъ просиживалъ, толкуя по-своему, отрывистыми и какими-то слезливо-насмѣшливыми фразами, о томъ, что: «Вотъ, точно, Гарасько, возьмутъ у тебя сына въ косари, возьмутъ!» или: «Нечего, друже, дѣлать; окопѣла твоя корова, окопѣла, бѣсъ ее поберетъ!» И утѣшалъ онъ, и задумывался, какъ бы прискривая средство помочь горемыкѣ, и двигался во всѣ стороны, какъ лихорадочный, приговаривая: «Ахъ ты, бѣда-бѣда! Горе, да и только!» Такъ и теперь Михрютка занесъ Гордѣю обѣдать по пути, Богъ вѣдаетъ, какимъ образомъ, изъ далекой Вѣлобавовки на свои выселки.

— А что, какъ? того... ваше благородіе... какъ насчетъ той пани? Возьмутъ у насъ мельницу, возьмутъ?—спрашивалъ онъ дрожащимъ голосомъ, завертывая въ дырявый платокъ съ полъ-десятка набранныхъ подъ кустами грибовъ, должно быть для дѣтей своего хозяина, и выводилъ меня, по просьбѣ ушедшаго утромъ Гордѣя, на тропинку къ другой пасѣлкѣ послѣдняго.

— Ничего, братъ, не бойся!—говорилъ я:—по законамъ рѣшать дѣло! Скажи своему Оедгру Ивановичу, чтобы не опасался и даромъ не ѣздилъ въ городъ! Скажи, по законамъ все рѣшится! Да прибавь, что дѣло его правое, посредники давно признали это, и только надо еще, понимаешь, собрать нѣкоторыя справки! — Михрютка притихъ и шель, слушая меня, съ замирающимъ, трепетнымъ восторгомъ.

— Вотъ, вотъ... — началъ онъ, останавливаясь на перекресткѣ и утирая слезившіеся глаза: — вотъ оно, какъ теперь! вотъ оно!—И быстро пошелъ въ сторону, размахивая руками. — «Куда же ты? Постой!» — Но Михрютка ничего уже не слышалъ; дырявая свитка его захватски колыхалась, платокъ развернулся, и грибы посыпались на траву, а ноги утащали скорѣе и скорѣе. «Куда же ты?» кричать

я ему вслѣдъ. Михрютка обернулся. Лицо его сіяло, брови двигались, по бородѣ текли слезы. — На свободу! Туда!.. Ѳедоръ Ивановичъ... Дѣтки его!..—Михрютка не договорилъ и скрылся за кустами...

Я пошелъ далѣе.

Въ лѣсу стало темнѣть. Сосны смѣнились дубомъ и берестнякомъ. Въ просвѣтѣ, между ихъ маковыхъ, скоро кинулся мнѣ въ глаза улей-бортовикъ, высоко подвязанный къ вершинѣ исполинской липы. Но, вмѣсто гладкой поляны, на которой, по словамъ Гордѣя, онъ пробивалъ мѣсто для новаго пчельника, передо мною предстала дикая, глухая просѣка, въ тѣни развѣсистыхъ дубовъ, съ десятками бѣлыхъ, огромныхъ ульевъ, надъ которыми жужжали и метались тучи пчелъ. «Это не то!—подумалъ я,—сбился съ дороги, должно быть!» И въ то же время передо мною, изъ-за кучи зеленого хвороста, наваленнаго по близости, очевидно для ограды, поднялся весь бѣлый, какъ призракъ, старикъ съ густою и широкою бородою. Этотъ день ознаменовался для меня еще однимъ знакомствомъ.

Не трудно было узнать въ представшемъ старикѣ одного изъ видѣнныхъ мною вчера пасѣчниковъ-сосѣдей Гордѣя; другой старикъ, помоложе, хотя такой же бѣлый, накинувъ черную сѣтку на лицо, стоялъ поодаль, нагнувшись передъ кустомъ и готовясь собирать въ улей новый рой, тогда, какъ разомъ изъ двухъ ближнихъ ульевъ поднялись другіе рои и, то свиваясь, то развиваясь въ воздухѣ, клубомъ стояли надъ пасѣкою. Старикъ, по завѣту старины, готовясь переселить молодыхъ медоносицъ въ новый улей, заботливо обмахивалъ и освѣжалъ его бѣлою, чистую средину вѣвникомъ изъ первыхъ, благовонныхъ травъ, обрызгавъ ихъ медовою сытою съ молокомъ и крещенскою водою. Заботясь о будущемъ жилищѣ для молодого роя, онъ совершенно былъ углубленъ въ работу и не замѣчалъ моего прихода. То были образцы старинныхъ украинскихъ пчеловодовъ, какихъ уже теперь мало, старцевъ чистыхъ и благочестивыхъ, сурово степенныхъ и важныхъ на слова.

— Богъ въ помощь! — сказалъ я, подходя къ старшему обитателю бора и невольно любясь живописными и рѣзкими морщинами его лица, которое, среди благоухающаго лѣса и всегда на вѣтрѣ и свободѣ, цвѣло здоровьемъ и какою-то мудрою веселостью, въ то время какъ глаза его, уже едва

глядѣвшіе изъ-подъ густо-нависшихъ, клочковатыхъ бровей, ласково встрѣчали гостя.

— Спасибо!—отвѣтилъ съ улыбкой и поклономъ старикъ, шурясь на меня изъ-подъ ладони и едва передвигая ноги.

— Или уже роятся?—спросилъ я, оглядывая съ затаеннымъ наслажденіемъ его пасѣку, отъ которой такъ и вѣяло стариной и таинственностью.

— Да, роятся; далъ Господь! Вонъ, какое тепло! Хорошее время!—произнесъ старикъ медленно, обращаясь лицомъ къ солнцу и почесывая рукою открытую, загорѣлую грудь.

— А какъ тебя звать, старинушка?

— Тарасомъ!—отвѣтилъ старикъ, ласково прищуриваясь на меня.

— Ну, Тарасъ, я же у тебя и отдохну!—сказалъ я и вошелъ въ курень, сопровождаемый медленными шагами и поклонами старика.

Какая разниа съ Гордѣмъ и его обстановкой!

Въ куренѣ было и бѣдно, и пусто. Но малиновка лучше не свила бы своего гнѣзда. Самовара и чашечекъ, правда, здѣсь не было, и трава обильно проростала плоскую крышу куреня, походившаго, вслѣдствіе этого, на зеленую, кудрявую голову, выглядывавшую изъ-за ульевъ. Зато всѣ нужны средства для лѣченія и сбереженія пчель стояли тутъ же, на полкахъ, а въ главномъ углу куреня, на рѣзной липовой подставкѣ, видѣлись образа угодниковъ *Савватія и Зосимы*, завітныхъ покровителей пчеловодства. Заговорилъ я съ Тарасомъ; его рѣчи не были рѣзки и холодны, какъ рѣчи Гордѣя, который и стариковъ-сосѣдей не щадилъ, и Ардальонъ Сысонча охаялъ, и на самихъ пчель смотрѣлъ какъ-то равнодушно-непріязненно, видя въ нихъ одно средство къ прибыли...

Не то было съ Тарасомъ. Послѣдній о пчелахъ говорилъ не иначе, какъ съ какимъ-то сіяющимъ, торжественнымъ увлеченіемъ, причѣмъ широкая, сѣдая борода его такъ важно покачивалась на груди; не иначе называлъ ихъ, какъ непорочная, чистая пчела. Упомянулъ я о Гордѣѣ; онъ и о Гордѣѣ выразился:

— Да, жаль; человѣкъ работающій, только не удается ему дѣло что-то; жаль!—И только.

— Ну, а сынъ твой, доволенъ ли ты сыномъ, дѣдушка?—спросилъ я.

— Ничего, доволенъ!—отвѣтилъ кротко старикъ:—человѣкъ онъ тихій и праведный!

«Навраль!»—подумалъ я, вспоминая вчерашній рассказъ Гордѣя объ исправникѣ и о вырѣзанныхъ деньгахъ. Долго еще сидѣлъ я въ куренѣ стараго пасѣчника; съ особеннымъ восхищеніемъ вслушивался я въ тихія рѣчи его, межъ тѣмъ какъ вѣтеръ, съ тихимъ шелестомъ пробираясь сквозь соломенные стѣнки курена, доносилъ ко мнѣ медвяный запахъ травъ съ ближней луговины.

Провожая меня, Тарасъ остановился подъ темнымъ дубомъ и на вопросъ, кто первый завелъ у нихъ пасѣку, степенно-торжественнымъ и однозвучнымъ голосомъ рассказъ мнѣ:

— Охъ, годы мои, годы! Какъ вспомнишь, такъ просто тяжело становится, что до этой поры не прибралъ Господь!

Долго живу я, пожалуй и Потемкина князя помню, какъ мимо насъ въ Туречину ѣздилъ; а отецъ-то мой еще дольше жилъ! Завелъ покойникъ пасѣку тогда еще, какъ населялось Тѣшино, Бѣлобабовка, да и всѣ почти ближнія наши слободы... То было хорошее время... И старикъ на минуту поникъ головой. — Зато же и любо было, какъ караваны, въ десятки возовъ, шли отъ насъ за Кіевъ и въ Крымъ съ медомъ да воскомъ. Повѣрите ли: у нашего брата, простого казака, на Ворсклѣ да на Донцѣ иной разъ бывало по двѣ и по три тысячи колодокъ пчелъ! И пчелы не те перешнія, выродившіяся, а дикія, отъ созданія свѣта, вылетали изъ нашихъ затинокъ. А теперь... и народъ выродился, и пчелы выродились.

Тарасъ, внезапно освѣщенный пробившимся сквозь листву дуба лучомъ, опять замолчалъ.—Да что! молодые изъ хозяевъ не обращаютъ вниманія теперь на эту прибыль. Что имъ она? Много ли дастъ барышей? Вотъ нашъ тѣшинскій, умный такой, приказчикъ, а вырубилъ весь свой лѣсъ, да обстроилъ конскій заводъ. Былъ я на мѣстѣ, какъ онъ рубилъ старый, запущенный липнякъ, за Грунью. Топоръ-то какъ хватилъ, а двухсотлѣтняя липа и повалилась; посмотримъ, а въ душлѣ ея старая борть; и вынули изъ нея бѣлую, какъ слезу, глыбу дикаго меду, пудовъ тридцать. Мы такъ и ахнули! Пчелиная семья давно уже за грѣхи наши улетѣла,

а хозяйство намъ оставила: на-те, значить, берите, а мнѣ не нужно, Богъ съ вами!—Тарасъ замолчалъ. Поднявшійся вѣтеръ перебиралъ листочками сосѣдней ясени. Старикъ, подъ вдохновеніемъ завѣтныхъ воспоминаній, стоялъ передо мною, полузакрытый низенькими порослями дуба, какъ таинственное лѣсное видѣніе...

— А вотъ, хоть бы и отецъ мой покойный, — началъ онъ:—не намъ быть чета. Силы неимовѣрной были! Черезъ три года, подъ осень, какъ пчелъ на зиму въ амшеникъ складывалъ, къ родичамъ за Полтаву ходилъ. И ничего; перевалить-было за плечо котомку и пойдетъ отмѣривать, по сто верстъ въ недѣлю дѣлалъ! И какой чудной еще былъ; дожиль до того, что уже какъ дитя сталъ. Напоследокъ только сидѣлъ все на солнцѣ у куреня, да грѣлся... Я только, бывало, смотрю на него. Вотъ однажды и призываетъ онъ меня къ себѣ: «Возьми ты, говорить, меня, Тараско, и вынеси на гору, что надъ большою проѣзжею дорогой, за селомъ, гдѣ лѣсъ!» Богъ знаетъ отчего, только забилось у меня сердце, какъ я это услышалъ. Взялъ я его на плечи (посильнѣй, знаете, тогда еще былъ) и понесъ. Несу его огородами за околицу. Вынесъ... «Ну, теперь опусти ты меня, говорить, на травку. Посади, говорить, послѣдній разъ поглядѣть на все: и откуда, говорить, пришелъ я, и какъ день и солнце заходятъ!»—Опустилъ я его на траву, надъ горою, а самъ чуть живой стою и себя не помню. Сидѣлъ онъ этакъ долго, да все озирается, да все смотреть и точно усмѣхается, а вѣтеръ волосы перебираетъ на головѣ. Страшно мнѣ стало... Погода была, вотъ хоть бы и теперь, весенняя, теплая; птицы щебетали, по дорогѣ шли косари, пѣсни шли... Да вдругъ онъ обернулся ко мнѣ и говорить не своимъ голосомъ: «Ой, что же это? слѣпну я, что ли, Тараско?» Протянулъ передъ собою руки, точно шарилъ, искалъ чего, поводилъ-поводилъ руками, да тутъ же и отошелъ... Повѣсилъ я голову и какъ ни судилъ, а пришлось просить священника; похоронили его на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ желалъ... И глядитъ онъ теперь денно и ночью на столбовую дорогу и на поле и видѣть, какъ день начинается, какъ солнце заходитъ...

Я простился съ Тарасомъ.

Разговоръ съ Михрюткой, отыскиваніе Гордѣя, бесѣда съ Тарасомъ и новые поиски Гордѣя — все это отняло у

меня не мало времени; и когда я нашель опять Гордѣя, солнце снова начинаю уже опускаться къ закатау. Я чувствовалъ себя въ какомъ-то особенно пріятномъ настроеніи. Закусивъ пирогами и ухю, которые были принесены утромъ Михрюткой со слободки, я вступилъ съ Гордѣемъ въ подробные разспросы о сосѣдяхъ и не разъ улыбался на его ѣдкія, острые выходки противъ окрестныхъ чудаковъ. Онъ вообще былъ смышленный и даровитый человекъ. Желая помочь ему докончить къ вечеру расчислку лунокъ для ульевъ и подготовку забора, я тоже принялся подсабливать траву и обтесывать колышки.

— Ты говоришь, что пришелъ изъ дворовыхъ? — спросилъ я, между прочимъ, Гордѣя, вспоминая рассказъ Ардальона Сысонча и любопытствуя узнать, что за грѣшки водились за Гордѣемъ и что могло повредить благодатному успѣху его занятій пчелинымъ дѣломъ. Я и самъ не разъ слышалъ, что, по степнымъ повѣрьямъ, особенно грѣховные поступки въ отношеніи къ женщинамъ вредятъ этому...

— Да-съ! — отвѣтилъ Гордѣй: — точно такъ; баринъ нашъ скончался, а тутъ, видите ли, по его духовной, всей дворнѣ и дали отпускныя.

— Что же, гдѣ же теперь проживаетъ ваша дворня, твои бывлые товарищи?

— Да по правдѣ вамъ сказать, при жизни покойнаго барина дворня-то наша была велика, шестьдесятъ семь человекъ, и при этомъ еще была очень распушена, все шлалась больше безъ всякаго дѣла, дармоѣдничала; а тутъ уже и совсѣмъ разбрелась. — Когда въ сумерки уже, отведя опять собакъ на старую пасѣку, повелъ меня Гордѣй къ долинь, на Бѣлобабовку, онъ какъ-будто о чемъ-то все думалъ, о чемъ-то хотѣлъ все поговорить со мною. Я исподтишка наблюдалъ его: голубой кафтанъ его какъ-то особенно козыристо покачивался на немъ, а зеленый картузъ, свѣшанный на-бокъ, просто отчаянно сидѣлъ на его головѣ. Молча шагаль онъ, взглядывая то вдаль, то на меня, то въ землю, то на кусты, и вдругъ произнесъ: — «А вѣдь я знаю; сударь: вѣдь вы вчера говорили, должно-быть, обо мнѣ съ тѣшинскимъ приказчикомъ?»

— Говорилъ! А что развѣ?

— Да такъ-съ, ничего! Онъ изъ нашихъ мѣстъ и тоже, какъ и я, сюда прѣхалъ! Другого только барина былъ!

— А, такъ вотъ онъ откуда! Я этого и не зналъ!
Я замолчалъ. Онъ тоже. Такъ мы вошли въ первые кусты долины...

Видно, терпѣніе Гордѣя наконецъ лопнуло. Онъ какъ-то особенно передернулся, притиснулъ къ носу козырекъ и обратился ко мнѣ. Лицо его было блѣдно, узенькіе глаза пристально слѣдили за мною...

— Досадно мнѣ, право, сударь,—началъ онъ:—что этотъ человекъ выносить соръ изъ избы и вездѣ меня порочить одною вещью!

Гордѣй, пройдя съ формомъ нѣсколько шаговъ, замолчалъ, какъ бы выжидая, какое впечатлѣніе произведутъ его слова на меня. Но мнѣ было особенно грустно; я шелъ молча... Гордѣй раза два еще взглянулъ на меня, прошелся, еще порывистѣе придернулъ къ носу замасленный картузъ и возразилъ:

— А вотъ, видите ли, сударь, а вотъ теперь уже мнѣ и понятно: тѣшинскій Сысоичъ отлично успѣлъ на меня вчера наговорить. Ну, да пусть его знобить! Пусть... Эка звѣрь! Вотъ душа-то; нѣтъ, вотъ бездумный!..

И когда я сказала, что Сысоичъ рѣшительно ничего мнѣ такого не говорилъ, Гордѣй задумался и сказалъ:

— Нѣтъ, сударь, не обманывайте меня: я сразу замѣтилъ, что онъ уже успѣлъ поговорить обо мнѣ. Была со мной точно одна исторія; и хотя она давно уже была, а все еще такъ вотъ и стоитъ передо мною... И я хочу, сударь, вамъ рассказать ее!

И онъ началъ:

— Былъ я у барина сперва на селѣ, мужиченкомъ съ косою ходилъ. Услышалъ разъ баринъ, какъ я пою на работѣ, и взялъ меня во дворню, въ пѣвчіе. Такъ я и жилъ при немъ. Ну, нельзя сказать, чтобъ въ первую пору опять не манило на деревню. Жила у насъ на селѣ дѣвка умная и красивая. Одна осталась на хозяйствѣ сиротою, да на какомъ хозяйствѣ! Изба новая, большая, хоть на двѣ семьи, огородъ чуть не на десятину; а лѣсъ—такъ дикихъ однихъ яблочь, да грушъ, изъ ея участка, по три воза продавали! Я и сталъ за нею приволакиваться. Слюбились мы. Передъ петровками все это уладили: приходимъ къ барину и бухъ въ ноги. А баринъ, какъ я уже докладывалъ, былъ очень старъ, ничего не помнилъ и все только сидѣлъ въ креслѣ,

а камердинеръ ему книжки читалъ. — «Я, говорить, голубчики, — Богъ съ вами, — ничего не знаю! по мнѣ — Богъ васъ да благословить; только дѣло это отъ старосты зависить, какъ онъ рѣшитъ!» Мы къ старостѣ. А это былъ преехидный человекъ. — «Нѣтъ, говорить, какой онъ мнѣ работникъ! Женится на Дарѣ, на село перейдетъ; а какой онъ мнѣ пахарь! Мужикъ намъ, батракъ нуженъ, а не дворовый, картежникъ, да лѣнтяй. Богъ съ ними, съ такими!» — Такъ и отрѣзалъ барину. А баринъ любилъ и почиталъ его. Что ты будешь дѣлать! Ужъ я и мать къ нему съ поклономъ засылать, и самъ носилъ мадеру, и Дарья женѣ его новый полушубокъ снесла. Не беретъ ничего, да и баста! Честности былъ удивительной! Такъ мы бились цѣлый годъ... Вижу, невѣста моя совсѣмъ измѣнилась, на себя не походитъ; всѣ смотрять на нее да головами качаютъ... «Ну, Гордѣюшка, говорить: что хошь, вели, все для тебя сдѣлаю; не пожалѣю теперь ни себя, ни добра своего!» Сидѣли мы такъ и говорили. Поглядѣлъ я на нее, а она вся не своя, дрожить, и жаръ въ глазахъ. — «Что-жь, говорю, Дарья; приходишь намъ, видно, съ тобою разлучиться! Такъ дольше уже нельзя намъ любиться; и ничего между нашихъ душенекъ не было, только баринъ узнаетъ, плохо будетъ мнѣ!» — Она, какъ была, такъ и ударилась; руки упали, головою бултыхнулась объ стѣну, и ни слова, вся помертвѣла... Я къ ней: «Пошутить я, говорю, душа моя, пошутить! Еще не все пропало!» Вотъ она и говоритъ: «Ну, Гордѣй, хорошо же, приходи завтра опять сюда, объ эту же пору; увидишь тогда!» — сказала, встала такъ и пошла улицею. Пошелъ и я на барскій дворъ, а сердце такъ и колотится. Вотъ, занялось утро, позвали насъ къ обѣду; и только что я хлебнулъ первую ложку, слышимъ, бѣгутъ. «Пожаръ, пожаръ!» Выбѣжали... Дарьяна изба вся въ полымѣ, а искры уже перекидываетъ на крестьянскіе хлѣба, которые тутъ, къ сторонкѣ, стояли; осенью только-что мужики и собрали. Вѣтеръ былъ отъ села; другихъ дворовъ не тронуло, а Дарьяна изба и весь мірской хлѣбъ сгорѣли до тла. Да еще та бѣда: подъ скирдами прилежъ соснуть нашъ лѣсничій, старичекъ такой тихій былъ, только немного изъ себя тучноватъ; чуть, бывало, пригрѣетъ солнце, онъ уже и тычется гдѣ-нибудь, въ холодкѣ приляжетъ и проспитъ до вечера. Сгорѣлъ также. Схватили дѣвку, ведутъ къ допросу. «Такъ и такъ», говорить старостѣ, а

сама убивается: «неповинна я въ дупѣ человеческой, видитъ Богъ, неповинна; а несла золу изъ печи, да и обронила уголь!» Стали ее судить. А мнѣ такъ на чистоту, шальная, все сказала: «Любила я тебя больно, Гордѣюшка, больно любила и хотѣла выжечь все свое богатство: пускай себѣ не зарятся! Судомойкою бы пошла во дворню, а доказала бы тебѣ любовь свою!»

— Ахъ ты дура, дура! — подумалъ я. — Ну, подите же! Да что! Такова уже видно моя участь, еще въ тѣ поры, была!

— Что же ты, женился на ней? — перебилъ я, невольно заинтересованный его рассказомъ...

— Гдѣ жениться, помилуйте! — замѣтилъ иронически Гордѣй и пристально взглянулъ на меня: — Вѣдь на поселеніе присудили сумасбродницу, за поджогъ и причиненіе смерти, по закону присудили, а мнѣ же не идти за нею...

Онъ продолжалъ:

— Какъ теперь это помню: захотѣлось мнѣ увидѣть, какъ везти ее стануть. Выпросилъ у кучеровъ барскаго коня, да ночью, до свѣта, и махнулъ въ городъ. Что же вы думаете? Все наше село ужъ тамъ! Вѣдь хлѣбъ и всѣхъ погубила, лѣсничаго сожгла, а ничего! Таковъ ужъ народецъ! Староста было слово, а они: знаемъ, молъ, кормилецъ, знаемъ, что она преступленіе сдѣлала, знаемъ; судъ ее и караетъ за это, идетъ она въ Сибирь; да утѣшеніе-то ей нужно, кормилецъ, утѣшеніе! И стали съ иконами на дорогѣ, и всего-то давали ей на телѣгу конвойную, и такъ это жалобно все говорятъ, да кланяются: голубушка, родненькая, бѣдненькая ты, дѣвчоночка наша! Такъ что, вижу, конвойнаго офицера даже до слезъ прошибло; а я, стоячи за угломъ, такъ просто чуть головой объ стѣну не бился!

Мы вошли въ камыши, между которыми извивалась и терялась вдаль узенькая, влажная тропинка...

Солнце, между тѣмъ, давно закатилось; боръ едва уже виднѣлся за озерами, и низменность тонула въ туманѣ. Впрочемъ, лучи солнца какъ будто еще носились въ сумеркахъ и захватывали кое-гдѣ выступившіе верхи зеленыхъ кустарниковъ да синеватая полосы водныхъ застоевъ.

Гордѣй молчалъ. Молчалъ и я...

И вдругъ, точно благовѣсть въ глухую, передъ-праздничную ночь, со стороны бора раздалась громкая, въ нѣсколько

десятковъ голосовъ, пѣсня. Быстро перелетѣла она черезъ кусты и камыши и, пройдясь по долинѣ, сначала замерла и затерялась въ отдаленіи. Но опять и еще громче зазвучали голоса, точно сердились и на жалобы Гордѣя, и на мое тоскливое раздумье. Свѣжею и благодатною струею повѣяло отъ нихъ. И не прошло пяти минутъ, какъ промежъ камышей затопали десятки шаговъ, и на дорогу высыпала цѣлою деревнею толпа крестьянъ съ граблями и косами. Нарядныя бабы и дѣвки, всѣ въ цвѣтахъ и лентахъ, шли впереди; статные мужики шли сзади; сбоку, въ припрыжку, съ цѣлыми ворохами цвѣтовъ и болотныхъ порослей, бѣжали босонogie ребятишки...

Толпа, поровнявшись со мною, поклонилась и на время замолкла; но, уже на близкой плотинѣ, опять раздалась ея пѣсня.

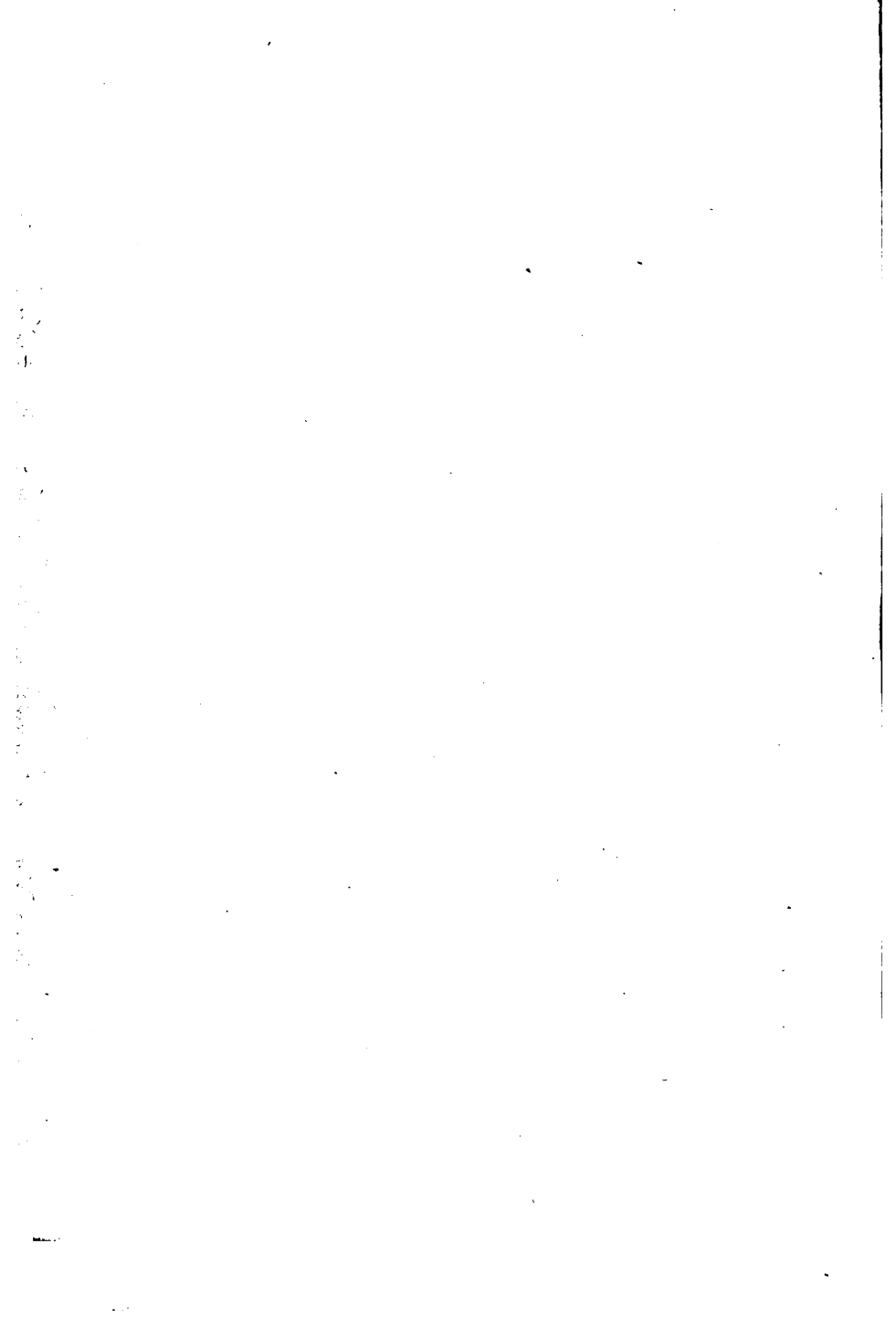
— Чьи это?—спросилъ я Гордѣя.

— Бѣлобабовскіе! Съ косовицы ранней идутъ! Вы не повѣрите, — прибавилъ онъ: — травы у мужиковъ уродило столько, что и не запомнить! Просто благодать! Даже до-садно!

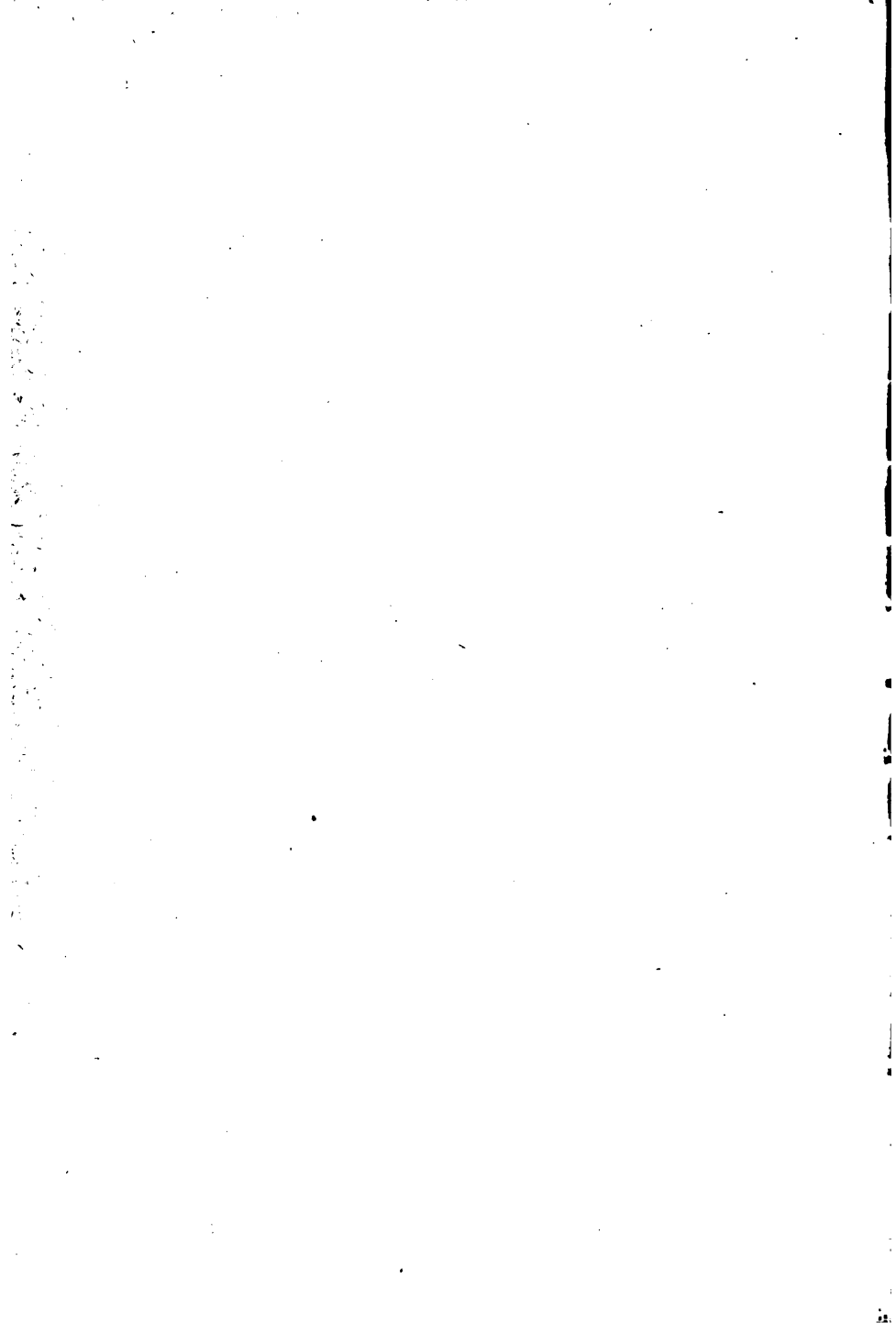
Въ потемкахъ уже не было видно Гордѣя; мы шли почти ослѣпая. Но я замѣтилъ, что пѣсня и вообще вся картина неожиданно выступившей крестьянской толпы сильно подѣйствовала и на него. Можетъ быть, вспомнилъ онъ молодость, когда, бодрый и свѣжій, разгуливалъ съ косою и пѣсней по лугамъ и сѣннымъ раздольямъ.

Повѣяло неожиданно сыростью. Между вербъ сверкнулъ въ потемкахъ прудъ; запахло дымомъ, и на косогорѣ, тихо вздрогнувъ, будто развѣшенные по окраинѣ неба, мелькнули огоньки деревни. Мѣсяцъ еще не вырѣзывался. Домъ помѣщицы выступилъ среди просторнаго двора, и во всемъ селѣ ни одна собака не лаяла... Въ Бѣлобабовкѣ я пробылъ недолго. Несказанно обрадовался я, когда прикатилъ за мною верхомъ на саврасомъ, толстобокомъ битюгѣ ликующій Михрютка и, задыхаясь отъ радости, объявилъ, что дѣло его хозяина кончено и меня зовутъ нарѣзать на участки законныя межи.

1855 г.



МЕЛКІЯ СТАТЪИ.



I.

КАРИКАТУРА ВЪ РОССІИ

ВЪ СТАРИНУ.

Въ Россіи карикатура существуетъ давно. Въ Публичной Библіотекѣ хранятся два собранія лубочныхъ картинокъ, принадлежавшихъ Погодину и Далю. Последнее (шесть тетрадей, въ большой листъ) заключаетъ въ себѣ: 1) картины духовнаго содержанія, изображенія лицъ библейской исторіи, числомъ 177; 2) изображенія духовныхъ событій, мѣстъ и аллегорій, 144 картины; 3) картины поучительныя, примѣры въ лицахъ, иносказанія, явленія природы и перелицовки, 120; 4) въ большой листъ — духовныя и иносказательныя картины, до 100; 5) картины шуточные и сказочныя, сказки въ лицахъ и сказочныя преданія, до 80, и 6) картины шуточно-балагурныя, какъ онѣ названы въ надписи надъ фолиантомъ. Последнихъ помѣщено до 112.

Первыя народныя карикатуры въ Россіи встрѣчаются въ лубочныхъ изданіяхъ. Что такое лубочныя картинки? По словамъ Снегирева («Историческій Сборникъ» Д. Валуева, 191 — 221 стр., 1845 г.), изъ псковской правой грамоты 1148 года видно, что писывали въ старину на «лубѣ» — «тое вы бы досмотрѣли, да и на лубъ выписали» — по рѣдкости и дороговизнѣ бумаги и пергамента. Лубочныя картинки развѣшиваются донынѣ для продажи на лубкахъ. Въ Москвѣ есть улица «Лубянка», близъ которой находится урочище «Печатники» — Печатная Слобода въ XVII вѣкѣ, гдѣ рѣзались на лубахъ картинки, называемыя суздальскими, по разнозчикамъ-суздальцамъ, которые въ свою очередь на-

зываются еще въ Сибири панками, а въ Останковѣ богатырями, отъ продаваемыхъ ими «богатырей». Множество рукъ занято донинѣ въ Москвѣ и подмосковныхъ деревняхъ вырѣзываніемъ и испещреніемъ этихъ картинокъ. Самоучки-рѣзчики не отступаютъ ни на шагъ отъ вѣковыхъ образцовъ и красятъ, какъ красили еще при Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, корни зеленою краскою, деревья сандальною, наряды сурикомъ, а лица баканомъ. Морозовъ, наставникъ Царя Алексѣя Михайловича, училъ своего питомца по картинкамъ. Зотовъ, учитель Петра I, извѣстный подъ именемъ Князя-Папы, также прибѣгалъ къ рисункамъ, развѣшивая ихъ по учебной комнатѣ питомца. Живопись въ Россіи, встрѣчаемая на древнѣйшихъ памятникахъ, «Святославовомъ Сборникѣ», «Житіи Бориса и Глѣба», лицевыхъ псалтыряхъ XV и XVI вѣковъ, произвела гравированіе, заимствовавъ его, позже, черезъ Польшу и Литву изъ Германіи. Печатное дѣло явилось въ Москвѣ и называлось прежде фряжскимъ дѣломъ. «Смѣта въ што стануть двѣ штанбы печатныя здѣлами, да станы на фряжское дѣло» — (1612 г.). — Къ первой книгѣ Апостола, печатанной въ Москвѣ 1564 г., приложенъ эстампъ, изображающій Св. Евангелиста Луку. Въ 1629 году явился эстампъ, хранящійся въ библиотекѣ гр. Ѳ. П. Толстого, съ подписью: «Темница богогородная святыхъ осужденникъ». Съ тѣхъ поръ рѣзба и печатаніе на деревѣ у насъ утвердились. Въ царствованіе Петра I стали извѣстны имена гравировъ: Ѳедора Никитина, Мартына Нехорошевскаго, Григорія Тептегорскаго, вырѣзавшаго въ 1713 году, въ Москвѣ, «Мѣсяцесловъ въ лицахъ». Въ началѣ XVIII вѣка въ Москвѣ учреждено особенное гравировальное заведеніе подъ надзоромъ Брюсса, выпустившее въ свѣтъ первыя наши географическія карты, портреты и разные эстампы. При Екатеринѣ I, въ Петербургѣ, открыта въ Академіи Наукъ фигурная типографія. Наконецъ, въ царствованіе Екатерины II и въ послѣдующіе годы гравированіе въ Россіи, подъ вліяніемъ Академіи Художествъ, расширило свои предѣлы и произвело такіе таланты, каковы гр. Ѳ. П. Толстой, Иорданъ, Уткинъ, Иванъ Теребеневъ и другіе.

Въ XVII вѣкѣ впервые появились у насъ и сатирическія картинки, или такъ называемые: «Нѣмецкіе потѣшные листы».

Въ приходорасходной книгѣ Оружейной Палаты 1634—

37 годовъ, по словамъ Снегирева, сказано: «іюня въ 16 день дано торговымъ людямъ овощнаго ряду за Нѣмецкіе за печатные листы 20 алтынъ; а взяли тѣ листы изъ Государевы Мастерскія палаты въ хоромы государю Царевичу Алексію Михайловичу». Въ другой говорится: «Торговому человѣку Андрюшкѣ Петрову за девять листовъ потѣшныхъ 8 алтынъ и 2 деньги». Любопытно еще, что въ «Журналѣ изящныхъ искусствъ», изд. на 1807 г. профессоромъ Буле, по замѣчанію одного путешественника, сказано: «Видѣнныя на ярмаркѣ въ Сенъ-Клу французскія лубочныя картинки—ничто передъ нашими, московскаго издѣлія. И тѣ, и другія рѣшительно въ одномъ стилѣ. Но во французскихъ нѣтъ той замысловатости, какую мы находимъ въ нашихъ».

Первые потѣшные листы, изобличавшіе житейскія глупости, пороки и нелѣпости, явились въ видѣ разговоровъ: мальчика съ мудрецомъ, профессора съ мужикомъ и глупаго жениха со свахою. Далѣе являются уже болѣе полныя карикатуры: 1) денежный дьяволъ сыплетъ на землю деньги, а подбираютъ ихъ цѣловальники, портные, сапожники, стряпчіе, ярыжки прошлаго вѣка и франтихи; 2) изображеніе быка, ставшаго мясникомъ, мужика—судіею, осла—погонщикомъ, дѣтей, сбѣгущихъ старика, и другихъ нелѣпостей; 3) извѣстная притча: Голландскій лѣкарь и добрый аптекарь; 4) Омушка музыкантъ, да Ерема поплюхантъ; 5) Прохоръ да Борисъ—поссорились, подрались; 6) головные уборы чудовищнаго вида у дамы и кавалера щеголей XVIII вѣка; 7) спеленанный нѣмецъ, гдѣ уже прямо виденъ задатокъ будущаго, болѣе-художественнаго направленія нашей карикатуры, и 8) веселое гулянье кота съ кошкою, на шестергѣ мышей, цугомъ, въ коляскѣ,—сатира на старосвѣтскіе поѣзды прошлаго времени.

Скоро явились и политическія карикатуры. Въ тетради собранія Даля «Балагурныхъ лубочныхъ картинокъ» (въ Публичной Библіотекѣ) рядъ народныхъ сатиръ открывается пятью образцами извѣстной картинки: Небылица въ лицахъ, найдена въ старыхъ свѣтлицахъ, оберчена въ черныхъ тряпичахъ, какъ мыши кота погребаютъ, недруга своего провожаютъ, послѣднюю честь съ церемоніею отдавали. Снегиревъ говоритъ, что безотчетное преданіе относитъ эту лубочную карикатуру ко времени Царя Ивана Васильевича. Другіе ее относятъ ко времени Петра I;

третьи — къ погребенію въ Римѣ папы, который ревностно старался, черезъ своихъ коммисіонеровъ, сѣять въ Россіи сѣмена католицизма. Въ сочиненіи Чеха Вѣнцеслава Гайка, 1552 года, изданномъ въ Вѣнѣ въ 1783 году, упоминается объ этомъ покушеніи римскаго первосвященника, и при этомъ на поляхъ отмѣчено: «Изготовили-было такую же сатиру, какую лютеране съ прочими, о погребеніи кота» («Вѣстникъ Европы», 1821 года, № 9). Сюда же относятся насмѣшки надъ нашимъ старымъ сутяжествомъ и дѣлопроизводствомъ въ лубочныхъ картинкахъ: «Шемакинъ Судъ» — «Челобитная леща на окуня» и «Повѣсть о Ершѣ Ершовичѣ, сынѣ Щетинниковѣ», полнѣйшая изъ всѣхъ (въ далевскомъ собраніи, въ Публичной Библиотекѣ, въ четырехъ превосходныхъ образцахъ), гдѣ является лещъ-сутяга и крючкотворъ. Подписи послѣдней карикатуры не имѣютъ ничего равнаго себѣ, кромѣ развѣ «Притчи о пѣтухѣ и о курицѣ», гдѣ пѣтухъ приговоренъ къ наказанію: «за его отлучку изъ своего дому, отъ своихъ куръ, и о возымѣніи съ чужими амуръ». Извѣстны остроумныя подписи въ «Повѣсти о Ершѣ»:

Пришелъ Богданъ — ерша Богъ далъ; пришелъ Устинъ — ерша упустилъ; пришелъ Иванъ — онятъ ерша поймалъ; пришелъ Потапъ — сталъ ерша топтать; пришелъ Давыдъ — сталъ ерша давить; пришелъ Лазарь — по ерша сазилъ; пришелъ Мартынъ — Константину барыша алтынъ; пришелъ Назаръ — понесъ ерша на базаръ! Нынѣ дороги! Пришелъ Анось — и даромъ ерша унесъ; пришелъ Павелъ — котелъ поставилъ; пришелъ Селиванъ — воды въ котелъ наливалъ; пришелъ Глѣбъ — принесъ хлѣбъ; пришелъ Вавила — поднялъ ерша на вилу; пришелъ Филиппъ — сталъ ерша пилить; пришелъ Андрей — Тита по плѣши огрѣлъ; пришелъ Елизаръ — только полизалъ и пр.

Войны Россіи съ Турками, Поляками и «постылыми Нѣмцами» въ особенности давали поводъ къ народнымъ карикатурамъ. Такъ, любопытно, что семилѣтняя война увѣковѣчилась карикатурами: гдѣ «казаки берутъ верхъ надъ толстобрюхими прусскими драбантами». Первые выѣзжаютъ съ пиками въ рукахъ, а послѣдніе съ трубками въ зубахъ.

Кромѣ войны, моды и борьба новизны съ стариною давали также пищу русской лубочной сатирѣ. Изображены

барыни прошлаго вѣка, съ чепцами на головѣ на подобіе кораблей, дававшими поводъ острякамъ говорить: «Щеголихи носятъ на головахъ цѣлыя деревни!» Тутъ же «фишбейны»; «бочки» и «черныя мушки», означавшія, какъ извѣстно, цѣлыя рѣчи: мушка на концѣ носа — отказъ, среди носа — отказъ не всѣмъ; на подбородкѣ — надежда; между бровей — вѣрность; подъ щекою — пылъ страсти. Не забыты и парики, съ трехъэтажными пуклями, длинными косами и кошельками. Наконецъ, являются совершенно опредѣленные сатиры на позднѣйшій семейный бытъ: 1) «Старый мужъ и молодая жена», 2) «О богатомъ купцѣ, пропившемъ упрямую жену», 3) «Сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро», 4) «Ограбленный медвѣдь, нарядившійся петиметромъ», и 5) «Репримантъ хвастливымъ людямъ, которые въ гости къ себѣ многихъ зовутъ, а сами отъ того изъ дома бѣгутъ». Сюда же относится и знаменитое «Сбазаніе о честномъ Семикѣ и о честной Масляницѣ», которое въ далевскомъ собраніи, въ Публичной Библіотекѣ, въ V тетради, находится въ шести превосходныхъ образцахъ; одинъ изъ послѣднихъ даже отличается отдаленною древностью и очевидно претерпѣлъ множество переходовъ по нашимъ деревнямъ и станціоннымъ домамъ.

Въ далевскомъ собраніи находятся еще слѣдующія картинки: 1) Куре dobroгласное, воспѣваніе твое великое и красное, звѣрямъ снѣтъ очень сластное; 2) медвѣдь съ козою проклажаются, на музыкѣ своей забавляются (семь экземпляровъ разныхъ изданій), 3) голландскій лѣкарь и добрый аптекарь (четыре образца), гдѣ, между прочимъ, такая подпись: «Объявилъ своей науки, чтобъ старухи не были въ старой скукѣ, я всѣхъ старухъ молодыми переправлю и ума прибавлю; вотъ и машина изготовлена, и все къ ней приноровлено; всякая старуха помолодѣетъ и прежнее чувство возымѣетъ; старики телѣжки покупали, старухъ съ радостью къ лѣкарю отпускали, иныхъ же на себѣ таскали; въ машину сажаютъ, мѣхами раздуваютъ; старуха заскакала, заплесала и въ пятнадцать лѣтъ себя показала. Кто знаетъ это ученіе — поправляетъ старухъ безъ мученія? А я много переправилъ, и себя вездѣ прославилъ». На рисункѣ старухи подають просьбы о перерожденіи, старики ихъ ведутъ и несутъ; а голландскій лѣкарь стоитъ съ лѣкарствами. 4) Пословица: змѣя хоть и уми-

раетъ, а зелье все хватаетъ; 5) разговоръ между профессоромъ и крестьяниномъ; 6) книжникъ и мальчикъ; 7) пьющій и непьющій; 8) о пьянствѣ; 9) пьяница; 10) аптека цѣлительная съ похмеля; 11) знаменитая картинка: печеніе блиновъ, съ подписью: «Пожалуй, поди прочь отъ меня, мнѣ нѣтъ дѣла до тебя; пришедъ, хваташъ, блины печь мѣнашъ» и т. д.; 12) воръ съ курицей; 13) это, бабушка, грыжа; 14) Парамошка съ Савоською въ карты играли; 15) Прохоръ да Борисъ,—и другія.

Хедебичики съ «райками», на гуляньяхъ о масляной недѣлѣ и на святкахъ, издавна показываютъ лубочныя картины, сопровождая ихъ особыми прибаутками: «А вотъ городъ Щетинъ; тамъ стоятъ два корабля, одинъ съ дымомъ, другой съ пылью; ѣдутъ въ Питеръ, дешево продадутъ, богачами вернутся, извѣстно—нѣмцы!»—или: «А вотъ городъ Парижъ, войдешь — угоришь!» — «Входитъ въ трактиръ подъячій, требуетъ пирога горячій».

Теребеневскія карикатуры 12-го года уже были чисто-политическими. Въ Публичной Библіотекѣ есть два сборника этихъ карикатуръ: погодинскій и принадлежащій Библіотекѣ. Въ тридцатыхъ годахъ они, какъ рѣдкость, продавались въ Петербургѣ, въ Гостиномъ Дворѣ, въ лавкѣ подъ № 37 по Зеркальной линіи, у Слѣнина. Въ 1855 году онѣ изданы были вновь по мѣднымъ доскамъ, оставшимся у сыновей Теребенева, литографомъ Траншелемъ. Тогда вышла одна тетрадь, въ числѣ десяти карикатуръ, очень красиво иллюминированныхъ. По одной припискѣ на частномъ экземплярѣ значится, что въ отечественную войну эти карикатуры продавались по 5 р. ассигн. за картину. Альбомъ 1855 года изъ 10 картинъ продавался по 3 р. сер. съ пересылкой. Въ экземплярѣ Публичной Библіотеки съ теребеневскими карикатурами переплетены и другія карикатуры 1812 года, частію подражанія, частію дополненія къ первымъ. На теребеневскихъ стоитъ подпись: Иванъ Теребеневъ, — иногда буквы: И. Т.; на иныхъ же вовсе нѣтъ подписи.

Въ началѣ сборника изображенъ французскій, вороній супъ, поѣдаемый исхудалыми голышами, французами, съ подписью:

«Бѣда намъ съ великимъ нашимъ Наполеономъ:
Кормитъ насъ въ походѣ изъ костей бульономъ».

Въ Москвѣ поцировать свистѣль у насъ зубъ;
Не тутъ-то было! Похлосбаемъ-те хоть вороной сунь!»

Картина: Зимнія квартиры Наполеона, — представляетъ Бонапарта въ снѣгу по горло, среди полей, а два генерала торчатъ рядомъ, тоже чуть видныя изъ снѣга. Подпись: «Какъ прикажете записать въ бюллетенѣ?» — «Пишите: остановились на зимнихъ квартирахъ!»

Подкачиваніе на блокахъ. Союзники тянутъ француза къ потолку; другіе ѣдутъ ворону. Подпись:

«Худо въ карты играть,
А козырей не знать!
Господа! эта ворона—
Намъ не оборона!»

Баба и коза. Французы ворвались въ избу. «Что у тебя есть закусить?» — Коза! — «Ай—ай! караулъ! казакъ!» и всѣ бѣгутъ вонъ.

Тріумфальное прибытіе въ Парижъ. Наполеонъ стоитъ на ракъ, который пятится; въ рукахъ его палка; на ней висятъ лавры побѣды: собака, телѣга, трубка и лапти; Бонапартъ ползетъ въ тріумфальныя ворота, сдѣланныя въ видѣ висѣлицы; на нихъ висятъ ворона и осель; вверху надпись: «Завоевателю».

Двойникъ этой карикатуры: Возвращеніе домой русскаго ратника. Ратникъ несетъ на штыкѣ французовъ; мальчикъ, его сынъ, на древкѣ французскаго знамени ѣдетъ верхомъ. Подпись: «Для курьёзу ребятишкамъ бириольки несущу!»

Крестьянинъ Иванъ Долбила. «Постой, мусью! Не вдругъ пройдемъ! Здѣсь хоть мужички — да все Русскіе!» Слѣдуетъ угощеніе врага, съ подписью: «Вотъ и вилы тройчатки; пригодились убирать да укладывать! Ну, мусью, полно вздрагивать!»

Подобная же картинка, съ подписью:

Русскій Геркулесъ
Загналъ Французовъ въ лѣсъ
И давить, какъ мухъ!

Картинка: Вологодскій ратникъ. Подпись: «Французъ: «Пардонъ!» — А-га! пардонъ, колчаногій? Поминай, какъ тебя звали! Сидѣль бы ты дома, такъ не докорнать бы тебя Ерема!»

Торжественный вѣздъ въ Парижъ непобѣдимой французской арміи. Торжественное шествіе слѣпыхъ, хромыхъ,

безногихъ, на деревяшкахъ; на плечахъ несутъ похоронные знаки. По бокамъ улицы скамьи для зрителей, съ номерами для продажи мѣстъ, пустыя.

Французы - крысы въ гостахъ у старостихи Василисы. Подпись:

Добрыхъ людей
Да званыхъ гостей
Съ честью у насъ встрѣчаютъ
И въ передній уголь сажаютъ.
Знать, вы въ Москвѣ-то не солено похлебали,
Что хуже прежняго и тоще стали!
А кабы занесло васъ въ Питеръ,
Онъ бы вамъ всѣ бока повытеръ!

Эта картина возбуждала въ народѣ особое сочувствіе.

Глобусъ Россіи въ рукахъ врага. Подпись: «Вотъ тебѣ село да вотчина, чтобъ тебя вело да корчило!»

Русская хлѣбъ-соль. Нарисованы палка и бомбы. Подпись: «Что-жъ, батюшка, бѣжишь? вотъ тебѣ хлѣбъ-соль!»

Ледяная гора, съ которой катится величіе французскихъ временщиковъ. Подпись: «Не все коту масленица!»

Ловля рыбы. Подпись:

«Казакъ петлей вокругъ шей
Французовъ удить, какъ ершей:
И мелкую сню скотину
Кладетъ въ корзину...»

Пляска Наполеона подъ кнутомъ ратника, при игрѣ муржика на свирѣли. Подпись:

«И мы твою, братъ, слышали, погудку;
Въ присядку попляши теперь подъ нашу дудку!»

Наполеонъ пляшетъ и припѣваетъ, взявшись за бока:

Ахъ, скучно мнѣ
На чужой сторонѣ!

Смотръ французскимъ войскамъ на обратномъ походѣ черезъ Смоленскъ. Французы стоятъ, одѣтые въ пучки сѣна, въ ведра, вмѣсто нищаковъ, въ юбки, фуфайки; тутъ же лошади, подпертая дреколемъ. Подпись: «Хотя одѣты красиво, да тепло!»

По «Монитѣру»: «Усердная и добровольная поставка рекрутъ отъ французскаго народа своему императору». Нарисованы: калѣка, дряхлый старикъ и общипанный уличный мальчишка. Подпись: «Отъ двухъ департаментовъ три рекрута и двѣ лошади».

Ретирата французской конницы, съѣвшей въ Россіи лошадей. Нарисованы уланы, кирасиры, гусары, мамелюки, кто на конькахъ, кто на пикѣ верхомъ, кто въ салонѣ, а кто съ лошадинымъ окорокомъ подъ мышкой, про запасъ.

Карикатуры — Терентьевна, доколачивающая башмакомъ безпардоннаго француза, и Свиныя-парламентеры и Наполеонъ — отличаются мастерскимъ выполненіемъ, равно какъ и три сатиры: Французы-учителя и всякіе проходимцы, оставляющие Россію, — французское воспитаніе и набиваніе головы ребенка западнымъ зломъ...

За карикатурой: Пусканіе Наполеономъ мыльныхъ пузырей, причемъ на мыльныхъ пузыряхъ надписи его замысловъ: «Порабощеніе Англіи! — Походъ въ Индію! — Присвоеніе всемірной торговли! — Взятіе Петербурга! — Взятіе Риги! — Взятіе Калуги!» — слѣдуютъ карикатуры: Носъ, привезенный Наполеономъ изъ Россіи въ Парижъ, и Наполеонъ въ Парижѣ, изображенный на громадныхъ ходуляхъ, съ подписью:

Кто смѣлъ разнести столь ложны слухи,
Что будто сталь и меньше мухи?

Въ утѣшеніе Бонапарту, карикатура: Наполеонъ, прикладывающій себѣ пластыри — листки «Монитѣра».

Кухня главной квартиры въ послѣднее время пребыванія въ Москвѣ. На полу валяются мыши, лягушки, всякая падаль, кошки и собаки; а бабушка Кузьминишна угощаетъ французскихъ мародеровъ щами-киняткомъ.

Наполеонъ пускаетъ змѣя бумажнаго. На рисунокѣ змѣй падаетъ, потому что штыкъ «1813 годъ» протыкаетъ его. Другой рисунокъ: Карнавалъ или парижскія игрища, гдѣ Наполеонъ изображенъ въ видѣ паяца, занимающаго публику.

Картина съ надписью: «Жидъ обманывается вѣщами, цыганъ лошадьми, французъ воспитаніемъ!» Внизу вопросъ: «Который вреднѣе?» — и другая символическая: Портретъ Наполеона; лицо состоитъ изъ труповъ; звѣзда на груди изъ его политической паутины; волосы изъ змѣй, и т. д.

На нѣкоторыхъ теребневскихъ карикатурахъ подпись: «Взито изъ «Сына Отечества», 1813 года».

Въ числѣ десяти теребневскихъ карикатуръ, изданныхъ въ 1855 году, находятся: 1) Французскій вояжеръ въ 1812 году. Изображенъ Наполеонъ на салазкахъ, привязанныхъ къ хвосту свиньи. Онъ говоритъ: «Въ Парижѣ —

прокладна, на Москва—очинь жарко!» а свинья отвѣчаетъ: «Уй, уй, уй, мусью!»—2) «Наполеонъ у Русскихъ въ банѣ», съ подписями: «Наполеонъ: «Эдакого мученья я съ роду не терпѣлъ; меня скоблятъ и жарятъ, какъ въ аду!» — Ратникъ: «Отдуйся, коли самъ полѣзь въ русскую баню; попотѣй хорошенько, а мы не устанемъ поддавать пару». — Солдатъ: «Натремъ тебѣ и бока, и спину, и затылокъ; будешь помнить легкую нашу руку». — Казакъ: «Побрѣмъ тебя, погладимъ, молодцомъ поставимъ!» — 3) «Наполеонъ, разбитый при Люценѣ, прикладываетъ пластырь изъ бюллетеней».—4) Обратный путь или дѣйствіе русскаго слабительнаго порошка.—5) Казакъ вручаетъ Наполеону визитный билетъ на взаимное посѣщеніе въ Парижъ, съ надписью на билетѣ: Москва. 6) Казацкая шутка, извѣстная продѣлка надъ буквой Н (Наполеонъ) въ Берлинѣ. 7) Наполеонъ, въ намѣреніи уничтожить Пруссію, грибъ съѣлъ, — мастерской рисунокъ гриба, подъ носомъ Бонапарта. 8) Разрушеніе всемірной монархіи. 9) Кораблекрушеніе; корабль летитъ на раздутыхъ парусахъ, съ надписями на нихъ: Италия, Франція, Баварія, Саксонія, Рейнскій союзъ и другіе; онъ разбивается о скалу, съ надписью: Москва; Наполеонъ спасается по морю на лодочкѣ. И 10) «Угощеніе Наполеону въ Россіи», съ надписью:

Свое добро тебѣ пріѣлось,
Гостинцевъ русскихъ захотѣлось;
Вотъ сласти русскія, поѣшь, не подавись,
Вотъ съ перцемъ сбитенѣкъ, попей, не обожгись!

При этомъ Наполеона сажаютъ въ бочку съ «*калужскимъ* тѣстомъ», въ ротъ тычутъ ему пряникъ, съ надписью: «*Вяземскій* пряникъ», а въ кружку ему льютъ сбитень, съ надписью на самоварѣ: «Вскипяченъ на *московскомъ* по-жарищѣ».

II.

МОСКОВСКАЯ ЧУМА 1770—1771 ГОДА.

«Исторія — лучший наставник человечества».

Императрица Екатерина II.

Сто десять лѣтъ назадъ Россія вела войну съ Турціей. Пробравшись изъ Азіи, чума (Pestis Indica) долго слѣдила тогда за воюющими арміями, поражая тѣхъ, кого щадили ядра и пули, и черезъ Нѣжинъ и Кіевъ наконецъ двинулась къ Серпухову, на сѣверъ.

Въ декабрѣ 1770 г. страшные признаки чумы обозначались, по словамъ императрицы Екатерины, въ Москвѣ. («Сборникъ историческаго общества», т. XIII, 1874 г., стр. 192). Морозы задержали-было ея развитіе. Но съ *первыми теплыми весны* слѣдующаго 1771 года, моровая язва распространилась въ Москвѣ съ ужасающей силой. Ее, по словамъ Екатерины, туда завезли съ суконныхъ фабрикъ, вмѣстѣ съ шерстью, изъ Серпухова. (Тамъ же). Трупы людей, умершихъ отъ чумы, валялись по улицамъ; чернь грабила одежды съ мертвыхъ, врывалась въ зачумленные дома. Населеніе Москвы въ отчаяніи и страхѣ бросилось въ окрестныя села и города. Московскій главнокомандующій, старикъ-фельд-маршалъ графъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ, также бѣжалъ изъ столицы въ свое подмосковное помѣстье, село Марѣино; за нимъ изъ города выѣхали другія знатныя лица и всѣ, кто имѣлъ средства скрыться въ другихъ мѣстахъ.

Императрица Екатерина въ апрѣлѣ 1771 года, поручивъ генералъ-аъютанту графу Якову Брюссу учрежденіе вокругъ

Петербургa карантинныхъ заставъ, для предупрежденія моровой язвы, собственноручно писала ему: «Въ разсужденіе оказавшихся въ Москвѣ прилипчивыхъ горячекъ съ пятнами, *о коихъ нынѣ еще доктора спорятъ, какъ оныя именовать*». Она приказала устроить, сверхъ петербургской, еще слѣдующія заставы отъ Москвы: первую въ Твери, вторую въ Вышнемъ-Волочкѣ, третью въ Бронницахъ, и кромѣ того, на дорогахъ, идущихъ къ Петербургу, «яко знатнѣйшему въ имперіи порту», особыя заставы: на старо-русской, тихвинской, новой и старой новгородской и на смоленской дорогахъ. На этихъ заставахъ были опредѣлены «гвардіи офицеры, съ командами», для наискрѣпчайшаго смотрѣнія, чтобъ никто безъ осмотра и окуренія не былъ пропущенъ изъ ѣдущихъ и пѣшихъ, съ ихъ экипажемъ и пожитками. Тогда же Екатерина велѣла отпустить въ карантинъ нужные медикаменты и достаточное число врачей. Мѣсяцемъ ранѣе, а именно еще въ мартѣ 1771 г., Екатерина подобныя же полномочія дала въ Москву генераль-поручику Петру Дмитриевичу Еропкину: (Сбор. ист. общ. 1874 г., XIII т., стр. 80—81).

Между тѣмъ, 18 мая того же года Екатерина писала къ госпожѣ Бьелкѣ (урожденной Гроггусъ): «Тому, кто вамъ скажетъ, что въ Москвѣ чума (*la peste*), скажите, что онъ *солгалъ*; тамъ были только случаи горячекъ, гнилой и съ пятнами (*fièvres putrides et pourprées*); но для прекращенія паническаго страха и толковъ, я взяла всѣ предосторожности. Теперь жалуются на строгіе карантинны. Не изувѣры ли тѣ, которые видятъ чуму тамъ, гдѣ ея вовсе нѣтъ?» (Тамъ же, стр. 95).

Съ началомъ сентября дѣло, однако, приняло иной оборотъ; 5 сентября Екатерина отвѣчала московскимъ сенаторамъ, по поводу моровой язвы: «Мы вѣдаемъ, что безспорно великая препона быть можетъ скорому учрежденію нашихъ предписаній обширность города,—состояніе домовъ, нравы, застарѣлые обычаи... Но — надлежитъ преодолѣть препятствія, а не ими страшишься,—помогать учрежденію, сдѣланному для общей безопасности отъ мора». — Повелѣвалось на тридцать верстъ вокругъ Москвы опорожнять подъ карантинны дома, выводя жителей въ другія мѣста, а гдѣ нѣтъ домовъ — строить ихъ на счетъ казны; для избавленія людей отъ голода и холода имѣть подрядчиковъ, подвозить при-

пасы,—а наипаче предписывать смотрѣть: «чтобы гражда-
намъ не было сдѣлано отъ корыстолюбія подлыхъ душъ
утѣсненія и угнетенія». (Тамъ же, стр. 164).

9 сентября вышелъ собственноручный манифестъ импе-
ратрицы—о принятіи общихъ мѣръ противъ чумы, со ссы-
лкой на указы о томъ же предметѣ отъ 1738 года. Въ ма-
нифестѣ Екатерина съ соболѣзнованіемъ указывала на тѣхъ,
«кои, поставляя карантинъ себѣ за великое отягощеніе,
скрываютъ больныхъ и не объявляютъ о нихъ поставлен-
нымъ въ каждой части города начальникамъ; другіе, оста-
вляя больныхъ въ домахъ однихъ, безъ помощи и попеченія,
сами разбѣгаются и разносятъ болѣзнь и трепеть, которыми
заражены; третьи вынашиваютъ скрытно мертвыхъ и ки-
даютъ на улицѣ христіанскія тѣла безъ погребенія, распро-
страняя заразу единственно, чтобъ не разстаться съ зара-
женными пожитками и не подвергнуться осмотру приставлен-
ныхъ къ тому людей». Манифестъ кончался словами: «Вся-
кое же угнетеніе, утѣсненіе, грубость и нахальство всѣмъ и
каждому запрещаемъ употреблять,—наипаче же *наки и наки*
наистрожайше запрещаемъ всѣмъ начальникамъ и подчи-
неннымъ, *брать взятки* и лихоимствовать, какъ при осмо-
трахъ, такъ и при выводѣ въ карантинъ». (Тамъ же,
стр. 166).

10 сентября 1771 г. Екатерина въ письмѣ къ гр. П. И.
Панину писала: «Язва на Москвѣ, слава Богу, умяться
начала»...

Но черезъ нѣсколько дней въ Москвѣ произошелъ бунтъ,
убійство архіепископа, и было рѣшено отправить туда съ
высшими полномочіями довѣренную отъ императрицы особу.
Чумный бунтъ 16—17 сентября подробно описанъ Екате-
риною уже нѣсколько позднѣе, а именно 3 октября, въ
письмѣ къ г-жѣ Бьелкѣ и къ Вольтеру. (Сборникъ ист. общ.
1874 г., т. XIII, стр. 172—174, 175—178).

Въ письмѣ къ Вольтеру Екатерина выразилась по этому
поводу: «Москва—особый міръ, а не городъ». Еще позднѣе,
20-го октября того же года, описывая *чумный бунтъ* А. И.
Бибикову, Екатерина объ этихъ событіяхъ сказала: «*За*
московскими дурнотами я на ваши письма до днесь не от-
вѣтствовала. Проводили и мы мѣсяцъ (сентябрь) въ такихъ
обстоятельствахъ, какъ Петръ Великій жилъ *тридцать лѣтъ*.
Онъ сквозь всѣхъ трудностей продрался со славою; мы на-

дѣмся изъ нихъ выйти съ честью. Слабость фельдмаршала Салтыкова превзошла понятіе, ибо онъ не устыдился просить увольненія, когда своею персоною нужнѣе тамъ былъ, и не ожидавъ увольненія—выѣхалъ,—чаять можно,—забавляться со псами. Обыкновенная полиція стала юротка, мать наша Москва велика; ударили въ набатъ; чернь кинулась въ Кремль архіерея искать; оберъ-полицеймейстеръ сталъ коротокъ, а отчасти и оплошалъ» и пр. (Тамъ же, стр. 179--180).

Въ половинѣ сентября 1771 г. положеніе Москвы было невыносимое. Въ день умирало до 800 и 1,000 человекъ... Дворяне и все чиновничество бѣжало изъ столицы. Присутствія сами собою закрылись. Даже медики, оставшіеся въ городѣ, опустили руки, утверждая, что до наступленія новой стужи невозможно избавиться отъ чумы. Народъ сталъ толпиться у Варварскихъ воротъ, принося даянія иконѣ Боголюбской Богоматери. Архіепископъ Амвросій Зертисъ-Каменскій, родомъ молдаванинъ, приказалъ запечатать сундукъ по сбору даяній и перенести икону въ другое мѣсто, чтобъ устранить скопленіе народа въ тѣсномъ пространствѣ, куда приходили чумные, умирая здѣсь же у воротъ. Разъяренная чернь, съ криками: «грабятъ Боголюбскую Богородицу», а по письму Екатерины къ Вольтеру (отъ 6 окт., Сбор. ист. общ. т. XIII, стр. 75 — 76) съ криками: «архіерей хочетъ ограбить казну Богоматери! надо его убить!» — бросилась сперва въ Чудовъ монастырь, гдѣ не нашла Амвросія (онъ въ крестьянской сермягѣ ушелъ тайнымъ подземнымъ ходомъ изъ Кремля), затѣмъ въ Донской монастырь. Тамъ его напали, вытащили изъ алтаря и звѣрски убили. Приставъ одной изъ карантинныхъ частей города, генералъ П. Д. Еропкинъ, съ 30—40 гвардейскими инвалидами и съ двумя пушечниками (по словамъ императрицы) отважился выйти противъ взбунтовавшейся черни (разбившей и выпившей винные склады въ Чудовомъ монастырѣ) и разогнать ее нѣсколькими залпами картечи, положивъ на мѣстѣ до тысячи мятежниковъ. Такъ кончился памятный донынѣ въ Москвѣ «чумный бунтъ» или Софьянъ-день 1771 года.

Подробное описаніе этого бунта, составленное протс-іереемъ Петромъ Алексѣевымъ, напечатано въ «Русскомъ Архивѣ» 1863 г. (ч. I, стр. 910—916).

По словамъ этого очевидца, Амвросій Зертисъ-Каменскій

уѣхалъ изъ Кремля въ кибиткѣ, съ племянникомъ Николаемъ, Н. Бантышъ-Каменскимъ (отцомъ извѣстнаго писателя Д. Н.), когда мятежники, избивъ консисторскаго канцеляриста и солдатъ, пришедшихъ печатать сундукъ съ деньгами у Варварскихъ воротъ, бросились въ Кремль, выломавъ и его ворота. Толпа была вооружена кольями, камнями, топорами и кистенями. Найдя Амвросія на хорахъ за алтаремъ и стащивъ его оттуда за волосы, бунтовщики дали ему, по его просьбѣ, приложиться къ образу Донской Богоматери и затѣмъ стали его допрашивать:

— Ты ли не велѣлъ хоронить покойниковъ *у церквей* (карантинное правило)?

— Ты ли присудилъ забирать насъ *въ карантинъ*?

— Кто съ тобой въ *этой думѣ* заодно?

Несчастнаго архіерея послѣ допроса били дубьемъ «близъ двухъ часовъ». Бросивъ полумертваго страдальца, убійцы возвратились къ нему опять, видя, что у него «одна рука правая отмахною двинулася» — и стали опять бить его кольями по головѣ. То же повторилось, когда «пожался тотъ страдалецъ раменами». Одинъ «церковникъ» послѣднимъ довершилъ его ударомъ «отрубя нѣсколько отъ главы, коя часть надъ глазомъ и осталася висящею» (Русск. Архивъ 1863 г., ч. I, стр. 913—914).

Первый натискъ Еропкина чуть не кончился для него бѣдою. Мятежники такъ нажали его солдатъ, что тѣ бросились бѣжать, и Еропкинъ едва успѣлъ увезти свою пушку къ Спасскимъ воротамъ съ помощью штыковъ. Ему помогъ подослѣвшій отрядъ великолуцкаго полка. Чернь разсѣялась отъ картечи; но ея расходившіеся звонари «у набатныхъ колоколовъ» до того старались, что солдаты едва стащили ихъ съ колоколенъ «на штыкахъ». Кремль и всѣ входы въ него Еропкинъ занялъ солдатами, подъ командою бывшихъ у него гвардейскихъ офицеровъ. (Тамъ же).

Императрица, еще не зная о чумномъ бунтѣ, рѣшила послать въ Москву графа Григорія Григорьевича Орлова. Объ этомъ ея рѣшеніи остался слѣдъ въ ея опубликованной перепискѣ и въ архивѣ государственнаго совѣта (т. I, ч. 1-я, стр. 412, протоколъ 19-го сентября 1771 года).

19-го сентября въ совѣтѣ императрицы была объявлена высочайшая ея воля послать въ Москву такую «довѣренную особу, коя бы, имѣя полную власть, въ состояніи была

избавить тотъ городъ (Москву) отъ совершенной погибели». Совѣтъ тотчасъ же приступилъ къ сужденію «объ изысканіи сей особы», а 21-го одобрилъ и «заготовленную для дачи *посылаемому въ Москву* генераль-фельдцейхмейстеру Орлову полную мочь въ дѣланіи тамъ всего, что за нужное найдетъ къ избавленію отъ заразы». Въ письмѣ къ Вольтеру (Переписка Екатерины съ Вольтеромъ, ч. 2, стр. 39) императрица выразилась: «Графъ Орловъ *просилъ меня* позволить ему отправиться въ Москву, дабы разсмотрѣть на мѣстѣ, какія можно пристойнѣйшія мѣры взять къ прекращенію сего зла. Я согласилась—не безъ ощущенія сильной горечи». Въ то время (около 12-го сентября) въ Москвѣ умирало *уже болѣе 800 человекъ въ сутки*. (Архивъ госуд. совѣта, т. I, ч. 1, стр. 142).

Орловъ выѣхалъ изъ Петербурга 21-го сентября въ Подберезье; по пути, 22-го числа, его встрѣтила вѣсть о московскомъ мятежѣ и объ убійствѣ Амвросія. Онъ безъ колебанія продолжалъ путь и по страшной осенней распутицѣ прибылъ въ Москву 26-го сентября. Екатерина писала Бибикову (20-го октября): «Тамо до его пріѣзда всѣ, по образцу графа Салтыкова, получа *terreur panique*, отъ язвы по ногамъ распозлились, но теперь паки возвратились по мѣстамъ. Старый хрычъ фельдмаршалъ уволенъ».

Съ Орловымъ въ Москву пріѣхали искусный въ то время хирургъ Тодте (Todte) и нѣсколько расторопныхъ гвардейскихъ офицеровъ, въ томъ числѣ знаменитый впослѣдствіи Архаровъ, преображенскій капитанъ Сем. Бор. Волоцкой и семеновскіе капитаны—князь Сер. Ив. Одоевскій и А. Дм. Симоновъ. По окончаніи чумной заразы эти офицеры получили похвальные письма императрицы и по тысячѣ червонцевъ награды (см. Сборникъ имп. истор. общ. 1874 г., т. XIII, стр. 184). Одинъ изъ командированныхъ офицеровъ, преображенскій капитанъ, Александръ Александровичъ Саблуковъ, оставилъ любопытные документы о пребываніи своемъ въ Москвѣ во время чумы 1771 г.—письма его въ копіяхъ къ родителямъ, переписку комиссіи исполнительной и врачебной и даже свои расходныя тетради во время завѣдыванія имъ московскими карантинными домами. Эти документы, сохранившіеся въ семейномъ архивѣ его внука, П. А. Муханова, напечатаны въ «Русскомъ Архивѣ» 1866 г. (т. IV, стр. 330—339).

Будучи посланъ въ Москву ранѣ своихъ товарищей (9-го августа 1771 г.), еще въ распоряженіе Еропкина, Саблуковъ находился тамъ «въ самое лютѣйшее и опасное время, когда зараза свирѣпствовала» — и, будучи дѣятельнѣйшимъ пособникомъ Еропкина по усмиренію чумнаго бунта, оставался въ Москвѣ до закрытія всѣхъ комиссій, г.-е. до декабря слѣдующаго 1772 г. По его словамъ, къ Еропкину было отправлено «нарочитое число другихъ лейб-гвардіи офицеровъ и унтеръ-офицеровъ». Чумной бунтъ, по приказу Еропкина, Саблуковъ укротилъ при помощи «своей дивизіи изъ восьмидесяти-восьми престарѣлыхъ гвардейскихъ солдатъ и одной полковой пушки». Ему помогали капитанъ Волоцкой, съ которымъ онъ, разогнавъ толпу, двое сутокъ оставался на мосту у рва, противъ Спасскихъ воротъ, охраняя входъ черезъ нихъ въ Кремль.

Радость Москвы при появленіи среди нея «ближайшей къ императрицѣ особы» — графа Григорія Орлова — была неописанная. Любимый тогдашній поэтъ-москвичъ Василій Майковъ такъ привѣтствовалъ пріѣздъ графа Орлова:

«Не тѣмъ ты есть великъ, что ты вельможа первый:—
Достоинъ симъ почтенъ отъ русской ты Минервы
За множество твоихъ къ Отечеству заслугъ!—
Но тѣмъ, что обществу всегда ты вѣрный другъ...
Не самую ль къ нему ты дружбу тѣмъ являешь,
Когда ты спастъ Москву отъ бѣдствія желаешь?
Дерзай, храбрый мужъ, дерзай на подвигъ сей,
Возстанови покой межъ страждущихъ людей...
Когда жъ потишишься ты Москву отъ бѣды избавить,
Ей должно образъ твой среди себя поставить—
И вырѣзать сія на камени слова:
«Орловымъ отъ бѣды избавлена Москва!»

(Замѣчательно, что впоследствии именно этотъ самый, послѣдній стихъ Майкова вырѣзанъ на памятникѣ въ честь подвига Орлова въ Царскомъ Селѣ).

Исполненіе порученія императрицы далось, впрочемъ, Орлову не легко. Его ожидали всякаго рода затрудненія и непріятности. Началось съ поджога Головинскаго дворца (нынѣ мѣсто лица Цесаревича), гдѣ Орловъ остановился, немедленно учредивъ двѣ комиссіи: противочумную и слѣдственную по дѣлу убіенія архіепископа Амвросія. («Жизнеописаніе князя Г. Г. Орлова» — А. П. Барсукова, Русскій Архивъ, 1873 г., ч. I, стр. 67—75).

Стремясь къ устраненію главнѣйшей причины размноженія заразы, т.-е. народнаго отвращенія къ больницамъ и карантинамъ, гдѣ дѣйствовали грубые и невѣжественные тогдашніе чиновники и врачи, — Орловъ лично ободрялъ москвичей, обходилъ больницы, строго наблюдалъ за пищей и лѣкарствами. Потомукъ убитаго Амвросія, Дмитрій Бантышъ-Каменскій (см. его «Словарь достопамятныхъ людей русской земли» 1836 г., ч. IV, стр. 49—53) говоритъ о немъ: «Орловъ прекратилъ *народныя сходки, посещалъ госпитали* (чумные), оказывалъ челоѣколюбивое пособіе зараженнымъ, неослабно *надзиралъ за врачами*, приказывалъ сжигать платье, бѣлье, кровати умиравшихъ отъ чумы».

Народъ ежедневно видѣлъ среди себя Орлова, всегда веселаго, привѣтливаго, щедро разсыпавшаго пособія отъ лица государыни. Черезъ мѣсяцъ по его прибытіи въ Москву, тамъ среднимъ числомъ уже умирало въ день не болѣе 353 челоѣкъ. (Архивъ государственнаго совѣта, т. 1, ч. I, стр. 423).

По преданію, строгость карантиновъ при Орловѣ была такъ велика, что вокругъ всей Москвы былъ устроенъ высокій частоколь; бывшимъ подъ командой гвардейскихъ офицеровъ солдатамъ, державшимъ пикеты вокругъ Москвы, велѣно было *стрѣлять* по всякому, кто рѣшался прорываться безъ осмотра сквозь карантинную цѣпь, — причемъ особые стрѣлки обязательно убивали выбѣгавшихъ изъ Москвы *собакъ* и даже перелетавшихъ черезъ кордоны *сорокъ и воронъ*, какъ плотоядныхъ птицъ. Частныя и дѣловыя письма, даже проткнутыя и прокуренныя сѣрой, въ первое время, на особо-установленныхъ почтовыхъ пунктахъ не передавались изъ рукъ въ руки за цѣпь, а перебрасывались на стрѣлахъ. (Слышано отъ внука еврея Розенберга, ѣздившаго въ то время въ Москву за покупкой серебряныхъ издѣлій для Полтавы).

Бѣдующіе изъ Москвы держали въ Твери недѣльный, а въ Торжкѣ *шестинедѣльный* карантинъ (Архивъ госуд. сов., т. 1, ч. I, стр. 413).

Саблуковъ оставилъ небезынтересныя свѣдѣнія объ остромъ періодѣ московской чумы. Онъ писалъ, между прочимъ, къ своему отцу отъ 22 августа 1771 г.: «Занимать денегъ не у кого; почти всѣ господа разѣхались по деревнямъ». «У меня въ командѣ 1,000 дворовъ; ежегодно имѣю дѣло съ

300 чел. (больныхъ). Приходится сталкиваться съ полицейскими крючками» (29 августа). Далѣе онъ пишетъ:

«Язва гораздо умножилась и нѣтъ никакого способа ее совсѣмъ искоренить, да и медики утверждаютъ, что до наступленія стужи отъ нея избавиться нельзя. Народъ часть отъ часу убываетъ; всѣ мастеровые, хлѣбники, пирожники, разношники есякіе — расходятся по деревнямъ. Изъ моей части въ шесть дней вышло около 700 человѣкъ. Ихъ осматриваютъ доктора и выдаютъ билеты о здоровьи» (20 авг. и 1 сентября). «Суды всѣ заперты» (5 сентября). «Во дворахъ остается не болѣе, какъ человѣка по три, а въ господскихъ домахъ оставлено только по одному дворнику» (8 сент.). Описавъ чумный бунтъ и распоряженія Орлова, — онъ отъ 27 октября пишетъ отцу: «чума уменьшается», а отъ 5 января 1772 г. извѣщаетъ: «Въ моей части уже шесть недѣль все, слава Богу, благополучно!»

О дѣятельности Орлова Екатерина писала къ г. Бѣлке, 13 ноября 1771 г. «Вообще эта болѣзнь ходитъ только между чернью; люди высшихъ сословій отъ нея изъяты, принимая необходимыя предосторожности. *Графъ Орловъ не только запретилъ хоронить въ городъ*, но даже не иначе позволяетъ народу слушать литургію, *какъ оставаясь въ церкви, во время богослуженія*. Наши церкви малы, всѣ молятся стоя и обыкновенно бываетъ большая давка; притомъ извнѣ слышно хорошо, такъ какъ обѣдня всегда громко служится и поется. Народъ отъ такихъ увѣщаній сдѣлался такъ благоразуменъ, что даже не поднимаетъ денегъ, если они попадаютъ ему подъ ногами («Сборникъ ист. общ.», т. XIII, 1874 г., стр. 186).

Въ собственноручномъ черновомъ наставленіи князю Михаилу Волконскому, смѣнившему Орлова по ослабленіи чумы, Екатерина писала, въ ноябрѣ 1771 г., что передъ пріѣздомъ въ Москву Орлова тамъ «отъ 800 до 1,000 человѣкъ въ день мерло» и что онъ нашелъ всѣ тамошнія правительствa «разныя въ *незаспданіи*, всѣхъ людей въ уныніи, отчаяніи и худомъ послушаніи» — и что зло прекратилось Орловымъ при помощи сенаторовъ Мельгунова, Еропкина и Дмитрія Волкова, а также оберъ-прокурора Всеволожскаго и Баскакова. Посылая князя Волконскаго начальствовать въ Москву, Екатерина писала ему (6 пунктъ наставленія): «Предписуя вамъ строгое взысканіе отъ всѣхъ

исполненія законовъ, учреждений и повелѣній, не разумѣемъ мы отнюдь подъ симъ, чтобы вы неумѣренною строгостію всѣхъ приводили въ *страхъ и трепетъ...*» Московскій отставной батальонъ гвардіи, столько оказавшій пользы во время чумы, императрица велѣла Мельгунову, по окончаніи заразы, перевести въ Муромъ. Ему же она рекомендовала слѣдующую разумную мѣру: «Весьма бѣ полезно было, если бѣ большіе фабриканты добровольно согласились *перенести фабрики* въ уѣздные города; ибо Москва отнюдь не способна для фабрикъ: тамо и дешевле, и работники менѣе подвержены всякимъ неистовствамъ».

По словамъ Екатерины, въ письмѣ ея отъ 3-го декабря 1771 г. къ Вольтеру, въ день выѣзда Орлова изъ Москвы (28-го ноября), тамъ было только двое умершихъ. Передъ выѣздомъ его изъ Москвы, какъ говоритъ Екатерина въ письмѣ къ г-жѣ Бьелке, изъ 1,965 больныхъ умирало только 38 человекъ. Могилы рыли каторжные, получая за работу по 30—40 коп. отъ могилы.

5-го декабря Орловъ представилъ совѣту императрицы отчетъ о своей дѣятельности, гдѣ заявилъ, что «*послуженія карантинныхъ частныхъ смотрителей* и ихъ грабежъ въ зараженныхъ домахъ были главною причиною распространенія болѣзни, народнаго отвращенія къ карантинамъ и мятежа, и что съ начала язвы по ноябрь въ Москвѣ умерло отъ чумы 50,000 человекъ. Уѣзжая изъ Москвы, Орловъ учредилъ тамъ хлѣбные магазины для пропитанія народа (Архивъ госуд. совѣта, т. 1, ч. I, стр. 425).

Возвращеніе Орлова въ Петербургъ было привѣтствовано торжествами. Кромѣ триумфальныхъ воротъ въ Царскомъ Селѣ (на дорогѣ въ Гатчину), въ честь Орлова была выдана медаль съ его портретомъ и изображеніемъ Курція, бросающагося въ пропасть, съ надписью: «И Россія такихъ сыновъ имѣетъ».

1879 г.

~~~~~

# Оглавленіе

## ХVIII ТОМА

|                                                         | стр. |
|---------------------------------------------------------|------|
| Екатерина Великая на Днѣпрѣ (1787 г. Разсказъ). . . . . | 5    |
| Царь Алексѣй, съ соколомъ. . . . .                      | 22   |
| Вечеръ въ теремѣ царя Алексѣя. . . . .                  | 37   |
| Шарикъ. . . . .                                         | 53   |
| Дѣвочка. . . . .                                        | 70   |
| Пасѣчники. . . . .                                      | 87   |

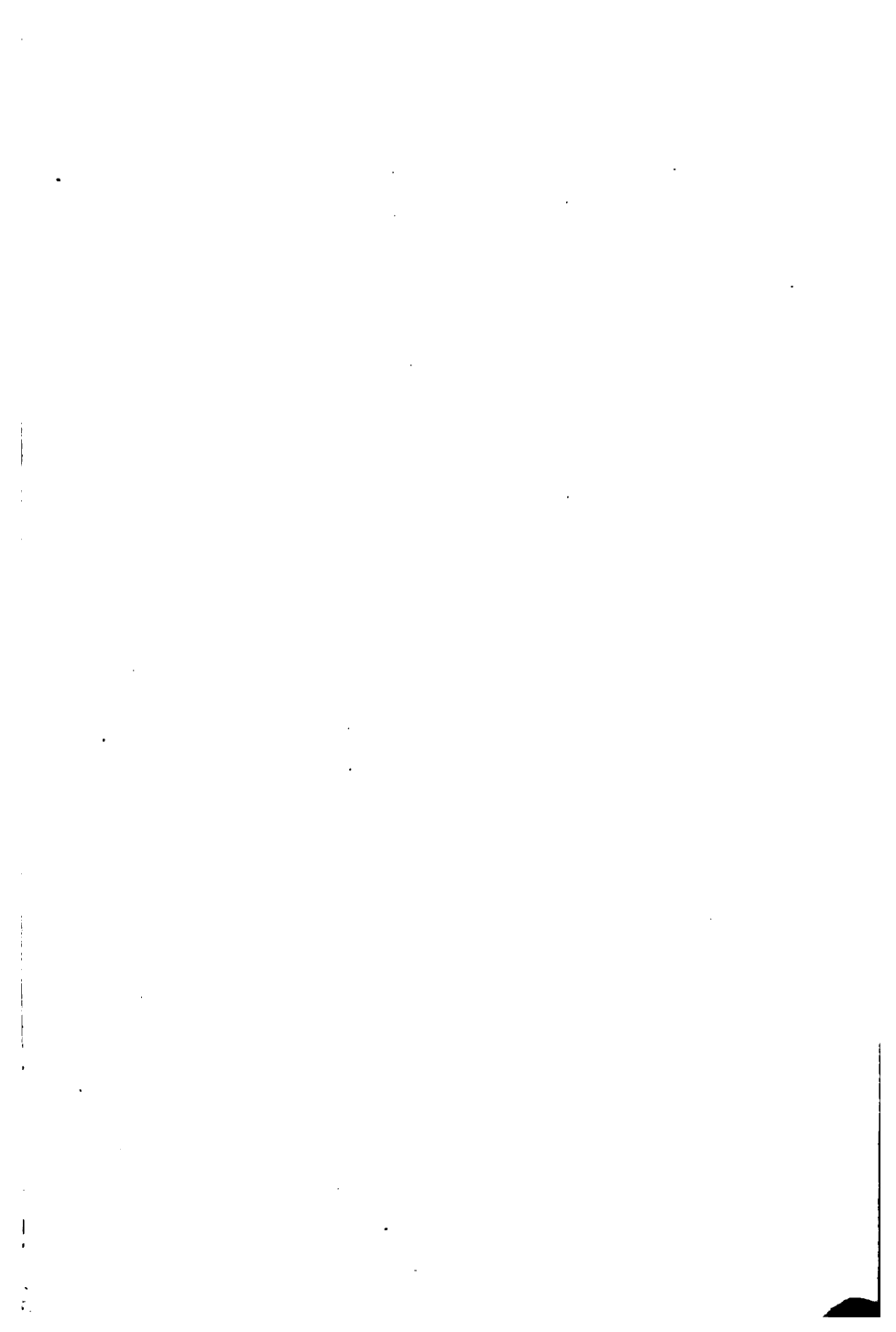
### Мелкія статьи

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| I. Карикатура въ Россіи (въ старину). . . . . | 115 |
| II. Московская чума 1770—1771 года. . . . .   | 125 |



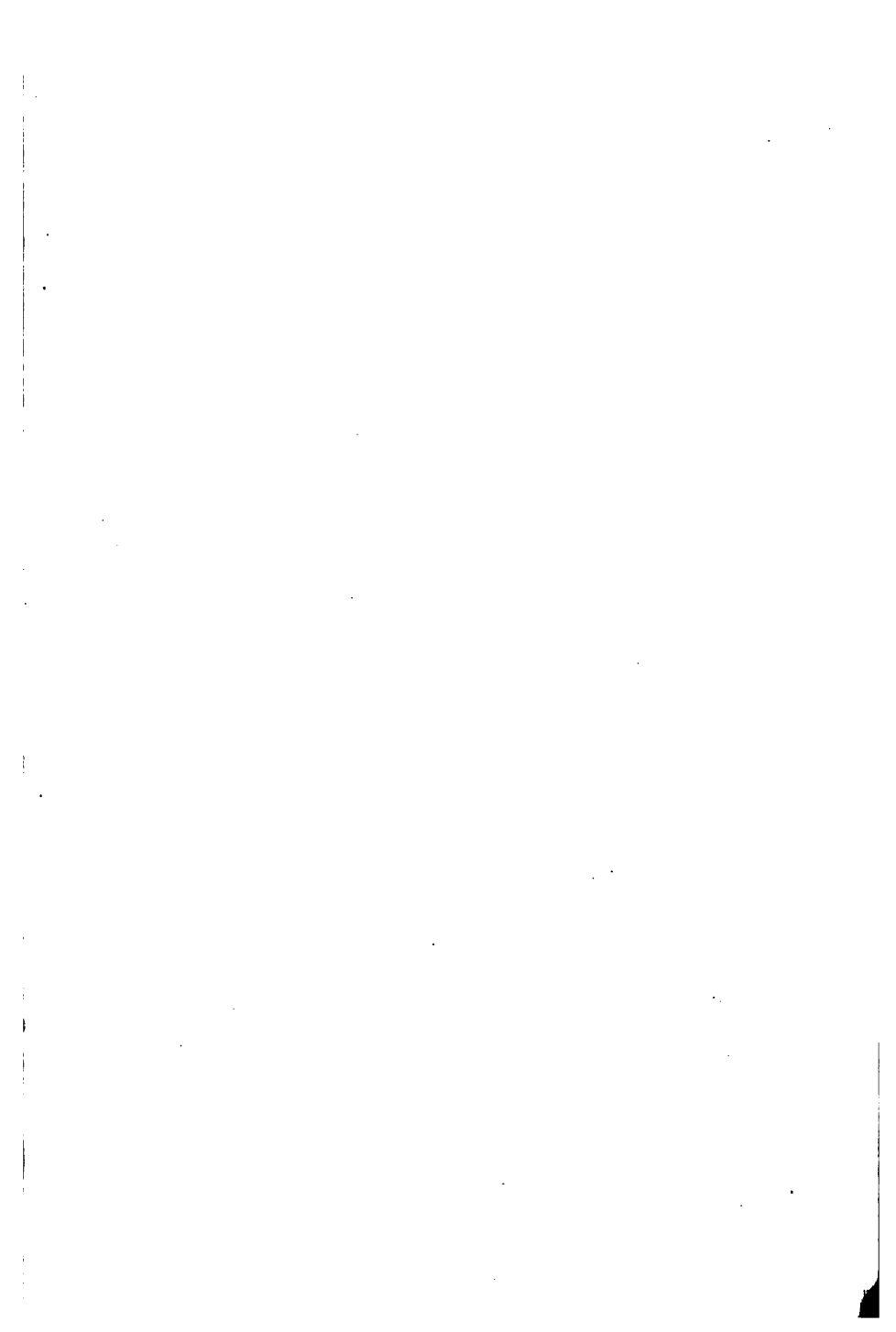
(1-2) 8

~hy











This book should be returned to  
the Library on or before the last date  
stamped below.

A fine of five cents a day is incurred  
by retaining it beyond the specified  
time.

Please return promptly.

DUE APR 25 1922

DEC 11 1926

~~DUE JUN 10 '38~~